

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2022

№ 67

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_gukun@mail.ru; **Шербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сухушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скочилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглеzneв В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Шербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия) – кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Хахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief; **Rykun A.U.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology); **Shcherbinin A.I.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science); **Agafonova E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor; **Sukhushina E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology); **Skochilova V.G.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Political Science); **Borisov E.V.** (Tomsk, Russia); **Ogleznev V.V.** (Tomsk, Russia); **Syrov V.N.** (Tomsk, Russia); **Chernikova I.V.** (Tomsk, Russia); **Ladov V.A.** (Tomsk, Russia); **Uzhaninov K.M.** (Tomsk, Russia); **Shcherbinina N.G.** (Tomsk, Russia); **Kashpur V.V.** (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K.E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M.S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor R.** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Боброва А.С. Абдуктивный шаг в диалогах. Неформальный подход.....	5
Бурлуцкий А.Н. Онтологический смысл категории «виртуальная реальность» в контексте формирования цифровой парадигмы	17
Гукова А.В. Специфика познания постсовременного субъекта на фоне цинической установки сознания	27

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Куликов М.В. «Забота о себе» как опыт маргинального: М. Фуко и Л. Толстой.....	35
---	----

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Бажанов В.А. «Отцы ели кислый виноград...»: антропологические выводы из развития эпигенетики	46
Вихман В.В., Ромм М.В. Конструирование теоретических образов феномена образова- ния: сценарный подход	59
Дерябин А.А., Попов А.А. Категории «субъективность» и «субъект» в исследованиях цифровой культуры	69
Сыров В.Н., Агафонова Е.В. Новые тенденции в исследованиях памяти: симптом чего?.....	80

СОЦИОЛОГИЯ

Гаврилюк В.В. Гендерные особенности классовой солидарности рабочей молодежи	96
Кольчева В.А. Человеческий капитал в современном обществе – от накопления к растрате?	105
Маленков В.В. Патриотизм, гражданственность в политике и идентичности молодежи.....	120
Oni I.O. Labor Market Integration of Nigerian Migrants in Moscow, Russia	132

ПОЛИТОЛОГИЯ

Зеленева И.В. Сотрудничество Ирана и ЕАЭС: проблемы и перспективы.....	140
Морозова О.С. Наблюдение за выборами в условиях пандемии: новая реальность.....	149
Никандров А.В. Государство диктатуры пролетариата или всенародное государство: государственный строй СССР в советской политической мысли сталинской эпохи	159
Прокудин Б.А. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» и формирование разночинного словесного сознания.....	173
Селезнева А.В., Божедомова А.Л., Луканина Е.В. Образы молодежных политических лидеров в сознании российской молодежи	190
Соколов А.В., Беляков А.А. Трансформация и поддержка экологических повесток в протестных кампаниях в социальных сетях	202
Соловьев А.И. Гражданин в потоках цифровизации: коллизии политики и культуры.....	216
Шашкова Я.Ю., Асеев С.Ю. Мотивы и факторы политической активности учащейся молодежи приграничных территорий Сибири и Дальнего Востока.....	231
Штефанчик Р., Шерешова Т. «Настя не мигрант, Настя наша». Мигранты из России в Словацком миграционном дискурсе	243
Хахалкина Е.В. Город в контексте изменения климата и пандемии КОВИД-19 (2020 – начало 2022 г.).....	257

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Козырева О.А. Проблема референции индексикалов: возможные подходы	269
Куслий П.С. Контекстная зависимость и «отложенная» интерпретация	282
Доманов О.А. Понимание как вычисление	287
Борисов Е.В. Индексикалы, семантика и прагматика	292
Козырева О.А. Ответ оппонентам.....	299

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Bobrova A.S. Abductive step in dialogs. An informal approach.....	5
Burlutskiy A.N. The ontological meaning of the category “virtual reality” in the context of the formation of the digital paradigm.....	17
Gukova A.V. The specifics of cognition of a postmodern subject against the background of a cynical attitude of consciousness.....	27

HISTORY OF PHILOSOPHY

Kulikov M.V. “Taking care of oneself” as an experience of the marginal: Michel Foucault and Leo Tolstoy	35
--	----

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Bazhanov V.A. “The fathers were the ones who ate the sour grapes ...”: Anthropological implications from the modern epigenetics.....	46
Vikhman V.V., Romm M.V. Constructing theoretical images of the phenomenon of education: A scenario approach.....	59
Deryabin A.A., Popov A.A. The categories of subjectivity and subject in digital culture research	69
Syrov V.N., Agafonova E.V. New trends in memory studies: A symptom of what?.....	80

SOCIOLOGY

Gavriliuk V.V. Gender features of class solidarity of working-class youth	96
Kolycheva V.A. Human capital in modern society – from accumulation to waste?.....	105
Malenkov V.V. Patriotism, civicism in politics and identity of youth	120
Oni I.O. Labor market integration of Nigerian migrants in Moscow, Russia	132

POLITICAL SCIENCE

Zeleneva I.V. Cooperation between Iran and the EAEU: Opportunities and constraints	140
Morozova O.S. Election observation in a pandemic: A new reality.....	149
Nikandrov A.V. The state of the dictatorship of the proletariat or the state of all the people: The state system of the USSR in the Soviet political thought of the Stalin era	159
Prokudin B.A. Ivan Turgenev’s novel <i>Fathers and Sons</i> and the formation of the raznochintsy’s Class Consciousness	173
Selezneva A.V., Bozhedomova A.L., Lukanina E.V. Images of youth political leaders in the consciousness of Russian youth	190
Sokolov A.V., Belyakov A.A. Transformation and support of environmental agendas in protest campaigns on social network sites.....	202
Solovyev A.I. Citizen in the streams of digitalization: Collisions of politics and culture	216
Shashkova Ya.Yu., Assev S.Yu. Motives and factors of students’ political activity in the border territories of Siberia and the Far East.....	231
Štefančík R., Seresová T. “Nast’a is not a migrant, Nast’a belongs to us!”. Migrants from Russia in Slovak migration discourse	243
Khakhalkina E.V. The city in the context of climate change and the Covid-19 pandemic (2020 – early 2022).....	257

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Kozyreva O.A. Some possible approaches to the problem of indexical reference	269
Kusliy P.S. Context dependence and deferred interpretation.....	282
Domanov O.A. Understanding as computation	287
Borisov E.V. Indexicals, semantics and pragmatics.....	292
Kozyreva O.A. A reply to critics.....	299

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Научная статья
УДК 167.5
doi: 10.17223/1998863X/67/1

АБДУКТИВНЫЙ ШАГ В ДИАЛОГАХ. НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Ангелина Сергеевна Боброва

Российский государственный гуманитарный университет, Москва, Россия
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),
Москва, Россия, angelina.bobrova@gmail.com

Аннотация. Рассматриваются ключевые логико-эпистемологические представления о природе абдукции, которые смогут уточнить принципы ее работы в области теории аргументации. Абдукция понимается как рассуждение, заключение которого порождает гипотезу-догадку. Эта гипотеза требует проверки, призывая тем самым к дальнейшим исследованиям. Особое внимание уделяется недавно открытому решению Пирса.
Ключевые слова: абдукция, диалог, аргументативные схемы

Благодарности: Статья подготовлена при поддержке РНФ «Формальная философия аргументации и комплексная методология поиска и отбора решений спора» № 20-18-00158 по заказу с СПбГУ.

Для цитирования: Боброва А.С. Абдуктивный шаг в диалогах. Неформальный подход // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 5–16. doi: 10.17223/1998863X/67/1

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Original article

ABDUCTIVE STEP IN DIALOGS. AN INFORMAL APPROACH

Angelina S. Bobrova

Russian State University for the Humanities, Moscow, Russian Federation
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation,
angelina.bobrova@gmail.com

Abstract. The paper scrutinizes contemporary treatments of abduction, as they occur in logic, epistemology and philosophy of science. It demonstrates how these positions can be adapted to the argumentation theory needs. The publication begins with a brief historical survey and continues with two major contemporary approaches of abduction studies presentation (the Magnani conception and the model of Gabbay and Woods). The last section analyzes contemporary treatments of abduction from the dialectical perspective. First of all, this step specifies the role of dialogs (Hintikka has already pointed to the advantages of the

interrogative essence of abduction). Second, it clarifies the differences between abduction and explanation as well as between abduction and heuristics. Formal models or logics of abduction are mostly left aside. Due to Peirce's famous solution, abduction is an inference that provides a reason to suspect that the hypothesis is true. Peirce's scheme (Harvard lectures) provides a general understanding of abduction but ignores some problems: it is not clear, if we generate a hypothesis or adapt it, how the hypothesis appears, etc. As a result, abduction has been linked with reasoning to the best explanation. One of such solutions belongs to Josephson and Josephson. Their scheme had a great impact on the theory of argumentation. It was turned into a skeleton of Walton's argumentative scheme of abduction (the most influential scheme). Today we know that abduction should be better understood as an inference from the best expatiation rather than an inference to the best explanation. It is ignorance-preserving. The Gabbay–Woods model develops a similar treatment. It competes with another famous solution that belongs to Magnani. Both approaches reconstruct and explain the essence of abduction, but they have different assessments concerning its epistemological aims. If the first one classifies abduction as an ignorance-preserving inference, the latter protects its creative side (abduction has a knowledge-enhancing faculty). The Gabbay–Woods model is comparable with Peirce's abduction understanding that has been recently discovered and reconstructed by Pietarinen. Peirce claims that abduction presumes interrogative mood and conjectural nature. It does not assert the truth but delivers the idea of a matter of course, rendering that idea is comparatively simple and natural. The paper argues that the Gabbay–Woods model, enriched by Peirce's ideas, can be integrated into a dialog. It emphasizes the dialectical core of abduction and simplifies the analysis of existing argumentation schemes.

Keywords: abduction, dialog, argumentative schemes

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation. Project No. 20-18-00158 was prepared by order from St. Petersburg State University.

For citation: Bobrova, A.S. (2022) Abductive step in dialogs. An informal approach. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 5–16. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/1

Введение

Казалось бы, еще совсем недавно в логике, эпистемологии и философии науки обсуждался вопрос, существует ли такое рассуждение, как абдукция, и насколько она оригинальна? Сегодня проблема ставится уже иначе: предметом обсуждения является не факт существования абдукции, а анализ ее природы, структурных особенностей и сферы применения. Абдукцию принято относить к амплиативным рассуждениям, т.е. к выводам (в данном контексте термины «вывод» и «рассуждение» можно использовать как синонимы), предоставляющим качественно новую информацию, а его ключевой задачей принято считать способность предоставлять объяснительные гипотезы. Однако как протекает этот процесс? Что его определяет? Порождает ли абдукция гипотезу в прямом смысле слова или занимается лишь ее отбором? Отвечает ли она за принятие гипотезы? Ограничивается ли процедурой построения или включает в себя и механизм оценки, какое из предположений может считаться наилучшим? В наши дни предложено немало ответов. Их разнообразие сбивает с толку, так что порой даже сложно поверить, что во всех случаях мы имеем дело с одним и тем же. Не меньше проблем вызывает и экспликация логической формы абдукции. Это рассуждение крайне неохотно поддается формализации, а потому складывается впечатление, что любая его формальная запись лишает абдукцию своей уникальности.

Озвученные проблемы в полной мере распространяются и на область теории аргументации, куда абдукция проникает в виде аргументативной схемы, т.е. типового образца, соединяющего «семанτικο-онтологические отношения с типами рассуждений или логических аксиом и представляющего собой абстрактные структуры наиболее общих типов естественных рассуждений» [1. Р. 2495] – как, например, аргумент к авторитету или аргумент от свидетельств (или данных) к гипотезе¹ и т.п. По своей природе аргументативные схемы преимущественно презумптивны, т.е. мы принимаем их до тех пор, пока не будет доказано обратного. Каждая схема снабжена серией критических вопросов, позволяющих оценивать соответствующий аргумент на предмет приемлемости, релевантности и обоснованности. На сегодняшний день существует несколько классификаций таких схем, каждая из которых предполагает свой набор типовых рассуждений (подробнее см.: [3]). Абдукцию, если она присутствует в классификации, обычно также представляют в виде аргументативной схемы², хотя в данном случае это порождает вопросы. Сводимы ли абдукция к типизированной абдуктивной схеме или она представляет собой более фундаментальный вывод, который лежит в основе нескольких схем? Если абдукция все же представима в виде схемы, то как ее можно отличить от других аргументов (некоторые схемы – например, аргумент от признака³ или упомянутый аргумент от свидетельств к гипотезе – оказываются довольно схожими по форме и содержанию)? В классификациях схемы часто пересекаются (это довольно известная проблема любой классификации аргументов), что вовсе размывает и без того не совсем отчетливые границы абдукции. Скорее всего, абдуктивные схемы (возможно, больше одной) в аргументации все же допустимы, но, чтобы идентифицировать их форму, важно понимать, что есть абдукция. Одним словом, нам нужна основа для анализа этих схем. В решении данного вопроса должен помочь анализ представлений об абдукции в виде, представленном в эпистемологии, философии науки, логике и философии логики.

Цель настоящего исследования состоит в уточнении природы этого таинственного рассуждения. Я показываю, что гипотеза, которая порождается в ходе абдукции, не является в строгом смысле слова обоснованным объяснением. Перед нами догадка, которую еще следует проверять. Ее заключение имеет форму вопроса, который и подталкивает исследование развиваться далее. Последние логико-эпистемологические представления об абдукции органично вписываются в интеррогативный подход, предложенный уже Я. Хинтикой [4], а такой поворот позволяет реконструировать ход этого

¹ Если гипотеза А истинна, то В будет полагаться истинным.

В данном случае В полагается истинным.

Значит, А истинна [2. Р. 331].

² D – набор имеющихся данных или фактов.

Каждый вариант из набора $A_1, A_2, \dots, A_n$ успешно объясняет D.

A_i наиболее успешно объясняет В.

Следовательно, A_i в данном случае является наиболее правдоподобной гипотезой [2. Р. 329].

³ А истинна в рассматриваемой ситуации.

В считается истинным тогда, когда у нее есть признак А.

Следовательно, в данной ситуации стоит полагать В истинным [2. Р. 329].

Критические вопросы (для примера): какова сила корреляции признака с обозначенным событием?

Есть ли другие события, более надежные для учета рассматриваемого признака?

рассуждение через призму диалога (последовательность «вопрос-ответ» ярче всего проявляет себя в диалоге), что и требуется для решения проблемы аргументативных схем.

Кратко касаясь истории вопроса в силу ограниченного объема, я рассматриваю ключевые подходы в толковании абдукции и показываю, как и какой из них может быть адаптирован под требования диалога.

История предмета

За последние несколько десятилетий вышло столько монографий и статей, посвященных абдукции, что только для их систематизации потребуется отдельная работа. С абдукцией нас знакомит Ч.С. Пирс, хотя предложить стройное финальное определение ему не удастся. Этому мешает постоянное уточнение своих же идей. Так, он смотрит на абдукцию и как на вывод, и как на метод [5]. С одной стороны, Пирс говорит об абдукции как о третьем типе рассуждений, который «включает в себя изучение фактов, а также порождение объясняющей их теории» (1903; CP 5.144–145) [5]. С другой стороны, он подчеркивает важность изучения и ее роли в процессе научного познания: «Методевтика особенно интересуется абдукцией или выводом, который открывает научные гипотезы»¹ (1902; NEM [7. P. 62]). Самой известной экспликацией абдуктивного вывода считается схема, предложенная им в «Гарвардских лекциях»:

Посылка 1. Наблюдается любопытный факт С.

Посылка 2. Однако если бы А было истинным, С было бы чем-то само собой разумеющимся.

Закключение. Следовательно, есть основание предполагать, что А истинно (1903; CP 5.189) [5].

В схеме находят свое отражение такие важные черты абдукции, как удивление, которое ее открывает (посылка 1), момент появления гипотезы (посылка 2), допустимость или резонность заключения. Проясняет она и некоторые структурные особенности. Во-первых, первая посылка фиксирует наблюдаемый факт, т.е. она ничего не утверждает, а потому не может оцениваться через призму «истина–ложь». Во-вторых, отношение между А и С во второй посылке определяет не материальная, а скорее контрафактическая импликация, передающая мысль о том, что С при наличии А превращается в нечто само собой разумеющееся. Эта импликация дает основание для допущения А, а потому она не будет истинной при ложном антецеденте.

Вместе с тем схема не проясняет, как и почему мы обращаем внимание на факт С, какова природа гипотезы А и процедура ее поиска, а также какого рода информацию она несет. Признавая эти же проблемы, Пирс пишет в одном из черновых набросков письма к леди Уелби (1905) следующее: абдукция является вариантом рассуждения от консеквента к антецеденту, который по форме соотносится с *modus tollens*, но предлагает вопросительное или интеррогативное заключение². «Вместо „интеррогативный“ модальность заключения уместнее характеризовать как „подлежащую исследованию“ (the

¹ Проблема «абдукция как рассуждение и абдукция как метод» остается за рамками данной статьи.

² Если А истинна, то С не является/является истинной.

Но С не является/является истинным.

Следовательно, не является ли А неистинным? (Цит. по: [8]).

investigand)» (R L 384) [8], которая указывает на призыв к дальнейшему исследованию: «...следует исследовать, не является ли А неистинным» (It is to be inquired whether A is not true). Получается, что вопрос в заключении не сводится к простому уточнению. Он предполагает и работу с основанием, так как важно не только подтолкнуть к проверке А, но и понять, почему А оказывается достойной принятия. В своем неотправленном письме Пирс называет абдукцию «рассуждением от удивления к исследованию». Перед нами логика догадки, которая точно передается фразой: «Есть А? Давайте исследовать!» [9]

Абдукция сегодня. Основные подходы

Современный интерес к абдукции просыпается во второй половине XX в., когда ее начинают изучать историки философии и науки (например, см.: [10]), занимавшиеся реконструкцией идей Пирса, а также специалисты в области искусственного интеллекта, пытавшиеся при помощи этого рассуждения смоделировать процесс прироста знания. Ближе к концу столетия исследование абдукции превращается, по меткому замечанию Я. Хинтикки, в «фундаментальную проблему современной эпистемологии» [4]. В текущем столетии вопрос становится по-настоящему модным, а новые результаты начинают издаваться практически ежегодно. На рубеже веков об абдукции начинают писать и в русскоязычном сегменте. Тут стоит выделить работы Г.И. Рузавина [11] и В.К. Финна [12], в которых это рассуждение рассматривается через решение, предложенное Дж.Р. Джозефсоном и С.Г. Джозефсоном (Josephson and Josephson). Сегодня схема Джозефсонов утратила свою актуальность, но она оказала заметное влияние на логико-эпистемологические штудии абдукции (разумеется, не только в России). Не обошла она стороной и теорию аргументации. Одна из самых влиятельных аргументативных схем абдукции [13] была смоделирована именно на ее основе:

D – набор данных.

Н объясняет D.

Никакая другая гипотеза не может объяснить D так же хорошо, как это делает Н.

Следовательно, Н вероятно истинна [14. Р. 14].

На первый взгляд решение напоминает схему Пирса, но на деле оно серьезно с ней расходится. В первую очередь на это указывает третья посылка, которая должна объяснить причину отбора Н среди других гипотез (схема Пирса этот момент оставляет без внимания): гипотеза Н выбирается, так как она оказывается наилучшей. Такой шаг позволяет фактически отождествлять абдукцию с выводом к наилучшему объяснению (inference to the best explanation)¹.

Чуть позже сходная мысль встречается у А. Алиседы (Aliseda) [15]. Он предлагает искать критерии, которые позволяли бы выделять пространство допустимой гипотезы. Алиседа прибегает к формальным средствам для демонстрации абдуктивного вывода, превращая его в вид контекстно-зависимых способов научного рассуждения. На поиске условий оптимальности, которые

¹ Было бы не совсем верно утверждать, что синонимия, о которой идет речь, возникает именно с подачи Джозефсонов.

помогали бы отбирать гипотезу среди других возможных кандидатов, настаивает и П. Липтон (Lipton) [16]. Однако вскоре эту зарождающуюся традицию пересматривает Д. Кампос (Campos) [17]. Ему удается показать, что абдукция и вывод к наилучшему объяснению предполагают разные процедуры. Это заявление, ставшее поворотным для логики и эпистемологии, спустя непродолжительное время начало проникать и в теорию аргументации.

Важным, но так до конца и не осмысленным стало предложение Р. Тагарда (Thagard) [18, 19] – учитывать мультимодальность абдукции, так как в абдуктивном рассуждении задействованы нейрологические, вербально-пропозициональные, эмоциональные и манипуляторные аспекты¹. О чем-то подобном, впрочем, пишет и Л. Магнани (Magnani) [20]. Такой мультиподход открывает содержательно новые стороны абдукции: например, реконструкция через призму иконических представлений [21] показывает, что это рассуждение имеет дело не с обобщениями, а с конкретными проявлениями общих понятий или явлений; среди философских установок, на которые оно опирается, по-новому начинают звучать такие, как тихизм или экономичность исследования.

Понять современное толкование абдукции невозможно без теорий, определивших два вектора ее современного понимания: решение Магнани [20, 22], а также модель Д. Габбай и Дж. Вудса (Gabbay & Woods) [23, 24]. Оба подхода дорабатывают идеи Пирса, но делают это по-разному. Магнани говорит об абдукции как о базовой структуре человеческого познания: перед нами «эко-когнитивное» рассуждение, которое в силу своей способности объяснять ранее непонятные факты определяет творческий процесс порождения знания. Так как вариантов когнитивных шагов довольно много, Магнани выделяет несколько видов абдукции, которые позволяют подчеркивать ее объяснительные, инструментальные, селективные и креативные стороны. Габбай и Вудс понимают абдукцию не столь универсально: это рассуждение лишь предлагает гипотезу, сохраняя при этом наше незнание (*ignorance-preserving*). Абдукция не расширяет горизонтов известного, но указывает на направление, придерживаясь которого этого расширения можно было бы достичь. Предлагая гипотезу, мы не можем сказать, останется ли она догадкой или превратится в утверждение. Более того, вполне допустимо, что в контексте рассматриваемого рассуждения гипотеза будет догадкой, а за его пределами – иметь статус известного факта.

Различие в подходах демонстрируют и предложенные этими исследователями модели: АКМ, названная по именам своих создателей ('А' – Aliseda [15]; 'К' – Kakas et al. (1995) [25]; 'М' – Magnani [22]) и Г–В (Габбай–Вудс). АКМ демонстрирует объяснительные возможности абдукции через процесс порождения гипотез, в то время как Г–В акцентирует внимание на инструментальной природе абдукции. Обе говорят об абдукции как о догадке, но по-разному смотрят на ее природу. Рассмотрим подробнее шаги обеих.

1. Е
2. $\neg (K \rightarrow E)$
3. $\neg (H \rightarrow E)$
4. $K(H)$ непротиворечива

¹ Это не мешает ему сопоставлять вывод к наилучшему объяснению с абдукцией.

5. $K(H)$ минимальна

6. $K(H) \rightarrow E$

7. H

АКМ может быть представлена как *линейная* последовательность, где E – предложение, принимаемое за истину, K – база знаний, $\rightarrow$ отношение следования, а H – гипотеза. Схема говорит о том, что, если H в рамках K объясняет E , ее стоит принять. Резонность принятия H (наиболее подходящей) объясняется 4-й и 5-й строками. Правда, принцип работы этих строк, равно как и неопределенность условной связи в других строках, требуют дальнейших пояснений. Схему постоянно критикуют, в том числе и Габбай с Вудсом. Так, они указывают, что целью абдукции является не E , а объяснение E . Другими словами, условная связь должна быть связана с объяснением. Не находит тут места и инструментальное измерение, которое, как справедливо отмечает даже Магнани, довольно сложно представить в виде линейной последовательности.

Вариант инструментального измерения задает модель Γ – V , настроенная, как несложно предположить, по отношению к АКМ весьма оппозиционно. Самое важное отличие модели Γ – V заключается в природе гипотезы, которая остается догадкой из сферы гипотетического даже на этапе заключения. Мы подбираем гипотезу i , активируя ее, строим следующий вывод:

1. $T! \alpha$ [объявление эпистемической цели T]
2. $\neg (R(K, T))$ [факт]
3. $\neg (R(K^*, T))$ [факт]
4. $H \notin K$ [факт]
5. $H \notin K^*$ [факт]
6. $\neg (R(H, T))$ [факт]
7. $\neg (R(K(H), T))$ [факт]
8. $H \sim (R(K(H), T))$ [факт]
9. H удовлетворяет следующим условиям $S_1, \dots, S_n$ [факт]
10. Следовательно, $C(H)$ [предварительное заключение (1–7)]
11. Следовательно, H^C [заключение (1–8)] [24. Р. 369]

На первом шаге мы фиксируем эпистемическую цель, достичь которой не позволяют ни исходная (K), ни расширенная (K^*) базы знаний (шаги 2 и 3, где R – отношение достижимости). Шаги 4 и 5 говорят о том, что есть некая гипотеза H , которая не принадлежит ни исходной базе, ни ее ближайшему расширению. Сама по себе она опять же не приближает нас к поставленной цели (шаги 6 и 7). Однако задача решается, если *допустить* истинность H , добавив ее в качестве антецедента контрафактического высказывания (волнистая стрелка указывает на сослагательное наклонение). Шаг 9 уточняет условия, способные повысить правдоподобие H . В результате, основываясь на данных (1–7), можно сделать предварительное заключение (10), где $C(H)$ следует понимать как догадку агента относительно рассматриваемой гипотезы. Учитывая же 8 шаг, эту догадку можно принимать и с прагматическими следствиями (11): если $C(H)$ читается как «резонно допустить, что H », то H^C предполагает заявление в форме утверждения. Подобным способом удается обойти необходимость признания истинности H , хотя не совсем ясно, как и почему мы допускаем соединение пересмотренной базы знаний K^* с эпистемической целью T . Похоже, в модели это остается на уровне презумпции.

Оба подхода получили заметный отклик в академическом сообществе, однако единого решения проблемы абдукции так и не породили. Они трактуют заключение как догадку, но по-разному понимают ее природу. Магнани подчеркивает творческую составляющую абдукции: это креативное рассуждение, порождающее новое знание. Габбай и Вудс предпочитают указывать на идею незнания. Похоже, и первый, и второй подходы способны внести свой вклад в проблему уточнения аргументативных схем абдукции, но чтобы это увидеть, следует обратиться к идее диалога.

Абдукция как диалог

Если требуется показать ход абдукции, а главное – зафиксировать появление гипотезы-догадки и объяснить ее появление, диалоговый подход оказывается, пожалуй, лучшим решением. Он позволяет увидеть нелинейность этого рассуждения, отличить его от объяснительных схем аргументации, а также определить границы. Итак, абдукция начинается с удивления: участники диалога сталкиваются с непонятым, но любопытным фактом, который они не способны пояснить. В результате все ищут гипотезу, которая была бы способна это удивление нивелировать. В отличие от объяснительных схем аргументации (см. для примера корреляцию между данными и гипотезой) искомая гипотеза ни для кого не является чем-то известным. Ее обоснованность еще только требуется подтвердить. В объяснительных схемах ситуация выглядит несколько иначе: когда кто-то сталкивается с непонятым, есть кто-то, кто может это непонятое объяснить.

Нелинейность абдукции отражает рассмотренная модель Г–В, а потому в рамках диалога она способна стать инструментом для анализа и реконструкции искомых аргументативных схем. О появлении абдуктивного рассуждения можно говорить в тот момент, когда в ходе диалога возникает непонятный факт (шаг 1 в Г–В), который не в состоянии объяснить кто-то из участников (шаги 2, 3 Г–В). Каждый может предложить гипотезу (Н), т.е. выдвинуть предположение, которого раньше не было в системе знаний (4–7 в Г–В). Гарантировать объяснение непонятого оно не в состоянии (в противном случае имело бы место объяснение), но если пересмотреть в свете него исходные знания (шаг 8 в Г–В) и уточнить условия, которым оно должно удовлетворять (шаг 9), можно прийти к догадке (шаг 10). Последняя помогает сформулировать соответствующее утверждение (шаг 11): может быть стоит исследовать истинность Н? В результате абдукция запускает новую фазу диалога, равно как об этом пишет и Пирс.

Абдукция тесно связана с системой вопросов, и это вынуждает пересматривать их статус в случае аргументативных схем, которые работают вкупе с критическими вопросами. Критические вопросы в абдуктивной схеме не стоят в стороне и не ограничиваются функцией проверки. Они встраиваются в процесс рассуждения, позволяя участникам диалога убедиться в том, что имеют дело именно с абдукцией. Абдукция начинается с вопроса (участники не могут ответить на вопрос «что это?»), вопросами определяются ее ход (рассуждение встраивается на базе интеррогации) и финал (последний вопрос показывает, что заключение не окончательно, а диалог развивается дальше). Система вопросов позволяет отличать абдукцию и от эвристик. Она имеет дело с неподтвержденными предположения-

ми, в то время как эвристики – известные подсказки-указания, не требующие проверки (см., например, эвристики для построения натурального вывода). Эвристики отвечают на вопрос «что мне с этим делать?», а для абдукции важен вопрос «что это?».

Кроме нелинейности, модель Г–В может продемонстрировать и типы речевых актов, которые используются на каждом шаге абдукции. Так как это рассуждение предполагает сохранение незнания, его заключение имеет статус гипотетического. Получается, мы не ограничиваемся утверждениями, а говорим также о гипотезах и догадках. Анализ модели Г–В через призму речевых актов предлагают Д. Чиффи [Chiffi] и А.-В. Пиетаринен [26], которые соединяют каждый ее шаг с тремя типами иллокутивных актов: выдвижение гипотезы (первые шаги), догадка (предпоследний шаг) и утверждение этой догадки. Погружая проблему в область логической прагматики, исследователям удастся заменить эпистемическую перспективу прагматической. Последняя работает с речевыми актами, а не непосредственно со знанием. Такая прагматизация позволяет сохранить в диалоге идею незнания.

Разговор о диалоговой основе абдукции не будет полным, если не рассмотреть границы ее применимости: работает ли абдукция в любом диалоге или проявляется только в диалогах определенного вида? В строгом смысле она должна ограничиваться диалогами исследования, открытия и, возможно, поиска информации (в данном вопросе я опираюсь на классификацию диалогов Д. Уолтона¹). С другой стороны, стоит подумать, нельзя ли, например, назвать абдуктивным шаг нахождения оптимального решения в ходе переговоров. В этом случае абдукция начинает напоминать творческую способность Магнани. Таким образом, опора на схему Г–В не означает отказа от креативности, а обе позиции по-прежнему имеют свои преимущества.

Вместо заключения

Итак, сегодня мы смотрим на абдукцию как на рассуждение, предлагающее гипотезу-догадку. Гипотеза не дает новых знаний, но подталкивает к их получению. Вместо вывода к наилучшему объяснению абдукция понимается как вывод для наилучшего объяснения ранее неизвестного. Ее уникальность состоит в том, что, подчиняясь принципам экономичности исследования, она предлагает гипотезу, которую еще нужно проверить. Абдукция не занимается обобщениями, а дает лишь реплики общих понятий или явлений. Для нее важны наблюдения за отдельными событиями, а не обнаружение общих законов. По этой причине она ограничивается конкретным контекстом (диалогом), в рамках которого выдвигаемая гипотеза не известна (в другом контексте она вполне способна иметь другой статус).

Все это сильно затрудняет экспликацию логической формы абдукции, а значит, и идентификацию соответствующих схем аргументации. В данном вопросе продуктивным выглядит уточненный подход Г–В, весьма органично вписывающийся в диалоговую процедуру. Результаты, полученные в данной работе, позволяют уточнять имеющиеся аргументативные

¹ Уолтон выделяет шесть видов диалога, которые сегодня считаются базовыми: исследование, открытие, поиск информации, переговоры, убеждение, спор. Между собой диалоги отличаются своими задачами, целями и допустимыми правилами.

схемы абдукции и даже порождать новые. Однако это уже начало новой истории. В завершение стоит лишь заметить, что поставленные задачи предсказуемо оставили за рамками исследования многие строго формальные модели абдуктивного вывода, разнообразие которых, опять же, не может не порождать вопросов.

Список источников

1. *Macagno F., Walton D., Reed C.* Argumentation Schemes. History, Classifications, and Computational Applications // *Journal of Logics and their Applications*. 2017. Vol. 4, is. 8. P. 2493–2556.
2. *Walton D., Reed C., Macagno F.* Argumentation Schemes. New York : Cambridge university press, 2008.
3. Боброва А.С. Аргументативные схемы как способ изучения рассуждений // *Философский журнал*. 2021. Т. 14, № 2. С. 21–34.
4. *Hintikka J.* Socratic Epistemology: Knowledge: Explorations of Knowledge-Seeking through Questioning. Cambridge, Mass. : Cambridge University Press, 2007.
5. *Paavola S.* Abduction as a logic and methodology of discoveries: The importance of strategies // *Foundations of Science*. 2004. Vol. 9, is. 3. P. 267–283.
6. *Peirce C.S.* The Collected Papers of Charles S. Peirce. 8 vols. Cambridge: Harvard University Press, 1931–1966.
7. *Peirce C.S.* The New Elements of Mathematics. Vol. IV. The Hague : Mouton & Co. B.V. Publishers, 1976.
8. *Pietarinen A.-V.* Abduction and diagrams // *Logic Journal of the IGPL*. 2020. jzz034, <https://doi.org/10.1093/jigpal/jzz034>
9. *Ma M., Pietarinen A.-V.* Let Us Investigate! Dynamic Conjecture-Making as the Formal Logic of Abduction // *Journal of Philosophical Logic*. 2018. Vol. 47. P. 913–945.
10. *Hanson N.R.* The Patterns of Discovery. Oxford, 1958.
11. Рузавин Г.И. Абдукция и методология научного поиска // *Эпистемология и философия науки*. 2001. Т. VI, № 4. С. 18–37.
12. Финн В.К. Синтез познавательных процедур и проблема индукции // *Научно-техническая информация. Серия 2: Информационные процессы и системы*. 2009. № 6. С. 1–37.
13. *Walton D.* Abductive Reasoning. University of Alabama, Tuscaloosa, 2005.
14. *Josephson J.R., Josephson S.G.* Abductive Inference: Computation. Philosophy. Technology. New York : Cambridge University Press, 1994.
15. *Aliseda A.* Abductive Reasoning: Logical Investigations into Discovery and Explanation. New York : Springer, 2006.
16. *Lipton P.* Inference to the Best Explanation. London : Routledge, 2004.
17. *Campos D.* On the distinction between Peirce's abduction and Lipton's Inference to the best explanation // *Synthese*. 2011. Vol. 180. P. 419–442.
18. *Thagard P.* Abductive inference: from philosophical analysis to neural mechanisms // *Inductive Reasoning: Experimental, Developmental, and Computational Approaches*. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. P. 226–247.
19. *Thagard P., Shelley C.P.* Abductive reasoning: logic, visual thinking, and coherence // *Logic and Scientific Methods*. Dordrecht : Kluwer, 1997. P. 413–427.
20. *Magnani L.* Abductive Cognition: The Epistemological and Eco-Cognitive Dimensions of Hypothetical Reasoning. New York : Springer, 2010.
21. *Caterina G., Gangle R.* Iconicity and Abduction // *Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics*. Springer International Publishing AG, 2016. Vol. 29.
22. *Magnani L.* Abduction, Reason and Science: Processes of Discovery and Explanation. New York : Kluwer, Plenum, 2001.
23. *Gabbay D.M., Woods J.* The Reach of Abduction. Insight and Trial. Amsterdam : Elsevier. 2005.
24. *Woods J.* Errors of Reasoning. Naturalizing the Logic of Inference. London : College Publications, 2013.
25. *Kakas A., Kowalski R.A., Toni F.* Abductive logic programming // *Journal of Logic and Computation*. 1995. Vol. 2. P. 719–770.
26. *Chiffi D., Pietarinen A.-V.* Abductive Inference within a Pragmatic Framework // *Synthese*. 2020. Vol. 197. P. 2507–2523.

References

1. Macagno, F., Walton, D. & Reed, C. (2017) Argumentation Schemes. History, Classifications, and Computational Applications. *Journal of Logics and their Applications*. 4(8). pp. 2493–2556.
2. Walton, D., Reed, C. & Macagno, F. (2008) *Argumentation Schemes*. New York: Cambridge University Press.
3. Bobrova, A. (2021) Argumentation schemes as a way of arguments studies. *Filosofskiy zhurnal – The Philosophy Journal*. 14(2). pp. 21–34. (In Russian). DOI: 10.21146/2072-0726-2021-14-2-21-34
4. Hintikka, J. (2007) *Socratic Epistemology: Knowledge: Explorations of Knowledge-Seeking through Questioning*. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.
5. Paavola, S. (2004) Abduction as a Logic and Methodology of Discoveries: The Importance of Strategies. *Foundations of Science*. 9(3). pp. 267–283. DOI: 10.1023/B:FODA.0000042843.48932.25
6. Peirce, C.S. (1931–1966) *The Collected Papers of Charles S. Peirce*. Cambridge: Harvard University Press.
7. Peirce, C.S. (1976) *The New Elements of Mathematics*. Vol. IV. The Hague: Mouton & Co. B. V. Publishers.
8. Pietarinen, A.-V. (2020) Abduction and diagrams. *Logic Journal of the IGPL*. 29(4). pp. 447–468. DOI: 10.1093/jigpal/jzz034
9. Ma, M. & Pietarinen, A.-V. (2018) Let Us Investigate! Dynamic Conjecture-Making as the Formal Logic of Abduction. *Journal of Philosophical Logic*. 47. pp. 913–945. DOI: 10.1007/s10992-017-9454-x
10. Hanson, N.R. (1958) *The Patterns of Discovery*. Cambridge University Press.
11. Ruzavin, G.I. (2001) Abduktsiya i metodologiya nauchnogo poiska [Abduction and methodology of scientific search]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. VI(4). pp. 18–37.
12. Finn, V.K. (2009) Sintez poznavatel'nykh protsedur i problema induksii [Synthesis of cognitive procedures and the problem of induction]. *Nauchno-tehnicheskaya informatsiya. Seriya 2: Informatsionnye protsessy i sistemy*. 6. pp. 1–37.
13. Walton, D. (2005) *Abductive Reasoning*. Tuscaloosa: University of Alabama.
14. Josephson, J.R. & Josephson, S.G. (1994) *Abductive Inference: Computation. Philosophy. Technology*. New York: Cambridge University Press.
15. Aliseda, A. (2006) *Abductive Reasoning: Logical Investigations into Discovery and Explanation*. New York: Springer.
16. Lipton, P. (2004) *Inference to the Best Explanation*. New revised ed. London: Routledge. Originally published in 1991.
17. Campos, D. (2011) On the distinction between Peirce's abduction and Lipton's Inference to the best explanation. *Synthese*. 180. pp. 419–442. DOI: 10.1007/s11229-009-9709-3
18. Thagard, P. (2007) Abductive inference: from philosophical analysis to neural mechanisms. In: Feeney, A. & Heit, E. (eds) *Inductive Reasoning: Experimental, Developmental, and Computational Approaches*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 226–247.
19. Thagard, P. & Shelley, C.P. (1997) Abductive reasoning: logic, visual thinking, and coherence. In: Dalla Chiara, M.L., Doets, K., Mundici, D. & van Benthem, J. (eds) *Logic and Scientific Methods*. Dordrecht: Kluwer. pp. 413–427.
20. Magnani, L. (2010) *Abductive Cognition: The Epistemological and Eco-Cognitive Dimensions of Hypothetical Reasoning*. New York: Springer.
21. Caterina, G. & Gangle, R. (2016) *Iconicity and Abduction. Studies in Applied Philosophy. Epistemology and Rational Ethics*. Springer International Publishing AG.
22. Magnani, L. (2001) *Abduction, Reason and Science: Processes of Discovery and Explanation*. New York: Kluwer, Plenum.
23. Gabbay, D.M. & Woods, J. (2005) *The Reach of Abduction. Insight and Trial*. Amsterdam: Elsevier.
24. Woods, J. (2013) *Errors of Reasoning. Naturalizing the Logic of Inference*. London: College Publications.
25. Kakas, A., Kowalski, R.A. & Toni, F. (1995) Abductive logic programming. *Journal of Logic and Computation*. 2. pp. 719–770.
26. Chiffi, D. & Pietarinen, A.-V. (2020) Abductive Inference within a Pragmatic Framework. *Synthese*. 197. pp. 2507–2523. DOI: 10.1007/s11229-018-1824-6

Сведения об авторе:

Боброва А.С. – кандидат философских наук, доцент. Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия); Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (Москва, Россия). E-mail: angelina.bobrova@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Bobrova A.S. – Cand. Sci. (Philosophy), assistant professor, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russian Federation); National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: angelina.bobrova@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию; 06.08.2021;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 06.08.2021;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022*

Научная статья

УДК 111.1

doi: 10.17223/1998863X/67/2

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ КАТЕГОРИИ «ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ПАРАДИГМЫ

Андрей Николаевич Бурлуцкий

*Российская таможенная академия Ростовский филиал, Ростов-на-Дону, Россия,
aburlutskiy@mail.ru*

Аннотация. Актуализируется проблема определения онтологического смысла категории «виртуальная реальность», описываются формы реализации и тенденций развития виртуальной реальности (VR) в контексте формирования цифровой парадигмы. Анализируются историко-философские взгляды и представления об онтологической возможности виртуальной реальности. Акцентируется внимание на роли современного междисциплинарного дискурса, формирующего теоретическое содержание цифровой парадигмы. Делается вывод о важности практического применения VR-технологий в эпоху цифровизации всех сфер человеческой жизнедеятельности.

Ключевые слова: онтология, историко-философский анализ, цифровая парадигма, виртуальная реальность.

Для цитирования: Бурлуцкий А.Н. Онтологический смысл категории «виртуальная реальность» в контексте формирования цифровой парадигмы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 17–26. doi: 10.17223/1998863X/67/2

Original article

THE ONTOLOGICAL MEANING OF THE CATEGORY “VIRTUAL REALITY” IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF THE DIGITAL PARADIGM

Andrey N. Burlutskiy

*Russian Customs Academy, Rostov-on-Don Branch, Rostov-on-Don, Russian Federation,
aburlutskiy@mail.ru*

Abstract. This article discusses the problem of determining the ontological meaning of the category “virtual reality” in the context of the formation of the digital paradigm. Currently, in the era of the implementation of the megatrends of the fourth industrial revolution (Industry 4.0), the interdisciplinary consideration of such a sociocultural and technical phenomenon as virtual reality (VR) is being updated. Virtual reality as a given (along with objective and subjective reality), as an integral part of the modern worldview, determines the philosophical research and determination of its ontological status. The historical and philosophical analysis of metaphysical concepts carried out in this work focuses on the ontological possibility of virtual reality. The analysis shows that various philosophers and philosophical traditions have addressed the question of the ontological possibility of reality, different from the usual reality of the surrounding world, and answer it as follows: any reality is ontologically possible due to the action of certain laws of change in general and the implementation of the process “from possibility (dynamism) – through action (energy) – to realizability (entelechy)” (Aristotle); the ontological possibility of any reality finds its

potential in our consciousness, because “everything is consciousness” (yogachara); transcending, going beyond the usual empirical explanation of reality, determines the manifestations of the a priori form of pure reason, expressed in the conclusion about the ontological possibility of reality (Kant). Thus, the thesis about the ontological possibility of any reality, including virtual reality, which in the process of implementation acquires objective (materialized, felt) and subjective (thought) characteristics, is substantiated. Currently, virtual reality is a full-fledged reality that has an ontological status, acquired during the creation and implementation of digital technologies, for example, such as virtual (VR), augmented (AR), mixed (MR) reality, the main purpose of which from a scientific point of view is to substantiate the digital picture of the world (digital paradigm), and from a sociocultural point of view to improve the quality of life of a modern person.

Keywords: ontology, historical and philosophical analysis, digital paradigm, virtual reality

For citation: Burlutskiy, A.N. (2022) The ontological meaning of the category “virtual reality” in the context of the formation of the digital paradigm. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 17–26. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/2

Введение

В настоящее время в эпоху цифровизации всех сфер человеческой жизнедеятельности, реализации мегатрендов четвертой промышленной революции (Industry 4.0), например, таких как создание квантового компьютера, усовершенствование блокчейна, оптимизация виртуальной интернет-сети, возникают вопросы: что такое виртуальная реальность и каков онтологический статус виртуальной реальности. Другими словами, формулируется и актуализируется научная междисциплинарная проблема, согласно которой виртуальную реальность следует понимать в контексте материалистического мировоззрения, как реальность, обусловленную физическими, химическими и биологическими процессами (ощущения посредством органов чувств, восприятие пространства и времени и т.п.). Или виртуальная реальность является иным бытием, поскольку позволяет человеку летать, менять свои физические параметры, создавать любые предметы и условия для различных видов коммуникаций, т.е. то, что с материалистической точки зрения невозможно.

Признание онтологического статуса и определение основных характеристик виртуальной реальности в рамках формирования новой цифровой парадигмы есть важная задача современной науки. Современная философия и естествознание при описании и объяснении картин мира оперируют категориями «объективная реальность» и «субъективная реальность», но категория «виртуальная реальность» используется нечасто, в основном применяется в инновационных концепциях, связанных с формированием цифровой парадигмы.

Под объективной реальностью понимается (Л. Фейербах, К. Маркс, И.П. Павлов) материальное бытие во всех его проявлениях и формах, которое не зависит от мыслящего субъекта и описывается тремя онтологическими понятиями – «движение», «время» и «пространство». Под субъективной реальностью понимается (И. Кант, Э. Гуссерль, Н. Бор) идеальное бытие, создаваемое и реализуемое человеческим сознанием в таких онтологических формах, как мысли, понятия, умозаключения, концепции. Виртуальная реальность в этом контексте находится где-то между объективной и субъективной реальностью и опосредуется ими: во-первых, она при помощи техниче-

ских средств имитирует объективную реальность, данную нам в ощущениях (зрение, слух, осязание и т.п.) и восприятиях (пространство, время, движение и т.п.); во-вторых, она онтологически возможна, если следовать, например, мировоззренческому принципу Парменида: «мышление тождественно бытию; все, что я мыслю, существует; вне мышления бытия нет, это небытие». Виртуальная реальность потенциально возможна как реальность (бытие), при этом необходимо определение ее собственного онтологического статуса и онтологического смысла.

Важно отметить, что понятие «виртуальная реальность» в научный оборот в 1984 г. ввел Джарон Ланье (разработчик технологий биометрии и визуализации данных, сотрудник Microsoft, писатель, футуролог), который рассматривает VR как «один из научных, философских и технологических рубежей нашей эпохи. Это средство создания совершенных иллюзий присутствия в ином месте, фантастической чуждой среде, а возможно, даже в нечеловеческом теле. Кроме того, это многообещающий инструмент для изучения самого человека и его неограниченных возможностей» [1. С. 8].

Цель данной работы заключается в обосновании онтологической возможности виртуальной реальности на основе историко-философского анализа, а также в описании форм реализации и тенденций развития виртуальной реальности в контексте формирования цифровой парадигмы.

Виртуальная реальность как онтологическая возможность: историко-философский анализ

Современные достижения технического прогресса в области компьютеризации и цифровизации, рост применения технологий VR во всех сферах человеческой жизнедеятельности обусловили исследовательский интерес к такому техническому и социокультурному феномену, как виртуальная реальность. Сегодня можно говорить о существовании нового междисциплинарного научного направления – виртуалистики [2], которая в рамках философского осмысления представлена разными концептуальными подходами.

Основными подходами к формулировке категории «виртуальная реальность» (VR) являются: технический, культурологический, психологический, онтологический.

Технический подход трактует категорию «виртуальная реальность» следующим образом: виртуальная реальность есть иллюзорность, имитация реальности, реализуемая посредством компьютерных технологий (Д. Ланье); виртуальная реальность – это параллельно существующая реальность, созданная информационными технологиями и сетью Интернет (А. Бюль); виртуальная реальность – это отчуждение человека от собственного физического тела и замена его цифровым телом (А. Крокер, М. Вейнстейн) [3. С. 93–94].

Культурологический подход трактует категорию «виртуальная реальность» следующим образом: виртуальная реальность – это гиперреальность или мир образов, замена непосредственных социокультурных ценностей, опыта, симулякрами – «отчужденными знаками» (Ж. Бодрийяр) [4. С. 76–77]; виртуальная реальность – это продукт реализации цифровых компьютерных технологий в информационном обществе (М. Кастельс).

Психологический подход трактует категорию «виртуальная реальность» следующим образом: виртуальная реальность – это часть полионтичного бы-

тия (наличие разных онтологических реальностей) и особое психическое состояние человека, когда он переживает переход из «константного» мира в виртуальный (А.Н. Носов); виртуальная реальность есть субъективно созданная реальность, которая существует в сознании человека (В.М. Розин) [3. С. 94–95].

Онтологический подход трактует категорию «виртуальная реальность» следующим образом: виртуальная реальность – это особая конструируемая реальность, которую можно трансформировать в рамках трехмерного пространства и измерять реальным временем (Е.Е. Таратута); виртуальная реальность есть актуальность бытия «здесь» и «сейчас» (М.Ю. Опенков); виртуальная реальность – это не «онтологическое событие», поскольку она порождена недостатком производящей энергии в аристотелевском смысле, виртуальная реальность есть «недород бытия», «недо-обналиченное событие», она нереальна в онтологическом смысле (С.С. Хоружий) [5. С. 52–53].

Виртуальная реальность как предмет философской рефлексии предполагает рассмотрение вопроса об ее онтологическом статусе, онтологической возможности. Следует отметить, что в индоевропейских языках слово «виртуальный», в основе которого лежит корень *vrt*, обозначает возможность (лат. «*virtualis*» – возможный), волнение, вращение, движение или изменение (санскр. «*vrtti*» – вращение), верчение, бурление (старославянское «верьти» – бурлить, кипеть), возможность, потенциальность, фактичность, действительность (англ. «*virtual*» – в сущности являющийся) [6. С. 20–21]. Таким образом, исходя из этимологии слова, виртуальная реальность – это то, что потенциально возможно, то, что посредством движения, изменения, энергии, овеществления проявляет себя и фиксируется нами, то, что в сущности является, т.е., имеет онтологический статус.

Виртуальная реальность такая же реальность, как и субъективная и объективная реальность, поскольку она мыслится и проявляется. Сегодня, когда виртуальная реальность пронизывает все сферы человеческой жизнедеятельности, можно говорить о ее субъективной (мыслится) и объективной (проявляется, материализуется) сторонах, а не о том, какой реальностью она является. Виртуальная реальности онтологически возможна и дана (наличное бытие).

Правда, в философской литературе существует мнение, согласно которому виртуальная реальность – это «недород бытия в смысле таксономических категорий, равно как и в смысле рождающего бытийного импульса» [7. С. 66]. Здесь надо оговориться и указать, что такой подход и критика основываются на сравнении креативной возможности реальности на основе реализации потенциальной энергии. В этом контексте виртуальная реальность как результат реализации творческой энергии человека проигрывает реальности, созданной Богом, и религиозному креационизму, обоснование которого широко освещено в христианском богословии, например в учении исихастов.

Онтологическая возможность виртуальной реальности как потенциально реализуемое и осуществленное, как «мыслимое и проявленное» актуализируется в рамках небольшого историко-философского анализа различных философских традиций.

В контексте античной философской традиции онтологическую возможность виртуальной реальности можно обосновать, опираясь на метафизиче-

ское учение Аристотеля (384–322 гг. до н.э.). Аристотель для описания «обналиченного бытия через действие», «онтологического события», процесса обретения онтологического статуса реальностью использует следующие категории: 1) «динамизм» (греч. «*dynamis*», лат. «*potentia*») – возможность, способность изменяться; 2) «энергия» (греч. *energeia*) – действие, осуществление; 3) энтелехия (греч. *entelecheia*) – осуществленность, приобретение онтологического статуса. Он указывает, что «способностью, или возможностью (*dynamis*), называется начало движения или изменения вещи, находящееся в ином или в ней самой...» (Мет. V 12, 1019a 15) [8. С. 162], что действие (*energeia*) «это существование вещи не в том смысле, в каком мы говорим о сущем в возможности, а в смысле осуществления» (Мет. IX 6, 1048a 30–35) [8. С. 241] и что сущность, реальность приобретает онтологический статус, когда она находится «в состоянии осуществленности» (*entelecheia*) (Мет. VII 13, 1039a 15–17) [8. С. 215]. Таким образом, Аристотель обосновывает онтологическую возможность любой реальности (в нашем случае виртуальной реальности), и потенциальной, и проявленной, существующей как процесс «от возможности – через действие – к осуществленности».

Сформировавшаяся в системе буддийской философии махаяны (одно из направлений буддизма) философская традиция йогачара, основателями которой являются Асанга и Васубандха (IV–V вв.), онтологическую возможность любой реальности объясняет тезисом «все есть только сознание» (виджняна-матра). Неслучайно эту философскую традицию еще называют виджняна-вада, т.е. «учение об активном сознании». Йогачара указывает, «что вначале развертывающееся вовне сознание само конструирует объекты привязанности, перенося на них свои свойства и качества, а потом само же „хватается“ за них, формируя влечения и привязанности» [9. С. 159]. Хотя учение йогачары преследует сотериологические цели (нирвана, мокша), а предметом анализа делает поток познающего сознания (скандхи) посредством органов чувств и мышления (виджняна), оно актуализирует онтологическую возможность любой реальности в нашем сознании, в том числе и виртуальной.

В рамках европейской философской традиции Нового времени, а именно критической философии Иммануила Канта (1724–1804 гг.), онтологическую возможность виртуальной реальности можно обосновать, используя категорию «трансцендирование». Трансцендирование (лат. *transcensus* – выход) – это субъективный акт мышления, предполагающий конструирование новой реальности посредством «выхода» из обыденности и отказа от мировоззрения, основанного на данных эмпирического познания. Трансцендирование обнаруживается в творческой активности «чистого разума», который, будучи средством трансцендентального сознания, направлен на созерцание и обоснование априорных (*a priori*) реальностей. «Трансцендентальная (субъективная) реальность чистых понятий разума основывается на том, что к таким идеям приводит нас необходимое умозаключение» [10. С. 239]. Исходя из кантовского понимания трансцендирования следует сделать вывод, что онтологически виртуальная реальность возможна, например, как априорная форма чистого разума, т.е. умозаключение.

Историко-философский анализ показал, что различные философы, философские традиции обращались к вопросу об онтологической возможности реальности, отличной от привычной реальности окружающего мира, и отве-

чали на него следующим образом: любая реальность онтологически возможна в силу действия определенных законов изменения вообще и реализации процесса «от возможности (динамизм) – через действие (энергия) – к осуществленности (энтелехия)» (Аристотель); онтологическая возможность любой реальности находит свой потенциал в нашем сознании, потому что «все есть сознание» (йогачара); трансцендирование, выход за привычное эмпирическое объяснение реальности, обуславливает проявление априорной формы чистого разума, выраженной в умозаключении по поводу онтологической возможности любой реальности (Кант). Таким образом, любая реальность, в том числе и виртуальная, онтологически возможна.

Онтологическая возможность виртуальной реальности в полной мере реализовалась в настоящее время, поскольку технологии VR широко применяются во всех сферах человеческой жизнедеятельности (медиаиндустрия, образование, медицина и т.п.), а сама виртуальная реальность стала составной частью цифровой парадигмы.

Виртуальная реальность как составная часть цифровой парадигмы

Цифровая парадигма – это мировоззрение, теоретические концепции, рациональные формы понимания и объяснения явлений окружающей действительности, согласно которым цифровые технологии имеют приоритетное значение для настоящего и будущего развития человечества.

Формирование цифровой парадигмы напрямую связано с современными процессами цифровой трансформации общества – результата реализации мегатрендов четвертой промышленной революции (Industry 4.0), обусловившей технологический прорыв и кардинальные изменения в экономической, социальной и культурной жизни.

В рамках цифровой парадигмы описываются основные тенденции четвертой промышленной революции: создание цифровой экономики как виртуальной реальности; развитие новых цифровых технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности; создание и эффективное использование искусственного интеллекта (AI); развитие интернета вещей и услуг; организация и управление промышленным производством на основе «больших данных» (Big Data); развитие трехмерной печати (3D-печать); создание цифровых платформ и блокчейнов (blockchain); использование квантовых компьютеров; создание автономных роботов и новых материалов; развитие нанотехнологий, биотехнологий и энергосберегающих технологий [11. С. 17].

Виртуальная реальность как один из мегатрендов четвертой промышленной революции является частью цифровой парадигмы. Виртуальная реальность на основе технических средств и технологий создает альтернативное видение, понимание, объяснение физических и социокультурных феноменов, т.е. качественно характеризует цифровое мировоззрение, которое, в свою очередь, порождает новый стиль коммуникаций и восприятие бытия. Таким образом, формируется «новый тип культуры трансформации, обусловленный развитием современного этапа электронных коммуникаций и выражающийся в формировании нового ценностно-смыслового и символического пространства, обеспечивающего условия для становления новых культурных практик и форм человеческой деятельности, а также способов идентификации лично-

сти, правового регулирования общества и логики экономического разнообразия» [12. С. 54–55].

Важно отметить, что цифровая парадигма акцентирует внимание на понимании виртуальной реальности как результате технического прогресса. Технический подход к виртуальной реальности сделал ее по настоящему реальной, поскольку цифровые технологии позволили непосредственно воздействовать на органы чувств и осуществить виртуальную реальность в полной мере. Сегодня VR-технологии широко применяются в профессиональном образовании (VR-тренажеры рабочего места), медицине (VR-репетиции хирургических вмешательств), культуре (VR-экскурсии по музеям в интернет-пространстве), в банковском деле (VR-банкинг). Техническое воплощение виртуальной реальности вывело ее из субъективного рефлексивного поля, наделило онтологически объективными характеристиками, сделало ее потенциально возможной и осуществленной. Таким образом, виртуальная реальность предстает как «определенная техника, которая может применяться в различных обстоятельствах и в зависимости от этого использоваться для конструирования различных конкретных значений» [13. С. 120].

Виртуальная реальность как техническое решение связана с другими видами реальности, а именно с дополненной (AR) и смешанной (MR). «Виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и смешанная реальность (MR) – это мощные технологии, которые позволяют заменить реальную жизнь на восприятие виртуальной жизни, искусственным образом стимулируя наши чувства и обманывая наше тело в принятии другой версии реальности» [14. С. 4].

Как современные цифровые технологии эти виды реальности имеют разное функциональное предназначение и выполняют разные задачи.

VR (virtual reality) – это созданное при помощи технических средств пространство, с которым человек взаимодействует посредством органов чувств. Технологии VR позволяют полностью (или частично) погрузиться в искусственно сгенерированное 3D-пространство. Человек, надев VR-шлем (очки), попадает в искусственно созданный трехмерный компьютерный сюжет (штурвал самолета, руль автомобиля и т.п.) [15].

AR (augmented reality – дополненная или расширенная реальность) – это технология, при которой виртуальные элементы переносятся в реальный мир при помощи сенсорных данных. AR-технология способна как дополнять существующее пространство различными объектами, так и убирать с изображения любые элементы реального мира. Примером использования AR-технологий является мобильная игра «Pokemon GO» [15].

MR («mixed reality» – смешанная реальность). MR-технологии объединяют в себе элементы VR- и AR-технологий, при применении которых происходит совмещение изображений двух миров: реального и виртуального. Присутствуя в реальном мире, человек может видеть и виртуальные элементы, которые практически не отличаются от настоящих предметов. Надев специализированные очки, человек видит прежним окружающее пространство, но к нему может быть добавлен 3D-объект [15].

Таким образом, виртуальная реальность, обналичив свое бытие в техническом воплощении, качественно характеризует современную цифровую парадигму, которая фиксирует и отражает любые значимые теоретические кон-

цепции и технические разработки в сфере науки и техники. Важно отметить, что цифровые технологии прежде всего направлены на улучшение качества жизни современного общества. В этом контексте виртуальная реальность (VR) и связанные с ней дополненная (AR) и смешанная (MR) реальность представляются как потенциально необходимые технологии, обуславливающие дальнейшее прогрессивное развитие человечества.

Заключение

Итак, проведенное исследование проблемы определения онтологического смысла категории «виртуальная реальность» в контексте формирования цифровой парадигмы определило авторскую позицию, которая заключается в тезисе «виртуальная реальность имеет онтологический статус, она реальна также, как и другие виды реальности». Исходя из позиции, основанной на историко-философском анализе концепций и представлений об онтологической возможности любой реальности (Аристотель, И. Кант, Йогачара), в том числе и виртуальной, а также на описании форм реализации и тенденций развития виртуальной реальности (VR) в контексте современной цифровой парадигмы, автор сделал соответствующие выводы. Во-первых, онтологический смысл категории «виртуальная реальность» заключается в том, что виртуальная реальность понимается так же, как субъективная и объективная реальность, поскольку о ней можно думать (говорить) и она дается нам в ощущении. Такое понимание виртуальной реальности особенно важно в эпоху формирования цифровой парадигмы, когда будущее человечества напрямую связано с цифровыми технологиями (например, профессиональная виртуальная среда в авиации, медицине и т.п.). Во-вторых, виртуалистика в целом и виртуальная реальность в частности являются актуальными предметами междисциплинарного исследования, которое обуславливается необходимостью философского осмысления и технической реализацией такого быстро развивающегося феномена, как VR-технологии. В-третьих, междисциплинарный дискурс, возникший в контексте формулировки категории «виртуальная реальность», обозначил основные приоритетные подходы к определению и описанию этого явления, а именно технический, культурологический, психологический и онтологический подходы. В-четвертых, этимологический разбор слова «виртуальный» и историко-философский анализ онтологической возможности реальности показали, что виртуальная реальность потенциально возможна и обладает онтологическим статусом, который характеризует ее с субъективной (мыслится) и объективной (проявляется, материализуется) сторон. В-пятых, формирование современной цифровой парадигмы напрямую связано с процессами цифровой трансформации общества как результатом реализации мегатрендов четвертой промышленной революции (Industry 4.0). В-шестых, виртуальная реальность приобретает онтологический статус в процессе создания цифровых технологий, таких как виртуальная (VR), дополнительная (AR) и смешанная (MR), основным предназначением которых является улучшение качества жизни современного общества.

Список источников

1. Ланье Д. На заре новой эры. Автобиография «отца» виртуальной реальности. М. : Эксмо, 2019. 496 с.

2. Носов Н.А. Манифест виртуалистики. URL: http://www.virtualistika.ru/vip_15.html (дата обращения: 30.03.2021).
3. Гаврилов А.А. Осмысление феномена виртуальной реальности в философском дискурсе // Омский научный вестник. 2014. № 2 (126). С. 93–96.
4. Кирюшин А.Н. Виртуальная реальность: методологические традиции и инновации исследования // Вестник Военного университета. 2009. № 4 (20). С. 75–80.
5. Первушина В.Н., Хуторной С.Н. Виртуальная реальность: методологические подходы к определению понятия // Вестник ВГУ. Серия: Философия. 2016. № 4. С. 52–64.
6. Носов Н.А. Виртуальная психология. М. : Аграф, 2000. 432 с.
7. Хоружий С.С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности // Вопросы философии. 1997. № 6. С. 53–68.
8. Аристотель. Метафизика // Сочинения в 4 т. М. : Мысль, 1976. Т. 1. 550 с.
9. Торчинов Е.А. Философия буддизма Махаяны. СПб. : Петербургское Востоковедение, 2002. 320 с.
10. Кант И. Критика чистого разума. М. : Мысль, 1994. 591 с.
11. Цифровая экономика. Бизнес-процессы электронной таможни: учебник / под ред. В.Б. Мантусова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. 415 с.
12. Информационная эпоха: новые парадигмы культуры и образования / О.Н. Астафьева, Л.Б. Зубанова, Н.Б. Кириллова и др.; отв. ред. Н.Б. Кириллова. Екатеринбург : УрФУ, 2019. 292 с.
13. Таратута Е.Е. Философия виртуальной реальности. СПб. : СПбГУ, 2007. 147 с.
14. Смолин А.А., Жданов Д.Д., Потемин И.С., Меженев А.В., Богатырев В.А. Системы виртуальной, дополненной и смешанной реальности: учебное пособие. СПб. : Университет ИТМО, 2018. 59 с.
15. Виртуальная реальность – что это, технологии и особенности. URL: <https://kodtime.ru/virtualnaya-realnost-chto-eto-tehnologii-i-osobennosti/> (дата обращения: 30.03.2021).

Reference

1. Lanier, D. (2019) *Na zare novoy ery. Avtobiografiya "otts" virtual'noy real'nosti* [Dawn of the New Everything. Encounters with Reality and Virtual Reality]. Translated from English by E. Voronovich. Moscow: Eksmo.
2. Nosov, N.A. (n.d.) *Manifest virtualistiki* [Virtualist Manifesto]. [Online] Available from: http://www.virtualistika.ru/vip_15.html (Accessed: 30th March 2021).
3. Gavrilov, A.A. (2014) Understanding “virtual reality” phenomenon in philosophic discourse. *Omskiy nauchnyy vestnik – Omsk Scientific Bulletin*. 2(126). pp. 93–96. (In Russian).
4. Kiryushin, A.N. (2009) Virtual'naya real'nost': metodologicheskie traditsii i innovatsii issledovaniya [Virtual Reality: Methodological Traditions and Research Innovations]. *Vestnik Voennogo universiteta*. 4(20). pp. 75–80.
5. Pervushina, V.N. & Khutornoy, S.N. (2016) Virtual reality: methodological approaches to the definition of the notion. *Vestnik VGU. Seriya: Filosofiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: Philosophy*. 4. pp. 52–64. (In Russian).
6. Nosov, N.A. (2000) *Virtual'naya psikhologiya* [Virtual Psychology]. Moscow: Agraf.
7. Khoruzhiy, S.S. (1997) Rod ili nedorod? Zаметki k ontologii virtual'nosti [Genus or Non-Genus? Notes on Ontology of Virtuality]. *Voprosy filosofii*. 6. pp. 53–68.
8. Aristotle. (1976) *Sochineniya: v 4 t.* [Works: in 4 vols]. Vol. 1. Translated from Greek. Moscow: Mysl'.
9. Torchinov, E.A. (2002) *Filosofiya buddizma Makhayany* [Philosophy of Mahayana Buddhism]. St. Petersburg: Peterburgskoe Vostokovedenie.
10. Kant, I. (1994) *Kritika chistogo razuma* [Criticism of Pure Reason]. Translated from German. Moscow: Mysl'.
11. Mantusov, V.B. (ed.) (2020) *Tsifrovaya ekonomika. Biznes-protsessy elektronnoy tamozhni* [Digital Economy. Business Processes of Electronic Customs]. Moscow: YuNITI-DANA.
12. Astafieva, O.N., Zabanova, L.B., Kirillova, N.B. et al. (2019) *Informatsionnaya epokha: novyye paradigmy kul'tury i obrazovaniya* [Information Age: New Paradigms of Culture and Education]. Yekaterinburg: UrFU.
13. Taratuta, E.E. (2007) *Filosofiya virtual'noy real'nosti* [Philosophy of Virtual Reality]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.

14. Smolin, A.A., Zhdanov, D.D., Potemin, I.S., Mezhenin, A.V. & Bogatyrev, V.A. (2018) *Sistemy virtual'noy, dopolnennoy i smeshannoy real'nosti* [Systems of Virtual, Augmented and Mixed Reality]. St. Petersburg: ITMO University.

15. KOD. (n.d.) *Virtual'naya real'nost' – chto eto, tekhnologii i osobennosti* [Virtual reality – what is it, technologies and features]. [Online] Available from: <https://kodtime.ru/virtualnaya-realnost-chto-eto-tehnologii-i-osobennosti/> (Accessed: 30th March 2021).

Сведения об авторе:

Бурлуцкий А.Н. – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, Федеральная таможенная служба России, Российская таможенная академия Ростовский филиал (Ростов-на-Дону, Россия). E-mail: aburlutskiy@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Burlutskiy A.N. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor, Federal Customs Service of Russia, Russian Customs Academy, Rostov-on-Don Branch (Rostov-on-Don, Russian Federation). E-mail: aburlutskiy@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 03.04.2021;

одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022

The article was submitted 03.04.2021;

approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научная статья

УДК 130.2 + 165.1

doi: 10.17223/1998863X/67/3

СПЕЦИФИКА ПОЗНАНИЯ ПОСТСОВРЕМЕННОГО СУБЪЕКТА НА ФОНЕ ЦИНИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ СОЗНАНИЯ

Ангелина Валерьевна Гукова

*Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Томск, Россия,
angelina.gukovaa@yandex.ru*

Аннотация. Предпринята попытка реконструировать эпистемические стратегии современного субъекта, проблематизированного в контексте спорадически усложняющегося социокультурного устройства. Показано, что познавательная стратегия связана с установкой субъекта на минимизацию психоэмоциональных трат и осуществляется как особым образом явленный модус деконструкции, разворачивающийся на фоне цинической установки сознания.

Ключевые слова: постсовременность, информация, цинизм, деконструкция, постправда

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 18-18-00057, <https://rscf.ru/project/18-18-00057/>

Для цитирования: Гукова А.В. Специфика познания постсовременного субъекта на фоне цинической установки сознания // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 27–00. doi: 10.17223/1998863X/67/3

Original article

THE SPECIFICS OF COGNITION OF A POSTMODERN SUBJECT AGAINST THE BACKGROUND OF A CYNICAL ATTITUDE OF CONSCIOUSNESS

Angelina V. Gukova

*Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Tomsk,
Russian Federation, angelina.gukovaa@yandex.ru*

Abstract. The variety of connotations related to modern society indicates the incredible difficulty in determining the properties and characteristics of the current sociocultural reality. One of the most revealing characteristics is an indication of total hyperinformatization, accompanied by a change in the conceptual status of “knowledge” and a specific convergence of “knowledge” and “information”. Information becomes a constant element of everyday interaction, as a result of which the subject, living in a sociality that is constantly becoming more complex, has a need for its own epistemological strategies for dealing with information. At the same time, the subject itself is undergoing changes associated with rapidly growing changes in the social field and the impossibility, in connection with this, to find a stable basis for building one’s own subjectness. The article attempts to characterize the cognitive strategy of the postmodern subject against the background of the unfolding cynical attitude of consciousness, designed to compensate for the “trauma” and “split” of such consciousness. In connection with this, the cognitive strategy is associated with the subject’s attitude to minimize psycho-emotional costs and unfolds as a special way, a manifest mode

of deconstruction. Deconstruction, therefore, is understood as a simplification and modification of social reality to the point where cost minimization is possible. The article shows that such deconstruction is based on the reduced expectations of the individual regarding hidden motives in the behavior of the Other, on the basis of which one “reassembles” the social reality for oneself and creates a “story”, in which one constructs an understanding of “truth-for-itself”. Thus, the ontological statuses of the concepts “truth” or “falsehood” will not be of fundamental importance for the subject, since it will rely on the clarity and definability of these settings for itself. The very concept of “knowledge” becomes synonymous with the concepts of “convenient”, “acceptable” and “relevant”.

Keywords: postmodernity, information, cynicism, deconstruction, post-truth

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-18-00057, <https://rscf.ru/project/18-18-00057/>

For citation: Gukova, A.V. (2022) The specifics of cognition of a postmodern subject against the background of a cynical attitude of consciousness. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 27–00. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/3

Субъект как актор познания – необходимая сторона «субъект-объектной» оппозиции в классической эпистемологической позиции. Говоря о субъекте, Г.В.Ф. Гегель указывал на то, что исследовать сознание в отрыве от социальных условий – форм проявления этого сознания – невозможно [1]. Так, одной из проблем современной эпистемологической традиции является проблематика субъекта как постоянно трансформирующегося и изменяющегося концепта, включающего в себя индивидуально-психологические характеристики, социальные аспекты, конструирующие сам каркас индивидуального и даже социального пространства. Сложно обойтись без включения всех этих аспектов в поле исследования, посвященного проблеме понимания и познания, осуществляемых субъектом. Социальный субъект является продуктом интерсубъективной коммуникации, социальных структур и т.д. В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос, каков контекст той ситуации, в которой возникает и действует современный субъект, как можно характеризовать такого субъекта и какие познавательные стратегии он может реализовывать в процессе своего взаимодействия с постсовременной организацией социокультурной среды.

Обилие маркировок – «постмодернистское», «информационное», «Новое Средневековье», и т.д. – свидетельствует о чрезвычайном разнообразии в выборе точек опоры для указания на специфику современности. Вслед за множественными коннотациями и обозначениями, призванными описательно и онтологически охарактеризовать все многообразные и, зачастую, противоречивые черты актуального общества, стоит еще раз отметить высвечивающуюся проблему субъекта, вынужденного ориентироваться и жить в указанном, по меткому замечанию Ж. Делеза и Ф. Гваттари, «ризоматическом» поле [2]. Подобное положение дел не может не наводить на мысль о том, что субъект, конструируемый подобным социальным порядком, вынужден реагировать на все сложившиеся изменения, подстраиваясь, адаптируясь или сосуществуя с постоянно изменяющейся и переопределяющей себя реальностью, в которой важное место занимают *информационные процессы*, приводящие к изменению статуса такого понятия, как «знание», и к определенной концептуальной конвергенции «знания» и «информации».

Так, Ж.Ф. Лиотар характеризует постсовременность как «недоверие в отношении метарассказов» [3. С. 10], к которым он причисляет, например, «герменевтику смысла», «диалектику Духа» и т.д. Слова Ж.Ф. Лиотара можно трактовать как указание на установку, пронизывающую и определяющую постсовременную эпоху как особую реакцию на кризис легитимации, возникающий в позднем модерне в связи с нарастающим недоверием к подобного рода организующим объяснительным системам. В работе «Состояние пост-модерна» автор фиксирует изменение статуса знания, связанное с распадом механизмов легитимации, обусловленным рядом обстоятельств, среди которых можно отметить изменение взаимоотношений между наукой, обществом и производством, травматические события XX в., ведущие к пересмотру значимости и смысла метарассказов, которые утрачивают свои легитимирующие функции. Следует заметить, что уже здесь, по мысли автора, проблема легитимации выходит за пределы исключительно научных языковых игр, поскольку распространение и потребление информации становится одним из основных социальных факторов и переходит в поле повседневного взаимодействия.

Сложившийся новый тип современной реальности характеризуется изменившимся значением экономики, которая выступает как структурирующая сила и описательная среда для многих общественных сфер (включая сферу межличностных отношений); подозрительным отношением к социальным начинаниям, воспринимаемым как репрессивные, пагубные или, более того, заведомо провальные; нарастающим восприятием индивидом неаутентичности, «иллюзорности» собственной жизни, строящимся на увеличении в культуре симулятивной составляющей.

В социальности, организованной по принципу игры разных смыслов, попросту невозможно существование однозначных моральных, эстетических, эпистемологических и тому подобных критериев. Можно сказать, что указанная пространственная организация влечет за собой девальвацию «золотого эталона» – по-своему стабильных и надежных правил организации – и, как следствие, провоцирует дискурс в духе Ж. Бодрийяра: в ходу оказывается терминология, которая задействует метафоры «дрейф», «флуктуация», «зыбкость» [4].

Все вышесказанное позволяет предположить, что применительно к постсовременности любой разговор об истине затруднен, во-первых, в силу переизбытка информированности, а во-вторых, по причине того, что сама реальность настойчивым образом «фабрикуется» и представляет собой очередную симуляцию. Медиареальность предлагает картину мира, перенасыщенную разного рода образами, но образами без содержания. Такая перенасыщенность сознания информацией, знаками, образами и невозможность их отбора рождает амбивалентность в восприятии индивидом действительности. Он вынужден перманентно примерять на себя, поддерживать и изменять в каждый момент времени множественные и, чаще всего, противоречивые матрицы идентичности. Указанный горизонт выступает средой для формирования субъекта с особым типом мироощущения. Такого субъекта следует охарактеризовать через определенную структуру его сознания, которую вслед за П. Слотердайком мы можем назвать «цинизмом». П. Слотердаик разоблачает каждого индивида как «циника» в том смысле, что каждый из нас является

носителем «расколотого», «разорванного» и «несчастливого» сознания созданного усилиями Просвещения, чьи установки не оправдали себя в глазах современного индивида [5]. Зная и усвоив гуманистические установки, он предпочитает отвергать их в угоду собственным эгоистическим соображениям. В этом смысле пущенные в ход адаптивные стратегии находят свое отражение в репрезентации событий социальной действительности, в том, каким социальный мир предстает наблюдателю. Следует заметить, что циническое сознание в данном развороте – это сознание субъекта, который нашел в себе силы и возможности встроится в логику социальной активности при указанных условиях. Современный субъект пытается отыскать способы своего осуществления в сложившейся ситуации и циническая установка сознания во многом является ответом на комплекс разворачивающихся перед индивидом проблем.

Субъект, о котором идет речь, испытывает постоянное давление со стороны *общественного* – макросоциальных институтов, культуры в ее нормирующей ипостаси и информационной среды в последнее время все в нарастающей степени: так артикулирует себя постоянное усложнение наличного социального бытия. Необходимость адаптироваться к меняющимся условиям сосуществования-с-другими вынуждает субъекта прибегать к посильным средствам адаптации, призванным защитить в первую очередь психоэмоциональную сферу индивида. С. Жижек в своем имеющем пересечение с философской дискуссией кинопроекте «Киногид извращенца: Идеология» (2012) указывает, что современное сознание вряд ли способно вернуться к тому типу естественности и наивности, которому оно когда-то принадлежало и который безвозвратно утрачен. Оно цинично именно в силу того, что знает о скрытых механизмах своего функционирования, но не собирается ничего с этим делать. Таким образом, сформировалось мироощущение травмы, которое легло в основу современного видения мира, с его критическим отношением к возможностям познания реальности, достижения истины и устойчивых ценностных ориентиров.

Можно утверждать, что цинизм является особой «компенсаторной» разновидностью такого «несчастливого» сознания и, как следствие, реализует особые адаптивные стратегии в горизонте цинической установки. Следует обратить внимание, что амбивалентность установок современного субъекта заключается и в том, что наряду с уклонением от необходимости как-то действовать у современного субъекта можно отчетливо проследить потребность в обретении устойчивого основания, требуемого для внятной идентификации и легитимации знания в ситуации гиперинформированности. Таким образом, циническая установка сознания создает особые условия для познания и отношения к знанию.

Для иллюстративного описания современного состояния взаимоотношений субъекта с такими понятиями, как «информация», «истина» и «знание», можно обратиться к показательному феномену «постправды» – концепту, проблематизированному в социально-эпистемологических исследованиях последних десятилетий. Если адресоваться к определению, данному в Оксфордском словаре, то «постправду» можно определить как «обстоятельства, в которых люди реагируют в большей степени на чувства и убеждения, нежели на факты» [6]. С. Фуллер, в работе «Постправда: Знание как борьба за

власть» позиционирует всю современную эпоху как эпоху «постправды» и указывает, что для того, чтобы добраться до «истины», скрытой среди множественных полей неистинного, нужно проверить минимум три аспекта информации. Сюда входят: проверка истинности предложений, в которых сформулирована информация, затем уточнение полноты информации, которую они содержат и, наконец, контроль добросовестности источника этой информации [7]. В условиях современной тотальной информатизации такая проверка практически невозможна или оказывается настолько затратной, что субъект предпочтет отказаться от нее. В такой ситуации «мнение» или «убежденность», в основании которых лежит установка на то, какие эмоции индивид испытывает по поводу полученной информации, оказываются более предпочтительными основаниями для выбора того, что субъект посчитает достоверным, поскольку он не обладает достаточными ресурсами, чтобы разобраться в истоках и источниках постправды. Истину С. Фуллер и вовсе называет не более чем «маской легитимности» [7. С. 17].

В формах познавательной активности, оформленной циническим способом, конституируется особая эпистемическая стратегия постсовременного субъекта – рефлексивная стратегия обращения с информацией в ситуации ризомности и гиперинформированности наличной социальности. Это стратегия понимания, которую современный субъект пускает в ход в ситуации, когда он не уверен в устойчивости оснований для обращения с информацией для определения того, что правомерно и легитимно считать «знанием». Однако рефлексивность современного субъекта имеет специфический разворот, связанный с описанной выше травмированностью сознания.

Ф. Джеймисон отмечает, что современный субъект живет в вечном настоящем, лишенном прошлого и будущего [8], – индивид, страшась столкнуться с последствиями своих действий, разбивает время на серию завершенных «настоящих». Тем самым Ф. Джеймисон указывает на современного субъекта как на субъекта мифологического, дорефлексивного, в известной мере отлученного от собственной критической способности. Хотя, благодаря цинической установке сознания, тот же субъект получает в свое распоряжение дополнительный критический навык. Такого рода рефлексивность можно обозначить как «избирательную» – что-то ускользает от рефлексии, в то время как что-то другое воспринимается им обостренным образом, исходя из соображений удобства и психологического комфорта.

Таким образом, эпистемическая стратегия цинического субъекта одновременно рефлексивная и адаптивная (эмоциональная). Сознание современного субъекта – это сознание, которое и противостоит миру, и стремится встроиться в него. Отсюда и амбивалентность познавательной стратегии сознания, которое воспринимает классическое понимание «знания» как репрессивное и подозрительно относится к любому устойчивому утверждению, но вместе с тем стремится создать для себя хоть сколько-нибудь однозначные формы «легитимации» знания для отделения той части информационного поля, которую можно позиционировать как «соответствующую действительности-для-индивида».

Ж. Бодрийяр указывает на то, что в культуре воспроизводится господствующий код, который и выступает в качестве универсального закона ценности [4]. Таким организующим постсовременность кодом выступает «по-

ребление», за которым следует модель «человека-потребителя». Данная модель выступает в качестве усредненной, приемлемой и вписывающейся в установки современности, потому цинический субъект примеряет данную модель на себя, не желая противопоставления с социумом. Тем не менее подобная модель воспринимается циническим субъектом как «навязанная извне» общественными установками.

Информация также становится одним из элементов «потребления», входящим в горизонт повседневного действия индивидов, но потребления, проходящего через фильтр «избирательной рефлексивности», которую демонстрирует такой субъект. Предпримем попытку концептуализировать эпистемическую стратегию, которую реализует для себя современный цинический субъект.

В работе «Исследования по этнометодологии» Г. Гарфинкель утверждает, что в основании всех повседневных взаимодействий можно обнаружить особые «фоновые ожидания», которые организуют эти контакты на всех уровнях. Поскольку потребление информации циническим субъектом тоже организовано в повседневном поле такого взаимодействия, то в основании его обращения с ней лежат особые фоновые ожидания, которые конституированы травматическим, несчастным сознанием постсовременного субъекта. Аналитически реконструируя стратегию действия цинического субъекта в социуме, можем описать ее следующим образом: зная и добровольно принимая стереотипные формы поведения, предписанные сложившимся социальным порядком, он стремится и способен внутренне дистанцироваться от них, убеждая себя в том, что прекрасно понимает скрытые механизмы взаимодействия. Таким образом, фоновыми ожиданиями цинического субъекта являются подозрительность и недоверие в отношении скрытых мотивов действий Другого.

Отношение цинического субъекта к действительности путем разворачивания адаптивных стратегий можно описать как видимым образом явленный модус деконструкции. Заимствуя понятие деконструкции, будем трактовать его как упрощение и видоизменение социальной реальности до того состояния, в котором индивид, носитель современного несчастного, травмированного сознания, способен существовать с минимальными психоэмоциональными затратами. Примечательна мысль П. Слотердайка, который указывает на то, что цинический субъект склонен будет делать выбор в пользу даже идеологии осознанного самообмана и искажения контекстов, если это позволит ему сохранить свою устойчивость.

В сфере эпистемического деконструкция заявляет о себе как создание собственного «рассказа» на основании убежденности в иллюзорности и неаутентичности любых внешних себе оснований. Вопрос «что есть знание» для цинического субъекта трансформируется в вопрос «что я могу считать знанием» или «что мне удобно считать знанием». Цинический субъект конструирует понимание «истины-для-себя» исходя из того контекста, в котором происходит взаимодействие в конкретном акте восприятия информации. Это можно зафиксировать с помощью этнометодологического анализа, предложенного Г. Гарфинкелем. Г. Гарфинкель обнаружил, что в каждом случае обыденного праксиса присутствует обеспечивающий целостность порядок. Такой порядок опирается на то, как субъекты конституируют для себя соци-

альный мир изнутри повседневной жизни [9]. Думается, цинизм выступает условием успешного социального взаимодействия в описанном нами контексте постсовременности. В этом случае цинизм является своего рода account социальной ситуации – способом ее описания и рефлексивной сборки. Иначе говоря, цинизм может выступать основанием, на котором субъект создает новое «поле смысла».

Таким образом, социальный мир, который выстраивает вокруг себя циник, это результат деконструктивного усилия, это упрощение как общественного, так и личного мотива, социальной нормы, психологической установки с целью избежать ответственности и минимизировать траты психоэмоционального ресурса. «Знание» как элемент современной социальности в его конвергенции к понятию «информация» так же становится частью этого деконструирующего усилия. Для описанного субъекта значение приобретают не столько онтологические статусы таких понятий, как «истина» или «ложь», сколько ясность и определимость этих установок для него самого.

Субъекта можно назвать актором нормативного построения собственных социальных практик, которые позволяют ему принимать решения и выстраивать процесс своего познания. Представление о знании у такого субъекта может расплываться и реконструироваться, поскольку он не будет проводить дифференциацию между информацией, знанием и мнением. Таким образом, понятие «знание» может для него становиться синонимичным понятиям «удобный», «уместный», «подходящий» и приемлемый, запуская своего рода «игру в знание». Тогда как сама «циническая» установка будет выступать основанием легитимации знания, а самого себя субъект будет рассматривать как обладателя устойчивого критерия «истины» – фундаментального знания о скрытых мотивах в действиях Другого.

Список источников

1. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / пер. с нем. Г.Г. Шпета. М. : Наука, 2000. 495 с.
2. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / пер. с фр. С.Н. Зенкина. СПб. : Алетейя, 1998. 286 с.
3. Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна / пер. с фр. Н.А. Шматко. М. : Ин-т экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 1998. 160 с.
4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / пер. с фр. С.Н. Зенкин. М. : Добросвет, 2000. 387 с.
5. Слотердайк П. Критика цинического разума / пер. с нем. А.В. Перцева. Екатеринбург ; У-Фактория ; М. : АСТ МОСКВА, 2009. 800 с.
6. Oxford Learner's Dictionaries. Available from: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com> (accessed: 05.05.2022).
7. Фуллер С. Постправда: Знание как борьба за власть / пер. с англ. Д. Кралечкина; под науч. ред. А. Смирнова. М. : Изд. Дом Высшей школы экономики, 2021. 368 с.
8. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. 2000. № 4. С. 63–77.
9. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб. : Питер, 2007. 335 с.

References

1. Hegel, G.W.F. (2000) *Fenomenologiya dukha* [The Phenomenology of Spirit]. Translated from German by G.G. Shpet. Moscow: Nauka.
2. Deleuze, J. & Guattari, F. (1998) *Chto takoe filosofiya?* [What is philosophy?]. Translated from French by S.N. Zenkin. St. Petersburg: Aleteyya.
3. Lyotard, J.F. (1998) *Sostoyanie Postmoderna* [Postmodern Condition]. Translated from French by N.A. Shmatko. St. Petersburg: Aleteyya.

4. Baudrillard, J. (2000) *Simvolicheskiy obmen i smert'* [Symbolic Exchange and Death]. Translated from French by S.N. Zenkin. Moscow: Dobrosvet.
5. Sloterdijk, P. (2009) *Kritika tsinicheskogo razuma* [Critique of Cynical Reason]. Translated from German by A.V. Pertsev. Yekaterinburg: U-Faktoriya.
6. *Oxford Learner's Dictionaries*. [Online] Available from: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com> (Accessed: 5th May 2022).
7. Fuller, S. (2021) *Postpravda: Znanie kak bor'ba za vlast'* [Post-Truth: Knowledge as a Struggle for Power]. Translated from English by D. Kralechkin. Moscow: HSE.
8. Jamison, F. (2000) Postmodernizm i obshchestvo potrebleniya [Postmodernism and consumer Society]. *Logos*. 4. pp. 63–77.
9. Garfinkel, G. (2007) *Issledovaniya po etnometodologii* [Studies in Ethnomethodology]. Translated from English. St. Petersburg: Piter.

Сведения об авторе:

Гукова А.В. – кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории логико-философских исследований, Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (Томск, Россия). E-mail: angelina.gukovaa@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Gukova A.V. – Cand. Sci. (Philosophy), senior researcher, Laboratory of Logical and Philosophical Research, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation). E-mail: angelina.gukovaa@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 04.04.2022;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 04.04.2022;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022*

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Научная статья
УДК 171; 130.31
doi: 10.17223/1998863X/67/4

«ЗАБОТА О СЕБЕ» КАК ОПЫТ МАРГИНАЛЬНОГО: М. ФУКО И Л. ТОЛСТОЙ

Михаил Вячеславович Куликов

Кузбасский институт ФСИН России, Новокузнецк, Россия, philosophy_mk@mail.ru

Аннотация. Отправной точкой к рассматриваемой в статье проблеме стала критика Пьером Адо фукольдиданского понимания концепта «заботы о себе», которое он полагает излишне эстетизированным и субъективистским. Как попытка преодолеть это возражение теоретические изыскания и практики маргинального у французского мыслителя рассматриваются в соотношении с толстовскими идеалами умаления себя, странничества, особого понимания аскезы. Это дает нам возможность рассмотреть «заботу о себе» как практику созидания субъективности не через ее созидание, конституирование, но через переход, трансгрессию, преодоление наличного.

Ключевые слова: «забота о себе», М. Фуко, Л. Толстой, аскеза, странничество, трансгрессия

Для цитирования: Куликов М.В. «Забота о себе» как опыт маргинального: М. Фуко и Л. Толстой // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 35–45. doi: 10.17223/1998863X/67/4

HISTORY OF PHILOSOPHY

Original article

“TAKING CARE OF ONESELF” AS AN EXPERIENCE OF THE MARGINAL: MICHEL FOUCAULT AND LEO TOLSTOY

Mikhail V. Kulikov

Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Novokuznetsk, Russian Federation, philosophy_mk@mail.ru

Abstract. The aim of the article is to consider the way of creating subjectivity through transition, transgression, overcoming as a part of the intellectual biography of Foucault and Tolstoy, which will make it possible to designate their common understanding of the “genuine” as necessarily opposed to the systemic, universal. Foucault’s interpretation of the concept *epimeleia heautou* is criticized for subjectivist interpretation, aestheticization. As a counterargument, an expanded interpretation of the meaning of these practices as hermeneutic procedures for gaining access to truth and self-knowledge is given. The ethics developed by Foucault is based not on accumulation, but, on the contrary, on cleansing from excess, intemperance, from outwardly “normal”, comfortable, and therefore not free. Self-denial, desubjectivization, the experience of the marginal, the borderline are a necessary condition for “constituting oneself” or “taking care of oneself”. As a result, subjectivation is

a transition from non-subjectivity to subjectivity, constituting oneself as a moral subject through ethical problematization of one's sexual behavior and building it with the help of special techniques of "stylizing" life. In Tolstoy's case, the question of creating subjectivity through belittling it requires us to dwell on the theme of wandering in the writer's mind. Spiritual rebirth, according to Tolstoy, is impossible without gaining independence from the external world, which means that it requires a person to realize their indifference to the world and the world to them, to dissolve in this impersonal world, and to lose their individuality. Only in this belittling is it possible to comprehend participation in everything in the world, its responsibility for everything that happens in the world, the experience of universal imperfection and sinfulness. Thus, self-denial and belittling of the personality appear not as a spiritual feat, but as a necessary condition for liberation from compulsion, from external causal dependence, that is, the finite, on the path to the divine, the infinite. The Stoic doctrine represents the condition of a dignified life for the liberation of the individual from various forms of power. The ways to get rid of this power were different: Foucault chose the path of self-creation, constituting "I" and knowing his capabilities as an author through his research activities and eccentric life forms; Tolstoy chose the path of forgetting himself as an author, leaving in order to get lost in the world, gaining the integrity of the personality through belittling its social status. Despite the difference in the chosen path, the desired goal for both seems common.

Keywords: "taking care of oneself", Michel Foucault, Leo Tolstoy, asceticism, wandering, transgression

For citation: Kulikov, M.V. (2022) "Taking care of oneself" as an experience of the marginal: Michel Foucault and Leo Tolstoy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 35–45. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/4

Введение

Вопрос о возможности сравнительного анализа идей таких, казалось бы, разных мыслителей, как М. Фуко и Л. Толстой, может показаться делом достаточно надуманным, прежде всего по причине несовпадения их интересов к религиозной проблематике. Принято считать, что если мы и можем говорить о Толстом как о философе, то это будет религиозно-философское вопрошание о правильном понимании христианского учения. В случае Фуко тема религии стала занимать хоть сколь либо важное место в его работах лишь в самом конце жизни, результатом чего стал черновой вариант работы «Признания плоти» из проекта под общим названием «История сексуальности», который вышел на языке оригинала лишь в 2018 г. На наш взгляд, это несовпадение не стоит преувеличивать. Интересной и продуктивной может быть попытка рассмотреть их в сравнении, объединив под общей для обоих авторов установкой противопоставления универсального (структуры, эпистемы или догматического богословия) частному, уникальному («забота о себе», стиль, эстетизация, опрощение, странничество). Довольно неожиданным образом интерес Фуко к теме созидания субъективности через «заботу о себе» можно соотнести с обстоятельствами личной биографии и духовных поисков Толстого, также не чуждого интересу к теме «правильной жизни». Общей для обоих авторов была и установка на преобладающее значение практики, жизни, «выражении себя» над средствами отвлеченного теоретизирования. «Правильная жизнь» становится таковой не по исключительной причине «правильной» философской установки ума (в стоической культуре это лишь один из четырех конституирующих элементов нашей жизни), а по причине проживания ее в согласии общего и частного, поэтому человеку необходимо постоянно совершать экзистенциальный, повседневно-

жизненный выбор в ее пользу. Объединяет авторов и схожее понимание «заботы о себе» не столько как практики созидания или накопления, сколько как практики трансгрессии, маргинальности. Отсюда цель настоящей статьи – рассмотреть способ конституирования субъективности через переход, преодоление, как часть интеллектуальной биографии Фуко и Толстого, что позволит нам найти точки сопряжения таких, казалось бы, разных фигур, а также обнаружить необходимую связь этого конституирования не только с установлением, но и нарушением границ дозволенного. Это позволит по-новому взглянуть на проблему бытия человека, его обусловленности социальными и моральными нормами, раскрыть значение, казалось бы, нецелесообразных форм бытия, что поспособствует расширению проблемного поля философии.

Данная тема представляется актуальной, поскольку позволяет нам фиксировать качественные изменения в историко-философском процессе с неожиданной стороны. На смену классической философии с ее осмыслением в категориях бытия сущности, закона, истины и разума приходит новая оптика трансгрессии с ее анализом опыта существования в пограничных ситуациях и лиминальных состояниях. Не норма, а способ ее нарушения, не порядок, а выход за его пределы, не социально одобренные, а маргинальные формы бытия составляют то поле, на котором встречаются столь разные авторы, как Фуко и Толстой. Попытка рассмотреть их в контексте общего для них направления трансгрессии представляется весьма продуктивной и эвристичной для историко-философского исследования.

Фуко и опыт трансгрессии

Переход от «универсального» к «частному» в творчестве французского мыслителя связан с темой «заботы о себе», которая стала завершающей «искупительной истиной» его потрясающей интеллектуальной биографии. Поворот от анализа дисциплинарного общества и биополитики к античности и герменевтике субъекта стал во многом неожиданным и в значительной степени связанным с личными обстоятельствами жизни автора.

Интерпретация Фуко концепта стоической этики *epimeleia heautou*, называемой им «культура себя» или «искусство себя», представляет собой как умозрительный комплекс идей, так и набор определенных практик, направленных на преобразование человека. Вместе с тем уже современник Фуко, крупнейший специалист по эллинистической философии П. Адо в статье «Размышления о понятии «культуры себя», вышедшей в память о Фуко, выразил некоторые сомнения в правильности его трактовки этой культуры [1]. Адо принимает понятие «заботы о себе», включающее внимательное отношение к телу и душе, воздержание, постоянный самоанализ, достижение безразличного, невозмутимого отношения к вещам, но сомневается в правильности их понимания Фуко как «продуманных и добровольных практик, посредством которых люди не просто устанавливают для себя правила поведения, но стараются изменить самих себя, преобразовать себя в собственном особом бытии и сделать из своей жизни произведение, несущее в себе определенные эстетические ценности и отвечающее определенным критериям стиля» [2. С. 17]. Еще один повод для сомнений в правильном понимании стоической доктрины – акцентирование внимания на отдельном субъекте в ущерб универсальному космическому Разуму как основанию для соизмере-

ния нашей жизни. Не конституирование морального субъекта и его идентичности, но, напротив, «растворение» личности в безликом космическом универсуме – так интерпретирует эту доктрину Адо. К сожалению, Фуко, для которого эта дискуссия имела бы значение не только с академической точки зрения, но и как своего рода спор об обнаружении этических и, шире, жизненных ориентиров для современного человека (что, как пишет Фуко, было «задачей насущной, главной, политически необходимой»), уже не мог ответить на эти возражения, но мы постараемся указать на его потенциально возможные контраргументы в этом споре.

Во-первых, по мнению Фуко, «практики себя» нельзя свести исключительно к опыту античности, они есть «некоторые процедуры, существующие, безусловно, в любой цивилизации, предлагаемые или предписываемые индивидам для закрепления их самоидентичности, ее поддержания или изменения; и возможные благодаря отношениям владения собой или познания себя» [3] с целью создания из собственной жизни уникального эстетического произведения. Значение этих практик выходит за этические пределы, и Фуко склонен рассматривать их как герменевтические процедуры получения доступа к истине, познания себя. Свое продолжение такого рода практики получили в ранней патристике как практики преображения, аскезы, искупления, покаяния. Да, они в значительной мере изменились, сменились акценты акта *paressia*: наставник как овладевший искусством управления собой и другими уступает свое центральное место исповедующемуся грешнику, центральную роль в познании себя приобрела экзегеза, особое отношение к себе через Слово и Откровение, однако созидаящая роль таких практик сохранилась.

Второй контраргумент направлен на опровержение тезиса Адо о субъективистски понимаемой этике у Фуко, его акценте на субъекте, интерпретируемом через полноту переживаемых удовольствий. Действительно, «забота о себе» с некоторого времени стала пониматься как форма себялюбия, эгоизма, находящегося в противоречии с идеалом самопожертвования, однако, на наш взгляд, это неполное понимание такой этики, потому что в ее основе лежит не накопление, но, напротив, очищение от излишества, неводержанности, – всего того, что для эллина отождествлялось с рабским или варварским состоянием, или очищение от того, что в христианстве начало отождествляться с греховным, а также и от внешне «нормального», удобного, комфортного, а значит, несвободного. Приведение своей жизни в состояние порядка, космоса, требует «заботы о себе», а оно невозможно без определенного самоотречения, отказа от себя с целью возвращения в новом, наполненном мудростью состоянии. Значит, конституирование своего «я» парадоксально, оно достигается не через следование правилу, экономику и бережное отношение к наличному, данному, но через его разрушение, десубъективацию, опыт маргинального, пограничного. И в качестве примеров такого способа быть Фуко отмечает такие важные для него фигуры, как Ницше, Батай, Бланшо: «Идея „пограничного опыта“, вырывающего субъект у него самого, – вот что важно для меня в чтении Ницше, Батай, Бланшо, и это привело меня к тому, что, сколь скучными и учеными ни были бы мои книги, я всегда рассматривал их как элементы непосредственного опыта, направленного на то, чтобы уйти от самого себя, помешать мне оставаться одинаковым» [4. С. 215]. Страх «остаться одинаковым» очень важен для Фуко, который и свою работу во мно-

гом понимает как попытку избавления от этого страха: «Пишущий делает это для того, чтобы стать кем-то другим, чем он есть» [9]. И годится для этого освобождения и созидания себя далеко не всякое слово, а слово, отсылающее к пределу, например, опыт бесстрашной речи *ragessia*, или перформанс эстетического существования, которые, для Фуко, и проявляют его возможности как автора, и как субъекта.

С этим же связаны возможные контраргументы в ответ на обвинение Фуко в эстетизации этики. Сложившаяся в культуре этическая парадигма требует от нас следовать объективированным и всеобщим моральным кодексам, нормам, правилам и не дает нам возможности избавиться от страха «остаться одинаковым». Определяющей практикой конституирования субъекта является практика освобождения от ограничений конвенциональной морали через такие техники субъективации, как «искусство», «эстетика», «стиль», используемые им свободно и нацеленные на то, чтобы относиться к нему как к прекрасному произведению. Вслед за художниками, Фуко ощущает потребность «заботы о себе» через конституирование собственной жизни, причем полагает возможным сделать это не через художественные образы, а через философскую рефлексию и эстетическую практику. Рассматривая свою жизнь с такой точки зрения, человек получает возможность превратить самого себя в своего рода экзистенциальное произведение искусства – «произведение» (как однажды выразился Морис Бланшо), которое могло дать возможность художнику трансформировать «ту часть самого себя, от которой он ощущает себя свободным и от которой исходит работа по его освобождению» [5. Р. 54].

Как раз в таком смысле можно рассматривать позицию Фуко, связанную с его теоретическим и практическим интересом к разным формам трансгрессии, преодоления себя, самоотречения. Это выражается и в исследовательских интересах Фуко, и в его политической и общественной деятельности, и в его опытах с наркотиками и разного рода сексуальными практиками. Трансгрессия, преодоление себя могут быть рассмотрены нами как опыт «заботы о себе», как опыт перехода. Этот переход можно рассматривать в разных аспектах: как переход от незнания к знанию, от страха к свободе, от нездоровой души (*stultia*) к здоровой душе, от воли неистинной к воле подлинной. Как итог, субъективация – это переход от состояния несубъектности к субъектности, конституирование себя как субъекта морального через этическую проблематизацию своего сексуального поведения и выстраивания его с помощью специальных техник «стилизации» жизни. «Забота о себе» важна для Фуко не как объект исследовательского интереса, но как выражение его личного экзистирующего опыта: «Каждый раз, когда я пытался проделать ту или иную теоретическую работу, источником служили элементы моего собственного опыта» [9. С. 41–42]. В этом опыте субъект раскрывает свое собственное существование, трансформирует себя через «добровольное стирание, которое... совершается в самом существовании писателя» [6. С. 14]. В интервью 1981 г. Фуко объяснил важность пограничных форм опыта через связь деструктивных способов «страдания–удовольствия», – с одной стороны, и способность бытия в мире «совершенно иначе»: «Через опьянение, мечты, дионисийское забвение артиста, самые болезненные аскетические практики и необузданное познание садомазохистского эротизма, казалось, можно преодолеть, хотя и

ненадолго, границы, разделяющие сознание и предсознание, разум и неразумие, наслаждение и боль. И, как последний предел, преодолеть границу между жизнью и смертью, таким образом упрямо показывая, насколько неустойчивы, неясны, условны основные различия между игрой истинного и ложного» [9. С. 41].

Из этого следует еще одно основание для сближения Фуко и стоиков – взгляд на жизнь как предуготовление к смерти. В стоицизме сам момент смерти занимает важнейшее место в ценностной структуре субъекта. Именно неправильное понимание смерти внушает страх, а потому делает личность несвободной, в связи с чем Эпиктет, Сенека, Марк Аврелий призывают нас постоянно думать о ней¹. На пороге смерти вся жизнь оказывается проявленной сквозь призму мирового целого, и душа держит ответ перед лицом смерти, которая выступает своего рода судьей самому себе в роли смыслообразующего экзистенциала, «дара» обретения себя. Смерть в трактовке стоиков и выступает той ситуацией, в которой субъект оказывается полностью идентифицируемым с самим собой, и никем иным.

Вопрос об отношении к смерти был важнейшим и для Фуко: «Именно в ней индивид воссоединяется, избегнув монотонной жизни и обезличивания в медленном, наполовину скрытом, но уже видимом приближении смерти; глухая обобщенная жизнь, наконец, достигает своей индивидуальности, черный контур изолирует ее и придает ей стиль ее истины» [7. С. 260]. Структуры профанного миропорядка исключают смерть из индивидуального и социального опыта, так как она несет угрозу эффективности и рациональности жизни. Однако встреча с собственной конечностью необходима для бытия человека как собственно человека, поэтому «практики себя» как особый опыт трансформации, переописания обусловлены смертью. Смерть для Фуко – нечто сродни исчезновению, стиранию прежнего «Я» и созданию новой истории. Интересно, что отношение к смерти было не только частью теории, но и его опытом жизни. Именно это подразумевал Делез, который говорил о том, что смерть Фуко, как ни у кого другого, соответствовала его представлениям о ней [8. С. 125, 130]. По словам Э. Гибера, очевидца последних дней жизни Фуко, тот был как никогда безмятежен, «когда умирал... зная, что он скоро ускользнет по другую сторону этого порога ...воистину став «бессловесным нечем в пустоте», свободным от потребности в истине» [9. С. 513].

Таким образом, критические аргументы Адо в отношении Фуко, который, на его взгляд, интерпретировал практику «заботы о себе» в излишне индивидуалистическом аспекте, игнорирующем универсально-космическую перспективу, представляются справедливыми лишь отчасти. «Забота о себе» имеет дело с практиками удовольствия и стилизации лишь как средство трансгрессии, как инструмент по преодолению наличного положения дел, переосмысления себя с целью обретения свободы как невозможности быть определенным, вписанным в какой либо дискурс. «Быть» по Фуко, – значит быть странником, номадом – постоянно перемещаться, ускользать, избегая метафизики сущностей и отбросив наши ожидания и надежды на трансисторическую универсальность, что и сближает его установку со стоической этикой постоянного самоанализа, безразличного отношения к вещам, освобож-

¹ Подробнее см.: Эпиктет. Беседы Эпиктета (книга II, 6), Сенека. Нравственные письма к Луциллию (письма XCIII, LIV), Марк Аврелий. Наедине с собой (книга 8, размышление 58).

дения от страстей, переживаний по отношению к прошлому и будущему, сосредоточенности на ценности каждого мгновения, сознательного отношения к смерти и т.д.

Толстой и тема ухода

Предельно внимательное отношение Толстого к стоицизму общеизвестно. Собственно говоря, один из главных упреков в адрес толстовского понимания христианства и заключается в безличностном понимании им бога, отождествлении божественного, разумно-нравственного и природного, – что сближает позицию Толстого со взглядами Сенеки или Эпиктета¹. Сама жизнь писателя во многом представляла собой стоический идеал мудреца в его самосозидании, глубоком погружении в свой внутренний мир, аскетичности жизни, в некоторой отрешенности и дистанцированности в отношениях с людьми, в постоянном размышлении о смерти и своего рода подготовке к ней. Главный вопрос исследования – вопрос о созидании субъективности через трансгрессию требует от нас остановиться на теме странничества у Толстого – теме, созвучной с идеалом независимого от мира и в то же время приобщенного к нему стоического мудреца, освободившегося от власти внешнего мира через познание его необходимой, целесообразной природы и избегающего активно-деятельного отношения в нем.

Итак, странничество представляет собой особый феномен русской культуры, отличающийся его от паломничества, бродяжничества, юродства, фронта и иных номадических форм бытия. Священник Сергей Сидоров так определяет его: «Подвиг странничества провозгласил святость всего мира... учил о полной нищете и восхвалял свободу от предметов <...> Это был подвиг полного разрыва с прошлым, подвиг «скидывания имени» (выд. авт.), желание создать новое бытие и разрушить былые достижения греховной жизни» [10. С. 102]. Тема странничества является одной из центральных и в творчестве, и в личной жизни Толстого. К теме ухода Толстой обращается в таких произведениях, как «Отец Сергей», «Воскресение», «Посмертные записки старца Федора Кузьмича». Так, например, в последнем из указанных произведений Александр Первый, оставивший мир для жизни странником Федором Кузьмичем, провозглашает своего рода стоический манифест: «Главное было то, что вся внешняя жизнь, всякое устройство внешних дел, всякое участие в них... было не важно. Не нужно и не касалось меня. Я вдруг понял, что все это не мое дело. Что мое дело – моя душа» [11. С. 363]. Этот манифест провозглашает «заботу о себе» как попечение о своей душе, которое достигается через овладение самим собой, сохранение самообладания в любых ситуациях, в обуздании желаний. Отсюда вытекает необходимость обрести смысл, цель и высшее благо в себе самом, в своем собственном духовном устройстве, в качествах своей души. Человек должен выразить разумное нравственное начало, а для этого ему нужно присмотреться к себе, обеспокоиться тем, не стал ли он лишь проекцией чужого, неразумного, избыточно-лишнего, что станет для Толстого свидетельством присутствия греховного в личности; и как финальная цель – безбоязненная встреча смер-

¹ Подробнее см.: Салимгареев М.В. Стоя и стоическое наследие в России: середина XIX – начало XX в. : дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2004. 230 с.

ти, которая должна подытожить формирование нравственного «я» для возвращения к бесконечному. Незадолго до своей смерти, настигшей Толстого в пути, он выразил эту мысль так: «Бог есть неограниченное Все, человек есть лишь ограниченное проявление Его» [12. Т. 58. С. 234].

Каким образом странничество может помочь в выражении этого разумно-нравственного начала? Духовное возрождение, по Толстому, невозможно без обретения независимости от внешнего мира, а значит, требует от личности осознания безразличности к миру и мира к нему, растворения в этом безликом мире, утраты своей индивидуальности. Отец Сергей или странник, встреченный Нехлюдовым на пароме, – это именующие себя «рабами Божиими» бродяги, совершающие в этом мире духовный подвиг – служение тому, что подсказывает совесть, нравственная природа, а значит, и Бог. Через это умаление себя странник обнаруживает свою нераздельную связь с другими людьми и с миром в целом: «Капля, сливаясь с большой каплей, лужей, перестает быть и начинает быть» [12. Т. 23. С. 103]. Только в этом умалении возможно постижение не-исключительности своего «я», его причастности ко всему в мире, его ответственности за все происходящее в мире, его сострадание всему живому, переживание всеобщего несовершенства и греховности. И именно это дает человеку возможность понять противоречие между своей жизнью, силой, богатством, положением в обществе, стремлением утвердить свое «Я» в мире и в то же время желанием раствориться в нем, довериться мировой любви, воле, общему течению жизни, – одним словом, освободиться.

Новалис определил философию как «тягу повсюду быть дома», а значит, не иметь дома как определенного места, находиться в пути, странствовать. Странник есть прохожий мимо социальных ролей и ценностей, не связанный общепринятыми правилами и не привязанный к обыденному, земному. Странничество освобождает человека от привычных, упорядоченных, стабильных режимов бытия и выводит его на встречу с вечной, пребывающей везде и всюду хаотичной жизнью, выражающей собою «безличное начало мира». Странничество представляет собой форму бытия на границе имманентного и трансцендентного, движения вне заданной системы координат, своего рода исчезновение субъекта в этом пути, растворение личности в дороге, природе, событийно-временной наполненности.

Вне своего религиозного содержания фигура странника во многом имеет общие черты с делезианским номадом – это отказ от жесткой детерминации, бинарного восприятия мира, отсутствие центра, выход за пределы структуры, нелинейность: «Кочевник не движется, в том смысле, что он не перемещается от точки к точке. В экзистенциальном смысле его нет вне перемещения, оно изначально ему присуще и определяет его как кочевника. Он не движется к дому или от него, как оседлый человек, а вместе с домом. В таком смысле кочевник неподвижен» [12. С. 40]. Номад воплощает бесконечное перемещение и бесосновность, отчужденность от «Града Земного», для номада дом нигде и в то же время везде, т.е. всегда с ним, а значит, жизнь не бессмысленна, и толстовский идеал странника говорит нам не об отпадении от Бога и обесмысливании жизни, а показывает путь духовного возрождения личности.

Помимо странничества как внешнего акта, большое значение имело странничество внутреннее, т.е. аскеза, смирение, умаление личности: «Смирение есть последствия перенесения человеком своих желаний из области

вещественной в область духовную» [14. С. 411], признание «ничтожности» личности. Понятие смирения сопоставимо и с русским аскетическим учением, и со стоическим принципом самоустранения личности. В православной традиции смирение служит и условием аскетизма, и смыслополагающим началом христианского знания, оно «неразрывно связано с всецельным напряжением всех сил человека с целью постепенного, бесконечного приближения к идеалу безусловного религиозно-нравственного совершенства» [15. С. 168]. Воздержание, необходимость соотнесения своей жизни, своих желаний с требованиями разума и, шире, своего внутреннего мира в целом, определяет и христианское самоотречение.

Об особом отношении к смирению пишет ближайший сподвижник Толстого В.Г. Чертков: «Он черпал силу и находил удовлетворение в сознании того, что живет не перед людьми, а перед Богом. Он не только не нуждался в человеческом одобрении, но, наоборот, в несправедливом осуждении со стороны людей он видел для себя пользу в том отношении, что это – как он выражался – поневоле загоняет человека на тот путь, на котором ему приходится руководствоваться одним только голосом Божиим в своей душе» [16. С. 12]. Самоотречение и страдания стали постоянными спутниками Толстого, не отпускающими его даже дома. Страдания были реакцией Толстого на несправедливость мира, униженное положение простых людей, эгоизм, насилие, эксплуатацию людей и животных, и т.д. Как пишет тот же Чертков, со временем Толстой «...постепенно выработал в себе терпеливое отношение к наносимым ему оскорблениям и страданиям и выучился мириться с тяжестью своего положения, извлекая из всего переносимого им пользу для своей внутренней жизни» [16. С. 19], в чем мы тоже усматриваем воплощение стоического идеала.

Через смирение и страдание человек приходит к самоотречению, аскезе, умалению своего «я», согласованию внутреннего и внешнего, духовного и материального, индивидуального и общего. Умаление не есть «измена себе», но, напротив, оно есть перенесение своего «я» из животного существа в духовное. Это не страх перед жизнью, ведь «отречься от жизни плотской, значит усиливать свою истинную духовную жизнь» [14. С. 318], а страх прожить жизнь неправильно. Таким образом, «забота о себе» через аскезу и умаление личности выступает не как духовный подвиг, но как необходимое условие освобождения от принуждения, от случайных обстоятельств, от внешней причинно-следственной зависимости, – т.е. конечного, на пути к божественному, бесконечному.

Заключение

Итак, если традиционная этическая доктрина эллинов, выраженная, к примеру, в учении Аристотеля, рассматривала условием нравственного совершенствования индивида его гражданский статус в полисе, стоическая доктрина, столь важная для Фуко и Толстого, представляет условием правильной жизни освобождение личности от различных форм власти над собой. Пути избавления от этой власти различались: Фуко выбрал путь самосозидания, конституирования «я» и познание своих возможностей как автора через свою исследовательскую деятельность и эксцентричные формы жизни; Толстой выбрал путь забвения себя как автора, долгое время вынашиваемое желание

ухода с целью затеряться для мира, обрести цельность и полноту через умаление своего социального «я». Так или иначе, именно опыт маргинального становится для них путем формирования субъектности и суверенности: собственно говоря, человеческое и начинается в акте трансгрессии из природного порядка, а затем и порядка социального, морального, утилитарного, профанного. Несмотря на разницу выбранного пути, его форма осуществления через выход за пределы должного и допустимого кажется нам общей.

Список источников

1. Адо П. Размышления о понятии «культуры себя» // Духовные упражнения и античная философия / пер. с фр. при участии В.А. Воробьева. СПб., 2005. 448 с.
2. Фуко М. История сексуальности – III. Забота о себе. Киев ; Москва, 1998. 282 с.
3. Хорунжий С. Последний проект Фуко. М., 2010. URL: <https://libking.ru/books/sci-philosophy/345664-sergey-horuzhiy-posledniy-proekt-fuko.html#book> (дата обращения: 25.05.2021).
4. Фуко М. Интеллектуалы и власть : Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2. М. : Праксис, 2005. 320 с.
5. Blanchot M. The Space of Literature. Lincoln, Neb., 1982.
6. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., Касталь, 1996. 448 с.
7. Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. 310 с.
8. Делез Ж. Фуко. М. : Изд-во гуманитарной литературы, 1998. 172 с.
9. Миллер Дж. Страсти Мишеля Фуко. М. ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2013. 528 с.
10. Сидоров С. О странниках русской земли // Записки священника Сергея Сидорова, с приложением его жизнеописания, составленная дочерью В.С. Бобринской. М., 1999.
11. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 томах. М. : Худож. лит., 1983. Т. 14. 512 с.
12. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 томах (юбилейное). М. ; Л., 1928–1958.
13. Игнатов М.А. Номадология Ж. Делёза как версия сетевой методологии // Наука. Искусство. Культура. 2016. № 3 (11). С. 38–43.
14. Толстой Л.Н. Путь жизни. М. : Республика, 1993. 430 с.
15. Зарин С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению: Этико-богословское исследование Сергея Зарина. М. : Паломник, 1996. 693 с.
16. Чертков В.Г. Уход Толстого. М. : Изд. центрального товарищества «Кооперативное издательство» и изд-ва «Голос Толстого», 1922. 125 с.
17. Толстой Л.Н. Путь жизни. М.: Республика, 1993. 430 с.

References

1. Hadot, P. (2005) *Dukhovnye uprazhneniya i antichnaya filosofiya* [Spiritual Exercises and Ancient Philosophy]. Translated from French. St. Petersburg: Kolo, Stepnoy veter.
2. Foucault, M. (1998) *Istoriya seksual'nosti – III: Zabota o sebe* [The History of Sexuality – III: The Care of the Self]. Translated from French. Kiev; Moscow: Dukh i litera; Refl-buk.
3. Khorunzhiy, S. (2010) *Posledniy proekt Fuko* [Foucault's Last Project]. Moscow: [s.n.]. [Online] Available from: <https://libking.ru/books/sci-philosophy/345664-sergey-horuzhiy-posledniy-proekt-fuko.html#book> (Accessed: 25th May 2021).
4. Foucault, M. (2005) *Intellektualy i vlast': Izbrannye politicheskie stat'i, vystupleniya i interv'yu* [Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches, and Interviews]. Vol. 2. Translated from French. Moscow: Praksis.
5. Blanchot, M. (1982) *The Space of Literature*. Lincoln, Neb.: University of Nebraska Press.
6. Foucault, M. (1996) *Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [Will to Truth: Beyond Knowledge, Power and Sexuality. Works of Different Years]. Translated from French. Moscow: Kastal'.
7. Foucault, M. (1998) *Rozhdenie kliniki* [The Birth of the Clinic]. Translated from French. Moscow: Smysl.
8. Deleuze, J. (1998) *Fuko* [Foucault]. Translated from French. Moscow: Izd-vo gumanitarnoy literatury.

9. Miller, J. (2013) *Strasti Mishelya Fuko* [The Passion of Michel Foucault]. Translated from English by E. Lisovskaya, L. Volodina. Moscow; Yekaterinburg: Kabinetnyy uchenyy.
10. Sidorov, S. (1999) *Zapiski svyashchennika Sergeya Sidorova, s prilozheniem ego zhizneopisaniya, sostavlennoye doch'er'yu V.S. Bobrinskoy* [Notes of the priest Sergei Sidorov, with the application of his biography, compiled by the daughter of V.S. Bobrinsky]. Moscow: [s.n.].
11. Tolstoy, L.N. (1983) *Sobranie sochineniy v 22 tomakh* [Collected Works in 22 vols]. Vol. 14. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
12. Tolstoy, L.N. (1928–1958) *Polnoe sobranie sochineniy v 90 tomakh (yubileynoye)* [Complete Works in 90 vols (jubilee)]. Moscow; Leningrad: [s.n.].
13. Ignatov, M.A. (2016) Nomadologiya Zh. Deleza kak versiya setevoy metodologii [Deleuze's nomadology as a version of network methodology]. *Nauka. Iskusstvo. Kul'tura*. 3(11). pp. 38–43.
14. Tolstoy, L.N. (1993) *Put' zhizni* [The Path of Life]. Moscow: Respublika.
15. Zarin, S.M. (1996) *Asketizm po pravoslavno-khristianskomu ucheniyu: Etiko-bogoslov. issled. Sergeya Zarina* [Asceticism according to Orthodox Christian teaching: Ethical theologic research by Sergei Zarin]. Moscow: Palomnik.
16. Chertkov, V.G. (1922) *Ukhod Tolstogo* [Tolstoy's Leave]. Moscow: Kooperativnoe izdatel'stvo; Tov-vo "Golos".
17. Tolstoy, L.N. (1993) *Put' zhizni* [The Path of Life]. Moscow: Respublika.

Сведения об авторе:

Куликов М.В. – кандидат философских наук, ФКОУ ВО «Кузбасский институт ФСИН России», доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных дисциплин (Новокузнецк, Россия). E-mail: philosophy_mk@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kulikov M.V. – Cand. Sci. (Philosophy), assistant professor, Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia (Novokuznetsk, Russian Federation). E-mail: philosophy_mk@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 07.06.2021;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 07.06.2021;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022*

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 165.2

doi: 10.17223/1998863X/67/5

«ОТЦЫ ЕЛИ КИСЛЫЙ ВИНОГРАД...»: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ РАЗВИТИЯ ЭПИГЕНЕТИКИ

Валентин Александрович Бажанов

*Русское общество истории и философии науки, Москва, Россия,
vbazhanov@yandex.ru, <http://staff.ulsu.ru/bazhanov>*

Аннотация. Предпринимается попытка анализа заключений для человека и человечества, которые вытекают из развития эпигенетики, знаменующей собой вступление в постгеномную эру и представляющую связующее звено между социальными науками и науками о живом. Показывается, что эпигенетика заставляет пересмотреть установки жесткой версии генетического детерминизма и показывает важность учета влияния окружающей среды на состояние и эволюцию человеческого генома, который должен рассматриваться уже как эпигеном. Обращается внимание на феномен трансгенерационного (межпоколенческого) наследования, который говорит о заметной корреляции состояний стресса и физических лишений индивидуумов с состоянием психики и здоровья их потомков и подводит к мысли о необходимости рассмотрения социальной динамики в терминах эволюции целостной системы «человек – социум» во времени.

Ключевые слова: постгеномная эра, эпигенетика, эпигеном, генотип, фенотип, методология биокультурного со-конструктивизма, трансгенерационное (межпоколенческое) наследование

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ проект № 21-18-00428 «Политическая субъектность современной науки: междисциплинарный анализ на перекрестье философии науки и философии политики» в Русском обществе истории и философии науки.

Благодарю д-ра Р.Г. Апресяна за конструктивные замечания в процессе подготовки данного материала.

Для цитирования: Бажанов В.А. «Отцы ели кислый виноград...»: антропологические выводы из развития эпигенетики // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 46–58. doi: 10.17223/1998863X/67/5

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Original article

“THE FATHERS WERE THE ONES WHO ATE THE SOUR GRAPES...”: ANTHROPOLOGICAL IMPLICATIONS FROM THE MODERN EPIGENETICS

Valentin A. Bazhanov

*Russian Society for History and Philosophy of Science, Moscow, Russian Federation,
vbazhanov@yandex.ru, <http://staff.ulsu.ru/bazhanov>*

Abstract. In this paper I examine the research program of epigenetics, which corresponds to the entry into the post-genomic era and represents a link between the social sciences and the life sciences. I show that epigenetics presupposes a reconsideration of the rigid version of genetic determinism and demonstrates the importance of the impact of the environment on the state and evolution of the genome, which should be regarded as an epigenome. I draw attention to the phenomenon of transgenerational inheritance, which suggests a notable correlation of states of stress and physical deprivation of individuals, with the state of mind and health of their descendants, and leads to the idea that social dynamics should be considered in terms of evolution of a holistic system over time. It makes one ponder over the fate of people and their descendants, depending on circumstances determined by the metamorphosis occurring in society over rather long segments of time. I argue that such consideration can be carried out in the context of the methodology of biocultural co-constructivism, which allows presenting this evolution as a process of mutual determination of all components of this system, in particular, having in mind gene-cultural interactions.

Keywords: post-genomic era, epigenetics, epigenome, genotype, phenotype, biocultural co-constructivism methodology, transgenerational inheritance

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 21-18-00428.

I would like to express my gratitude to Dr. Ruben Apresyan for constructive comments during the preparation of this material.

For citation: Bazhanov, V.A. (2022) "The fathers were the ones who ate the sour grapes...": anthropological implications from the modern epigenetics. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 46–58. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/5

Русская пословица, которая претендует на сжатое, концентрированное выражение опыта многих поколений, гласит, что человек является кузнецом своего счастья¹. Смысл пословицы простой: все зависит только от самого человека, он – полновластный вершитель, хозяин своей судьбы. Человек как бы своего рода полноценный «атом», который движется по некоторой траектории, может соударяться с другими «атомами», но у него отсутствует предыстория, связанная с его «рождением». «Атомы» автономны и в математических терминах могут быть представлены в виде образа «марковской цепи», в котором будущее поведение отдельного «атома» не зависит от прошлого.

В какой мере данная пословица соответствует положению вещей в действительности? В какой мере опыту многих поколений людей можно доверять? Не является ли суждение, выраженное в пословице, заключением, сделанным по принципу «популярной» индукции, а следовательно, с очень низкой степенью правдоподобия, фиксирующим только «явление», но никак не суть события?

Современная эпигенетика обозначает в начале XXI столетия переход от эры, называемой геномной, к постгеномной, оцениваемый как «революция» в социальных науках [1. Р. 2–3]. После открытия и расшифровки структуры ДНК, а позже и открытия триплетного строения генетического кода создавалось убеждение, что именно гены (геном) предопределяет механизм наследования в системе «родители – дети». Фактически речь шла о вере в справедливость принципа (жесткого) генетического детерминизма: передаваемые от родителей к детям гены предопределяют их интеллект, физические особенности, склонность к тем или иным болезням и т.п. Изменения в характере наследования происходят за счет случайных мутаций.

¹ Она приведена, например, в знаменитом издании «Пословицы русского народа» В.И. Даля.

Эпигенетика в фокусе своего внимания держит проблемы влияния поведения человека и окружающей его среды на геном. Заключение, которое вытекают из исследований в контексте этой науки, уже заставляют радикально пересмотреть и смысл народной поговорки, и принятый в науке принцип генетического детерминизма. В то же время если использовать возрастные категории для обозначения этапов развития эпигенетики, то нынешнюю стадию можно охарактеризовать как «младенчество», а такое направление, как поведенческая эпигенетика, только как «зародыш» весьма перспективного ее подраздела [2. Р. 67]. Между тем действие эпигенетических механизмов и эпигенетическое наследование являются универсальными (ubiquitous) для живых существ [3. Р. 3]. Методология эпигенетического исследования основана на тщательном изучении процессов изменения экспрессии генов (т.е. динамики «замораживания», перевода в пассивные состояния активных генов и, напротив, «размораживания» генов, перевода их из пассивных в активное состояние: механизмы метилирования, ацетилирования и т.п.). Часто подчеркивается важность философско-методологического истолкования природы эпигенетических изменений и своего рода уроков для человека и общества, которые можно извлечь при их комплексном осмыслении в меж- и трансдисциплинарном аспектах (см., например: [4. Р. 55]).

Можно сказать, что в контексте эпигенетики раскрывается глубокий смысл библейского высказывания, повторяемого в разных формах и значениях (от истинного до ложного), согласно которому **«отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»** (Иеремия 31:29; Книга Исхода 34:7). Если не вдаваться в тонкости истолкования христианских текстов, то данная библейская максима фактически несовместима с образом человека и траектории его жизни в виде «марковской цепи». Максима предполагает, что жизнь и судьба конкретного человека не могут не являться производными от жизни и судьбы его предков. Картина мира в виде совокупности независимых от истории событий смещается в сторону картины, нарисованной в жанре холизма, когда все и все оказываются в определенной мере зависимыми от всего и всех: человек, его предки, социум и культура в их истории составляют некоторую целостность, непрерывную цепь взаимно обуславливающих событий. В каком-то смысле эта картина созвучна (но никоим образом не тождественна) концепции «неделимой целостности (undivided wholeness)» известного физика Д. Бома [5] и едва ли забытому диалектическому принципу всеобщей связи и зависимости явлений.

Эпигенетика в качестве связующего звена между социальными и биологическими наукам

Эпигенетику принято рассматривать в качестве связующего звена между комплексом социальных наук и наук о жизни, биологии. До рождения эпигенетических представлений бытовало убеждение, что социальная и биологическая реальность в значительной мере независимы друг от друга и развиваются по своим внутренним законам, автономно. Данное убеждение лежит в основании проблемы своего рода противостояния «nature – nurture» (природы и образования). Естественная траектория развития человека определяется «природой», а социальная – «образованием» в широком смысле, подразумевающим весь процесс социализации личности и ее динамику в социуме. Под

углом зрения эпигенетики, которая фокусируется на влиянии различных факторов окружающей среды на человека, проблема противостояния «nature – nurture» теряет свою прежнюю остроту, размывается, поскольку эпигенетика изучает прямое взаимодействие окружающей среды, социума на генотип на протяжении всего жизненного цикла – от пренатальной и ранней постнатальной стадии до глубокой старости.

В качестве «жесткого ядра» эпигенетической исследовательской программы может выступать признание возможности непосредственного воздействия на ДНК (генотип) со стороны внешних по отношению к организму факторов, с течением времени эффективно преобразующих фенотип посредством вариаций экспрессии тех или иных генов¹.

Эту (в реальности сложную) машинерию связи генотипа и фенотипа, динамики преобразования фенотипа можно выразить простой формулой $\Phi_1 + \Gamma_1 + O_1 = \Phi_2$ (где Φ – фенотип; Γ – генотип; O – окружающая среда). Фактически речь идет о последовательной трансформации одного эпигенома (т.е. модифицированного в результате внешних воздействий генома) в другой при сохранении состава ДНК, в которой в результате влияния внешней среды были активированы одни гены и подавлена экспрессия других генов. Такого рода трансформации в конечном счете и отпечатываются на фенотипе.

Весьма убедительный эксперимент, связанный с эпигенетическими трансформациями, был поставлен в 2015–2016 гг. Два монозиготных брата-близнеца (т.е. генотип их был полностью идентичен) Скотт и Марк Келли родились в феврале 1964 г. Один из их (Скотт) прошел подготовку в отряде американских астронавтов. Перед полетом в составе международного экипажа на космическую станцию «Союз» он и его брат прошли серьезное генетическое исследование. Их генотипы перед полетом по-прежнему сохраняли идентичность. Скотт провел в космосе год и после возвращения исследование генотипов было проведено вновь. Генотипы оказались существенно различающимися: у Скотта эпигенетические изменения ввиду воздействия радиации, пребывания в невесомости, стрессов, обусловленных длительным пребыванием в космосе в условиях ограниченного пространства станции, были сильными и его генотип претерпел большие изменения. В то же время генотип Марка остался прежним [7, 8]².

Имеет смысл подчеркнуть, что формирование и трансформация эпигенома осуществляется не только по материнской линии, но и линии отца [9. Р. 160; 10. Р. 83].

Эпигенетические процессы играют первостепенную роль в адаптации живых существ к окружающей среде и формировании *пластичного* фенотипа [11. Р. 3–4], не просто погруженного в своего рода жизненные ниши, обеспечивающие их сохранение и устойчивость метаболизма, но создают и настройку этих ниш под себя. Пластичность фенотипа – важнейший фактор и «достижение» эволюции.

¹ Существуют аргументы в пользу того, что этот процесс допускает целый спектр интерпретаций [6. Р. 21–22].

² В анализе ситуации с братьями-астронавтами Скоттом и Марком [7] принимало участие почти сотня, а может быть и больше – если иметь в виду вспомогательный персонал – исследователей. У данной статьи, опубликованной в одном из ведущих мировых журналов, 75 авторов! С академическим статусом журнала *Science* может сравниться только статус журнала *Nature*.

О наличии эпигенетических механизмов эволюции (без применения понятия «эпигенетика», широкое использование которого восходит к идеям К. Уоддингтона, оглашенным в 1940 г.) начали догадываться еще в конце XIX столетия. Американский философ и психолог Дж. Болдуин заметил, что наряду с процессами эволюции, по Дарвину, существует и «социальный тип наследственности (social heredity)». Этот механизм работает посредством большей вероятности выживания особей с определенными признаками, которые заметно увеличивали потенциал их адаптации и выживаемости при изменяющихся внешних условиях. Таким образом, удельный вес особей с полезными признаками в популяции увеличивался, а следовательно, возрастало и число потомков с важными для приспособления к новым условиям признаками. Этот феномен получил название эффекта Болдуина.

С первого взгляда эффект Болдуина наводит на мысль о возрождении идей Ж.-Б. Ламарка. Однако более пристальный взгляд на внутренние механизмы эффекта показывает, что с концептуальной точки зрения он всецело вписывается в эволюционную теорию Дарвина, являясь примером эффективной «естественной ассимиляции и селекции организмов» [12. Р. 2] и фактически обогащая содержание ядра дарвиновской исследовательской программы, поднимая ее на уровень неодарвинизма и показывая, что не столько процессы обучения детерминируют выбор траектории развития, сколько динамика изменения генотипа [13. Р. 128–129]. В начале XX в. стало понятно, что в основании эффекта Болдуина лежат эпимутации, которые обеспечивают текущее и будущее фенотипическое многообразие в некоторой популяции.

Эпимутации вызываются внешними условиями, в которые погружены живые особи, что придает особую актуальность реализации грамотной и последовательной экологической политике.

Так, в зависимости от температуры среды из отложенных аллигаторами яиц рождаются либо самки, либо самцы. Понятно, что значительное смещение температурного режима по отношению к колебаниям вокруг среднегодового значения может негативно влиять на равновесие в природе. Аналогичные эффекты, вероятно, могут иметь место и для других живых существ.

Загрязнение окружающей среды пестицидами, которые используются для повышения урожайности растений, свинцом, который добавляется к краскам и к нефтяным продуктам, в частности к бензину, оказывает заметное отрицательное воздействие и на когнитивные способности людей, которые подвергались действию вредных факторов, на их последующие поколения [14. Р. 2, 3, 8].

Межпоколенческие особенности эпигенетической наследственности: «мертвый хватает живого»

Содержание понятия «мертвый» здесь отличается от того, что имел в виду в своем известном высказывании К. Маркс: хотя «мертвый» это может быть в буквальном смысле неживой, но речь идет о тех признаках, которые появились у него когда-то в качестве ответа на неблагоприятное воздействие окружающей среды и привели к запуску процессов эпимутаций, изменению характера экспрессии генов. Это сложные лиминальные процессы, находящиеся в фокусе эпигенетики.

Если иметь в виду машинерию эпигенетического наследования, то особенно важны для последующей жизни своего рода «критические окна» в жизни особи, которые открываются в период младенчества и раннего детства (ранней постнатальной стадии). В эти периоды степень материнской заботы, которая является полимодальной в смысле общения с ребенком, характер питания, воздействие токсинов могут существенным образом влиять на здоровье взрослой особи [15; 16. Р. 10; 17. Р. 2]. Крайне негативно – в виде значительных психических аномалий – на последующей жизни сказываются бедность и нищета¹, заставляющие ограничивать себя, снижать нормативы потребления, стрессы во время беременности, недостаток (и тем более отсутствие) материнской заботы и ласки² [22. Р. 344; 23. Р. 496; 24. Р. 4–5]. Необходимо четко осознать, что материнская забота оказывается даже более важным компонентом в уходе за ребенком по сравнению с полноценным питанием [25. С. 213–215; 26]. Материнская забота и ласка – *sine qua non* полноценной жизни ребенка, который находится в длительном процессе взросления³. Кроме того, эти же факторы несут ответственность за болезни сердца и сосудистой системы во взрослом состоянии, поскольку младенцы, которые рождаются вследствие стрессовых ситуаций у матерей с недостаточным весом и/или лишены грудного вскармливания, значительно выше среднего подвержены этим патологиям [27. Р. 229; 28]. Аналогичные эффекты наблюдаются и при злоупотреблении табакокурением или при зачатии в условиях голода у потенциальных отцов и состоявшихся дедов, т.е. здесь, как и в случае материнской линии, выражено межпоколенческое наследование [9; 29; 30. Р. 233].

Глубина (если так можно выразиться) влияния негативных событий и ситуаций, вызывающих стресс, голод, нарушение экологического равновесия, на потомство довольно значительна. Так, рождение в настоящее время афроамериканцев с пониженным весом относительно белого населения объясняется тяжелыми эффектами, вызванными работорговлей, которая была прекращена в Северной Америке еще в 1865 г. [31. Р. 17; 32. Р. 2, 9–10].

Спустя столетие ощущаются последствия пандемии «испанки» (1918–1921 гг.), которая проявляет себя в виде повышенного уровня кардиоваскулярных болезней у потомков тех, кто в свое время перенес этот грипп. Так,

¹ Нельзя недооценивать компенсаторный и корректирующий потенциалы мозга, которые могут в пубертатный период уменьшить эффекты, вызванные бедностью. Надо иметь в виду, что «низкий социально-экономический статус оказывает негативное влияние на развитие управляющих функций не напрямую, а через посредство речи» [18. С. 151]. То же касается не только вербальных способностей, но и памяти, зрительного восприятия и других когнитивных функций. Ментальное здоровье закладывается в детстве и зависит (если иметь в виду физиологические процессы) от уровня дофамина, который повышается в условиях, когда ребенок испытывает положительные эмоции [19]. Более того, уровень социально-экономического статуса ребенка заметно влияет на диапазон пластичности и темпы развития мозга, в определенной степени предопределяя социально-экономический статус уже взрослого человека [20. Р. 379–380].

² Принудительное отлучение младенца от матери всего на час ведет к падению уровня гормонов роста примерно на 50%, а тактильная стимуляция недоношенных детей существенно увеличивает их шанс на выживание и постепенное выравнивание развития с другими детьми [21. Р. 88–89].

³ Ввиду указанной особенности развития человека особую тревогу должен вызвать феномен отказа от детей и помещения их в детские дома. Состояние детских домов и уход в них за детьми должны быть приоритетными направлениями в социальной политике государства, которое обязано обеспечить максимально благоприятные условия для передачи сирот в семьи, где они могут ощутить всю глубину родительской заботы и привязанности.

исследование более ста тысяч людей, родившихся в период с 1915 по 1923 г., показало заметное влияние болезни на потомство (рост сердечно-сосудистых патологий на примерно 20%), причем в случае мужчин уровень этого влияния превышал [33. Р. 26–27].

Довольно хорошо изучено влияние событий Холокоста [34] и сексуальной эксплуатации корейских женщин на новые поколения [2. Р. 79–80]. Оно выражается в серьезных посттравматических последствиях (раздражительность, глубокие депрессии, агрессивность и другие формы девиантного поведения, низкая самооценка и т.п.), причиной и носителем которых являлся эпигеном, транслируемый от жертв насилия своим детям, внукам и внукам.

В современном мире по самым скромным прикидкам насчитывается около тридцати миллионов беженцев и почти четыре миллиона из них претендуют на политическое убежище. Эпигенетическое сканирование этих масс людей выявляет среди них повышенный уровень психических и соматических расстройств, суицидов, проблем с репродуктивным поведением, посттравматизмом в широком смысле слова [35. Р. 2–4]. И процессы работорговли, и поиска политического убежища связаны не только с психическими стрессами, но и со значительными культурными травмами, поскольку люди оказываются в новой, часто инородной или даже враждебной культурной среде, которая препятствует их активной к ней адаптации, что также не может не сказываться на эпигенетическом наследовании [36. Р. 1764].

Следует обратить особое внимание, что все перечисленные выше данные соответствуют довольно жестким условиям проведения экспериментальных исследований массовых явлений, в частности требования к их воспроизводимости [37], хотя о воспроизводимости в буквальном смысле в случае, скажем, Холокоста и/или эпидемии «испанки» говорить, понятно, не приходится. Это уникальные явления, но ввиду их массовости и достоверности статистики степень обоснованности полученных результатов весьма высока, хотя эти выводы и необходимо интерпретировать в терминах, приложимых к правдоподобным умозаключениям. И даже в этом случае степень достоверности выводов достаточно велика.

Необходимо иметь в виду, что травматизация отдельных индивидов при увеличении их числа, когда возникает возможность говорить о массовых явлениях, не может не отражаться на состоянии и общественного сознания, и общественной психологии, и общественного бессознательного, смещая их в область, где нарушаются способности рационального постижения реальности, возникают когнитивные диссонансы, увеличивая плотность и вес иррациональных идей, способных направить социум на деструктивный путь, подтачивающий фундамент его устойчивого развития. Возникают новые разновидности ответственности, которые затрагивают не только вопросы экономической зависимости и воспитания, но и физического, психического благосостояния — между поколениями, между родителями, прародителями и потомками. Если наступило событие негативного влияния на физическое или ментальное состояние потомков, то имеет ли смысл говорить о своего рода «репарациях» по отношению к предшествующим поколениям? Этот вопрос открыт, но его обсуждение рассматривается как вполне правомерное [38. Р. 8–9].

Борьба с посттравматическими синдромами чрезвычайно сложна. Традиционные методы лечения этого синдрома предполагают применение разно-

го рода антидепрессантов, но в последнее время особая надежда здесь возлагается на окситоцин, его аналоги и производные [39]. Впрочем, путь к поиску универсальной, общезначимой стратегии лечения и выработке надежного протокола может оказаться очень сложным. Так, одним из негативных эффектов стрессовых состояний принято считать феномен ожирения у потомков. Либерально настроенные люди и исследователи склонны возлагать ответственность за ожирение на системные факторы, относящиеся к окружающей среде (например, экологическое неблагополучие), а люди и ученые с преобладанием консервативных воззрений обычно считают, что причины ожирения надо искать в неумеренном потреблении и нездоровом образе жизни тех, кто им страдает [40. Р. 38]. Убедительных объективных данных, которые могли бы сблизить позиции или показать *решающее* влияние либо нарушений экологического равновесия в среде обитания людей, либо эпигенетического наследования, пока не имеется. Скорее всего, в данном случае следует искать надежные основания для синтеза противоборствующих позиций, но такое основание на данный момент еще не обнаружено.

На явление межпоколенческого наследования можно посмотреть и под углом зрения идеи биокультурного со-конструктивизма [41]: естественная траектория развития живой системы изменяется в результате действия социокультурных факторов, а социум в свою очередь преобразуется в процессе ген-культурных взаимодействий, когда увеличивается или уменьшается удельный вес в популяции определенных генов и характер их экспрессии (феномен, который фиксируется, в частности, в эффекте Болдуина). При этом конструктивный (т.е. созидательный) процесс с обеих сторон (природы и социума) детерминирован событиями в границах длительных исторических периодов, а не только (и не сколько) событиями, которые совершаются здесь и сейчас. «Переменная» в виде времени явно или неявно присутствует во всех процессах, разворачивающихся в мире живых существ, и, как показывает эпигенетика, эту переменную нельзя не учитывать, если мы хотим понять законы, которые стоят за природными и социокультурными системами, составляющими «неделимую целостность» мира, развертывающегося во времени. Более того, культура должна выступать в качестве переменной в биологических исследованиях, а биология – в культурологических и социальных. Такого рода «перекрестное опыление» (а не просто «зона обмена») ранее разделенных глубокой пропастью дисциплин не может не привести к выработке интегративной панорамы развития естественных и социокультурных процессов с обозначением многообразия отрицательных обратных связей, которые, собственно, и обеспечивают это развитие.

Заключение

Вступление в постгеномную эру ознаменовалось пересмотром установок жесткой версии генетического детерминизма и картины «атомистического» общества в пользу признания «неделимой целостности» не только членов общества, но и следующих друг за другом поколений. В результате в определенной степени потеряла остроту проблема «nature – nurture». Центр внимания переместился в область анализа феномена межпоколенческого наследования и его последствий для поколений людей, составляющих социумы.

С биологической точки зрения этот феномен свидетельствует о мощном потенциале адаптации и пластичности поведения живых существ, заключенном в функционале эффекта Болдуина. С философской точки зрения он предполагает осмысление с позиций биокультурного со-конструктивизма, имеющего в виду применимость и действие на протяжении довольно значительных временных отрезков: не просто взаимодействие естественной и социальной траекторий развития, но и детерминацию их функций, сильную взаимную обусловленность в рамках целостной социальной системы, развернутой во времени. В социально-политическом и экономическом аспектах феномен межпоколенческого наследования довольно убедительно говорит о важности устойчивого развития обществ и выраженных негативных последствиях для будущего наций и народов, устойчивое развитие которых было нарушено и они оказались втянутыми в режим «социальной турбулентности», который затрагивает едва ли не каждого индивидуума и с течением времени его потомков.

Список источников

1. Dubois M., Guaspere C., Louvel S. From Genetics and Epigenetics: A “Postgenomic” Revolution for the Social Scientists” // *Revue française de sociologie*. 2018. Vol. 59. P. 1–24.
2. Rabin J.S. Behavioral Epigenetics: The Underpinnings of Political Psychology // *The Psychology of Political Behavior in a Time of Change* / Eds. Jan D. Sinnott, Joan S. Rabin. Springer, 2021. P. 55–98.
3. Jablonka E. The evolutionary implications of epigenetics inheritance // *Interface Focus*. 2017. Vol. 7. Article 20160135. doi: 10.1098/rsfs.2016.0135
4. Chiapperino L. Epigenetics: Ethics, Politics, Biosociality // *British Medical Bulletin*. 2018. Vol. 128. P. 49 0 60. doi: 10.1093/bmb/ldy033
5. Bohm D. Wholeness and the Implicate Order. New York ; London : Routledge, 1980. XIX. 284 p.
6. Bellazi F. The emergence of postgenomic gene // *European Journal for Philosophy of Science*. 2022. Vol. 12. P. 17–38. doi: 10.1007/s13194-022-00446-0
7. Garrett-Bakelman F.E., Darshi M. et al., The NASA Twins Study: A multidimensional analysis of a year-long human spaceflight // *Science*. 2019. Vol. 364, is. 436. doi: 10.1126/science.aau8650
8. Zimmer C. “Scott Kelly Spent A Year In Orbit. His Body Is Not Quite The Same” // *The New York Times*. 2019. April 12. (<https://carlzimmer.com/scott-kelly-spent-a-year-in-orbit-his-body-is-not-quite-the-same> accessed on May 2, 2022).
9. Pembrey M.E., Bygren L.O. et al., Sex-specific, male-line transgenerational responses in humans // *European Journal of Human Genetics*. 2006. Vol. 14. P. 159–166.
10. Soubrey A. Epigenetic inheritance and evolution: A paternal perspective on dietary influence // *Progress in Biophysics and Molecular Biology*. 2015. Vol. 118. P. 79–85. doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2015.02.008
11. Ashe A., Colot V., Oldroyd B.P. How does epigenetics influence the course of evolution? // *Philosophical Transactions. B*. 2021. Vol. 376. Article 20200111. doi: 10.1098/rstb.2020.0111
12. Loison L. Epigenetic inheritance and evolution: a historian’s perspective // *Philosophical Transactions. B*. 2021. Vol. 376. Article 20200120. doi: 10.1098/rstb.2020.0120
13. Santos M., Szathmary E., Fontanari J.F. Phenotypic plasticity, the Baldwin effect, and the speeding up of evolution: The computational roots of an illusion // *Journal of Theoretical Biology*. 2015. Vol. 371. P. 127–136. doi: 10.1016/j.jtbi.2015.02.012
14. Rothstein M.A., Harrell H.L., Marchant G.E. Transgenerational epigenetics and environmental justice // *Environmental Epigenetics*. 2017. Vol. 3 (3). P. 1–12. doi: 10.1093/eep/dvx011
15. Muller R., Hanson C. et al., The biosocial genome? Interdisciplinary perspectives on environmental epigenetics, health and society // *EMBO reports*. 2017. Vol. 18. P. 1677–1682. doi: 10.15252/embr.201744953
16. Pentecost M., Meloni M. “It’s never too early”: Preconception care and postgenomic models of life // *Frontiers in Sociology*. 2020. Vol. 5. Article 21. doi: 10.3389/fsoc.2020.00021

17. Breton C.V., Landon R., Kahn L.G. et al. Exploring the evidence for epigenetic regulation of environmental influences on child health across generations // Communications Biology. 2021. Vol. 4. Article 769. doi: 10.1038/s420003-021-02316-6
18. Ахутина Т.В., Меликян З.А. Бедность и развитие мозга // Бедность и развитие ребенка / Под ред. Д.А. Александрова, В.А. Иванюшиной, К.А. Маслинского. М. : Рукописные памятники древней Руси, 2015. С. 115–176.
19. Skyberg A.M., Beller-Duden S. et al. Neuroepigenetic Impact on Mentalizing in Childhood // Developmental Cognitive Neuroscience. 2022. Vol. 54. doi: 10.1016/j.dcn.2022.101080
20. Tooley U.A., Bassett D.S., Mackey A.P. Environmental Influences on the pace of Brain Development // Nature Review Neuroscience. 2021. Vol. 22 (6). P. 372–384. doi: 10.1038/s41583-021-00457-5
21. Wexler B.E. Brain and Culture. Neurobiology, Ideology, and Social Change. Cambridge MA., L., The Bradford Books. The MIT Press, 2006. IX, 307 p.
22. Lv J., Xin Y., Zhou W., Qiu Z. The epigenetic switches for neural development and psychiatric disorders // Journal of Genetics and Genomics. 2013. Vol. 40. P. 339–346. doi: 10.1016/j.jgg.2013.04.007
23. Rasmussen P.D., Storebo O.J. Attachment and epigenetics: A scoping review of recent research and current knowledge // Psychological reports. 2021. Vol. 124 (2). P. 479–501. doi: 10.1177/0033294120901846
24. Troller-Renfree S.V., Constanzo M.A., Duncan G.J. et al. The impact of a poverty reduction intervention on infant brain activity // PNAS. 2022. Vol. 119, No. 5. Article 21156489119. doi: 10.1073/pnas.2115649119
25. Сапольски Р. Кто мы такие? Гены, наше тело, общество. М. : Альпина-фикшн, 2018. 290 с.
26. Wikenius E. Can Early Life Stress Engender Biological Resilience? // Journal of Child and Adolescence Trauma. 2020. Vol. 14 (1). P. 161–163. doi: 10.1007/s40653-020-00303-3
27. Jasienska G. The fragile wisdom: An evolutionary view on women's biology and health. Cambridge (MA) : Harvard University Press, 2013. 336 p.
28. Jasienska G. Public health needs evolutionary thinking // PNAS. 2021. Vol. 118, No. 31. Article e2110985118. doi: 10.1073/pnas.2110985118
29. Pembrey M.E., Saffery R. et al. Human transgenerational responses to early-life experience: potential impact on development, health and biomedical research // Journal of Medical Genetics. 2014. Vol. 51. P. 563–572.
30. Bowers M.E., Yehuda R. Intergenerational Transmission of Stress in Humans // Neuropsychopharmacology Reviews. 2016. Vol. 41. P. 232–244.
31. Jasienska G. Low birth weight of contemporary African Americans: An intergenerational effect of Slavery? // American journal of Human Biology. 2009. Vol. 21. P. 16–24. doi: 10.1002/ajhb.20824
32. Micheletti S.J., Bryc K., Esselmann S.G. Genetic consequences of the transatlantic Slave trade in the Americas // The Journal of Human Genetics. 2020. Vol. 107. P. 1–13. doi: 10.1016/j.ajhg.2020.06.012
33. Mazumder B., Almond D., Park K. et al. Lingering prenatal effects of the 1918 influenza pandemic on cardiovascular disease // The Journal of Developmental Origins of Health and Disease . 2010. Vol. 1 (1). P. 26–34. doi: 10.1017/S2040174409990031
34. Yehuda R., Daskalakis N.P., Bierer L.M. et al. Holocaust Exposure Induced Intergenerational Effects on FKBP5 Methylation // Biological Psychiatry. 2016. Vol. 80. P. 372–380. doi: 10.1016/j.biopsych.2015.08.005
35. Taki F., De-Melo-Martin I. Conducting epigenetic research with refugees and asylum seekers: attending to the ethical challenges // Clinical Epigenetics. 2021. Vol. 13. Article 105. doi: 10.1186/s13148-021-01092-8
36. Lehrner A., Yehuda R. Cultural trauma and epigenetic inheritance // Development and Psychopathology. 2018. Vol. 30. P. 1763–1777. doi: 10.1017/S0954579418001153
37. Бажанов В.А. Феномен воспроизводимости в фокусе эпистемологии и философии науки // Вопросы философии. 2022. № 5. С. 25–35. doi: 10.21146/0042-8744-2022-5-25-35
38. Dubois M., Louvel S., Rial-Sebbag E. Epigenetics and an interdisciplinary? Promises and fallacies of a biosocial research agenda. Introduction to a special issue // Social Science Information. 2020. Vol. 59. P. 3–11. doi: 10.1177/0539018420908233
39. Preckel K., Trautmann S., Kanske P. Medication-enhanced psychotherapy for posttraumatic stress disorder: recent findings on Oxytocin's involvement in the neurobiology and treatment of

posttraumatic stress disorder // *Clinical Psychology in Europe*. 2021. Vol. 3 (4). Article e3645. doi: 10.3272/cpe.3645

40. Robison S.K. The Political Implications of Epigenetics // *Politics and Life Sciences*. 2016. Vol. 35, No. 2. P. 30–49. doi: 10.1017/pls.2016.14

41 Бажанов В.А. Социум и мозг: биокультурный со-конструктивизм // *Вопросы философии*. 2018. № 2. С. 78–88.

References

1. Dubois, M., Guaspare, C. & Louvel, S. (2018) From Genetics and Epigenetics: A “Post-genomic” Revolution for the Social Scientists”. *Revue française de sociologie*. 59. pp. 1–24. DOI: 10.3917/rfs.591.0071

2. Rabin, J.S. (2021) Behavioral Epigenetics: The Underpinnings of Political Psychology. In: Sinnott, J.D. & Rabin, J.S. (eds) *The Psychology of Political Behavior in a Time of Change*. Springer. pp. 55–98.

3. Jablonka, E. (2017) The Evolutionary Implications of Epigenetics Inheritance. *Interface Focus*. 7. Article 20160135. DOI: 10.1098/rsfs.2016.0135

4. Chiapperino, L. (2018) Epigenetics: Ethics, Politics, Biosociality. *British Medical Bulletin*. 128. pp. 49–60. DOI: 10.1093/bmb/ldy033.

5. Bohm, D. (1980) *Wholeness and the Implicate Order*. New York; London: Routledge.

6. Bellazi, F. (2022) The Emergence of Postgenomic Gene. *European Journal for Philosophy of Science*. 12. pp. 17–38. DOI: 10.1007/s13194-022-00446-0

7. Garrett-Bakelman, F.E., Darshi, M. et al. (2019) The NASA Twins Study: A Multidimensional Analysis of a Year-Long Human Spaceflight. *Science*. 364(436). DOI: 10.1126/science.aau8650

8. Zimmer, C. (2019) Scott Kelly Spent A Year In Orbit. His Body Is Not Quite The Same. *The New York Times*. 12th April. [Online] Available from: <https://carlzimmer.com/scott-kelly-spent-a-year-in-orbit-his-body-is-not-quite-the-same> (Accessed: 2nd May 2022).

9. Pembrey, M.E., Bygren, L.O. et al. (2006) Sex-Specific, Male-Line Transgenerational Responses in Humans. *European Journal of Human Genetics*. 14. pp. 159–166. DOI: 10.1038/sj.ejhg.5201538

10. Soubrey, A. (2015) Epigenetic inheritance and evolution: A paternal perspective on dietary influence. *Progress in Biophysics and Molecular Biology*. 118. pp. 79–85. DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2015.02.008

11. Ashe, A., Colot, V. & Oldroyd, B.P. (2021) How Does Epigenetics Influence the Course of Evolution? *Philosophical Transactions*. 376. Article 20200111. DOI: 10.1098/rstb.2020.0111

12. Loison, L. (2021) Epigenetic Inheritance and Evolution: a Historian’s Perspective. *Philosophical Transactions*. 376. Article 20200120. DOI: 10.1098/rstb.2020.0120

13. Santos, M., Szathmari, E. & Fontanari, J.F. (2015) Phenotypic Plasticity, the Baldwin effect, and the Speeding up of Evolution: The Computational Roots of an Illusion. *Journal of Theoretical Biology*. 371. pp. 127–136. DOI: 10.1016/j.jtbi.2015.02.012

14. Rothstein, M.A., Harrell, H.L. & Marchant, G.E. (2017) Transgenerational Epigenetics and Environmental Justice. *Environmental Epigenetics*. 3(3). pp. 1–12. DOI: 10.1093/eep/dvx011

15. Muller, R., Hanson, C. et al. (2017) The Biosocial Genome? Interdisciplinary Perspectives on Environmental Epigenetics, Health and Society. *EMBO Reports*. 18. pp. 1677–1682. DOI: 10.15252/embr.201744953

16. Pentecost, M. & Meloni, M. (2020) “It’s Never too Early”: Preconception Care and Post-genomic Models of Life. *Frontiers in Sociology*. 5. Article 21. DOI: 10.3389/fsoc.2020.00021

17. Breton, C.V., Landon, R., Kahn, L.G. et al. (2021) Exploring the Evidence for Epigenetic Regulation of Environmental Influences on Child Health Across Generations. *Communications Biology*. 4. Article 769. DOI: 10.1038/s420003-021-02316-6

18. Akhutina, T.V. & Melikyan, Z.A. (2015) Bednost' i razvitie mozga [Poverty and brain development]. In: Aleksandrov, D.A., Ivanyushina, V.A. & Maslinsky, K.A. (eds) *Bednost' i razvitie rebenka* [Poverty and Child Development]. Moscow: Rukopisnyye pamyatniki drevney Rusi. pp. 115–176.

19. Skyberg, A.M., Beller-Duden, S. et al. (2022) Neuroepigenetic Impact on Mentalizing in Childhood. *Developmental Cognitive Neuroscience*. 54. DOI: 10.1016/j.dcn.2022.101080

20. Tooley, U.A., Bassett, D.S. & Mackey, A.P. (2021) Environmental Influences on the Pace of Brain Development. *Nature Review Neuroscience*. 22(6). pp. 372–384. DOI: 10.1038/s41583-021-00457-5

21. Wexler, B.E. (2006) *Brain and Culture. Neurobiology, Ideology, and Social Change*. Cambridge (MA): The Bradford Books. The MIT Press.

22. Lv, J., Xin, Y., Zhou, W. & Qiu, Z. (2013) The Epigenetic Switches for Neural Development and Psychiatric Disorders. *Journal of Genetics and Genomics*. 40. pp. 339–346. DOI: 10.1016/j.jgg.2013.04.007
23. Rasmussen, P.D. & Storebo, O.J. (2021) Attachment and Epigenetics: A Scoping Review of Recent Research and Current Knowledge. *Psychological Reports*. 124(2). pp. 479–501. DOI: 10.1177/0033294120901846
24. Troller-Renfree, S.V., Constanzo, M.A., Duncan, G.J. et al. (2022) The Impact of a Poverty Reduction Intervention on Infant Brain Activity. *PNAS*. 119(5). Article 21156489119. DOI: 10.1073/pnas.2115649119
25. Sapolsky, R.M. (2018) *Kto my takiye? Geny, nashe telo, obshchestvo* [Monkeyluv: And Other Essays on Our Lives as Animals]. Translated from English. Moscow: Al'pina-fikshn.
26. Wikenius, E. (2020) Can Early Life Stress Engender Biological Resilience? *Journal of Child and Adolescence Trauma*. 14(1). pp. 161–163. DOI: 10.1007/s40653-020-00303-3
27. Jasienska, G. (2013) *The Fragile Wisdom: An Evolutionary View on Women's Biology and Health*. Cambridge (MA): Harvard University Press.
28. Jasienska, G. (2021) Public Health Needs Evolutionary Thinking. *PNAS*. 118(31). Article e2110985118. DOI: 10.1073/pnas.2110985118
29. Pembrey, M.E., Saffery, R., et al. (2014) Human Transgenerational Responses to Early-Life Experience: Potential Impact on Development, Health and Biomedical Research. *Journal of Medical Genetics*. 51. pp. 563–572.
30. Bowers, M.E. & Yehuda, R. (2016) Intergenerational Transmission of Stress in Humans. *Neuropharmacology Reviews*. 41. pp. 232–244.
31. Jasienska, G. (2009) Low Birth Weight of Contemporary African Americans: An intergenerational effect of Slavery? *American Journal of Human Biology*. 21. pp. 16–24. DOI: 10.1002/ajhb.20824
32. Micheletti, S.J., Bryc, K. & Esselmann, S.G. (2020) Genetic Consequences of the Transatlantic Slave Trade in the Americas. *The Journal of Human Genetics*. 107. pp. 1–13. DOI: 10.1016/j.ajhg.2020.06.012
33. Mazumder, B., Almond, D., Park, K. et al. (2010) Lingering Prenatal Effects of the 1918 Influenza Pandemic on Cardiovascular Disease. *The Journal of Developmental Origins of Health and Disease*. 1(1). pp. 26–34. DOI: 10.1017/S2040174409990031
34. Yehuda, R., Daskalakis, N.P., Bierer, L.M. et al. (2016) Holocaust Exposure Induced Intergenerational Effects on FKBP5 Methylation. *Biological Psychiatry*. 80. pp. 372–380. DOI: 10.1016/j.biopsych.2015.08.005
35. Taki, F. & De-Melo-Martin, I. (2021) Conducting Epigenetic Research with Refugees and Asylum Seekers: Attending to the Ethical Challenges. *Clinical Epigenetics*. 13. Article 105. DOI: 10.1186/s13148-021-01092-8
36. Lehrner, A. & Yehuda, R. (2018) Cultural Trauma and Epigenetic Inheritance. *Development and Psychopathology*. 30. pp. 1763–1777. DOI: 10.1017/S0954579418001153
37. Bazhanov, V.A. (2022) Fenomen vosproizvodimosti v fokuse epistemologii i filosofii nauki [The phenomenon of reproducibility in the focus of epistemology and philosophy of science]. *Voprosy Filosofii*. 5. pp. 25–35. DOI: 10.21146/0042-8744-2022-5-25-35
38. Dubois, M., Louvel, S. & Rial-Sebbag, E. (2020) Epigenetics and an Interdiscipline? Promises and Fallacies of a Biosocial Research Agenda. Introduction to a Special Issue. *Social Science Information*. 59. pp. 3–11. DOI: 10.1177/0539018420908233
39. Preckel, K., Trautmann, S. & Kanske, P. (2021) Medication-Enhanced Psychotherapy for Posttraumatic Stress Disorder: Recent Findings on Oxytocin's Involvement in the Neurobiology and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder. *Clinical Psychology in Europe*. 3(4). Article e3645. DOI: 10.3272/cpe.3645
40. Robison, S.K. (2016) The Political Implications of Epigenetics. *Politics and Life Sciences*. 35(2). pp. 30–49. DOI: 10.1017/pls.2016.14
41. Bazhanov, V.A. (2018) Sotsium i mozg: biokul'turnyy so-konstruktivizm [Society and the brain: biocultural co-constructivism]. *Voprosy Filosofii*. 2. pp. 78–88.

Сведения об авторе:

Бажанов В.А. – доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, исследователь в «Русском обществе истории и философии науки» (Москва, Россия).

E-mail: vbazhanov@yandex.ru, http://staff.ulsu.ru/bazhanov

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Bazhanov V.A. – Dr. Sci. (Philosophy), Honoured Science Worker of the Russian Federation, professor, researcher, Russian Society for History and Philosophy of Science (Moscow, Russian Federation). E-mail: vbazhanov@yandex.ru, <http://staff.ulsu.ru/bazhanov>

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 04.05.2022;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 04.05.2022;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022*

Научная статья

УДК 1:37.01

doi: 10.17223/1998863X/67/6

КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ФЕНОМЕНА ОБРАЗОВАНИЯ: СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД

Виктория Викторовна Вихман¹, Марк Валериевич Ромм²

^{1,2} *Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия*

¹ vvv@smc.nstu.ru

² mark.romm@gmail.com; <mailto:vvv@smc.nstu.ru>

Аннотация. Применен сценарный подход к конструированию теоретических образов будущего современного образования, исследуемого нами в виде полидисциплинарных интерпретаций. Обращение к сценарному подходу диктуется, с одной стороны, сложностью осмысления перспектив развития и трансформации образования как объекта познания, с другой – реальным эвристическим потенциалом данного подхода, нацеленного на построение будущих сценариев изучаемого объекта; возможностью формирования теоретических образов грядущего образования в условиях Индустрии 4.0.

Ключевые слова: метод сценариев, конструирование, образование, теоретические образы

Для цитирования: Вихман В.В., Ромм М.В. Конструирование теоретических образов феномена образования: сценарный подход // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 59–68. doi: 10.17223/1998863X/67/6

Original article

CONSTRUCTING THEORETICAL IMAGES OF THE PHENOMENON OF EDUCATION: A SCENARIO APPROACH

Victoria V. Vikhman¹, Mark V. Romm²

^{1,2} *Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation*

¹ vvv@smc.nstu.ru

² mark.romm@gmail.com; <mailto:vvv@smc.nstu.ru>

Abstract. The article is aimed at the comprehension of the specificity of the scenario approach as a scientific method of building a hypothetical picture of prospective study objects and the demonstration of its applicability to the cognition of education as a social phenomenon. One such image of a possible row is offered for comprehension as the most promising theoretical image of contemporary education designed on the basis of the most pessimistic scenario of its development. We stress that education as an object of study is aggravated with polydisciplinarity and development in the conditions of exclusively high uncertainty and various types of fluctuations. For the solution of the task of designing promising theoretical images of education, we introduce a scenario design – a theoretical and methodological tool that combines constructivist scientific traditions and the scenario method. The scenario design procedure includes the main stages and is based on the author's universal structural unit-construct, namely a “promising theoretical image of a social phenomenon”. We implement the trendy scenario designing, and the key trend in our case is

digital technologies. The analysis of the promising theoretical image of education designed in the article allows describing the picture of a possible future of contemporary education and formulating recommendations of what education can be like if it develops according to the pessimistic scenario we propose. In conclusion, we note that the concept of reinforcement of the theoretical methodological basis of traditional constructivism with the help of the scenario method tools presented in the article allows “looking behind the horizon” of contemporary education, which is a complex and multi-aspect social phenomenon. Therefore, it gives the opportunity to reevaluate the actions undertaken in contemporary education in order to mitigate the consequences for its possible future.

Keywords: scenario method, construction, education, theoretical images

For citation: Vihman, V.V. & Romm, M.V. (2022) Constructing theoretical images of the phenomenon of education: a scenario approach. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 67. pp. 59–68. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/6

Введение

Осмысление теоретических интерпретаций образования в контексте его настоящего, прошлого и будущего – «священный Грааль» современной философии образования. Однако если прошлое теоретизаций образования мы постигаем в процессе их теоретической реконструкции, то для осмысления теоретических образов его грядущего, на наш взгляд, наиболее оптимален сценарный подход. Ключевая идея сценарного подхода – это осуществление такого исследования, при котором выстраиваются и впоследствии анализируются различные вариации сценариев, т.е. картин потребного будущего исследуемого объекта. В литературе представлен самый широкий и многообразный спектр различных, нередко противоречивых его определений и характеристик, что, в свою очередь, привело к методологическому хаосу [1], фактически до сих пор «не существует единого подхода к разработке сценария» [2. С. 217]. Но, несмотря на данный факт, исследователи продолжают активно адаптировать методологию сценарного подхода под собственные задачи, нагружая ее каждый своими приемами, техниками и характеристиками.

К числу ведущих разработчиков и активных популяризаторов данного подхода относят Х. Кана и А.Дж. Винера (Н. Kahn & A.J. Wiener), которые под сценарием понимали «потенциальные последовательности событий, подготовленные для выявления случайных процессов и связанных с ними проблем принятия решений» и вполне справедливо полагали, что «сценарии демонстрируют, как определенные гипотетические ситуации будут развиваться шаг за шагом и каковы возможности в отношении остановки, изменения направления или поддержки хода этой ситуации» [3. С. 138]. В дальнейшем возникли и другие экспликации понятия «сценарий»: «сценарий это проекция потенциального будущего» Л. Фейи и Р.М. Рэндалл (L. Fahey & R.M. Randall) [4. С. 7], «сценарий представляет собой внутренне непротиворечивую картину того, как может выглядеть будущее» М. Портер (M. Porter) [5. С. 37] и др.

В теоретическом плане, по М. Годе (M. Godet), к исследованию сценариев в числе первых проявил интерес французский философ Дж. Бергер (G. Berger), который в последствии выступил одним из основателей школы

сценариев «La Prospective»¹. Задача же последней состояла не столько в более критичном оценивании будущих перспектив, сколько в том, чтобы иметь открытый и смелый взгляд на них, подготавливать долгосрочные планы на основе многовариантных видений этого будущего и его сценариев². В свою очередь, *практически* концепция сценариев реализовалась в большей мере в промышленности на фоне складывающейся глобальной экономической ситуации и кризиса, а также постоянной необходимости проведения систематических исследований реальных экономических перспектив и возможного будущего различных бизнес-организаций (например, компаниями General Electric, Shell Nederland) [6].

Фактически сгенерированные сценарии, по Дж. Дукоту и Дж.Дж. Любену (G. Ducot & G.J. Lubben), представляют собой систему событий, объединенную в логическую, обычно хронологическую последовательность, которая должна: быть значимой для явления с составленным сценарием; относиться к конкретному времени и быть связанной с другими явлениями посредством различных типов отношений [7]. Кроме того, как отмечала Э. Белиньска-Душа (E. Bielińska-Dusza), «сценарные методы используются для создания долгосрочных прогнозов в ситуациях, когда: явление не является непрерывным, а именно существует скачок между прошлым и настоящим, настоящим и будущим; у нас нет достаточных знаний о закономерностях анализируемых явлений; деятельность носит непредсказуемый и нестандартный характер; явления носят описательный характер...» [3. С. 139]. И здесь, пожалуй, согласимся с П.Дж.Х. Шумейкером (P.J.H. Schoemaker) в том, что невозможно решать устоявшимися и традиционными способами задачи, возникающие в условиях флуктуаций и высокой внешней неопределенности: для этого класса задач нужен специальный исследовательский подход [8]. Именно поэтому сценарный подход, нацеленный на нивелирование подобных обстоятельств и оценку возможного развития объекта исследования, занял лидирующую позицию среди других вероятностно-статистических подходов.

Анализируя в свете сказанного наш исследовательский объект – образование, заметим, что исследование последнего осуществляется исключительно в ситуации неопределенности как экзо-, так и эндогенных факторов его будущего развития. С нашей точки зрения, обращение к сценарному подходу в контексте конструирования теоретических образов будущего образования релевантно генезису исследуемого нами социального феномена, погруженному в «ускользающую социальную реальность», и позволяет сконструировать вероятностно-статистические версии образов (сценариев) потребного будущего современного образования, а также обеспечивает целокупное восприятие (осмысление) образования в контексте реконструкции его прошлого

¹ «Основные характеристики „Ла Перспектива“, – отмечает Мишель Готе, – заключаются в том, что она смотрит на будущее не как на продолжение прошлого, а как результат желаний различных субъектов и ограничений, налагаемых на них окружающей средой. Ее (школы. – В.В., М.В.) цель – помочь в создании альтернативных вариантов будущего, а затем выбрать какую-то альтернативу, обеспечивающую максимальную свободу действий». Godet M. From forecasting to 'la prospective' a new way of looking at futures // J. Forecast. 1982. 1: 293. <https://doi.org/10.1002/for.3980010308>

² См. подп.: Godet M. Integration of scenarios and strategic management: using relevant, consistent and likely scenarios // Futures. 1990. 22(7). P. 730. [http://dx.doi.org/10.1016/0016-3287\(90\)90029-H](http://dx.doi.org/10.1016/0016-3287(90)90029-H)

и реализации сценариев его потребного будущего с помощью обсуждаемого подхода [9].

Методология и методика исследования

Довольно затруднительно мыслить категориями будущего без учета специфики и сущности объекта исследования. Образование, будучи стохастическим, вероятностно-статистическим исследовательским объектом, определяет необходимость обращения к методу сценариев, что связано с возможностью последнего выстраивать разнообразные вероятностно-гипотетические картины будущего постигаемого объекта. Фактически перед нами стоит задача конструирования перспективных теоретических образов образования, на решение которой направлена авторская идея соединения методологических основ конструктивизма и метода сценариев.

Интеграция последних заключается в объединении спекулятивных конструктивистских способов теоретизаций с практико-ориентированными сценариями, нацеленными на воплощение реального контекста того, что «может произойти, а не то, что произойдет»¹. При такой постановке вопроса конструктивистские умозаключения получают возможность воплотиться в действенные рекомендации/прогнозы, в которых остро нуждается модернизируемое отечественное образование.

Сценарии для нас – «проводники» социально-философских абстракций в контекст реальных управленческих решений. Формат объединения этих двух подходов видится нам как *сценарное конструирование, служащее умозрительным способом формирования многообразия перспективных теоретических образов* феномена образования, раскрывающих/рисующих с той или иной степенью вероятности возможные теоретические картины будущего современного образования. А *сценарий в нашем случае – инструментарий теоретизирования*, выстраивания и уточнения знаний, который позволяет описать возможные и неопределенные состояния будущего изучаемого объекта с целью принятия возможных решений на практике.

Основная часть

В центре актуального внимания – образование как социальный феномен. В предыдущих публикациях были зафиксированы следующие базовые умозаключения и выводы: а) образование постигается не как реальный объект, а умозрительная идеализация: с опорой на доступный компендиум его теоретических интерпретаций, накопленных в полидисциплинарном пространстве образовательно-ориентированных научных дисциплин [10]; б) образование, являясь частью ускользающей социальной реальности, на пути своего развития постоянно находится в состоянии неопределенности, а также внешних и внутренних флуктуаций, т.е. носит исключительно стохастический характер [11]. Изложенные обстоятельства существенно осложняют решение задач по выстраиванию многообразных гипотетических картин будущего социального феномена образования. В сложившейся ситуации дополнение исследовательского инструментария методом сценариев позволяет сконструировать воз-

¹ Реймонд М. Исследование трендов. Практическое руководство / пер. с англ. Н. Константиновой; [науч. ред. О. Шаева]. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. С. 166.

можные варианты теоретических картин будущего образования в условиях высокой неопределенности.

С учетом вышеназванных обстоятельств предлагается осуществить сценарное конструирование альтернативных теоретических образов исследуемого объекта по выделенным этапам конструирования, основываясь при этом на предлагаемой универсальной структурной единице-конструкте *перспективный теоретический образ социального феномена*. Выстраиваемые сценарии образов будущего образования относятся к одному из распространенных и зарекомендовавших типов – трендовому, которые по сути «строятся из предположения, что существующие в момент проведения исследования тренды будут сохраняться в будущем» [12. С. 137]. В нашем исследовании ключевым трендом для сценирования выступают сквозные цифровые технологии, которые трансформируют образы будущего образования.

Конструирование теоретических образов будущего исследуемого социального феномена предлагается осуществлять путем формирования трех ключевых вариантов сценариев: пессимистичный, реалистичный и оптимистичный. Определение и описание ключевых переменных в нашем случае осуществляется исследователем (экспертом) оценочно, а их описание формируется путем обращения к теоретическим рефлексиям исследуемого объекта, зафиксированным в источниках. Безусловно, выстраиваемые три варианта сценариев представляют собой лишь основные грани возможного изображения и/или описания будущего социального феномена, при необходимости и потребности можно выстроить множество промежуточных вариаций.

Здесь необходимо выделить основные этапы сценарного конструирования теоретических образов будущего постигаемого социального феномена.

Этап 1. Определяются ключевые параметры сценирования: а) объект, для которого выстраиваются гипотетические картины будущего; б) фокус (тренд) сценирования; в) горизонт (период) прогнозирования; г) количество формируемых сценариев; д) входные данные сценирования; е) вероятность наступления сценария (%); ж) ключевые переменные внешнего и внутреннего фона (влияющие и зависимые), экзо- и эндогенные факторы воздействия.

Этап 2. Конструируются три основных варианта теоретических образов будущего объекта постижения, зафиксированного на *Этапе 1*; в основе трех вариантов лежат следующие сценарии: а) пессимистичный; б) реалистичный; в) оптимистичный.

Этап 3. Анализируются сформированные теоретические картины будущего исследуемого объекта с целью выявления возможных рисков, лакун и формирования рекомендаций в формате «что необходимо сделать сейчас, чтобы степень реализации того или иного сценария была высока».

В качестве примера предлагаем результат разработанного алгоритма сценарного конструирования, реализованный на основе пессимистического сценария, с опорой на структурную единицу-конструкт – *перспективный теоретический образ социального феномена*¹, оставляя за рамками настоящей публикации два оставшихся сценария – *реалистичный и оптимистичный*. Пессимистический сценарий возможной теоретической картины будущего образования назовем «Консервация» или «Цифровой нигилизм», в свете

¹ Единица-конструкт *перспективный теоретический образ социального феномена* – это общий шаблон, применяемый для построения любых вариантов сценариев будущего исследуемого объекта.

того, что ключевой тренд нашего конструирования – это цифровые технологии, а также весь комплекс их воздействия и влияния на образовательную отрасль вкуче. Сконструированный сценарий описывает возможную картину развития образования по пессимистичному сценарию в свете интеграции в него цифровых и технологических решений, т.е. отвечает на вопрос: каким будет образование, если станет оказывать сопротивление процессу внедрения цифровых технологий в свои бизнес-процессы?

ПЕССИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ «КОНСЕРВАЦИЯ», или «ЦИФРОВОЙ НИГИЛИЗМ»

<i>Объект сценирования</i>	Образование как социальный феномен.
<i>Тип научной рациональности</i>	Постнеклассическая рациональность.
<i>Тип общества</i>	Информационное (сетевое) общество.
<i>Научная парадигма</i>	Нормативно-интерпретативная.
<i>Уровень конструирования социальной реальности</i>	Мезоуровень.
<i>Фокус (тренд) сценирования</i>	Цифровая трансформация образования как социального феномена в свете активного внедрения и применения цифровых технологий.
<i>Вероятность наступления сценария, %</i>	30% (если принять во внимание, что три ключевых сценария составляют 100%, то, на наш экспертный взгляд, пессимистичный сценарий составляет – 30%, реалистичный – 50%, оптимистичный – 20%).
<i>Входные данные для сценирования</i>	Научные труды, зафиксированные в виде научных статей, монографий, диссертационных исследований, отчеты грантов и т.д. (при условии того, что источниковая база исследования – теоретические интерпретации образования, а не реальное образование).

Влияющие переменные сценирования (Внешний фон, влияющий на отрасль¹)

<i>Государственно-политические векторы, определяемые НТР</i>	Национальные программы: Национальный проект «Цифровая экономика», Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг., созданные в контексте и согласовании с Индустрией 4.0, которые задают цифровую повестку для образовательной отрасли.
<i>Рыночные ориентиры</i>	Образование как одна из ключевых отраслей экономики должно подготавливать и выпускать на рынок труда исключительно конкурентоспособных специалистов, владеющих цифровыми и инновационными компетенциями в контексте Индустрии 4.0. Рынок труда ожидает от образования не конвейерного воспроизводства специалистов по исчезающим профессиям (в результате автоматизации и других технологических/социальных изменений), а нового образовательного продукта – выпускников новых профессий, например, проектировщик робототехники и цифровой лингвист, оператор медицинских роботов и консультант по здоровой старости, биоэтик и молекулярный диетолог и т.д. [13].
<i>Виды цифровых технологий применяемые в отрасли / внедряемые в отрасль</i>	В свете доминирующей / находящейся в стадии доминирования Индустрии 4.0 целесообразно выделить: 1) <i>активно внедряемые</i> цифровые технологии в образовательную отрасль – виртуальная и дополненная реальность, большие данные, искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики; 2) <i>слабо внедряемые</i> – распределенный реестр, технологии беспроводной связи; к которым <i>присматриваются</i> – квантовые вычисления, новые производственные технологии, промышленный интернет.

¹ Под «отраслью» здесь и далее понимается образование, постигаемое нами как социальный феномен, для которого собственно и выстраиваются сценарии будущего.

Зависимые переменные сценирования (внутренний фон изучаемой отрасли)

Цифровая зрелость

Уровень цифровой зрелости образовательной отрасли можно определить ближе к среднему. На данном уровне отрасль способна к интеграции собственных устоявшихся методов обучения, технологий с цифровыми решениями, но не предполагает их активного продвижения. К ключевым препятствиям цифровизации основных бизнес-процессов в образовании можно отнести: *недостаточно высокий уровень цифровой грамотности всех участников учебного процесса* (для эффективного применения цифровых технологий недостаточно их технологически внедрить, нужно и грамотно их использовать), *нигилизм, отторжение, порой агрессивность* по отношению к внедрению любых цифровых решений, недостаточное финансирование в части закупки, внедрения высокотехнологических решений, а также обучения всех заинтересованных участников процесса цифровизации.

Участники цифровой трансформации

Участники цифровизации – основные целевые группы, подвергающиеся цифровизации: профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, обучающиеся, административно-управленческий персонал. Общий уровень цифровой грамотности участников сферы – начальный, ближе к среднему, что позволяет участникам, с одной стороны, частично использовать цифровые решения в учебном процессе, не заменяя традиционные и устоявшиеся наработки, с другой – не все владеют навыками совершать даже частичную интеграцию цифровых технологий и учебного процесса.

Целевая характеристика

Формируется идеал образованного человека с опорой на устоявшиеся формы и методы организации образовательной деятельности и воспитательной работы, осуществляемой преимущественно в отрыве от реальных рыночных запросов и потребностей. Сохраняется нацеленность исключительно на конвейерный тип учебного процесса по достижению результатов, знаний, умений и навыков обучающихся, что серьезно осложняет и затрудняет индивидуализацию и кастомизацию образования, как стратегическую задачу Индустрии 4.0.

Содержательно-технологическая характеристика

Образование как самодостаточная социальная система, институт отстаивает как консервативные модели в содержании, в технологиях, в методах, способах и средствах осуществления учебного процесса, так и традиционные коммуникации между участниками образовательного процесса. Цифровые технологии аккуратно внедряются в систему образования, частично подменяя процессы в нем, но любые технологические тренды воспринимаются негативно. Противостояние между традиционным способом обучения и компьютерными, цифровыми новшествами постоянное.

Ценностно-функциональная характеристика

Образование в целом все еще сохраняет свою ключевую социокультурную роль не только по созданию благоприятных условий для реализации молодежью ее творческой, научной и предпринимательской активности и получению необходимых, устойчивых и перспективных профессиональных компетенций, но и радикальному повышению качества человеческого капитала в обществе [14]. Вместе с тем, как отмечалось уже в профессиональном вузовском сообществе, в России – в отличие от зарубежных вузов – практически нет университетов, которые бы не только предлагали отечественному абитуриенту на выходе прозаический диплом или утилитарную профессию на каждый день, но и приобщали его к тому, что называется – «образом жизни» (Lifestyle) [15]. Заметим при этом, что именно приобщение молодежи к современному, активному образу жизни становится отличительной чертой и важнейшим конкурентным преимуществом чрезвычайно востребованного международного элитарного образования.

Анализ выстроенного теоретического образа образования, по пессимистическому сценарию его развития, в контексте внедрения в него цифровых технологий показал: а) несмотря на то, что современное образование служит одной из ключевых отраслей экономики, которая подвержена цифровым изменениям и втянута в национальную цифровую повестку, темпы этих изменений для образования *низкие, порой угасающие*; б) цифровые трансформации в образовании задаются *исключительно национальными программами развития* сверху, а не иницируются самой образовательной отраслью; в) в цифровизацию вовлекаются все участники образовательной деятельности, как непосредственно в ней присутствующие, так и организующие и сопровождающие ее, и они демонстрируют *превалирующее негативное и/или нейтральное отношение к процессу внедрения* цифровых технологий; г) на скорость цифровых преобразований в отрасли существенное влияние оказывают: *низкий уровень цифровой зрелости*, напрямую связанный с недостаточным уровнем цифровых компетенций участников процесса; устаревшая материально-техническая база используемого аппаратно-программного оборудования; д) фиксируется явная *несогласованность между запросами рынка труда* на выпускников нового типа и традиционными подходами к подготовке, содержанию, формату и *нацеленностью воспроизводства* давно бытующих профессий.

В качестве рекомендаций зафиксируем: если допустить, что развитие образования пойдет по пессимистичному сценарию, представленному выше, то очевидно, что оно будет не просто находиться в явной рассогласованности и дисбалансе с происходящими социально-экономическими изменениями, но и перестанет выполнять свою ключевую профессиональную и культуuroобразующую ролевую функцию в государстве и обществе.

Заключение

Многоаспектный анализ литературы показал, что сценарный метод: а) относится к междисциплинарному способу решения задач построения и анализа возможных событий будущего; б) обладает длительной и продуктивной историей применения различных уровней сценарных исследований; в) имеет в своем арсенале достаточно гибкий, адаптивный диапазон исследовательского инструментария (от качественного описания до строго количественных расчетов, от микро- до макроуровневых объектов применения и т.п.); г) способен порождать картины вероятностных событий будущего и путем их анализа пересматривать ситуацию сегодняшнего времени. При постижении социального феномена образования, который сам, по сути, является весьма неоднозначным в силу своего полидисциплинарного характера, а также находится в условиях высокой неопределенности социально-экономической среды, частью которой он выступает, сценарный подход оказывается достаточно актуальным и вполне релевантным поставленным исследовательским задачам. Предлагаемая в работе концепция усиления теоретико-методологической базы традиционного конструктивизма инструментарием сценарного метода позволяет «заглянуть за горизонт» потребного будущего образования. Однако реализацию любых сценариев на практике трудно предопределить. И как именно нам удастся распорядиться вероятностным знанием об этих возможных сценариях, в полной мере зависит от

продуманных и целенаправленных действий теоретиков и практиков от образования в условиях активной подготовки отечественной высшей школы к запросам и задачам грядущей Индустрии 4.0.

Список источников

1. Bradfield R., Wright G., Burt G., Cairns G., Van Der Heijden K. The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning // *Futures*. 2005. 37. P. 795, 800, 812. <http://dx.doi.org/10.1016/j.futures.2005.01.003>
2. José Artur Vieira, Marcela do Carmo Silva, Carlos Francisco Simões Gomes, Marcos dos Santos. Multicriteria Decision Integrated Prospective Theory Applied at Engineering Services' Company // *Universal Journal of Management*. 2018. Vol. 6 (6). P. 213–234. doi: 10.13189/ujm.2018.060604
3. Bielińska-Dusza E. Concepts of scenario methods in improvement of an enterprise // *Business, Management and Economics Engineering*. 2013. Vol. 11, № 1. P. 137–152. <https://doi.org/10.3846/bme.2013.08>.
4. Fahey L., Randall R.M.. *Learning from the Future. Competitive Foresight Scenarios*. New York : John Wiley & Sons, Inc., 1998.
5. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов : пер. с англ. 3-е изд. М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. 453 с.
6. Millett S. The future of scenarios: challenges and opportunities // *Strategy and Leadership*. 2003. Vol. 31, № 2. P. 16–24. <http://dx.doi.org/10.1108/10878570310698089>
7. Ducot G., Lubben G.J. A Typology for Scenarios // *Futures*. 1980. 1; 2000.
8. Schoemaker P.J.H. Scenario Planning // *The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management* / eds. M. Augier, D. Teece. London : Palgrave Macmillan, 2016. https://doi.org/10.1057/978-1-349-94848-2_652-1
9. Вихман В.В. Концепция постижения социального феномена в его теоретических образах: от реконструирования к сценарному конструированию // *Идеи и идеалы*. 2021. Т. 13, № 4, ч. 1. С. 154–167. doi: 10.17212/2075-0862-2021-13.4.1-154-167
10. Вихман В.В. Трансдисциплинарное конструирование теоретических образов феномена образования // *Философия образования*. 2020. Т. 20, № 2. С. 48–63. doi: 10.15372/PHE20200204
11. Вихман В.В., Ромм М.В. «Офлайн-теоретизирование» в постижении феномена образования в его теоретических образах // *Идеи и идеалы*. 2020. Т. 12, № 2, ч. 1. С. 124–139. doi: 10.17212/2075-0862-2020-12.2.1-124-139
12. Переверза Е.В. Сценарный подход в задачах анализа сложных социальных систем // *Системные достижения и информационные технологии*. 2011. № 1. С. 133–143.
13. Атлас новых профессий 3.0. / под ред. Д. Варламовой и др. М. : Интеллектуальная Литература, 2020.
14. Robeyns I. Three models of education: Rights, capabilities and human capital // *Theory and Research in Education*. 2006. Vol. 4 (1). P. 69–84. doi:10.1177/1477878506060683
15. Mirowsky J., Ross C.E. Education, Personal Control, Lifestyle and Health: A Human Capital Hypothesis // *Research on Aging*. 1998. Vol. 20 (4). P. 415–449. doi: 10.1177/0164027598204003

References

1. Bradfield, R., Wright, G., Burt, G., Cairns, G. & Van Der Heijden K. (2005) The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning. *Futures*. 37(8). pp. 795–812. DOI: 10.1016/j.futures.2005.01.003
2. Vieira, J.A., do Carmo Silva, M., Simões Gomes, C.F. & Santos, M. dos (2018) Multicriteria Decision Integrated Prospective Theory Applied at Engineering Services' Company. *Universal Journal of Management*. 6(6). pp. 213–234. DOI: 10.13189/ujm.2018.060604
3. Bielińska-Dusza, E. (2013) Concepts of scenario methods in improvement of an enterprise. *Business, Management and Economics Engineering*. 11(1). pp. 137–152. DOI: 10.3846/bme.2013. 08
4. Fahey, L. & Randall, R.M. (1998) *Learning from the Future. Competitive Foresight Scenarios*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
5. Porter, M. (2007) *Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza otrasley i konkurentov* [Competitive Strategy: Methodology for Analyzing Industries and Competitors]. Translated from English. 3rd ed. Moscow: Al'pina Biznes Buks.
6. Millett, S. (2003) The Future of Scenarios: Challenges and Opportunities. *Strategy and Leadership*. 31(2). pp. 16–24. DOI: 10.1108/10878570310698089

7. Ducot, G. & Lubben, G.J. (2000) A Typology for Scenarios. *Futures*. 12. pp. 51–57.
8. Schoemaker, P.J.H. (2016) Scenario Planning. In: Augier, M. & Teece, D. (eds) *The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management*. London: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/978-1-349-94848-2_652-1
9. Vikhman, V.V. (2021) The Concept of Understanding the Social Phenomenon in its Theoretical Images: From Reconstruction to Scenario Design. *Idei i Idealy – Ideas and Ideals*. 13(4-1). pp. 154–167. DOI: 10.17212/2075-0862-2021-13.4.1-154-167
10. Vikhman, V.V. (2020) Transdisciplinary construction of theoretical images of the phenomenon of education. *Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of Education*. 20(2). pp. 48–63. (In Russian). DOI: 10.15372/PHE20200204
11. Vikhman, V.V. & Romm, M.V. (2020) “Offline Theorizing” in Understanding the Phenomenon of Education in its Theoretical Images. *Idei i idealy – Ideas and Ideals*. 12(2-1). pp. 124–139. (In Russian). DOI: 10.17212/2075-0862-2020-12.2.1-124-139
12. Pereverza, E.V. (2011) Stsenarnyy podkhod v zadachakh analiza slozhnykh sotsial'nykh sistem [Scenario approach in the analysis of complex social systems *Sistemnye dostizheniya i informatsionnye tekhnologii*. 1. pp. 133–143.
13. Varlamova, D. et al. (eds) (2020) *Atlas novykh professij 3.0*. [Atlas of New Professions 3.0.]. Moscow: Intellektual'naya Literatura.
14. Robeyns, I. (2006) Three Models of Education: Rights, Capabilities and Human Capital. *Theory and Research in Education*. 4(1). pp. 69–84. DOI: 10.1177/1477878506060683
15. Mirowsky, J. & Ross, C.E. (1998) Education, Personal Control, Lifestyle and Health: A Human Capital Hypothesis. *Research on Aging*. 20(4). pp. 415–449. DOI: 10.1177/0164027598204003

Сведения об авторах:

Вихман В.В. – кандидат педагогических наук, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры философии Новосибирского государственного технического университета, Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск, Россия). E-mail: vvv@smc.nstu.ru

Ромм М.В. – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Новосибирского государственного технического университета, Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск, Россия). E-mail: mark.romm@gmail.commailto:vvv@smc.nstu.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Vikhman V.V. – Cand. Sci. (Engineering), associate professor, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: vvv@smc.nstu.ru

Romm M.V. – Dr. Sci. (Philosophy), professor, head of the Department of Philosophy, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: mark.romm@gmail.commailto:vvv@smc.nstu.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.10.2021;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 25.10.2021;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научная статья

УДК 123, 316.42

doi: 10.17223/1998863X/67/7

КАТЕГОРИИ «СУБЪЕКТИВНОСТЬ» И «СУБЪЕКТ» В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Андрей Александрович Дерябин^{1, 2}, Александр Анатольевич Попов³

^{1, 3} *Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Москва, Россия*

^{2, 3} *Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия*

³ *Московский городской педагогический университет, Москва, Россия,*

¹ *deryabin-aa@ranepa.ru, ORCID ID 0000-0002-8454-611X, Scopus Author ID 57340520700*

³ *aktor@mail.ru, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2945-0289>*

Аннотация. Рассматриваются категории субъекта, субъектности и субъективности, применяемые в разных подходах к исследованиям цифровой культуры, в частности, в исследованиях Интернета. Демонстрируются различия в тематическом спектре исследований в парадигме деятельностного подхода и критических исследований и соответствующие им концептуализации субъекта. Приводятся примеры того, как субъективности и субъективации раскрываются в критических исследованиях Интернета, цифрового надзора и медиапотребления. Предлагаются требования относительно основных позиций нередукционистской критической концептуализации субъекта и субъективности в цифровой среде.

Ключевые слова: субъект, субъектность, субъективность, цифровая культура, интернет-исследования, методология, критическая теория, культурно-историческая психология, деятельность

Благодарности: Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Для цитирования: Дерябин А.А., Попов А.А. Категории «субъективность» и «субъект» в исследованиях цифровой культуры // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 69–79. doi: 10.17223/1998863X/67/7

Original article

THE CATEGORIES OF SUBJECTIVITY AND SUBJECT IN DIGITAL CULTURE RESEARCH

Andrey A. Deryabin^{1, 2}, Alexander A. Popov³

^{1, 3} *Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow,
Russian Federation*

^{2, 3} *Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation*

³ *Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russian Federation*

¹ *deryabin-aa@ranepa.ru*

³ *aktor@mail.ru*

Abstract. The categories of subject, agency and subjectivity in different approaches to the study of the Internet and digital culture are considered. These terms may have opposite meanings in different historical and academic contexts, placing the “subject” in active or passive voice. In critical theory, the subject and subjectivity cannot be thought without considering the issues of empowerment and oppression, which is a perspective that allows the conceptualization of the subject that is able to take into account cultural and gender differences, historical and situational processes of subjectification, a wide range of ethical issues as a key element of subjectivity. The complex relationships of a person with technological environment are also reflected in the critical studies of the Internet. As a subject of research, “subjectivity” in the above meaning practically does not appear in Russian-language academic literature, in which the concept of the subject as agent (of activity, socialization) prevails, and which accounts for a significant proportion of the Internet studies publications that adhere to the idea of digital technologies as symbolic tools that mediate different forms of activity. An overview of the issue of subjectification as a function of digital surveillance in the context of media consumption and political subjectivity on the Internet shows how the digital environment is intertwined with politics, education, healthcare systems and other institutions and practices. This requires such a conceptualization of subjectivity that avoids the trend to study an individual only as an agent of activity outside normative social systems, not reducing persons to institutional discourses, but taking into account that they interact in a unique way with their emotionality and motivational sphere. The critical concept of the subject should take into account that the digital environment, being a phenomenon much more than merely an activity mediating tool, provides not only new opportunities for the disciplinary construction of the subject, but also those for configuring one’s discursive resources and idiosyncratic subjectivities, allowing a person to take subordinate, negotiated and subversive positions with respect to dominant institutional orders.

Keywords: agency, subject, subjectivity, digital culture, Internet studies, methodology, critical theory, cultural-historical psychology, activity

Acknowledgments: The article was prepared as a part of the state-assigned research work of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

For citation: Deryabin, A.A. & Popov, A.A. (2022) The categories of subjectivity and subject in digital culture research. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 69–79. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/7

Понятия «субъекта», «субъективации» в философии всегда выходят на передний план в те исторические моменты, когда заново требуется переосмыслить вопросы свободы и подчинения. Кроме того, в обстоятельствах фундаментальных социокультурных сдвигов, связанных с совмещением «реального» и «цифрового» планов существования человека, переопределение требует и понятие «субъективности».

В зарубежной и российской философии и социальных науках содержание понятий субъектности и субъективности имеет существенные различия. Так, Д. Леонтьев [1] предлагает обзор академического употребления «субъект» и «субъектность» в советской и российской психологии и соответствующего последнему термину «агенту» в англоязычных источниках, означающего способность индивида выступать активным действующим лицом, движущей силой действия. С.И. Голенков описывает трансформацию смысла субъекта в новоевропейской философии и игру М. Фуко с двойным значением термина «субъективность», происходящего от латинского *subjectus* – «подлежащее», «подчиненное» [2, 3]. Уже здесь мы видим, что эти однокоренные термины несут в себе диаметрально противоположные значения в разных историко-академических контекстах, помещающих «субъекта» в активный или в пассивный залог.

Исследования субъективности и субъекта в цифровой культуре весьма различны в разных теоретических подходах. В традиции критической теории субъект и субъективность не могут быть помыслены вне отношений власти и свободы, находящихся в центре этого подхода. М. Бакардиева [4. С. 61] подчеркивает, что «критические интернет-исследования, в отличие от позитивистских и интерпретационных подходов, ищут ответы на нормативные вопросы, касающиеся роли Интернета в расширении прав и возможностей, угнетении, эмансипации, отчуждении и эксплуатации». Критические исследования информационных систем производят «знание с целью выявления и объяснения того, как информационные системы используются для усиления контроля, господства и угнетения и, таким образом, для информирования и вдохновения преобразующих социальных практик, реализующих освобождающий и освободительный потенциал информационных систем» [5. С. 19].

Понятие «субъективность» зачастую используется в них как синоним внутреннего мира человека и, в этом смысле, как противоположность объективности: субъективное значит «не объективное», испытывавшее влияние субъективных представлений, связанных, в свою очередь (но не обязательно вытекающих напрямую из), с социальными практиками и дискурсами. Методологически категория «субъективность» позволяет, с одной стороны, избежать редукции к социальному, а с другой – психологизации со свойственным ей фокусом на индивидуальном психическом субъекте.

Делая исторический обзор философского понятия субъекта, П. Ребугини [6] приходит к выводу, что идея субъекта в настоящее время движется в направлении некой нестрогой онтологизации: свободной от субстанциалистского и эссенциалистского обращения к рациональному или эмоциональному субъекту, но и свободной от «оплакивания автономного субъекта, потерянного в языке». Это направление к концептуализации субъекта, которое способно учитывать культурные и гендерные различия, исторические и ситуативные процессы субъективации, широкий спектр вопросов этики как ключевого элемента субъективности [7], а также сложные отношения человека с технологической средой, что находит свое отражение и в критических исследованиях Интернета (см., например, обзор [8. С. 382]).

Как предмет исследования, «субъективность» в приведенном выше значении практически не появляется в русскоязычной психологии, где преобладают понятия субъекта (деятельности, социализации); на нее приходится львиная доля публикаций по исследованиям цифровой культуры, придерживающихся представления о цифровых технологиях как символических орудиях, опосредствующих разные формы предметной деятельности [9].

Не умаляя объема проделанной с 1980-х гг. исследовательской работы в этом направлении, следует заметить, что соответствующая методологическая база [10], во-первых, будучи психологической теорией, фокусирует исследования на механизмах развития психики и личности, во-вторых, отводит Интернету роль орудия, инструмента, не принимая во внимание его сложность, многомерность и масштабные социальные импликации не только как всепроникающего интерфейса повседневности, но и как глобальной социальной инновации, трансформирующей общества, экономики, культуры, и осмысливаемой человечеством в качестве новой эпохи.

Ф. Гонсалес Рэй, разрабатывающий в рамках культурно-исторического и критического подходов собственную концепцию субъективности, указывает на эти ограничения применимости теории деятельности в более широком социальном подходе, который требуется для исследований цифровой среды и, в частности, Интернета: «Несмотря на культурное, социальное и историческое понимание генезиса и развития психологии человека, советские психологи имели очень узкое понимание культуры и социальной среды. Социальная среда понималась как непосредственные внешние воздействия, исходящие извне, сохраняющие дихотомию между внешними и внутренними операциями. В то же время в отношении культуры Выготский и его последователи главным образом изучали преимущественно роль знака и слова как медиаторов в развитии высших психических функций. Знаки использовались Выготским в инструментальном смысле, вне их значения для коммуникативного акта. Другой рассматривался как элемент поддержки действия, а не как коммуникативный партнер» [11]. Хорошо знакомый с наследием Выготского, с одной стороны, и близкий традиции критической психологии – с другой, Гонсалес Рэй обращает внимание на то, что в культурно-исторической теории не было сделано обращения к более широким репрезентациям символических реальностей – к таким, как *институты*, или к таким социальным конструкциям как пол, раса, социальный класс и другим, организованным как социальные дискурсы, которые включают в себя систему убеждений, моральные кодексы и различные типы институциональных порядков: «Культурно-исторический подход по большей части упускал из виду эти социальные символические конструкции в их переплетении с политикой, образованием, системами здравоохранения, религиями, наукой и другими институционализированными формами социальной жизни» [11].

Отдельный большой массив русскоязычных статей по теме «исследования интернета», который обращает на себя внимание в первую очередь, это публикации преимущественно психолого-педагогической направленности, отражающие тревогу авторов относительно негативных влияний цифровых медиа на психику и социализацию подростков. Эта тенденция, насчитывающая уже 30 лет, в результате которой вектор научных публикаций до недавнего времени был направлен на доказательство вреда интернета и компьютерных игр, не осталась незамеченной в самой среде психологов-исследователей (см., например, критический обзор Н. Кочеткова, посвященный публикациям об интернет- и игровой зависимости в трудах отечественных психологов [12]). Онтологический и эпистемологический статус субъекта в этих работах зачастую не эксплицирован; эта массовость внимания авторов к психопатологическим аспектам новых медиа сама по себе заслуживает анализа, например, с точки зрения объективирующих практик разделения субъекта «на безумца и человека в здравом уме» в традиции М. Фуко [13].

С другой стороны, интернет – масштабный и комплексный предмет для теоретизирования – рассматривается как планетарная инфраструктура повседневного человеческого опыта [32], как основа сетевого общества [14] и его нервная система [15], как пространство производства разнообразия социальных моделей и, стало быть, принципиальный фактор эволюционного развития цивилизации [16]. Все эти темы являются дискуссионными в силу амбивалентного характера предмета. Рассмотрим несколько примеров того, как

вопросы субъективности и субъективации раскрываются в критических исследованиях цифровой среды: интернета как идеала публичной сферы, в исследованиях цифрового надзора и в исследованиях медиапотребления.

В академической литературе с середины 1990-х гг. можно было обнаружить множество сантиментов по поводу перспектив интернета как воплощения открытого форума для обсуждения общественно значимых вопросов социальности, гражданского действия, творчества, публичной сферы и политического участия. Эта тема крайне важна в контексте обсуждения субъективности, так как общественно-политическая жизнь является важной сферой, в которой индивид конституируется как активное, разумное и ответственное существо. Более того, возможно именно политическая субъективация требует от индивида артикулированного самоопределения. В связи с этим многие авторы видят в цифровой культуре позитивный субъективирующий потенциал [17]. Однако исследователям не вполне удалось показать и концептуализировать вышеперечисленные эффекты цифровой среды. Так, Л. Далберг [18], соглашаясь, что Веб может вовлекать граждан в процессы демократизации, отмечает, тем не менее, что до какой степени вовлекать – это открытый вопрос, и центры власти тоже могут использовать его для контроля общества.

М. Кастельс в «Сети возмущения и надежды» [19] и других своих работах проповедует мир, в котором Интернет встряхивает сферу политического и освобождает людей, наделяя их силой для свершения социальных изменений. Координируя свои действия с разными онлайн-инициативами, сетевые социальные движения, по Кастельсу, могли бы противодействовать устоявшемуся порядку, объединяться в транснациональные программы и добиться невиданной ранее подотчетности политических властей рядовым гражданам. В академической среде «Сети возмущения и надежды» подвергались резкой критике, во-первых, за технологический детерминизм. Во-вторых, из-за его одномерного представления об «эпохе Интернета», в которой люди на самом деле означают «пользователей», обреченных на взаимодействие с машинами без возражений или сопротивления. В-третьих, в изложении Кастельса, описывающего «переключение власти» со старой офлайновой власти истеблишмента на новую онлайн-овую, «народную» власть, рядовым гражданам, чтобы ворваться в пространство власти, достаточно пройти по пути от обмена идеями до создания общих смыслов и формирования ассоциаций. Кастельс ищет «автономное» пространство, где общественные движения собираются и добиваются своих целей, и неизбежно социальная сеть предстает как ядро этой новой пространственности. Х. Леви [20] возражает на это Кастельсу, что общественные движения хоть и осуществляются сегодня через приложения и сайты соцсетей, но они по-прежнему должны пройти через борьбу с реальным неравенством, прежде чем станут воплощением наилучших практик социальной связности и власти Интернета.

Соня Ливингстон [21] обобщает дискуссию относительно Интернета и партиципаторных (касающихся гражданского участия) практик, отвечая на вопрос: что говорят нам данные о том, можно ли (и при каких условиях) использовать Интернет для обеспечения политического участия или преодоления политической апатии молодежи. Как правило, сочетание новых медиа и альтернативной политики кажется особенно действенным для тех индивидов

и сообществ, которые в эту деятельность уже с энтузиазмом вовлечены (актуальным российским примером может быть история студенческого общественно-политического журнала DOXA), в отличие от остальных, занявших позицию не общественного активизма, но бездействия и недоверия. Вопреки популярным рассуждениям, обвиняющим молодых людей в апатии и отсутствии мотивации, по мнению С. Ливингстон, дело, по-видимому, в другом: дети слишком рано узнают, что их мнение мало кого интересует. Поэтому надежды на то, что Интернет дает им шанс наконец-то высказать свое мнение, упускают самую суть: проблема вовсе не в том, что у молодых людей нет подходящего медийного «рупора», а в том, что их никто не слушает. Это провал эффективной коммуникации между молодежью и теми, кто стремится вовлечь ее в политическую активность, а также провал гражданских и властных институтов, которые должны выстраивать для молодежи соответствующие структуры и практики политической субъектности.

Одна из самых хорошо исследованных [22] социально-философских проблем существования человека в цифровом мире – это цифровой надзор, в исследованиях которого применяется, в частности, марксистский (главным образом, применительно к анализу «квантифицированного Я» и цифрового труда) [23] и фуколдианский анализ [24]. Ряд исследователей рассматривают применение отслеживающих устройств на рабочем месте как субъективирующую практику, в которой работник интернализирует императив производительности труда и совмещает в своем «Я» надзирающего менеджера и исполнительного пролетария [31]. Однако если в краткосрочной перспективе технологи квантификации и производственного надзора позволяют работодателям и работникам выживать в жесткой конкуренции, то в долгосрочной можно говорить по меньшей мере об ухудшении благополучия работников, находящихся в режиме постоянной мобилизации и наблюдения, которые вызывают тревожность, переутомление и выгорание.

В работах М. Фуко это вопрос паноптического надзора и дисциплинарной власти [25]. Любопытно, что Фуко иллюстрировал возникновение современных форм управления и надзора на материале породившей дисциплинарные проекты пандемии чумы, и в период пандемии COVID-19 его анализ остается актуальным [26]. Как форма социального контроля, паноптикум способствует ощущению людьми того, что они находятся под постоянным наблюдением и, подчиняясь нормативным ожиданиям, они становятся своими собственными агентами наблюдения. Фуколдианский анализ представляет собой концептуальную рамку, которая подходит для анализа наблюдения за пользователем в цифровом мире – технически, через Интернет и другие сети множество агентов идентифицирует, отслеживает и анализирует поведение пользователя. В обстоятельствах запрета на доступ к определенным источникам информации или ограничения передвижения (как в период пандемии) вопросы надзора, власти и подчинения встают более остро, проявляя для индивида до этого латентные вопросы дисциплинарной власти. Например, в случае обращения к заблокированному источнику информации индивид знает, что многие его действия фиксируются, но зачастую не знает (принципиальное обстоятельство паноптикума, по Фуко), какие точно, в каком объеме, будет ли он за это наказан и как именно. Или, возвращаясь к практикам надзора во время пандемии, когда инфицированный обязан был устано-

вить себе на смартфон приложение слежки «Социальный мониторинг», индивид не знает, когда к нему придет запрос сделать фотографию и когда приложение фиксирует его местонахождение, но отклонение от предписания сделать «селфи» или подтвердить нахождение в месте изоляции влечет за собой большой штраф. Это невидимое надзирание и неясная угроза санкций, со временем воспринимаемые как норма, заставляют индивида самодисциплинироваться – например, прибегать к практикам сокрытия своей идентичности и применению специальных технических средств при обращении к заблокированным источникам информации либо отказаться от них вовсе. В подобной игре практик подчинения и освобождения (в примере выше: отказ от заблокированной информации vs. обход блокировки), или, как пишет Фуко, в отношениях «непрерывного взаимного провоцирования» власти и свободы и складывается субъект, а сам процесс является субъективацией [27].

«Цифра» не только дала человечеству доступные средства самовыражения своего мнения и творческого потенциала, но сделала и пассивное потребление еще более доступным. В качестве свидетельства можно привести слова из блога одного российского интернет-маркетолога: «Руководители проектов, собственники и их услужники-маркетологи... все поголовно считают, что их целевая аудитория потребляет в интернете возвышенный, стерильный, дистиллированный, пастеризованный контент. Но вот что я скажу: такие ваши убеждения – полная [ерунда]. У нас две трети страны – нищие <...>, в кредитах-перекредитах, с IQ ниже нормальной человеческой температуры тела и с интересами по жизни, как у приматов: пожрать <...>, полистать ленту „ВКонтакте“, поорать над видюхами на YouTube...» [29]. Находя в сегодняшнем дне параллели с тем, как Ортега-и-Гассет в «Восстании масс» описывает социальные последствия прогресса в первой половине XX в., А. Мирошниченко [28] отмечает, что в XXI в. Интернет освободил культурные и политические претензии массового человека, к выражению этих претензий никак не подготовленного. Положительный демократизирующий эффект Интернета с начала 1990-х гг сопровождался ростом интернет-потребления, расширяющегося вниз по социальной пирамиде, способствуя не только росту гражданской активности, но и росту реакционизма, охранительства [30], а также массовидными эффектами социальной поляризации.

Приведенный выше краткий обзор проблематики субъективации как функции цифрового надзора и медиапотребления, политической субъектности в интернете демонстрирует то, как цифровая среда переплетена с политикой, образованием, системами здравоохранения и другими институтами и практиками. Это диктует необходимость такой концептуализации субъективности, которая позволяет избежать тенденции исследовать индивида только как агента деятельности вне нормативных социальных систем, одновременно не редуцируя человека к институциональным дискурсам, но учитывая, что они уникальным образом взаимодействуют с его эмоциональностью и мотивационной сферой. Критическая концепция субъекта должна учитывать, что цифровая среда, являясь феноменом много большим, чем просто инструмент, опосредующий деятельность, предоставляет не только новые возможности дисциплинарного конструирования субъекта, но и возможности для конфигурирования им собственных дискурсивных ресурсов и идиосинкратических субъективностей, позволяющих занимать не только субординантные, но так-

же компромиссные и субверсивные позиции относительно доминирующих институциональных порядков.

Список источников

1. Леонтьев Д.А. Что дает психологии понятие субъекта. Субъектность как измерение личности // Эпистемология и философия науки. Т. 25, № 3. С. 136–153. doi: 10.5840/eps201025361
2. Голенков С. И. Судьба субъекта в новоевропейской философии / *Mixtura verborum* 2008: небытие в маске : сборник статей / под общ. ред. С.А. Лишаева. Самара : Самар. гум. акад., 2008. С. 35–43.
3. Голенков С.И. Понятие субъективации Мишеля Фуко // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. 2007. № 1. С. 54–66.
4. Bakardjieva M. The Internet in Everyday Life: Exploring the Tenets and Contributions of Diverse Approaches // *The Handbook of Internet Studies* / eds. M. Mia Consalvo, C. Ess. Chicester : Wiley. P. 59–82.
5. Cercez-Kecmanovic D. Basic Assumptions of the Critical Research Perspectives in Information Systems // *Handbook of Critical Information Systems Research* / eds. D. Howcroft, E.M. Trauth. Cheltenham : Edward Elgar, 2005. P. 19–46.
6. Rebughini P. Subject, subjectivity, subjectivation // *Sociopedia.isa*. 2014. 1–11. URL <https://perma.cc/2CYD-7A9P>
7. Rebughini P. Subject, subjectivity, subjectivation between autonomy and ethics: Reply to the commentaries // *Sociopedia.isa*. 2015. doi: 10.1177/20568460027
8. Рыков Ю., Нагорный О. Область интернет-исследований в социальных науках // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16, № 3. С. 366–394.
9. Войскунский А.Е. Направления исследований опосредствованной Интернетом деятельности // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2017. № 1. С. 51–66.
10. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Политиздат, 1975.
11. González Rey F. Subjectivity and discourse: Complementary topics for a critical psychology // *Culture & Psychology*. 2019. Vol. 25 (2). P. 178–194. doi: 10.1177/1354067X18754338
12. Кочетков Н.В. Интернет-зависимость и зависимость от компьютерных игр в трудах отечественных психологов / Социальная психология и общество. 2020. Т. 11, №1. С. 27–54. doi: <https://doi.org/10.17759/sps.2020110103>
13. Фуко М. Субъект и власть // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М. : Праксис, 2006. Ч. 3. С. 161.
14. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М. : ГУ ВШЭ, 2000.
15. Van Dijk J. The network society. London : Sage, 2012.
16. Асмолов Г.А., Асмолов А.Г. Интернет как генеративное пространство: историко-эволюционная перспектива // Вопросы психологии. 2019. № 4. С. 3–28.
17. Wulf C. The Formation of the Subject in the Digital Culture: Some Considerations, Hypotheses and Research Results Concerning the Education of Young People. 2019. doi:10.2139/ssrn.3656659
18. Dahlberg L. Re-Constructing Digital Democracy: An Outline of Four 'Positions. *New Media & Society*. 2011. doi:13.10.1177/1461444810389569.2011
19. Castells M. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. 2nd edition. Polity, 2015.
20. Levy H. Book Review: Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age by Manuel Castells // LSE Review of Books, 04/01/2016. URL <https://bit.ly/3vi5ESD>
21. Livingstone S. Internet, children and youth / M. Consalvo, C. Ess. *The Handbook of Internet Studies*. Oxford: Wiley-Blackwell Publishing, 2011. P. 348–368
22. Григорьева К.С. Исследования надзора: основные направления и теоретические подходы // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 6. С. 477–505. doi:10.14515/monitoring.2021.6.1883
23. Fuchs C. Karl Marx in the Age of Big Data Capitalism // *Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data* / eds. D. Chandler, C. Fuchs. London : University of Westminster Press, 2019. P. 53–71. doi: 10.16997/book29.d
24. McKinlay A., Taylor P. Foucault, Governmentality, and Organization: Inside the Factory of the Future. New York ; London : Routledge, 2014. P. 8.

25. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М. : Ад Маргинем Пресс : Музей современного искусства «Гараж», 2021. 384 с.
26. Couch D.L., Robinson P., Komisaroff P.A. COVID-19 – Extending Surveillance and the Panopticon // *Journal of Bioethical Inquiry*. 2020. Vol. 17. P. 809–814. doi:10.1007/s11673-020-10036-5
27. Фуко М. Возвращение морали // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М. : Праксис, 2006. Ч. 3. С. 284.
28. Miroshnichenko A. The Emancipation of Authorship: The Viral Editor as a Dispersed Creature of the Internet // *Journalism and Mass Communication*. February. 2012. Vol. 2, № 2. P. 363.
29. Торишинский сайт. 2016. URL: <https://torshina.me/vasha-czelevaya-auditoriya> (дата обращения: 15.12.2021).
30. Мирошниченко А. Интернет и протесты – какая связь между ними? // Colta.ru. 2015. URL <https://www.colta.ru/articles/media/8987> (дата обращения: 15.12.2016).
31. Moore P., Robinson A. 'The Quantified Self: What Counts in the Neoliberal Workplace', *New Media and Society*. 2016. 18 (11). P. 2774–2792. doi: 10.1177/1461444815604328
32. Ловинк Г. Критическая теория интернета. М. : Ад Маргинем Пресс : Музей современного искусства «Гараж», 2019. 304 с.

References

1. Leontiev, D.A. (2010) Chto daet psikhologii ponyatie sub"ekta. Sub"ektnost' kak izmerenie lichnosti [What gives to psychology the concept of the subject. Subjectivity as a dimension of personality]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology and Philosophy of Science*. 25(3). pp. 136–153. DOI:10.5840/eps201025361
2. Golenkov, S.I. (2008) Sud'ba sub"ekta v novoevropeyskoy filosofii [The fate of the subject in modern European philosophy]. In: Lishaev, S.A. (ed.) *Mixtura verborum'2008: nebytie v maske* [Mixtura Verborum'2008: Non-Existence in a Mask]. Samara: Samara Academy for the Humanities. pp. 35–43.
3. Golenkov, S.I. (2007) Ponyatie sub"ektivatsii Mishelya Fuko [Michel Foucault's concept of subjectivation]. *Vestnik Samarskoy gumanitarnoy akademii. Seriya: Filosofiya. Filologiya*. 1. pp. 54–66.
4. Bakardjieva, M. (2011) The Internet in Everyday Life: Exploring the Tenets and Contributions of Diverse Approaches. In: Consalvo, M. & Ess, C. (eds) *The Handbook of Internet Studies*. Chicester: Wiley. pp. 59–82.
5. Cecez-Kecmanovic, D. (2005) Basic Assumptions of the Critical Research Perspectives in Information Systems. In: Howcroft, D. & Trauth, E.M. (eds) *Handbook of Critical Information Systems Research*. Cheltenham: Edward Elgar. pp. 19–46.
6. Rebughini, P. (2014) Subject, subjectivity, subjectivation. *Sociopedia.isa*. 1–11. [Online] Available from: <https://perma.cc/2CYD-7A9P>
7. Rebughini, P. (2015) Subject, subjectivity, subjectivation between autonomy and ethics: Reply to the commentaries. *Sociopedia.isa*. DOI: 10.1177/20568460027
8. Rykov, Yu. & Nagornyy, O. (2017) Internet Studies in Social Sciences. *Sotsiologicheskoe obozrenie – Russian Sociological Review*. 16(3). pp. 366–394. (In Russian).
9. Voyskunskiy, A.E. (2017) Napravleniya issledovaniy oposredstvovannoy Internetom deyatelnosti [Directions of research mediated by the Internet activity]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psikhologiya – The Moscow University Herald. Series 14. Psychology*. 1. pp. 51–66.
10. Leontiev, A.H. (1975) *Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'* [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Politizdat.
11. González Rey, F. (2019) Subjectivity and discourse: Complementary topics for a critical psychology. *Culture & Psychology*. 25(2). pp. 178–194. DOI: 10.1177/1354067X18754338
12. Kochetkov, N.V. (2020) Internet addiction and addiction to computer games in the work of Russian psychologists. *Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo – Social Psychology and Society*. 11(1). pp. 27–54. (In Russian). DOI: <https://doi.org/10.17759/sps.2020110103>
13. Foucault, M. (2006) *Intellektualy i vlast': Izbrannye politicheskie stat'i, vystupleniya i interv'yū* [Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches and Interviews]. Vol. 3. Translated from French. Moscow: Praxis. p. 161.
14. Castells, M. (2000) *Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kul'tura* [Information Age: Economics, Society and Culture]. Translated from English. Moscow: HSE.
15. Van Dijk, J. (2012) *The Network Society*. London: Sage.

16. Asmolov, G.A. & Asmolov, A.G. (2019) Internet kak generativnoe prostranstvo: istoriko-evolyutsionnaya perspektiva [The Internet as a generative space: a historical and evolutionary perspective]. *Voprosy psikhologii*. 4. pp. 3–28.
17. Wulf, C. (2019) The Formation of the Subject in the Digital Culture: Some Considerations, Hypotheses and Research Results Concerning the Education of Young People. *Azimuth : Philosophical Coordinates in Modern and Contemporary Age*. 14(2). DOI: 10.2139/ssrn.3656659
18. Dahlberg, L. (2011) Re-Constructing Digital Democracy: An Outline of Four 'Positions. *New Media & Society*. 13(6). pp. 855–872. DOI: 13.10.1177/1461444810389569.2011
19. Castells, M. (2015) *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. 2nd ed. Polity.
20. Levy, H. (2016) Book Review: Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age by Manuel Castells. *LSE Review of Books*. April 1, 2016. [Online] Available from: <https://bit.ly/3vi5ESD>
21. Livingstone, S. (2011) Internet, children and youth. In: Consalvo, M. & Ess, C. (eds) *The Handbook of Internet Studies*. Chichester: Wiley. pp. 348–368
22. Grigorieva, K.S. (2021) Surveillance Research: Main Areas and Theoretical Approaches. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal*. 6. pp. 477–505. (In Russian). DOI: 10.14515/monitoring.2021.6.1883
23. Fuchs, C. (2019) Karl Marx in the Age of Big Data Capitalism. In: Chandler, D. & Fuchs, S. (eds) *Digital Objects, Digital Subjects: Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data*. London: University of Westminster Press. pp. 53–71. DOI: 10.16997/book29.d
24. McKinlay, A. & Taylor, P. (2014) *Foucault, Governmentality, and Organization: Inside the Factory of the Future*. New York; London: Routledge. pp. 8.
25. Foucault, M. (2021) *Nadzirat' i nakazyvat'*. *Rozhdenie tyur'my* [Supervise and Punish. The Birth of the Prison]. Translated from French. Moscow: Ad Marginem Press: Muzei sovremennogo iskusstva "Garazh".
26. Couch, D.L., Robinson, P. & Komesaroff, P.A. (2020) COVID-19 – Extending Surveillance and the Panopticon. *Journal of Bioethical Inquiry*. 17. pp. 809–814. DOI: 10.1007/s11673-020-10036-5
27. Foucault, M. (2006) *Intellektualy i vlast': Izbrannye politicheskie stat'i, vystupleniya i interv'y* [Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches and Interviews]. Vol. 3. Translated from French. Moscow: Praxis. p. 284.
28. Miroshnichenko, A. (2012) The Emancipation of Authorship: The Viral Editor as a Dispersed Creature of the Internet. *Journalism and Mass Communication*. 2(2). pp. 363.
29. Torshina.me. (2016) *Torshinskiy sayt* [The Torshina site]. Update: January 12, 2016. [Online] Available from: <https://torshina.me/vasha-czelevaya-auditoriya> (Accessed: 15th December 2021).
30. Miroshnichenko, A. (2015) *Internet i protesty – kakaya svyaz' mezhdur nimi?* [Internet and protests – how are they connected?]. [Online] Available from: <https://www.colta.ru/articles/media/8987> (Accessed: 15th December 2016).
31. Moore, P. & Robinson, A. (2016) 'The Quantified Self: What Counts in the Neoliberal Workplace'. *New Media and Society*. 18(11). pp. 2774–2792. DOI: 10.1177/1461444815604328
32. Lovink, G. (2019) *Kriticheskaya teoriya internet* [Critical Theory of Internet]. Translated from English by P. Torkanovskiy, D. Lebedev. Moscow: Ad Marginem Press: Muzei sovremennogo iskusstva "Garazh".

Сведения об авторах:

Дерябин А.А. – научный сотрудник Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия); ассистент кафедры социологии и массовых коммуникаций Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск, Россия). E-mail: deryabin-aa@ranepa.ru ORCID ID 0000-0002-8454-611X, Scopus Author ID 57340520700.

Попов А.А. – доктор философских наук, доцент, заведующий научно-исследовательским сектором «Открытое образование», Научно-исследовательский центр социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия); заведующий лабораторией компетентностных практик образования, Научно-исследовательский институт урбанистики и глобального образова-

ния Московского городского педагогического университета (Москва, Россия); ведущий научный сотрудник «Школы антропологии будущего», Институт общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия); профессор кафедры социологии и массовых коммуникаций Гуманитарный факультет Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск, Россия). E-mail: aktor@mail.ru ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2945-0289>.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Deryabin A.A. – researcher at Federal Institute for Education Development, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation); research assistant at the Department of Sociology and Mass Communication, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: deryabin-aa@ranepa.ru ORCID ID 0000-0002-8454-611X, Scopus Author ID 57340520700.

Popov A.A. – Dr. Sci. (Philosophy), associate professor, head of the Open Education research sector, Research Center for Socialization and Personalization of Children's Education of the Federal Institute for the Development of Education of the Russian Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation); head of the Laboratory of Competence Practices of Education, Research Institute of Urbanism and Global Education of Moscow City University (Moscow, Russian Federation); leading researcher of the School of Anthropology of the Future, Institute of Social Sciences of the Russian Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation); professor of the Department of Sociology and Mass Communications, Faculty of Humanities of Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: aktor@mail.ru ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2945-0289>.

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 04.05.2022;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 04.05.2022;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022*

Научная статья

УДК 165

doi: 10.17223/1998863X/67/8

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПАМЯТИ: СИМПТОМ ЧЕГО?

Василий Николаевич Сыров¹, Елена Васильевна Агафонова²

^{1,2} *Томский государственный университет, Томск, Россия*

¹ *narrat59@gmail.com*

² *agaton1810@gmail.com*

Аннотация. Предпринят анализ понятийного аппарата, разработанного в области исследований памяти. Речь идет о понятиях «постпамяти», «протезной памяти», «культурной памяти», «транскультурной памяти». Утверждается, что их использование следует трактовать как симптом актуализации другой темы, а именно темы восприятия и отношения к прошлому в массовом (общественном) сознании в целом. За этим вопросом скрывается более глубокая и болезненная проблема: в чем видит ценность прошлого современное общественное сознание и насколько перспективно для современной культуры такое видение?

Ключевые слова: постпамять, протезная память, культурная память, транскультурная память, память и история

Для цитирования: Сыров В.Н., Агафонова Е.В. Новые тенденции в исследованиях памяти: симптом чего? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 80–95. doi: 10.17223/1998863X/67/8

Original article

NEW TRENDS IN MEMORY STUDIES: A SYMPTOM OF WHAT?

Vasily N. Syrov¹, Elena V. Agafonova²

^{1,2} *Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *narrat59@gmail.com*

² *agaton1810@gmail.com*

Abstract. The article analyzes the conceptual apparatus developed in the field of memory studies: the concepts “post-memory”, “prosthetic memory”, “cultural memory”, “transcultural memory”. In particular, post-memory refers to memories of events experienced and transmitted by parents to their children, who were not participants in these events, but experience them with the same force. Prosthetic memory is understood as the memory of events which individuals have not personally encountered and which are not related to the events of the national history of their country, which they received through the mass media, but to which they have a certain emotional attitude (namely, a sense of “empathy”). Modern research literature also discusses the question of the so-called “transcultural turn”, which is linked with the study of the ways in which various media forms of memory transmission and forms of memory in general can circulate between the borders of nation-states and beyond them and which is reflected in the concept of “transcultural memory”. We propose and argue the thesis that the creation and use of such concepts as “post-memory”, “prosthetic memory”, “transcultural memory”, etc. should be interpreted as a symptom of the actualization of the theme of perception and attitude to the past in the mass

(public) consciousness in general. We also argue that behind this topic lies a deeper and more painful problem: what does the modern mass consciousness see as the value of the past and how productive is such a vision for modern culture? We argue that the division into communicative and cultural memory, introduced by Jan Assmann, should be considered a turning point in memory studies. Assmann notes that cultural memory is institutional in nature, embodied in symbolic forms (monuments, museums, libraries, archives and other mnemonic institutions), and extending to objects that are temporally removed from the present. Based on the analysis of the idea of cultural memory, we show that the concepts of post-memory, prosthetic, transcultural and transnational memory are introduced and used not so much to expand the concept of memory beyond the traditionally established ideas about it, but rather to expand collective ideas about the past as a whole. We argue that they create the removal of ideas about the past beyond the limits of their own national histories and the formation of a special attitude towards such a past through empathy, moral assessment, compassion, in particular, by including the tragic experience of other cultures in their own. As a result, in discussions about memory, we are increasingly speaking not so much about its role, as we usually imagine it, but about effective tools for influencing the formation of our ideas about the social world as a whole and the past as an immanent part of this world.

Keywords: post-memory, prosthetic memory, cultural memory, transcultural memory, memory and history

For citation: Syrov, V.N. & Agafonova, E.V. (2022) New trends in memory studies: a symptom of what? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 80–95. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/8

Еще в 1992 г. американской исследовательницей Марианной Хирш было введено понятие «постпамять», направленное на описание отношения детей к травматическому опыту их родителей, переживших холокост. Оно было передано им в детстве через рассказы, образы и общее отношение, причем настолько мощно, что создавалось впечатление, будто они сами по себе составляют воспоминания [1. Р. 106–107]. Еще одна американская исследовательница Элисон Ландсберг позднее вводит понятие «протезная память». «Протезная память», как отмечает автор, носит личностный характер в том смысле, что принадлежит определенным индивидам и стала частью их личного опыта, но сформирована не на основании их непосредственного соприкосновения с теми или иными событиями прошлого, а извлечена из медийных репрезентаций (фильмов, посещений музеев, передач по телевидению и т.д.) [2. Р. 148–149]. Иначе говоря, это память о событиях, с которыми индивид лично не сталкивался и которые не имеют отношения к событиям национальной истории страны его принадлежности, но к которым он испытывает определенное эмоциональное отношение (а именно чувство «эмпатии»).

Оппоненты возражали, что межпоколенческая память существенно отличается от памяти свидетелей события, поскольку ее источником является не само событие, а рассказы о нем [3. Р. 9–10]. Как признавала сама Хирш, «Постпамять не идентична с самой памятью: это действительно „пост“, но в то же время она сходна с памятью в ее аффективной силе» [1. Р. 109]. Эту аффективную силу Хирш объединяет именно со связью межпоколенческой непосредственных свидетелей или жертв данных событий с их потомками, подкрепляемой такими материальными свидетельствами, как фотографии, обеспечивающими «живую» связь. Но, как представляется, возражение оппонентов остается в силе. Дело, конечно, не в том, чтобы ставить под сомнение ценность данного опыта, да и значение памяти (как и ее исследований) в це-

лом. Проблема может быть поставлена шире. Недаром в современной научной литературе ставится вопрос о так называемом транскультурном повороте, который связывается с исследованием способов, с помощью которых различные медийные форматы трансляции памяти и формы памяти в целом могут циркулировать между границами национальных государств и за их пределами [3. Р. 5].

Как представляется, в использовании всех вышеописанных понятий речь идет не столько о подвижности, а не статичности памяти и ее опосредованности медийными форматами, сколько о статусе передаваемой информации. Иначе говоря, проблема заключается в следующем: о памяти ли идет речь? Не скрывается ли за тезисами о «постпамяти», «протезной памяти», «межпоколенческой памяти», «глобальной памяти», «транскультурной памяти» и других подобных памятях совсем другая тема, а именно тема отношения к прошлому в общественном сознании в целом. Поэтому наш тезис заключается в утверждении, что вопрос о новых аспектах памяти скорее следует воспринимать как симптом актуализации совсем другой темы, а именно темы восприятия и отношения к прошлому в массовом (общественном) сознании в целом. А за этим вопросом, как кажется, скрывается более глубокая и болезненная проблема, а именно: в чем видит ценность прошлого современное массовое сознание и насколько перспективно для современной культуры такое видение.

Если судить по высказываниям специалистов в области изучения памяти, то можно отметить, что, как правило, они связывают ее с памятью о событиях недавнего прошлого, где еще остались непосредственные участники и очевидцы [4. Р. 227]. Это события второй половины XX в. Как справедливо отмечает Джеффри Олик, «можно привести убедительные аргументы в пользу того, что коллективная память играет важную роль в политике и общественной жизни. Подобные заявления стали общим местом в научных и политических рассуждениях: фотографии вьетнамской войны ограничивают общественную поддержку военных действий Америки, память о периоде нацизма ограничивает германскую внешнюю и внутреннюю политику, воспоминания о диктатуре формируют деятельность переходных и постпереходных режимов Восточной Европы и Латинской Америки, Уотергейт постоянно упоминается в ходе всех политических скандалов в Вашингтоне» [5. С. 22]. Можно назвать их своеобразным живым опытом, который может существовать в форме как индивидуальной, так и коллективной памяти. Тот же Олик, как и многие другие авторы, уделяет отдельное внимание проведению различий между индивидуальной и коллективной памятью [5. С. 28–43]. Критику методологического индивидуализма, сводящего те или иные социальные объекты к сумме индивидуальных объектов, состояний, действий и памятей, в данном контексте трактуемых как *collected memory*, можно считать оправданной и справедливой. Но, как представляется, даже выявление особенностей коллективной памяти не отменяет сохранения и использования той трактовки памяти, что связывает ее с той или иной степенью непосредственного соприкосновения с событиями.

Понятно, что употребление понятия «непосредственность» не означает некоторого первоначального, правильного, не зараженного, так сказать, «внешними» факторами понимания происходящего. Любое восприятие уже

опосредовано (как правило, имплицитно) определенными культурными формами. Когда мы характеризуем некоторую ситуацию, с которой столкнулись, фразой: «Да это комедия какая-то!», то уже упаковываем ее в формат, не нами придуманный, но делающий ситуацию понятной и доступной для коммуникации и согласования с ощущениями других очевидцев. Наше воспоминание со временем может измениться (под воздействием СМИ, к примеру). Его, кстати, могут переформатировать интерпретации, предложенными теми, кто не был непосредственным участником события (исследовательским сообществом, к примеру), но с сохранением ощущения, что все именно так и виделось. Возможно, что обусловленность любого такого «непосредственного» восприятия теми или иными культурными формами является одним из основных аспектов работы коллективной памяти, что делает правомерным использование метафоры двух сторон одной монеты для описания соотношения индивидуальной и коллективной памяти [5. С. 36]. Но тем не менее представляется правомерным использовать понятие памяти в некотором прямом смысле этого словами, именно для характеристики такого «непосредственного» взаимодействия с событиями и ситуациями. Это и именно это помнится.

Представляется, что понятие «память» может быть использовано и используется еще в одном аспекте, а именно для характеристики способа передачи информации (используем пока такой термин, подразумевая, конечно, что память включает в себя не только знание, но и оценку и эмоциональное отношение к запомнившемуся). Резонно полагать, особенно для современной культуры, что в общественном сознании представления о прошлом, даже недавнем, формируются посредством продукции, полученной через систему высшего и среднего образования и произведенной профессиональным сообществом. Понятно, что благодаря развитию СМИ и социальных сетей появляются и будут появляться альтернативные источники информации (речь идет о событиях прошлого), но и они создаются скорее на основе версий, предложенных профессиональным сообществом и растиражированных в тех же массмедиа. Резонно, однако, также полагать, что даже в современных обществах сохраняется и будет сохраняться, а благодаря тем же массмедиа тиражироваться, информация, передаваемая из поколения в поколения устно, как говорится, по традиции, и подкрепляемая теми или иными материальными предметами (к примеру, фотографиями из семейных архивов). Можно даже предположить, что ее сохранение будет усиливаться степенью расхождения с официальными нарративами (если, конечно, позволят обстоятельства).

Тем не менее признание такого способа формирования представлений о прошлом позволяет использовать и сохранить проведение различий между знанием и памятью по источнику получения этих представлений. Здесь можно согласиться с тезисами Дарьи Хлевнюк, что «историческое знание – это факты, полученные в результате научного исследования, обычно профессиональными историками. Коллективная память – это набор нарративов, многие из которых мифологичны; практик коммеморации и материальных и нематериальных объектов, связанных с этими нарративами. Коллективная память производится акторами памяти, которые могут быть профессиональными историками, а могут не быть, могут иметь историческое образование, а могут не иметь. Так как это не знание, которое получается в результате научного

исследования, конкретные навыки и образование акторов памяти второстепенны» [6. С. 73].

Опять же, стоит специально отметить, что уже такой подход к месту и роли памяти существенно расширяет ее трактовку или дает основания для такого расширения. Во-первых, он позволяет включить в сферу памятования события удаленного прошлого, от которых уже не осталось никаких свидетелей, хотя можно допустить, что сведения и о них продолжают передаваться, так сказать, из уст в уста. Во-вторых, он позволяет интегрировать в область коллективной памяти представления, заимствованные из самых разных источников (работ профессиональных историков, продукции массмедиа и т.д.), но происхождение которых забылось и которые функционируют теперь по «законам» коллективной памяти. Ну и, в-третьих, в сферу памяти тогда могут быть включены представления, которых вообще не было в опыте данной культуры, если мы за точку отсчета во всех вышеописанных рассуждениях возьмем события национальной истории.

Если двигаться, конечно, схематично, далее в этом направлении, то резонно предположить, что наиболее уместным кандидатом на эту роль следует считать понятие «культурной памяти». Некоторые авторы употребляют понятия «культурной памяти» и «коллективной памяти» как синонимы [7. Р. 1]. Энн Ригни полагает, что «подобно двум сторонам одного и того же листа бумаги, «коллективный» и «культурный» подходы к памяти следует рассматривать как дополняющие, а не как взаимоисключающие друг друга парадигмы» [8]. Видимо, можно говорить даже о наличии так называемого культурного поворота в сфере исследований памяти [9. Р. 461]. Как отмечает Марек Тамм: «Культурный подход к изучению памяти исходит из простой предпосылки: воспоминания о прошлом не создаются социальными группами случайно, а являются следствием культурного опосредования, прежде всего, посредством текстуализации и визуализации. Хотя коллективная память циркулирует и в устной форме, ее характер, в конечном счете, формируется всевозможными культурно опосредованными каналами, такими как тексты, изображения, объекты, строения, ритуалы и тому подобное» [9. Р. 461]. Астрид Эрлл подчеркивает, что «культурная» (или, если угодно, «коллективная», «социальная») память, безусловно, является многогранным понятием или термином, часто используемым двусмысленным и расплывчатым образом. СМИ, практики и структуры столь разнообразны, как мифы, памятники, историография, ритуал, разговоры, конфигурации культурных знаний, и нейронные сети к настоящему времени подпадают под этот широкий зонтичный термин [7. Р. 1]. Исследовательница не случайно характеризует «культурную память» как зонтичный термин, который включает в себя «социальную память» (отправная точка исследований памяти в социальных науках), «материальную или медиальную память» (предмет интереса в исследованиях литературы и медиа) и «ментальную или когнитивную память» (поле исследований в области психологии и неврологии) [7. Р. 4]. Ригни указывает, что «культурную память можно охарактеризовать как „работающую память“, которая непрерывно реализуется отдельными лицами и группами по мере их воспоминаний о прошлом, выборочно осуществляемых различными СМИ, становится вовлеченной в различные формы мемориальной деятельности: от рассказывания и чтения до участия в мемориальных церемониях или паломничествах» [10.

Р. 17]. Ну и наконец, как отмечает Ян Ассман в своей программной статье, которая, по сути, стала основой для всех вышеописанных нами тезисов: «Культурная память имеет фиксированную точку; ее горизонт не меняется с течением времени. Эти фиксированные точки представляют собой судьбоносные события прошлого, память о которых поддерживается культурными формами (тексты, ритуалы, памятники) и институционально закреплённой коммуникацией (декламации, практики, церемонии)» [11. Р. 129].

Принципиальный момент в характеристике такой культурной памяти заключается, как нам представляется, в подчеркивании опосредованного характера памяти. Этот аспект прямо подчеркивается Ригни: «В той мере, в какой культурная память является продуктом репрезентаций, а не непосредственного опыта, она по определению становится предметом опосредованных воспоминаний» [10. Р. 15]. Такая опосредованность предполагает, прежде всего, то или иное материальное выражение или воплощение памятных событий, от которых остались свидетели, а во-вторых, обращенность самим способом памятования к потенциально любому адресату, в том числе и к тем, кто не был затронут (прямо или косвенно) этими памятными (в смысле материально запечатленными) событиями. Также правомерно утверждать, что в такую трактовку культурной памяти легко войдут материально воплощенные свидетельства (памятники, архитектура и т.д.) о событиях удаленного прошлого, от которых уже не осталось свидетелей.

Такая трактовка культурной памяти позволяет понять, почему такую популярность приобрели идеи Алейды Ассман и Яна Ассмана о структуре памяти. Как известно, Алейда Ассман начинает с проведения параллелей между индивидуальной и культурной памятью. Они сходны в способности как запоминать, так и забывать [12. Р. 97–98]. Они столь же сходны в формах как забывания, так и запоминания [12. Р. 97]. Соответственно то, что становится предметом постоянного и непрерывного запоминания и воспоминания или так называемой работающей памяти, обозначается автором понятием «канон», а предметом забывания – «архив» [12. Р. 98]. В предложенной Ассман трактовке культурной памяти любопытно обратить внимание на некоторые ее содержательные интерпретации. Так, Ассман подчеркивает, что «археология является институтом культурной памяти, который извлекает потерянные предметы и утраченную информацию из далекого прошлого, проделывая важный обратный путь от культурного забвения к культурной памяти» [12. Р. 98]. Мысль означает, что продукты археологической деятельности также включатся в сферу культурной памяти. Когда Ассман характеризует три такие ключевые сферы активной культурной памяти, как религию, искусство и историю, то фактически указывает на роль истории как третьей такой области [12. Р. 100]. Под такой историей понимается продукция профессионального сообщества и, как правило, события национальной истории. «Приобщиться к национальной памяти» – значит знать ключевые события истории нации, принимать ее символы, привязаться к ее праздничным датам [12. Р. 101].

По сути, использование Ассман понятия культурной памяти в данном контексте приобретает весьма метафорический характер. Такое употребление становится весьма похожим на известный тезис об истории как памяти человечества, хотя, стоит заметить, что история как вид исследования, помимо

прочего, сообщает о таких вещах, которые в принципе ни в какой памяти не могли быть запечатлены. Речь идет, в частности, об описаниях структур и процессов. В конечном счете вышеописанная трактовка культурной памяти оказывается весьма далекой от традиционных представлений о памяти как запечатлении и сохранении когда-то непосредственно воспринятого объекта.

Еще более категоричный тезис о природе культурной памяти выдвигает Ян Ассман. В своей программной статье вводит и проводит принципиальное различие между двумя типами памяти, один из которых он называет памятью коммуникативной, а другой – памятью культурной [11. Р. 126]. В характеристике первого типа памяти автор выделяет две черты. Прежде всего, он указывает, что коммуникативная память можно рассматривать как разновидность коллективной памяти, основанную на повседневной коммуникации [11. Р. 126]. Далее он подчеркивает, что существенной ее характеристикой является наличие ограниченного временного горизонта, который охватывает не более 80–100 лет [11. Р. 127]. В своей более поздней статье Ассман уделяет особое внимание отличию предлагаемой им концепции «культурной памяти» от концепции «коллективной памяти» Мориса Хальбвакса и выдвигает предложение разделять коллективную память на коммуникативную и культурную [13. Р. 110]. Он неоднократно подчеркивает, что культурная память носит институциональный характер, воплощенный в символических формах (памятниках, музеях, библиотеках, архивах и других мнемонических институтах) [13. Р. 110–111].

Ассман связывает такую культурную память с формированием идентичности, что дает ему основание проводить различие между памятью и историей. «В контексте культурной памяти исчезает различие между мифом и историей. Не прошлое как таковое, как его исследуют и реконструируют археологи и историки, имеет значение для культурной памяти, но только прошлое, как оно запоминается» [13. Р. 113]. Он подчеркивает, что знание о прошлом приобретает свойства и функции памяти, когда превращает в знание для «нас» [13. Р. 113]. В этих соображениях мы обратим внимание, однако, не на различия, проводимые автором между историческим знанием и памятью, а на их сходство. По сути дела, понятием «культурная память» в таком контексте охватываются объекты, обычно относимые к области истории как таковой или, весьма упрощенно говоря, существенно темпорально удаленные от современности. Понятно, конечно, что, говоря о культурной памяти, ни Ян, ни Алейда Ассман не подразумевают под ней трансляцию представлений о прошлом из уст в уста. Как отметил Ян Ассман, «все исследования устной истории подтверждают, что даже в хорошо образованных обществах живая память не идет назад дальше, чем на восемьдесят лет, после чего, разделенные плавающей пропастью, на смену мифам о происхождении приходят даты из школьных учебников и памятники [13. Р. 113]. Но относятся они к сфере культурной памяти (данными авторами во всяком случае), потому что выполняют функции, которые обычно связывают с культурными функциями.

Мы не будем вдаваться в тонкости трактовки культуры в немецкой исследовательской традиции и углубляться в генеалогию понятия «культура». Также не будем специально обращать внимание на некоторое смещение в хронологии. Программная статья Яна Ассмана вышла в 1988 г., а институа-

лизацию, организацию и систематизацию исследований памяти принято связывать с первым десятилетием 2000-х гг. [9. Р. 458]. Нам важно отметить прогрессирующее смещение интерпретации памяти. Недаром Ян Ассман отметил, что термин «память» является не метафорой, но метонимией [13. Р. 111], поскольку явно или неявно начинает охватывать всю совокупность (сумму) исторических и современных объектов, в той или иной степени материально воплощенных и сохраняющих значение для современности (для формирования идентичности, в частности). В итоге нетрудно заметить, что таким словоупотреблением фактически стирается различие между историей и современностью (или недавними событиями) как элементами социального бытия и между историей и памятью как формами запечатления прошлого. Соответственно, как только такое понимание памяти начинает укореняться в исследовательском сообществе и превращаться в своеобразный исследовательский канон, становятся понятными идеи, с описания которых были предприняты данные рассуждения. Речь идет как о «постпамяти» и «протезной памяти», так и «транскультурном повороте» в целом. Точнее говоря, становятся понятными акценты, расставляемые авторами в предложенных идеях.

Как подчеркивает Хирш, смысл постмемориальной деятельности заключается в попытке оживить и перевоплотить более отдаленные социальные/национальные и архивные/культурно-мемориальные структуры путем их связи с индивидуальными и семейными формами опосредования и эстетического выражения [1. Р. 111]. Суть этой связи автор видит в возможности через сопереживание вовлечь поколения, удаленные по времени от самих значимых событий, в преемственность (сохранение) памятования о них, даже когда уйдут непосредственные участники событий и их прямые потомки [1. Р. 111]. Хирш не случайно подчеркивает роль фотографии в этом процессе и даже противопоставляет в этом аспекте историю и память как формы сохранения прошлого. Ведь фотографии не только обеспечивают зрителя информацией или визуальным подтверждением материала, подчерпнутого из других источников, но, что самое главное, призваны вызвать сильное эмоциональное состояние [1. Р. 116]. Породить потрясение, боль, сопереживание – в этом перформативная сила фотографии [1. Р. 117].

Сходную функцию отводит воспоминаниям о прошлом Ландсберг, когда вводит понятие «протезная память». Это память о событиях, которые человек лично не пережил и которые отделены от него «временной пропастью», но которые могут войти в состав его памяти о прошлом [2. Р. 148]. Автор специально подчеркивает, что эта форма памяти носит исторически специфичный характер и совершенно отлична от разнообразных форм коллективной памяти, которая, как правило, обладает географической спецификой (связана с местом проживания группы) и связана с национальной историей той или иной группы. Суть этого отличия заключается в потенциальной возможности протезной памяти стать достоянием любой социальной группы в любом месте и в любое время благодаря современным массмедиа [2. Р. 149]. Ландсберг подчеркивает, что такая память может стать хорошим инструментом формирования эмпатии и выработки этического отношения к другому [2. Р. 150].

Закономерным итогом движения исследователей в этом направлении становится разработка идеи «транскультурной памяти» или «транснациональной памяти» как исследований, направленных на изучение динамики

памяти, как возможности нарративов, образов и моделей запоминания преодолевать национальные границы [14. Р. 3–4]. Таким образом, по мнению авторов, использование понятия «транскультурная память» помогает лучше понять, как определенные способы восприятия и воспоминания могут на самом деле стать общими (совместно разделяемыми) для различных групп в различных регионах мира [14. Р. 3–4]. Правда, авторы полагают, что использование термина «транснациональная память» позволяет лучше преодолеть коннотации, связанные с традиционной трактовкой культуры как замкнутой и относительно завершенной целостности в рамках национальных границ. Для такой характеристики обычно используется метафора «контейнера» [14. Р. 4]. Но, как представляется, тонкости в трактовке обеих понятий сути дела не меняют.

Если судить по высказываниям творцов этих идей, то резонно выдвинуть следующий тезис. Постпамять, протезная память, транскультурная и транснациональная память вводились и используются не столько для расширения понятия памяти за пределы традиционно сложившихся представлений о ней, сколько для расширения коллективных представлений о прошлом в целом, а именно выведения их за пределы собственно национальных историй и формирования особого отношения к такому прошлому за счет эмпатии, сопереживания, сострадания путем включения, в частности, трагического опыта других культур в собственный. Но тогда, как представляется, речь все более идет не столько о роли памяти, сколько об инструментах воздействия на формирование наших представлений о социальном мире в целом и прошлом как имманентной части этого мира. Если это так, тогда в одну линию на этой плоскости будут выстраиваться рассказы предшественников, образы, созданные кино, продукция видео, социальные сети, результаты деятельности профессионального сообщества и т.д., и измеряться они будут отнюдь не по тому критерию, по которому оценивается память как таковая.

Во-первых, в рассуждениях о памяти уже никто не может поручиться, что его память и даже личные воспоминания сформировались под влиянием воспоминаний предшествующих поколений, а не выработаны или трансформировались под влиянием СМИ, других источников информации (как правило, школьного образования) и содержат, так сказать, «импланты». Характерным примером можно считать описание крестьянского восстания под руководством А.С. Антонова в 1920–1921 гг. Оксана Головашина подчеркивает, что «распространение терминов „народное сопротивление“, „антибольшевистское движение“, „крестьянское повстанчество“, частично перешедших в современные работы из дискурса Гражданской войны, эмигрантской историографии и западных публикаций, оказывается не только следствием переосмысления изучаемых событий, но и показателем смены политической обстановки» [15. С. 305–318]. К этому добавим, что и общим следствием попыток осмыслить данные события в форматах, предложенных современной отечественной культурой и, как правило, бессознательно заимствованных местными краеведами. Во-вторых, критерием определения ценности всех этих представлений о прошлом фактически будет являться степень эффективности их воздействия на общественное сознание. А эффективность будет определяться, прежде всего, степенью их эмоционального воздействия. Мы не хотим, конечно, этим тезисом утверждать о прямой или даже прямолиней-

ной зависимости наших представлений от внешнего воздействия. Зерно должно упасть на возделанную почву. Дело в другом, а именно в незаметном смещении темы памяти.

Иначе говоря, о чем тогда на самом деле идет речь, если слово «память» все более начинает употребляться в таком контексте? Наш тезис заключается в утверждении, что фактически самым ходом и направлением рассуждений о памяти исследовательское сообщество неявным образом актуализирует старый вопрос об определении доминирующих источников формирования исторических представлений современного общества. Если проще, то, по сути, это вопрос в том, откуда черпает информацию о прошлом массовое (общественное) сознание и что нужно, чтобы ее продуктивно направить (о чем, кстати, говорят рассуждения о постпамяти и протезной памяти). Еще чуть ли не на заре исследований памяти Вульф Канштайнер прозорливо заметил, что «по сути, исследования коллективной памяти представляют собой новый подход к самому неуловимому из явлений – массовому сознанию» [16. Р. 180].

Если принять эту идею, то старый вопрос о соотношении памяти и истории как основных источников формирования таких представлений приобретает новое звучание, а именно выходит за рамки чисто академической дискуссии. Здесь следует отметить, что мотивы, которые начинают доминировать в их сопоставлении, уже не сводятся к унаследованной от позитивизма оппозиции субъективного (памяти) и объективного (истории). Как отмечает Питер Берк, «ни воспоминания, ни истории больше не кажутся объективными. В обоих случаях историки учатся принимать во внимание сознательный или бессознательный отбор, интерпретацию и искажение. В обоих случаях они приходят к выводу, что процесс отбора, интерпретации и искажений обусловлен или, по крайней мере, находится под влиянием социальных групп» [17. Р. 44]. Иначе говоря, по Берку, историки оказываются столь же избирательными в выборе тем, сюжетов и путей их видения, сколь и носители памяти, а избирательность исторического знания оказывается обусловленной тем же, чем и память, а именно групповыми ожиданиями и интересами. Поэтому Канштайнер резонно приходит к выводу, что, возможно, историю более уместнее определять как еще один особый тип культурной памяти [16. Р. 184], а не противопоставлять ее всем остальным формам культурного бытия. Сходные идеи выдвигает Патрик Хаттон, утверждающий, что сама «история является искусством памяти» [18. С. 23], просто «укорененность современной историографии в памяти была часто скрыта за фасадом научной объективности» [18. С. 26]. Более радикальный тезис выдвигает Тамм, когда утверждает, что историческое исследование является одним из важнейших путей для максимально полного понимания прошлого, но, конечно, не единственным и не обязательно самым влиятельным [9. Р. 463].

Можно, конечно, связать появление суждений такого рода со стремлением отдельных авторов эпатировать читающую публику или с постмодернистским настроением с его тотальным критическим пафосом по отношению ко всему и вся и его ориентацией на стирание границ и преодоление канонов. Но, как представляется, резоннее рассматривать их как симптом более глубоких процессов, происходящих в современной культуре. Очевидно, конечно, налицо явное уравнивание истории и других способов осмысления прошлого,

если сравнивать их потенциал в реализации определенных культурных функций. Можно также списать их на тезис о том, что история оказывается не самым влиятельным способом освоения прошлого просто в силу природы массового сознания, не способного выйти за пределы мифологического восприятия. Возможно, что так и есть. Но тем не менее не стоит сбрасывать со счетов еще один аспект в историческом осмыслении прошлого.

Хаттон заметил, что «недостаточно описать прошлое через его репрезентации, так как такой подход предполагает отчужденность от живых переживаний, которые память несет с собой в настоящее» [18. С. 30]. Фредерико Финкельштейн в диалоге с известным психоаналитиком Дори Лаубом выдвинул тезис, что по отношению к травматическим событиям недавнего прошлого резкое противопоставление истории и памяти требует изменения, а именно их комбинирования в «продолжающемся процессе интерпретации и памятования» [19. Р. 51]. Габриэль Шпигель подчеркивает, что «в той мере, в какой память „перевоплощается“, „возрождается“, „перерабатывается“ и заставляя прошлое „вновь появиться“ и снова жить в настоящем, она не может действовать исторически, поскольку отказывается оставить прошлое в прошлом, провести как бы черту, отделяющую прошлое от настоящего, что является составной частью современной историографии как таковой» [20. Р. 162].

Это достаточно распространенное в современной исследовательской литературе противопоставление живой памяти и мертвой истории или памяти, имеющей дело с живым прошлым, и истории, превращающей прошлое в нечто прошедшее и в некотором смысле умершее, может быть, конечно, понято как минимум двояко. Так, некоторые события, особенно недавнего прошлого, могут продолжать эмоционально переживаться, и это эмоциональное переживание может передаваться потомкам и становиться тем самым не просто определенным способом отношения к такому прошлому, но и формировать мотивацию их поведения (помнить, чтобы не повторить, помнить, чтобы восстановить справедливость). В некотором смысле такое отношение не просто «оживляет» прошлое, но фактически превращает его в часть настоящего, хотя и темпорально удаленную от точки «теперь». Нет нужды говорить, какую роль играет такое восприятие для формирования идентичности. Но столь же очевидна амбивалентность такого отношения к прошлому, особенно к темпорально удаленному и особенно в национальных историях, когда современников начинают трактовать как прямых потомков, а предшественников – как их прямых предков и на этом основании возлагать на первых ответственность за деяния последних.

Но разделение на живое прошлое и мертвую историю может трактоваться иначе, а именно как дискурсивное различие. Этот подход, как представляется, был наиболее ярко выражен в поздних размышлениях Хайдена Уайта. Уайт выдвинул весьма сильный тезис: «Я отрицаю, что историки в их современном „профессиональном“ состоянии обладают ресурсами, необходимыми для осуществления „этически ответственных“ суждений по поводу того, что мы подразумеваем под „историей“» [21. Р. 335]. В итоге Уайт заключает: «в результате усилий истории превратиться в „науку“, каким бы скромным, каким бы отличным от парадигмы физической науки он [этот подход] ни был, в желании „говорить правду [и ничего, кроме правды]“ о прошлом, в

своем стремлении изолироваться от искушений литературного письма, излишеств философии истории и соблазнительности идеологии профессиональная историография не может теперь достойно участвовать в дискуссиях по основным политическим, этическим и идеологическим вопросам» [21. Р. 335–336]. Добавим к этому: просто потому, что она не обладает (или утратила) соответствующим (говоря словами самого Уайта, фигуративным) языком.

Представляется, что Уайт в этом рассуждении отметил одну из тенденций трансформации деятельности профессионального сообщества. Это превращение в относительно замкнутую корпорацию со своей тематикой, языком, критериями отбора, логикой функционирования и т.д. Не пытаясь отделить в этом сложном и противоречивом, да еще и обусловленном особенностями той или иной культуры процессе зерна от плевел, отметим лишь один момент. Дело в том, что требование истины с неизбежностью вело и привело не только к освобождению знаний от ценностей, но и к выработке языка (а вслед за ним и тематики: факты и ничего кроме фактов), позволяющего минимизировать его имманентную аксиологическую составляющую. В итоге историческое знание оказалось не готовым к тому, чтобы достойно ответить на вызовы современной культуры. Более того, как метко заметил Уайт, «современная трактовка истории скорее только подавляет, а не рассеивает мифические способы мышления и выражения, чем способствует возвращению этого вытесненного материала в виде мировоззрения, которое призвано показать, что все всегда именно таким и должно быть» [21. Р. 337]. Понятно, что подобное положение дел складывается хотя бы потому, что профессиональное сообщество легитимирует своим авторитетом те или иные версии прошлого, не рефлексирова при этом по поводу их происхождения и функций. Уайт полагал, что выход из сложившегося тупика возможен только на пути создания нарративов не с большим количеством исторических фактов, а с большей художественной целостностью и поэтической силой смысла [21. Р. 336]. Поэтому американский мыслитель предлагал вспомнить изначальный импульс исторического интереса, когда заключал свои рассуждения тезисом, что историческое прошлое «этично» в том смысле, что его предмет (насилие, утрата, отсутствие, событие, смерть) вызывает в нас амбивалентные чувства по поводу как себя, так и «других», появляющиеся в экзистенциально значимых ситуациях, требующих выбора и вовлеченности в них [21. Р. 336]. Но «чтобы справиться с этими видами событий, которые интересуют или должны заинтересовать современную публику, их привлекательность должна быть связана с этически богатыми традициями литературного выражения» [21. Р. 338].

Какие выводы можно сделать на основании вышеизложенного? Во-первых, следует понимать, что все они из области возможного. Иначе говоря, речь не о том, как действительно пойдут дела, а как они могут пойти. Во-вторых, резонно предположить, что если не появятся новые теоретические разработки, то, скорее всего, следует ожидать размножения эмпирически ориентированных описаний типа как обстоят дела с памятью о прошлом на том или ином отрезке пространства и времени. Ведущие специалисты, как правило, в один голос пишут о современных трактовках памяти как разнонаправленного процесса. Но похоже, что под этим по-прежнему имплицитно подразумеваются нарративы, не совпадающие или прямо противопоставлен-

ные официальным версиям прошлого (движение «сверху вниз» и «снизу вверх»), что столь же имплицитно отождествляется с общей позитивной оценкой места и роли таких воспоминаний (дать право голоса подавленным голосам и т.д.). Однако исследователи, пишущие о памяти в нынешней Восточной Европе, отмечают, что для многих респондентов «недавнее социалистическое прошлое имеет тенденцию казаться периодом довольно упорядоченной и легко воспринимаемой жизни, относительного благополучия, безопасности и стабильности в противовес неуверенности и обнищанию нынешней жизни, и поэтому предстает более понятным и привлекательным для них, чем настоящее время» [22. Р. 426]. Сомнительно, что воспоминания подобного рода будут оценены как позитивный вклад, который ожидается от активизации памяти. Хюссен обозначил подобные интенции как атаку прошлого на остаток времени [4. Р. 228].

В-третьих, полагаем, что накопление материала подобного рода будет стимулировать переход от дескриптивных к нормативным установкам. Иначе говоря, рано или поздно будет актуализирован вопрос, что мы ожидаем от исследований памяти, как бы она не понималась. В этом контексте выглядят любопытными рассуждения Ридни о том, что «в поле культурной памяти продолжает доминировать травматическая парадигма, которая подпитывает преобладание скорби и ее мемориализацию в современных культурах памяти и которая блокирует тем самым осмысление альтернативных способов памяти и альтернативных традиций памяти» [23. Р. 369]. Поэтому Ридни провозглашает необходимость «позитивного поворота» в исследованиях памяти и связывает его с развитием идеи «надежды» как «гражданской добродетели» [23. Р. 370]. Тезисы Хюссена в этом плане выглядят более пессимистичными, когда он утверждает, что перспектива исследований памяти обретает все более меланхолический оттенок [4. Р. 227]. Поэтому он полагает, что, помимо прочего, следует актуализировать вопрос о связи темы памяти с темой прав человека [4. Р. 227].

Более того, в свете тезиса о том, что тема памяти фактически перерастает в тему современного отношения общества к прошлому, в целом стоит предполагать, что и без того достаточно распространенный тезис о необходимости рассматривать прошлое в перспективе будущего снова будет актуализирован в новом дискурсе, в новых аспектах, в новом социально-культурном и политическом контексте. Поэтому кантовский моральный принцип уважения к человеческому достоинству можно будет трактовать как предлагаемую нормативную рамку не только для исследований памяти, но и для восприятия и отношения к прошлому в целом. Речь, конечно, идет не о возрождении презентизма и проецировании на прошлое представлений, которые были ему принципиально чужды, а об определении смысла и ценности прошлого для современной культуры.

Резонно также ожидать, что предполагаемый разворот исследований памяти в данном направлении снова актуализирует тему о вкладе профессионального сообщества в этот процесс. Канштаймер справедливо подметил в свое время, что в качестве альтернативы социологически «оккупированной» концепции коллективной памяти исследователи стали использовать такие термины, как «социальная память», «коллективная воспоминания» и «создание коллективной истории» или вообще отказываться от потребности в новой

терминологии в пользу старомодного понятия «миф» [16. Р. 181]. Действительно, можно согласиться с общераспространенным убеждением, что массовое сознание, видимо, только так и может воспринимать прошлое. С этой точки зрения фактическое уравнивание среди самого исследовательского сообщества истории (как вида исследования) и памяти выглядит угрожающим и предстает опасным симптомом тенденций развития современной культуры. По крайней мере, для профессионального сообщества историков это сигнал, призывающий более активно включаться в культурную жизнь в целом и как минимум сделать предметом рефлексии вопрос о выработке дискурса и форматов, посредством которых историческая продукция, как ни парадоксально, могла быть снова интегрированной в культурное пространство.

Но в заключение можно указать на некоторые основания для такого кажущегося благодушным отношения и даже предпочтения памяти истории. Понятно, что благодаря социальным сетям многократно выросли и стали весьма разнообразными источники формирования исторических представлений. Но столь же резонно предположить, что благодаря системе всеобщего школьного образования их глубинной основой в той или иной степени остается продукция, произведенная все тем же профессиональным сообществом. Более того, мы можем говорить о формировании культуры, где в той или иной мере выработались, приобрели институализированный характер и даже интериоризировались определенные нормы отношения (требование рациональности, например) к многообразной исторической продукции, поступающей из весьма многообразных источников. Возможно именно это обстоятельство дает основания столь лояльно отнестись к памяти как конкуренту исторического знания.

Список источников

1. Hirsch M. The Generation of Postmemory // *Poetics Today*. 2008. Vol. 29, № 1. P. 103–128.
2. Landsberg A. Prosthetic memory: the ethics and politics of memory in an age of mass culture // *Memory and popular film* / ed. by P. Grainge. Manchester University Press, 2003. P. 144–161.
3. Bond L., Craps St., Vermeulen P. Introduction: Memory on the Move // *Memory Unbound: Tracing the Dynamics of Memory Studies* / ed. by L. Bond, St. Craps, P. Vermeulen. New York : Berghahn, 2017. P. 1–26.
4. Dispersal and redemption: The future dynamics of memory studies – A roundtable Pieter Vermeulen, Stef Craps, Richard Crownshaw, Ortwin de Graef, Andreas Huyssen, Vivian Liska and David Miller // *Memory Studies*. 2012. Vol. 5, № 2. P. 223–239.
5. Олик Дж. Коллективная память: две культуры // *Историческая экспертиза*. 2018. № 4. С. 22–49
6. Хлевнюк Д.О. Отзыв на дискуссию вокруг отчета по исследованию в рамках доклада «Какое прошлое нужно будущему России?» // *Историческая экспертиза*. 2017. № 3. С. 72–75.
7. Erll A. Cultural Memory Studies: An Introduction Media and Cultural Memory // *Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook* / ed. by A. Erll, A. Nünning. Walter de Gruyter, 2008. P. 1–15.
8. Rigney A. Cultural memory studies Mediation, narrative, and the aesthetic. URL: https://www.academia.edu/17001542/Cultural_Memory_Studies_Mediation_Narrative_and_the_Aesthetic
9. Tamm M. Beyond History and Memory: New Perspectives in Memory Studies // *History Compass*. 2013. Vol. 11, № 6. P. 458–473.
10. Rigney A. Plenitude, Scarcity and the Circulation of Cultural Memory // *Journal of European Studies*. 2005. Vol. 35, № 1. P. 11–28.
11. Assmann J., Czaplicka J. Collective Memory and Cultural Identity // *New German Critique*. 1995. № 65. P. 125–133.
12. Assmann A. Canon and Archive // *Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook* / ed. by A. Erll, A. Nünning. Walter de Gruyter, 2008. P. 97–109.

13. Assmann J. Communicative and Cultural Memory // *Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook* / ed. by A. Erll, A. Nünning. Walter de Gruyter, 2008. P. 109–115.
14. Cesari Ch. De, Rigney A. Introduction // *Transnational Memory. Circulation, Articulation, Scales* / ed. by Ch. De Cesari, A. Rigney. Berlin ; Boston : Walter de Gruyter GmbH, 2014. P. 1–25.
15. Головашина О. В. «В борьбе обретеешь ты память свою»: Антоновщина в представлениях современных тамбовчан // *Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории*. 2020. № 70. С. 305–318.
16. Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies // *History and Theory*. 2002. Vol. 41, № 2. P. 179–197.
17. Burke P. History as Social Memory // P. Burke. *Varieties of Cultural History*. Ithaca, NY : Cornell University Press, 1997. P. 43–59.
18. Хаммон П.Х. История как искусство памяти. СПб. : Владимир Даль, 2004. 423 с.
19. Laub D., Finchelstein F. Memory and History from Past to Future: A Dialogue with Dori Laub on Trauma and Testimony // *Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society* / ed. by Y. Gutman, A.D. Brown, A. Sodaro. Palgrave Macmillan, 2010. P. 50–65.
20. Spiegel G.M. Memory and History: Liturgical Time and Historical Time // *History and Theory*. 2002. Vol. 41, № 2. P. 149–162.
21. White H. The Public Relevance of Historical Studies: A Reply to Dirk Moses // *History and Theory*. 2005. Vol. 44, № 3. P. 333–338.
22. Koleva D. Hope for the Past? Postsocialist Nostalgia 20 Years Later // *20 Years after the Collapse of Communism: Expectations, achievements and disillusiones of 1989 (Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe)* / ed. by N. Hayoz, L. Jesien, D. Koleva. Bern ; Berlin ; Bruxelles ; Frankfurt am Main ; New York ; Oxford ; Wien, 2011. P. 417–434.
23. Rigney A. Remembering Hope: Transnational activism beyond the traumatic // *Memory Studies*. 2018. Vol. 11, № 3. P. 368–380.

References

1. Hirsch, M. (2008) The Generation of Postmemory. *Poetics Today*. 29(1). pp. 103–128.
2. Landsberg, A. (2003) Prosthetic memory: the ethics and politics of memory in an age of mass culture. In: Grainge, P. (2003) *Memory and Popular Film*. Manchester University Press. pp. 144–161.
3. Bond, L., Craps, St. & Vermeulen, P. (2017) Introduction: Memory on the Move. In: Bond, L., Craps, St. & Vermeulen, P. (eds) *Memory Unbound: Tracing the Dynamics of Memory Studies*. New York: Berghahn. pp. 1–26.
4. Vermeulen, P., Craps, St., Crownshaw, R., Graef, O. de, Huyssen, A., Liska, V. & Miller, D. (2012) Dispersal and redemption: The future dynamics of memory studies – A roundtable. *Memory Studies*. 5(2). pp. 223–239.
5. Olick, J. (2018) Collective Memory: The Two Cultures. *Istoricheskaya ekspertiza – Historical Expertise*. 4. pp. 22–49. (In Russian).
6. Khlevnyuk, D.O. (2017) Response to the debate around the report “Which Past Does Russian Future Need?”. *Istoricheskaya ekspertiza – Historical Expertise*. 3. pp. 72–75. (In Russian).
7. Erll, A. (2008) Cultural Memory Studies: An Introduction Media and Cultural Memory. In: Erll, A. & Nünning, A. (eds) *Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook*. Walter de Gruyter. pp. 1–15.
8. Rigney, A. (n.d.) *Cultural memory studies Mediation, narrative, and the aesthetic*. [Online] Available from: https://www.academia.edu/17001542/Cultural_Memory_Studies_Mediation_Narrative_and_the_Aesthetic
9. Tamm, M. (2013) Beyond History and Memory: New Perspectives in Memory Studies. *History Compass*. 11(6). pp. 458–473.
10. Rigney, A. (2005) Plenitude, Scarcity and the Circulation of Cultural Memory. *Journal of European Studies*. 35(1). pp. 11–28.
11. Assmann, J. & Czaplicka, J. (1995) Collective Memory and Cultural Identity. *New German Critique*. 65. pp. 125–133.
12. Assmann, A. (2008a) Canon and Archive. In: Erll, A. & Nünning, A. (eds) *Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook*. Walter de Gruyter. pp. 97–109.
13. Assmann, J. (2008b) Communicative and Cultural Memory. In: Erll, A. & Nünning, A. (eds) *Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook*. Walter de Gruyter. pp. 109–115.

14. De Cesari, Ch. & Rigney, A. (2014) Introduction. In: De Cesari, Ch. & Rigney, A. (eds) *Transnational Memory. Circulation, Articulation, Scales*. Berlin; Boston: Walter de Gruyter GmbH. pp. 1–25.
15. Golovashina, O.V. (2020) In the battle you will attain your memory: peasant uprising 1910–1921 in the views of modern residents of Tambov region. In: *Dialog so vremenem: Al'manakh intelektual'noy istorii – Dialogue with Time: Almanac of Intellectual History*. 70. pp. 305–318. (In Russian).
16. Kansteiner, W. (2002) Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies. *History and Theory*. 41(2). pp. 179–197.
17. Burke, P. (1997) *Varieties of Cultural History*. Ithaca, NY: Cornell University Press. pp. 43–59.
18. Hutton, P.H. (2004) *Istoriya kak iskusstvo pamyati* [History as the Art of Memory]. St. Petersburg: Vladimir Dal'.
19. Laub, D. & Finchelstein, F. (2010) Memory and History from Past to Future: A Dialogue with Dori Laub on Trauma and Testimony. In: Gutman, Y., Brown, A.D. & Sodaro, A. (eds) *Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society*. Palgrave Macmillan. pp. 50–65.
20. Spiegel, G.M. (2002) Memory and History: Liturgical Time and Historical Time. *History and Theory*. 41(2). pp. 149–162. DOI: 10.1111/0018-2656.00196
21. White, H. (2005) The Public Relevance of Historical Studies: A Reply to Dirk Moses. *History and Theory*. 44(3). pp. 333–338. DOI: 10.1111/j.1468-2303.2005.00327.x
22. Koleva, D. (2011) Hope for the Past? Postsocialist Nostalgia 20 Years Later. In: Hayoz, N., Jesien, L. & Koleva, D. (eds) *20 Years after the Collapse of Communism: Expectations, achievements and disillusion of 1989*. Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien: Peter Lang AG. pp. 417–434.
23. Rigney, A. (2018) Remembering Hope: Transnational activism beyond the traumatic. *Memory Studies*. 11(3). pp. 368–380. DOI: 10.1177/1750698018771869

Сведения об авторах:

Сыров В.Н. – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: narrat59@gmail.com

Агафонова Е.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: agaton1810@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

V. N. Syrov, Dr. Sci. (Philosophy), professor, head of the Department of Ontology, Theory of Knowledge and Social Philosophy, Faculty of Philosophy, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: narrat59@gmail.com;

E. V. Agafonova, Cand. Sci. (Philosophy), associate professor of the Department of Ontology, Theory of Knowledge and Social Philosophy, Faculty of Philosophy, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: agaton1810@gmail.com

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 29.04.2022;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 29.04.2022;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022

СОЦИОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 316.34
doi: 10.17223/1998863X/67/9

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛАССОВОЙ СОЛИДАРНОСТИ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

Вера Владимировна Гаврилюк

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень, Россия, gavriliuk@list.ru

Аннотация. Представлены гендерные различия классовой солидарности молодежи нового рабочего класса. Методология исследования связана с применением интерсекционального подхода. Эмпирический материал получен на территории Уральского федерального округа с использованием количественных и качественных социологических методов. Выявлено, что наиболее депривированной частью рабочего класса сегодня является женская группа старшего молодежного возраста, занятая в сервисном секторе экономики.

Ключевые слова: солидарность, новый рабочий класс, гендерный порядок, интерсекциональный подход

Благодарности: Статья подготовлена при поддержке гранта РНФ № 17-78-20062 «Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса в современной России».

Для цитирования: Гаврилюк В.В. Гендерные особенности классовой солидарности рабочей молодежи // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 96–104. doi: 10.17223/1998863X/67/9

SOCIOLOGY

Original article

GENDER FEATURES OF CLASS SOLIDARITY OF WORKING-CLASS YOUTH

Vera V. Gavriliuk

Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation, gavriliuk@list.ru

Abstract. The research aims to identify positive and negative types of class solidarity among young people of the new working class in modern Russia and gender differences in their manifestation. In the article, the concept of a new working class is used, which is not associated with the upcoming digitalization of the economy or an increase in the level of workers' professional education, but with the nature of labor, property relations and participation in management. The research methodology is based on the intersectional approach. The article contains the formulation and experience of solving a new research task – the formation of class solidarity of working-class youth in the context of the conflicting requirements of corporate culture and social status. Empirical data were obtained during the

implementation of a collective project (2017–2021) on the territory of the Ural Federal District using quantitative and qualitative sociological methods (mass survey, biographical interview). It has been revealed that the absolute majority of young workers are aware of their class affiliation and the need for solidarity practices in defending their own interests, including opposition to the class of owners. The most deprived part of the working class today is the female group of young adults (25–29 years old), employed in the service sector of the economy.

Keywords: solidarity, new working class, gender order, intersectional approach

For citation: Gavriiliuk, V.V. (2022) Gender features of class solidarity of working-class youth. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 96–104. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/9

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 17-78-20062.

Введение

Становление новой социальной структуры российского общества – незавершенный процесс, стратификационный подход к ее анализу все еще доминирует в отечественной социологии. Между тем все более востребованным становится классовый подход, репрезентирующий принципиальные отличия современной социальной структуры от прежней, советской. В нашем исследовании мы исходим из концепта «нового рабочего класса» как базового элемента сложившегося социального строя. Термин «новый рабочий класс», введенный С. Малле [1] и А. Горцем [2] в середине 1960-х гг. для обозначения высококвалифицированного слоя промышленных рабочих, занятых в технологически сложных отраслях производства, включал в себя и социальный смысл. По идее авторов, он заключался в расширении прав и полномочий рабочего класса в управлении производственными процессами и трудовыми отношениями. Как известно, эта концепция не нашла исторического подтверждения, технологическая революция не привела к радикальной смене социального статуса рабочего класса, изменению его роли в организации и управлении производством. Именно поэтому социальный смысл понятия «новый рабочий класс» мы связываем не с грядущей цифровизацией экономики или повышением уровня профессионального образования рабочих, а с характером труда, отношениями собственности и участием в управлении [3. С. 3]. В мировой социологии общепризнанным является утверждение о принадлежности работников сервисных отраслей экономики к рабочему классу постиндустриального общества [4. С. 7–27; 5. С. 421–444]. Российский социологический дискурс чаще всего ограничивается рассмотрением проблем рабочих традиционных сфер промышленного производства, транспорта, строительства, добывающих отраслей. Между тем в современной России формируется новый рабочий класс (НРК), значительная часть которого занята в сервисной сфере экономики, что отражает общемировые закономерности трансформации традиционного рабочего класса. В сервисной сфере, в отличие от традиционного рабочего класса, значительна доля молодежи, лишенной опыта классовой солидарности предшествующих поколений.

Новой исследовательской задачей, таким образом, становится проблема формирования опыта классовой солидарности рабочей молодежи в условиях противоречивых требований корпоративной культуры и социального статуса.

В структуре нового рабочего класса складывается значительное гендерное неравенство, особенно среди работников сервисной сферы: торговли, общественного питания, ЖКХ, банковского сектора, здравоохранения, сферы безопасности, культуры, спорта и рекреации, служб ремонта и бытового обслуживания, домашних работников. С одной стороны, есть некоторая преемственность со структурой занятости советского периода, а с другой стороны – численность занятых в сервисном секторе растет за счет оттока в него трудовых ресурсов из традиционного рабочего класса.

Новизна проблемы гендерных различий в солидарных практиках современной рабочей молодежи определяется практически полным отсутствием публикаций по названной теме в отечественном социологическом дискурсе. Россия относится к одной из восьми стран «с резкой гендерной асимметрией в пользу женщин, составляющих в структуре населения от 52,3 до 54,2%... Это страны с высоким уровнем эмансипации женщин, достигнутой за социалистический период, и высокой степенью их занятости в экономике» [6. С. 8]. Исторический опыт гендерного равноправия и высокая степень занятости женской части населения России во всех сферах экономики актуализирует проблему различий солидарных практик в гендерном аспекте.

Решение основной исследовательской задачи осложняется выбором адекватной современным социальным процессам методологии. Очевидно, что ни классические феминистские теории, ни принципы классового анализа не описывают сложнейших пересечений социальной инклюзии в гетерогенных сообществах, поэтому выбор и обоснование исследовательского подхода становится самостоятельной задачей.

Методы

В нашем проекте «Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса в современной России», продолжающемся с 2017 г., использована методология классового и стратификационного анализа, комплекс эмпирических социологических методов (массовый опрос, биографическое интервью). Эмпирическая часть проекта реализована в городах Уральского федерального округа. Массовый опрос осуществлялся с апреля по июль 2018 г. в Уральском федеральном округе (УрФО), включая три крупных города (Екатеринбург, Тюмень, Курган) и типичные сельские поселения в этой местности. В качестве объекта выбрана молодежь нового рабочего класса в возрасте от 15 до 29 лет, проживающая на территории УрФО. Участниками исследования выступили 1 534 респондента, использована целевая многоступенчатая выборка по четырем объективным критериям: возраст (около 500 человек в каждой из возрастных групп, соответствующих периодизации когорт в официальной статистике РФ: 15–19 (33%), 20–24 (33,4%) и 25–29 лет (33,6%)); пол – мужской (50,3%) и женский (49,7%); место жительства – город (76,2%) и сельская местность (23,8%) в соответствии с распределением населения в УрФО; сфера занятости – промышленность и техническое обслуживание (45,2%) и клиентский сервис (54,8). Выборка репрезентативна по полу, месту жительства, сфере занятости. Кроме опроса было проведено биографическое интервью (2019 г.) – 31 информант, 14 из которых заняты в реальном секторе экономики и 17 – работники сервисной сферы.

В качестве респондентов и информантов биографического интервью выступили молодые рабочие, представляющие традиционный рабочий класс, а также занятые в сервисном секторе экономики. Базовым критерием отбора респондентов был характер труда (рутинизированный, поддающийся строгой регламентации) и неучастие в управлении (работник не должен выполнять менеджерские функции на своем рабочем месте).

Результаты исследования

Выбор методологии классового анализа обусловлен нерешенностью проблемы модели социальной структуры современного российского общества. На протяжении последних трех десятилетий этот вопрос остается открытым, и замена классового подхода на стратификационный не смогла его решить. В советской и постсоветской социологии было принято противопоставлять классовый и стратификационный подходы, так как первый ассоциировался исключительно с марксистской методологией. В западной традиции классы были частью дискурса о стратификации в его различных концептуальных вариантах, «классы» как разновидности стратификационных групп присутствуют в работах М. Вебера, Т. Парсонса. В современной отечественной социологии произошла некая подмена понятий: «средний класс» трактуется как страта, а «рабочий класс» заменяется эвфемизмами (например, «базовый слой», «массовый слой»). Мы обосновали возможные точки пересечения пространства отечественных концепций социальной стратификации и классового анализа с целью формирования понятия «новый рабочий класс» [7. С. 88–115].

Для изучения проблемы гендерных различий в формировании и проявлении классовой солидарности возможно использование интерсекционального подхода, эвристический потенциал которого пока еще недооценен современной российской социологией. «Интерсекциональный подход представляет собой разновидность критической теории, направленной на выявление скрытых сил социального угнетения как обратной стороны риторики равных возможностей, мультикультурализма и гендерного равноправия. Пересечения категорий класса, гендера и других систем подавления (национальность, возраст, состояние здоровья, уровень образования) порождают новые формы неравенства на индивидуальном и институциональном уровне» [8. С. 542].

Выбор интерсекционального подхода в исследовании новых смыслов солидарности рабочей молодежи позволяет акцентировать наличие или отсутствие гендерных различий ее – солидарности – проявлений. Понятие солидарности относится к базовым социологическим категориям, объясняющим наличие границ сообществ и их идентичностей. В рамках классового анализа оно широко использовалось в марксистской методологии для описания динамики классовых интересов, осознание и реализация которых рассматривалось как источник революционных преобразований общества. Современное значение понятия солидарности выходит за рамки классового анализа и отражает диверсификацию сообществ глобального мира, турбулентность их существования: фрагментарность, частичную идентичность, текучесть, гибкость социальных норм. Социология начала XXI в. рассматривает социальную солидарность через отношения внутри отдельных групп [9. С. 10; 10. С. 35–41]. В российской социологии сегодня различают практики солидарных действий

и отношений позитивные и негативные. Позитивный солидаризм стирает границы, а негативный – возводит барьеры, сплачивая людей на основе неприятия чего-либо (ценностей, социальных позиций, образа жизни, качеств, внешних особенностей, действий) [11. С. 60–69].

Новые формы солидарности и конкуренции в трудовых отношениях порождаются формирующимся в России новым гендерным порядком. Г.Г. Силласте отмечает, что на российском рынке труда уже сложился ряд его особенностей, среди которых – изменение запроса работодателей, сближение гендерных поведенческих форм, усиление гендерной нейтральности профессий, сокращение гендерных разграничений в выборе места трудоустройства. Она доказывает, что социальная дискриминация женщин в сфере труда поддерживается фактами сегрегации. Жесткие нормы, принимавшиеся при советском гендерном порядке для недопущения социальной дискриминации женщин, в системе рыночных отношений не действуют [12. С. 47]. Большинство современных исследователей отмечают, что сегодня на рынке труда женщины продолжают оставаться в неравном положении с мужчинами [13. С. 46].

В нашем исследовании подтверждено это распространенное утверждение, при этом гендерные различия в ощущениях дискриминации – очевидны (табл. 1).

Таблица 1. Согласие с утверждением: «Рабочие – самая бесправная часть общества», %, по группам респондентов

Группы молодежи НРК	Согласен	Не согласен
По гендерным группам		
Мужчины	42,3	53,5
Женщины	57,7	46,5
По возрастным группам		
15–19 лет	32,4	32,8
20–24 года	27,5	36,2
25–29 лет	40,1	31,1
Группы респондентов по сфере деятельности		
Промышленность	39,1	47,7
Сфера услуг	60,9	52,3
В целом по массиву	27,4	72,6

Если в целом положение рабочей молодежи, по ее собственным оценкам, не кажется критически опасным (72,6% опрошенных не ощущают себя депривированной социальной группой), то многомерный анализ дает другую картину. Особенно заметны эти различия на пересечении социально-демографических признаков и сферы занятости. Результаты опроса показывают, что наиболее остро ощущают свое бесправие женщины из рабочего класса старшей возрастной группы (25–29 лет), занятые в сервисном секторе экономики. К этому возрасту у большинства молодежи стабилизируются профессиональный и семейный статусы, приходит осознание собственного жизненного пути и места в социальной иерархии. Неравенство в оплате труда, отсутствие реальных шансов на построение карьеры, продвижение по социальной лестнице порождают социальную апатию и ощущение безысходности.

Приведем достаточно типичный пример описания профессионального пути и трудовых отношений в сфере торговли информантом из старшей возрастной группы (Маргарита, работает продавцом-консультантом в магазине бижутерии). На вопросы интервьюера о количестве мест работы, среднем

времени работы на одном предприятии, отношениях в коллективе и личных профессиональных достижениях информант рассказала: «Работаю, если по трудовой книге считать, то уже 17 лет... я сменила... уже 5 мест, честно говоря, даже не помню. Ну три из них закрывались магазины..., под сокращение просто попадала, и пару мест, просто выше шла, начиная от уборщицы заканчивая продавцом-консультантом ювелирной бижутерии... самое маленькое (работала) 3 месяца, а самое большое вот почти 5 лет, т.е. в среднем, 1,5–2 года. Я думаю, оттуда, откуда я ушла сама, значит были причины к тому, чтобы я уходила. Но чаще всего не устраивает зарплата, либо отношение начальства к подчиненным, скорее всего так, наверное, но я как бы по своей воле, из-за каприза, я никогда не уходила с работы, всегда были какие-то причины... Личные мои достижения, это то что первое мое место работы это было мыть полы и потом постепенно, после того как я продавала газеты, я мыла полы, я работала санитаркой, я работала буфетчицей, потом начала работать выше, выше и я выбралась, хоть не в грязи».

Стратегии солидарности для рабочей молодежи в условиях социальной депривации имеют четко выраженную гендерную направленность. На первый взгляд, оценки уровня конкурентности/солидарности в ближайшем рабочем окружении мужчин и женщин различаются на уровне статистической погрешности. Однако более детальный интерсекциональный анализ демонстрирует существенные гендерные различия (табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Какие отношения между работниками преобладают сегодня в Вашей организации?», %, по группам респондентов

Группы молодежи НРК	Солидарность, взаимовыручка, поддержка	Конкуренция – каждый сам за себя	Вражда, конфликты, интриги	Есть небольшие группы, внутри которых можно рассчитывать на взаимовыручку	Безразличие – никому ни до кого нет дела
По гендерным группам					
Мужчины	51,4	45,2	51,5	49	52
Женщины	48,6	54,8	48,5	51	48
По возрастным группам					
15–19 лет	33	38,5	39,4	28,9	36,6
20–24 года	35,9	24,4	12,1	35	24,4
25–29 лет	31,1	37	48,5	36,1	39
Группы респондентов по сфере деятельности					
Промышленность	45,7	39,3	30,3	45,7	52,8
Сервис	54,3	60,7	69,7	54,3	47,2
В целом	57,4	8,9	2,2	23,4	8,1

Так, на солидарные отношения в трудовом коллективе рассчитывает менее половины опрошенных женщин – 48,6%. А вот открытую вражду, конфликты, интриги отмечают 69,7% респондентов из сервисного сектора. Учитывая гендерные особенности этого рынка труда, следует признать, что рабочая солидарность не относится сегодня к базовым признакам трудовых коллективов в этой сфере.

В рамках биографического интервью ответы информантов были более размытыми и сглаженными, по сравнению с результатами анкетного опроса, однако и в них примеры напряженности, несправедливости и депривации присутствовали. Например, достаточно квалифицированный и высокооплачиваемый информант (Диана, консультант в банке, встречает входящих кли-

ентов и помогает им определиться с выбором услуги) отмечает, что «начальник хорошая, но было и такое... что меня могли где-то выходным обделить, потому что сейчас они у нас плавающие... Меня это немножко обижало, потому что планы не планы, но я-то не робот... Работа с клиентами – это тяжелая работа, она нервная. Мы не можем каждый раз приходить, одевать маску, и все у нас хорошо. Потому что, ну, мы действительно все люди. Если нарушение... несерьезное, то... руководитель вызывает и обсуждает проблему, что было не так, как это можно исправить, если это прям вообще грубое нарушение, то сразу увольнение, без разборов».

Информант (Наталья, администратор на ресепшн в автосалоне) на вопросы интервьюера о взаимоотношениях в коллективе отвечает развернуто: «Когда приходишь, все замечательно, шикарно. Просто, когда ты изнутри побываешь, ты понимаешь, что есть такие люди, которым доверять нельзя. В неформальной обстановке я не общаюсь, только максимум это какие-то встречи, корпоративы... Просто есть такие личности, они не в открытую стучат, допустим, на других, но все знают, какие они личности... Да, это можно назвать конкуренцией, потому что вот этого человека теперь повышают, а мы сидим на том же месте... Мы не понимаем просто, почему одних людей, которые изрядно трудятся, не замечают, а другие, которые блин ничего не делают, их вот повышают. Я считаю, что это ...нуу... несправедливо». На уточняющий вопрос интервьюера «Правильно я поняла, что есть способы повлиять на ситуацию, но вы их не желаете применять?», информант отвечает: «Я думаю, что да. Просто это конфликтные способы, и мы, наверно, не хотим конфликт».

Характерным является факт, что молодежь рабочего класса современной России однозначно признает наличие своих прав в трудовых отношениях и считает необходимым солидарные практики их отстаивания перед работодателями (86,2% выражают свое полное согласие в этом). Причем здесь между промышленными рабочими и рабочими сервисного сектора наблюдаются существенные различия, почти на 10%. Именно сервисные работники больше других осознают свое бесправное положение и уверены в необходимости отстаивать свои права. Этот, достаточно теоретический посыл не подтверждается в оценках реальных возможных действий, солидарных практик в случае нарушения трудовых прав. 53,9% мужчин и 46,1% женщин не готовы ни к каким к реальным действиям по отстаиванию своих прав. Основной мотив, выявленный в ходе биографического интервью, – опасение потерять работу. Этот мотив указали практически все информанты сервисной сферы и каждый третий рабочий промышленности.

Заключение

Формирование нового гендерного порядка, идеологией которого являются равноправие в доступе ко всем видам трудовой деятельности, в справедливой оплате, в приобретении профессии, в профессиональном и карьерном росте в условиях современного российского рынка труда, остается пока нереализованной идеей. В практике трудовых отношений сегодня доминируют противоположные тенденции. Это приводит, с одной стороны, к осознанию собственных классовых интересов молодежью нового рабочего класса, убежденности в необходимости солидарных действий в их отстаивании, а с другой

стороны, к формированию многократно усиливающейся депривации отдельных групп внутри неомогенного рабочего класса. Наиболее депривированной частью рабочего класса сегодня является женская группа старшего молодежного возраста (25–29 лет), занятая в сервисном секторе экономики. Рабочая солидарность в этой социально-демографической группе не является сегодня базовым признаком трудовых коллективов.

Список источников

1. Mallet S. *The New Working Class*. Nottingham : Spokesman books, 1975. 210 с.
2. Gorz A. *Strategy for Labour*. Boston : Beacon Press, 1967. 199 с.
3. *Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса* / под ред. Т.В. Гаврилюк. М. : ФЛИНТА, 2020. 408 с.
4. Resnick S., Wolff R. The diversity of class analyses: A critique of Erik Olin Wright and beyond // *Critical Sociology*. 2003. № 29 (7). С. 7–27.
5. Shalev M. Class Divisions among Women // *Politics & Society*. 2008. № 36 (3). С. 421–444.
6. Силласте Г.Г. Страновой гендерный ландшафт как фактор формирования нового гендерного порядка, его социальные риски // *Женщина в российском обществе*. 2019. № 3. С. 4–13.
7. *Молодежь нового рабочего класса современной России* / под ред. Т.В. Гаврилюк. М. : ФЛИНТА, 2019. 392 с.
8. Гаврилюк Т.В., Бочаров В.Ю. Интерсекциональность как способ концептуализации гендерного и классового неравенства // *Журнал исследований социальной политики*. 2018. № 16 (3). С. 537–545.
9. Ефременко Д.В. Исследования социальной солидарности в современной социологии: актуальные тенденции // *Социальные и гуманитарные науки. Серия 11. Социология*. 2012. № 1. С. 5–12.
10. Бадзагуа Г.Ж. Противоречивое понятие солидарности // *Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Философские науки*. 2015. № 3. С. 35–41.
11. Бойцова О.Ю. К вопросу о «негативной солидарности» как концепте политической философии // *Вестник Московского университета. Серия 7: Философия*. 2018. № 4. С. 60–69.
12. Силласте Г.Г. Рынок труда, занятости и профессий как экономическое пространство формирования нового гендерного порядка // *Женщина в российском обществе*. 2020. № 2. С. 38–51.
13. Саралиева З.Х.-М., Захарова Л.Н. Женщины как персонал современного предприятия: ценностный аспект // *Женщина в российском обществе*. 2017. № 3 (84). С. 45–57.

References

1. Mallet, S. (1975) *The New Working Class*. Nottingham: Spokesman Books.
2. Gorz, A. (1967) *Strategy for Labour*. Boston: Beacon Press.
3. Gavriluk, T.V. (ed.) (2020) *Zhiznennye strategii molodezhi novogo rabocheho klassa* [Life Strategies of the Youth of the New Working Class]. Moscow: FLINTA.
4. Resnick, S. & Wolff, R. (2003) The diversity of class analyses: A critique of Erik Olin Wright and beyond. *Critical Sociology*. 29(7). pp. 7–27. DOI: 10.1163/156916303321780537
5. Shalev, M. (2008) Class Divisions among Women. *Politics & Society*. 36(3). pp. 421–444.
6. Sillaste, G.G. (2019) The country gender landscape as the factor of a new gender order formation, its social risk. *Zhenshchina v rossiyskom obshchestve – Woman in Russian Society*. 3. pp. 4–13. (In Russian).
7. Gavriluk, T.V. (ed.) (2019) *Molodezh' novogo rabocheho klassa sovremennoy Rossii* [Youth of the New Working Class in Modern Russia]. Moscow: FLINTA.
8. Gavriluk, T.V. & Bocharov, V.Yu. (2018) Intersectionality as a Way of Conceptualizing Gender and Class Inequality. *Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki – The Journal of Social Policy Studies*. 16(3). pp. 537–545. (In Russian). DOI: 10.17323/727-0634-2018-16-3-537-545
9. Efremenko, D.V. (2012) Issledovaniya sotsial'noy solidarnosti v sovremennoy sotsiologii: aktual'nye tendentsii [Studies of social solidarity in modern sociology: current trends]. *Sotsial'nye i humanitarnye nauki. Seriya 11. Sotsiologiya – Social Sciences and Humanities. Domestic and Foreign Literature. Series 11: Sociology*. 1. pp. 5–12.

10. Badzagua, G.Zh. (2015) Protivorechivoe ponyatie solidarnosti [The controversial concept of solidarity]. *Gumanitarnye vedomosti TGPU im. L.N. Tolstogo. Filosofskie nauki*. 3. pp. 35–41.

11. Boytsova, O.Yu. (2018) K voprosu o “negativnoy solidarnosti” kak kontsepte politicheskoy filosofii [On the “negative solidarity” as a concept of political philosophy]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 7: Filosofiya*. 4. pp. 60–69.

12. Sillaste, G.G. (2020) The labor market, employment and professions as an economic space for the formation of a new gender order. *Zhenshchina v rossiyskom obshchestve – Woman in Russian Society*. 2. pp. 38–51. (In Russian).

13. Saralieva, Z.Kh.-M. & Zakharova, L.N. (2017) Women as personnel of a modern enterprise: the value aspect. *Zhenshchina v rossiyskom obshchestve – Woman in Russian Society*. 3(84). pp. 45–57. (In Russian).

Сведения об авторе:

Гаврилюк В.В. – доктор социологических наук, профессор кафедры маркетинга и муниципального управления, Тюменский индустриальный университет (Тюмень, Россия). E-mail: gavriliuk@list.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Gavriliuk V.V. – Dr. Sci. (Sociology), professor of the Department of Marketing and Municipal Management, Industrial University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation). E-mail: gavriliuk@list.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 22.03.2021;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 22.03.2021;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022*

Научная статья

УДК 004

doi: 10.17223/1998863X/67/10

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ – ОТ НАКОПЛЕНИЯ К РАСТРАТЕ?

Валерия Андреевна Колычева

*Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия,
v.kolycheva@spbu.ru, the-val@mail.ru*

Аннотация. Главной целью работы становится проверка вопроса, вынесенного в ее заголовок, на основе анализа доступных источников и итогов эмпирического исследования. Полученные выводы говорят в пользу наметившейся социальной растраты накопленного человеческого капитала, проявляющейся в нарушении порядка ранжирования классической триады знание–информация–транспарентность; причем, что особенно важно, зарождение данного явления произошло в предпандемийном обществе.

Ключевые слова: человеческий капитал, современное общество, знание, информация, транспарентность, Интернет, социальные сети, принятие решений

Благодарности: Исследование выполнено за счет гранта РФФИ (проект № 20-18-00365).

Для цитирования: Колычева В.А. Человеческий капитал в современном обществе – от накопления к растрате? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 105–119. doi: 10.17223/1998863X/67/10

Original article

HUMAN CAPITAL IN MODERN SOCIETY – FROM ACCUMULATION TO WASTE?

Valeria A. Kolycheva

*Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation, v.kolycheva@spbu.ru,
the-val@mail.ru*

Abstract. The theory of human capital of Nobel Prize laureates in Economics Theodore Schultz and Gary Becker, which became the key idea of the era of the birth of the post-industrial information society in the second half of the past century, first raised the question about the special role of qualified personnel in the long-term growth of the country. Schultz stated the need to invest in the individual as a component of the aggregate, and Becker, in turn, supported this thesis with a number of calculations that demonstrated the advantages of workers with special education over their colleagues without it. In fact, this was the first publicly available confirmation of the economic efficiency of such a philosophical category as knowledge. Today, with all the variety of scientific interpretations of the term “human capital” – from the main element of the state’s wealth to the creative abilities of the individual – the concept “knowledge”, highlighted by Becker, remains its absolute center and the most important inseparable part. At the same time, just in our days, the period of seemingly marginal accumulation of human capital begins to feel, so to speak, a narrowing of its core – human knowledge. Let us try to support the stated thesis with a few convincing illustrations. Let us start with an article by the authoritative modern philosopher Haridimos Tsoukas (University of Cyprus), which received the unusual title “The tyranny of light: The

temptations and the paradoxes of the information society” and was published in 1997. The author builds the following logical chain. In our time, the concept “information” replaces the classical definition of the term “knowledge”. Information, in turn, is now tacitly understood as a system of skills for the functional use of technologies. The instrumental ease with which such manuals are collected, processed, stored, retrieved, and distributed is a substitute, making it seem that they are objective, and therefore do not require confirmation or clarification. More than 20 years have passed since the publication of this research, let us add one more link to the chain: the readiness of the society to accept this postulate and the lack of information evidence, unconditionally acutely felt today, raise the question of a conscious social rejection of knowledge as a verifiable category. The main aim of the work is an empirical verification of the question posed in its title. In order to study the problem in depth, a questionnaire consisting of 12 closed questions was developed. The content of the questionnaire was represented by 8 situational tasks that the respondents were asked to resolve. The targeted part of the observation program included 4 factor characteristics (gender, age, occupation, educational level of the respondents) according to the research hypotheses that determine the answer to its main question. The survey was attended by 1045 spontaneous informants, whose responses revealed representative mass trends. The results of the empirical study, entitled “Decision-making mechanisms in modern conditions”, showed that, first, the overwhelming majority of the survey participants identified themselves as active supporters of self-learning in an unfamiliar field of knowledge, using data provided in the Internet. This contradicted the fact that, second, with the addition of the specified circumstances, the readiness to search for information decreased among respondents with the complication of the situational task. Third, the willingness to choose the services of a professional specialist did not show any dependence on the gender and age. Fourth, the participants with the highest predicate of received education demonstrated the highest informational independence. The empirical study was conducted in the pre-pandemic period, so the value of its results lies in a certain reflection of the degree of Russian society’s readiness to introduce restrictive measures.

Keywords: human capital, modern society, knowledge, information, transparency, Internet, social networks, decision making

Acknowledgments: The study is supported by a grant from the Russian Science Foundation, Project No. 20-18-00365.

For citation: Kolycheva, V.A. (2022) Human capital in modern society – from accumulation to waste? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 105–119. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/10

Средство сообщения есть само сообщение.

М. Маклюэн (Herbert Marshall McLuhan, 1911–1980), социолог, философ.

Энтропия... возрастает только в замкнутой системе.

К. Кузи (Kenneth Elton “Ken” Kesey, 1935–2001), писатель, философ.

Как известно, теория человеческого капитала лауреатов Нобелевской премии по экономике Т. Шульца и Г. Беккера, ставшая ключевой идеей эпохи зарождения постиндустриального информационного общества второй половины прошлого века, впервые поставила вопрос об особой роли квалифицированных кадров в долгосрочном росте страны. Шульц заявил о необходимости инвестирования в отдельного человека как составляющей совокупности [1], Беккер, в свою очередь, подкрепил данный тезис рядом расчетов, продемонстрировавшим на примере доходов преимущества трудящихся со специальным образованием над их коллегами, такового не имеющими [2]. По сути, это явилось первым общедоступным подтверждением экономической эффективности такой философической категории, как знание. Сегодня при всем многообразии научных трактовок термина «человеческий капитал» – от глав-

ного элемента богатства государства до креативных способностей личности – именно выделенное Беккером понятие «знание» остается его безусловным центром и важнейшей неотделимой частью. Вместе с тем, как раз в наши дни, период, казалось бы, предельного накопления человеческого капитала, начинает ощущаться, если так можно выразиться, сужение его сердцевины – знаний человека.

Попробуем подкрепить заявленный тезис несколькими убедительными иллюстрациями. Начнем со статьи авторитетного современного философа Х. Цукаса (Кипрский университет), получившей необычное название «Тирания света¹: искушения и парадоксы информационного общества» и вышедшей в печать в 1997 г. Автор строит следующую логическую цепочку. В наше время понятие «информация» вытесняет собой классическое определение термина «знание»². Под информацией, в свою очередь, сегодня негласно понимается система навыков по функциональному использованию технологий. Инструментальная легкость, с которой подобные руководства собираются, обрабатываются, хранятся, извлекаются и распространяются, осуществляет подмену, заставляя думать, что они объективны, а следовательно, не требуют подтверждения или уточнения [4]. С момента публикации анализируемой работы прошло свыше 20 лет, позволим себе добавить еще одно звено цепи: готовность общества безоговорочно принять данный постулат, бездоказательность информации, остро ощущаемая сегодня, ставит вопрос о сознательном социальном отказе от знания как категории проверяемой. «Информация – инструмент знания... очень часто даже „улучшенная“, т.е. без помех и ошибок, она может получить неправильное осмысление... и тогда многие осознают, что не они владеют информацией, а, наоборот, она овладела ими» [5. С. 17].

В последние годы в открытой печати появляются статьи, достаточно категорично характеризующие общественно-информационные (именно так) проблемы современности. М. Эндсли, глава крупнейшей компании по разработке программного обеспечения (SA Technologies Inc.), утверждает, что повсеместное (и фактически безнаказанное) распространение ложных сведений через взб-ресурсы постепенно приводит к искажению в восприятии людей общепонимаемых, известных, можно сказать, с рождения фактов [6].

Ранее профессор К. Фуч (Уппсальский университет) «для оценки современных процессов коммуникации... использовал понятие „prosumption“ (в отличие от „consumption“ – потребление), как объединяющее производство информации с ее потреблением. Это понятие отражает то, что современные технологии (Интернет) позволяют объединить в одном лице и производителя, и потребителя информации» (цит. по: [7. С. 13]). Один из самых популярных современных журналистов, лауреат Пулитцеровской премии Т. Фридман в своем бестселлере «Плоский мир: краткая история XXI века» (The World Is Flat: A Brief History of The Twenty-first Century) продолжает эту мысль: «...потребители информации все больше превращаются в ее производителей,

¹ Профессор Цукас прибегает (и намеренно это подчеркивает) к известной метафоре, распространенной с эпохи Просвещения: свет как знание (*Прим. авт.*).

² Знание – результат процесса познавательной деятельности. Обычно под знанием подразумевают только тот результат познания, который может быть логически или фактически обоснован и допускает эмпирическую или практическую проверку [3].

все больше привыкают формировать окружающее пространство по *своему* (выделено автором) выбору – находить его тогда, там и так, когда, где и как им этого хочется» (цит. по: [8. С. 19–20]). Таким образом, «информацией... может быть только новое, последнее, превращающееся в неинформацию, т.е. уже в старое, как только сообщение было представлено аудитории» [9. С. 112], т.е. потреблено.

Исследователи М. Флак (Вестминстерский университет) и Д.Р. МакКарти (Мельбурнский университет) в свою очередь пишут о феномене вытеснения так называемой транспарентностью, иными словами, соединением открытости, доступности и удобства подачи данных, не только знания (вспомним цепочку Цукаса), но и самой информации [10].

«Однако доступность данных, – пишет профессор Санкт-Петербургского государственного университета М.Л. Пятов, – не изменила наших умственных способностей, оставшихся в целом такими же, какими они были и в XX в. Даже если среднестатистический человек пожелает стать профессионалом во всех областях, данными о которых он интересуется в интернете сегодня, он будет попросту не в состоянии этого сделать из-за своих совершенно естественных ограничений как представителя вида.

Данная ситуация очень быстро сформировала запрос массового пользователя данных на максимальное упрощение формата и содержания предоставляемой ему информации, ее максимальной схематизации, визуализации, уменьшения объемов использования специальной терминологии, максимальный уход от „академичности“ предлагаемых материалов и т.п. И этот запрос стремительно был удовлетворен, и эта тенденция максимального упрощения подачи данных продолжает набирать обороты» [8. С. 20]. «Соответственно, меняются и техники чтения – чтение, что называется, по строчкам уступает место „сканированию“, штурмовому полету над текстом» [11. С. 6].

Профессор Высшей школы менеджмента Корнеллского университета, специалист по управлению информационными технологиями Л.В. Орман в статье с красноречивым названием «Информационный парадокс: жажда знаний тонущего в информации» (Information Paradox: Drowning in Information, Starving for Knowledge) называет современное общество менее всего осведомленным за всю историю человечества. Основная причина, по мнению ученого, заключается в том, что для ряда благ не только не оправдывает себя закон перехода увеличивающегося количества в качество, но даже, напротив, срывает во вред самой природе подобного блага [12].

Попробуем подтвердить либо опровергнуть заявленные философско-теоретические гипотезы на основании анализа источников, базирующихся на эмпирических результатах. Сразу же следует отметить, что у ученых, работающих с полевыми данными в этой области, наблюдается очевидное предпочтение одного, можно сказать, ключевого предмета исследований. Так, самая популярная, преимущественно в зарубежной, аналитике внутри этого направления тема – зависимость подрастающего поколения от интернет-ресурсов и получения распространяемых там сведений. Активизация подобных обследований стала заметной с 2010-х гг., во всех случаях учеными опрашивалось не менее тысячи обучающихся – школьников и студентов различных уровней образования. Что «позволило» к настоящему моменту признать факт явной подчиненности, прежде всего, молодежи стремлению регу-

лярно приобщаться к процессам, протекающим в глобальной сети, следующим странам: Китаю [13, 14], Южной Кореи [15, 16], США [17, 18], Израилю [19], Португалии [20], Испании [21, 22].

В Японии, государстве почти со 100%-й долей пользователей беспроводных интернет-технологий среди населения, было проведено общенациональное наблюдение выпускников, выявившее угрожающую степень зависимости [23]. В нашей стране привлечение внимания к проблеме нарастания сетевой подчиненности в среде новых поколений и поиску путей ее решения осуществлено, в частности, в работах: [24–26].

Справедливости ради отметим, что один авторитетный ученый, Д.Н. Джедд (Национальный институт психического здоровья, США), практикующий детский и подростковый психиатр, высказался в открытой печати о преувеличении исследователями сетевых страхов и негативного влияния информационного пространства Интернета на юные поколения [27]. По мнению доктора Джедда, большая часть современных работ по этой теме «напоминают паникерскую риторику, которая уже звучала в истории из-за телефона, бульварных романов, комиксов и телевизора» [27. С. 104].

Говоря о российских реалиях (с доступом к всемирной сети около трех четвертей граждан, что в абсолютном выражении примерно соответствует народонаселению Японии), оценка профессора Д. Джедда может показаться обоснованнее и корректней, чем эмоциональные суждения его более встревоженных коллег, хоть и явно превалирующих количественно. Вместе с тем именно в нашей стране усилиями специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) была выявлена весьма отличительная подчиненность интернет-пространству, причем среди представителей старших возрастных групп (в выборку в отличие от зарубежных обследований как раз не включались дети, подростки, молодежь). Итак, наблюдаются следующие динамические изменения: в 2006 г. никто из отвечавших не признавал сетевые ресурсы в качестве источника информации, в 2012 г. их доля составила 46% [28], в 2014 – 81% [29]. Дополним обозначенную тенденцию итогами исследования, посвященного роли Интернета в жизни пожилых граждан нашей страны: поиск информации как цель использования всемирной сети в 2009 г. был выбран 19,0% респондентов, в 2014 г. – 84,4% [30. С. 83].

Показательно, что описанная тенденция разворачивается на фоне устоявшегося недоверия российских граждан отечественным СМИ: так, с 2004 г. уровень доверия россиян всем источникам массовой информации, за исключением Интернета, заметно снижается. В 2018 г. наивысшая доля респондентов (свыше 40%) в качестве источника наиболее точной и достоверной информации выбирают именно Всемирную сеть [31. С. 656]. Наконец, своевременным представляется подвести некоторые итоги влияния ограничительных мер на рассматриваемую проблематику: согласно результатам последнего исследования ВЦИОМ, наивысший прирост (а именно на 12%) показало стремление респондентов «оставить» в Интернете после окончания режима самоизоляции «просмотр кино» и... «получение образования» [32], знания, как было показано выше, к сожалению, далеко не всегда содержащего...

Попробуем подтвердить/опровергнуть поставленную проблему путем эмпирической проверки. Исследование, прошедшее под общим названием

«Механизмы принятия решений в условиях современности», в форме онлайн-опроса в сети Интернет, формировавшегося по принципу «снежного кома» в социальных сетях, известного как репост, проводилось в течение календарного месяца – с 5 сентября по 5 октября 2019 г. Программа включала в себя 12 закрытых вопросов с возможностью выбора одного варианта ответа. Цензом, сформировавшим круг интервьюируемых, стало пользование соцсетями в Интернете. Опрос объединил позиции 1 045 информантов.

Ценз исследования – доступ к Интернету и регистрация в социальных сетях – был выбран неслучайно, хотя, казалось бы, подобное ограничение всегда негативно отражается на составе совокупности, а именно, задает перекося в сторону более молодых участников. Тем не менее решение не включать в выборку отвечающих «недостающего» возраста, образования или рода занятий искусственно, т.е. не через репост, было сделано осознанно, во-первых, для того чтобы не снизить чистоту проверяемой гипотезы, связанной как раз со способом получения нужных сведений, и, во-вторых, с целью объективно увидеть заинтересовавшихся анкетой пользователей. «Сетевое общество является социальной структурой, характерной для Информационного Века... как индустриальное общество отражало социальную структуру капитализма XX столетия, – поясняет М. Кастельс, один из ведущих социологов современности и самый цитируемый ученый в области теории (пост-) информационного общества, – именно опора на сети становится ключевой чертой социальной морфологии Нового Века» [33. С. 5]. Я. ван Дейк, профессор социологии Университета Твенте, присваивает XXI столетию статус эпохи сетей, поскольку именно сети (как единство индивидуальностей. – В.К.) становятся «нервной системой» современного высокотехнологического общества¹ [34. С. 2].

Программа включила в себя четыре логических фактора (пол, возраст, род занятий и уровень полученного образования), с высокой степенью вероятности коррелирующих с результативным признаком – стремлением человека прибегнуть к помощи специалиста в различных жизненных ситуациях. Последние распределялись по степени квалификации профессионала и, соответственно, значимости для респондентов – от поломки, к примеру, крана до принятия решения об операционном вмешательстве².

Исходя из признаков-факторов адресной части, сформировались априорные гипотезы исследования. Итак, стремление индивидуума в разных обстоя-

¹ Здесь более чем уместно провести параллель со ставшим классическим высказыванием доктора М. Маклюэна о социуме середины прошлого века: «...главная особенность электрической эпохи состоит в том, то она создает глобальную сеть, во многом похожую по своему характеру на нашу центральную нервную систему» [35. С. 400].

² Представьте ситуации:

У Вас проблемы с сантехникой. Вы, в первую очередь:

Попробуете починить поломку самостоятельно, используя видеoinструкцию на канале YouTube.

Попросите помощи у соседей / знакомых / друзей.

Вызовите специалиста-сантехника.

Врач диагностирует у Вас необходимость операции, Вы:

Согласитесь на хирургическое вмешательство, так как доверяете квалификации специалиста-медика.

Перед принятием решения обязательно посоветуетесь с родными и близкими.

Постараетесь безэмоционально уточнить свой диагноз с помощью информационных медицинских порталов для пациентов.

тельстввах сделать выбор в пользу услуг квалифицированного специалиста: 1. Не зависит от половой принадлежности¹. 2. Повышается с количеством прожитых лет². 3. Невысоко среди обучающихся (школьники и студенты) и значительно среди работающих или находящихся на пенсии профессионалов³. 4. Растет с образовательным уровнем⁴.

Выбранные программа и ценз, принципиальные для данного исследования, требуют некоторых комментариев. Предложенные респондентам варианты ответов, по три для каждой из восьми ситуаций, не ставили своей целью полностью исчерпать все возможные действия людей в заданных обстоятельствах, но представляют собой дискретные положения в линейном ранжировании – от преимущественного доверия мнению профессионала до недоверия таковому, а, значит, предпочтения альтернативных общедоступных информационных ресурсов (читай, сети Интернет). «В определенной степени доверие профессионалу, профессиональному институту... трансформируется в доверие алгоритму поиска информации и себе как ее пользователю» [8. С. 24]. В качестве промежуточного между двумя полярными точками ранга занимал место вариант ответа, основанный на стремлении индивидуума обратиться к менее квалифицированным, но более доверительным носителям информации (как правило, это круг семьи и близких друзей).

В ситуационных задачах исследования под разными ракурсами повторялась одна и та же тема – здоровье человека. Здесь также прослеживается ранжированный порядок – от легких (лечение насморка) до тяжелых (операционное вмешательство) решений. Это было сделано вполне осознанно. Представляется, что именно данная часть жизнедеятельности индивидуума и общества сильнее всего пострадала от информационной транспарентности наших дней. «Так понимаемые медиа формируют и специфический *медиа-контент* – сказки и мифы (выделено автором) электронного века (информационного общества)» [9. С. 117]. Приведем примеры. В 2002 г. в одном из специализированных медицинских журналов появилась статья практикующих врачей-кардиологов, дословное название которой может быть переведено как «Врачи, пациенты и Интернет: пора хвататься за крапиву» (Doctors, patients and the Internet: time to grasp the nettle). Заголовок работы более чем красноречиво отражает ее содержание, проблематика которого сводится к следующим ключевым тезисам. Нормой современных отношений «доктор–пациент» становится обращение больного к специалисту лишь после выставления самодиагноза при помощи сетевых ресурсов, как бы для подтверждения собственной правоты. Интернет-информация в области медицины, в по-

¹ Представляется, что распространенное в современном обществе семейное и профессиональное равенство мужчин и женщин должно спроецироваться и на выбираемые ими механизмы принятия жизненных решений, т.е. в данном случае эти предпочтения должны быть одинаковыми для обоих полов.

² Общеизвестно, что во все времена любые новинки быстрее воспринимаются молодой прослойкой социума; то же логически должно проявиться и в вопросах самостоятельного интернет-образования.

³ Поскольку действующие профессионалы (либо действовавшие ранее) хорошо знают, что уровень квалификации в большинстве трудовых областей повышается с опытом работы или стажем, то именно эта когорта респондентов должна тяготеть к выбору услуг специалиста.

⁴ Схожий принцип заложен и в это предположение: углубление знаний в одной области ведет не только к неизбежному «отставанию» знаний в другой области, но и к пониманию истинной сложности наработки высоких профессиональных навыков.

давляющем большинстве случаев неточная, а иногда даже попросту опасная для здоровья людей, вызывает трудность при необходимости ее прокомментировать у занятого врачебного сообщества. Что трактуется контингентом заболевших как профессиональная некомпетентность; это мнение усугубляется тиражированием в сети случаев (бесспорно, имеющих место быть, но далеко не исчерпывающихся ими) ошибочной постановки диагноза специалистами. Катастрофическим последствием сказанного становится предпочтение все большим числом обывателей мудрого интернет-лечения, вплоть до самостоятельного «принятия прикроватных решений» (bedside decision-making), т.е. решений уровня вопросов жизни и смерти [36].

Вскоре после выхода нашумевшей статьи, в 2004 г., широким кругом неравнодушных профессионалов (ученые-исследователи, врачи-клиницисты, инженеры-программисты, социологи, экономисты и политологи) было создано Международное общество по исследованию интернет-вмешательств, целью которого ставится содействие научному анализу информационных и коммуникационных технологий, имеющих поведенческие, психосоциальные, медицинские и психические последствия для электронного здоровья (eHealth) человека [37, 38]. В 2018 г. группой ученых – экспертов в области долечебного здравоохранения были изучены ресурсы для пациентов (всего 4 851 запись) при помощи браузера Google Chrome. Область эксперимента ограничивалась возможностью успешной профилактики женских онкологических заболеваний посредством интернет-советов. Специалисты, опираясь на истории уже конкретных болезней, пришли к выводу о полной неэффективности подобных информационных источников. В то же время, осозная настрой современного общества на сетевой самоконтроль здоровья, ученые призвали медицинское сообщество к объединению усилий по созданию профессионально выверенных общедоступных онлайн-ресурсов [39].

Начнем подведение итогов настоящего исследования с рассмотрения его адресной части. Итак, анализ этой части программы позволил дать совокупности, объединившей позиции, напомним, 1 045 информантов, следующую характеристику. Женщины среди отвечавших превалировали над мужчинами (что традиционно почти для всех видов опросов) втрое – 785 человек, или 75,3% против 257 и 24,7 соответственно. Средний возраст для обоих полов составил 29 лет, медианный – 26. Для женщин оба показателя аналогичны, в распределении мужчин средняя величина чуть ниже – 28 лет (медианы совпадают). Незначительный размах вариации позволяет трактовать все совокупности как весьма однородные с точки зрения возраста заинтересованных участников, что во многом определило распределения по остальным признакам. По роду занятий, таким образом, более всего было работающих – около двух третей (707/67,9), далее шли студенты – примерно одна треть (309/29,7); численности школьников и пенсионеров невелики и практически равны друг другу (11/1,1 и 14/1,3). Среди образовательного уровня с заметным отрывом лидировало высшее (764/73,4), затем среднее – меньше в 4,5 раза (170/16,3); достаточно любопытно, что отвечавших с ученой степенью (62/6,0) оказалось больше чем со средним специальным образованием (45/4,3).

Необходимо охарактеризовать пробелы опроса, как правило, неизбежные для любого массового обследования. Несмотря на то, что все вопросы программы трактовались как обязательные, сводка показала 59 пропусков, не

более одного в листе отдельного респондента. Общая сумма пробелов адресной части составила 24, содержательной – 35. При максимуме ответов, равном 12 540, доля «пустот» не достигла 0,5%.

Перейдем к описанию и анализу содержательных результатов исследования. Итак, стремление примерить на себя роль специалиста ярче всего проявляется в наиболее обыденных ситуациях (посещение продуктового магазина и аптеки)¹. В рамках остальных типовых примеров, с которыми респондентам объективно приходится сталкиваться не каждый день, большинство доверилось совету близкого круга людей. Работа эксперта однозначна была выбрана отвечающими только в редко встречающихся обстоятельствах (наследование антиквариата)². Крайне показательно, что при переходе от практических положений в теоретическую плоскость подавляющая доля участников остановилась на личном поиске информационных источников³. Напомним, что ранее самостоятельное решение проблемы предпочиталось респондентами лишь в самых простых ситуационных задачах.

Теперь более детально изучим аналитические группировки, построенные на основе факторных признаков исследования, а именно пола отвечающих, их возраста, рода занятий и уровня образования. Возможно констатировать, что первая выдвинутая гипотеза подтвердилась: в большинстве случаев (шесть из восьми) выбор мужчин и женщин совпал. При поломке сантехники мужчины предпочли самостоятельную починку, женщины – вызов специалиста. Мужчины склонны соглашаться на хирургическое вмешательство, тогда как женщинам предпочтительнее совет родных и близких. Любопытно, что у представителей обоего пола проявилась дихотомия при переходе от конкретизированных ситуаций к обобщениям: так, и мужчины, и женщины оценивают себя как стремящихся к информационной самостоятельности, на деле же проявляют ее в самых обыденных обстоятельствах, что уже характеризовалось выше.

Вторая гипотеза – о влиянии возраста – полностью опровергается результатами проведенного исследования: отсутствие, какой бы то ни было, прямой либо обратной, зависимости.

¹ Вы простудились и плохо себя чувствуете. Вы:

Обратитесь к врачу.

Проконсультируетесь с фармацевтом в аптеке.

Подберете лекарство самостоятельно, изучив информацию в Интернете.

При выборе продуктов питания Вы, прежде всего, доверяете:

Рекламе товаров в уважаемых информационных источниках.

Рекомендациям Вашего диетолога.

Только тем производителям, которые размещают подробный состав продукта на упаковке.

² Вы унаследовали антикварную вещь; для того, чтобы верно оценить ее стоимость, Вы:

Обратитесь в комиссионный магазин.

Закажите атрибуцию у аккредитованного эксперта.

Используйте онлайн-методы, предлагаемые такими компаниями, как Sotheby's и Christie's.

³ Вам требуется разобраться в какой-то незнакомой Вам области, Вы:

Выберете подходящие онлайн-программы.

Запишетесь на аудиторные курсы с преподавателем или наймете репетитора.

Найдете необходимые источники в Интернете и попытаетесь освоить их самостоятельно.

Вы стараетесь прибегнуть к помощи специалиста-профессионала:

Всегда, когда представляется такая возможность.

В вопросах, в которых сам не являюсь профессионалом.

Если доступных источников информации не достаточно, чтобы разобраться в проблеме самостоятельно.

Третье предположение – о воздействии профессионального статуса учащегося и специалиста (нынешнего или бывшего) – не подтвердилось. Прежде всего, выяснилось, что единство в ответах проявилось у студентов, работающих и пенсионеров. Тогда как предпочтения школьников оказались обособленными от выбора прочих респондентов. В целом именно получающие начальное образование продемонстрировали наивысшую тягу к доверию профессионалам.

Заключительная гипотеза – о зависимости механизмов принятия решений от предиката образования участников опроса: по схожести мнений ответы респондентов очевидно объединились в две противоположные группы – информантов со средним и специальным, а также высшим и послевузовским образованиями. Таким образом, можно наметить действие заметной обратной взаимосвязи по данному фактору.

Похожая тенденция была обнаружена швейцарскими учеными (WEMF research commission) на основе двух телефонных опросов, сформировавших репрезентативную выборку из 853 (1999 г.) и 1 557 (2000 г.) информантов, различных по полу и возрасту, а также уровням образования и дохода (MA Comis Survey). Из четырех факторов воздействие проявилось по образовательному признаку, а именно выяснилось, что лица с более высоким предикатом образования в принципе являются максимально активными пользователями Интернета. Объяснялось это целями обращения к сети: более образованные участники применяли Интернет как источник информации, тогда как менее образованные – для развлечения. Отсюда последние, по мнению исследователей, могли заменить Интернет на другой развлекательный источник, например телевидение, что и снизило их сетевую активность [40]¹. Возникает ремарка: почему первая группа, в свою очередь, не могла предпочесть иной поиск информации (посещение библиотеки, консультацию специалиста и т.п.)?

Что очень интересно, в ходе наблюдения вскрылась достаточно неожиданная тенденция, идущая в разрез с эмпирическими выводами иностранной аналитики. Если говорить о какой-либо форме зависимости от информации, предоставляемой сетью Интернет, то тогда как за рубежом носителями таковой становятся преимущественно представители подрастающего поколения (и это трактуется учеными как крайне негативный тренд), то на российской почве подобная подчиненность смещается в старшие возрастные группы.

Обозначенная закономерность (безусловно, требующая дальнейшей более детальной проверки на основе типической выборки) может служить определенным подтверждением теоретической гипотезы, заявленной в настоящей статье, о намечающейся социальной растрате накопленного человеческого капитала, проявляющейся в нарушении порядка ранжирования триады

¹ Специалистами исследовательского центра по изучению социального влияния Интернета США (Pew Research Center) были названы отличия американцев – приверженцев Сети (анализировались не только частота и регулярность выхода в Интернет, но и так называемое качество пользования, как то разнообразие целей и практик): ими оказались уровни дохода и образования (цит. по: [41. С. 372]).

Независимые ученые, на основе эмпирических данных также отделившие такие личностные факторы, как образованность и материальная обеспеченность, отметили у искомым респондентов стремление к поиску информации в Интернете, сделали вывод о появлении феномена «цифрового неравенства», по их мнению, еще скажущегося на человеческом капитале [42].

знание–информация–транспарентность. Попробуем найти объяснение выявленной тенденции. Общеизвестна дихотомическая природа профессионализма: углубление знаний в одной области приводит к пробелу знаний в другой области. Таким образом, именно квалифицированные работники лучше других понимают, что качество труда растет с образовательным уровнем и опытом или, иначе, стажем. Казалось бы, как раз эта группа участников обследования должна была предпочесть выбор специализированной помощи; однако, наблюдается обратное. Возникает риторический вопрос: не есть ли это признак того, что с изменением отношения к информации, как к связующему звену цепи, наиболее активная, образованная прослойка современного российского общества, обладающая *знанием*, делает *осознанный* выбор в пользу транспарентности?

Список источников

1. *Schultz T.W.* Investment in human capital // *American Economic Review*. 1961. Vol. 51, № 1. P. 1–17.
2. *Becker G.S.* Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. New York : Columbia University Press, 1964.
3. *Философия*: энциклопедический словарь / под ред. А.А. Ивина. М. : Гардарики, 2004.
4. *Tsoukas H.* The tyranny of light: The temptations and the paradoxes of the information society // *Futures*. 1997. Vol. 29, № 9. P. 827–843.
5. *Бунина В.Г.* От информационного общества к обществам знаний // *Вестник РУДН. Серия: Социология*. 2010. № 2. С. 16–26.
6. *Endsley M.R.* Combating Information Attacks in the Age of the Internet: New Challenges for Cognitive Engineering // *HUMAN FACTORS: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*. 2018. Vol. 60, № 8. P. 1081–1094.
7. *Вдовиченко Л.Н.* Социальные отношения в турбулентное время // *Социологические исследования*. 2012. № 3. С. 13–15.
8. *Пятов М.Л.* Дилетантизм и экономическая жизнь в условиях современности // *Вестник НГУЭУ*. 2019. № 1. С. 10–28.
9. *Черных А.И.* Медиаритуалы // *Социологический журнал*. 2012. № 4. С. 105–129.
10. *Fluck M., McCarthy D.R.* Information is power? Transparency and fetishism in international relations // *Globalizations*. 2019. Vol. 16, № 1. P. 1–16.
11. *Батыгин Г.С.* Социология интернет: наука и образование в виртуальном пространстве // *Вестник РУДН. Серия: Социология*. 2001. № 1. С. 6–16.
12. *Orman L.V.* Information Paradox: Drowning in Information, Starving for Knowledge // *Ieee Technology and Society Magazine*. 2015. Vol. 34, № 4. P. 63–73. doi: 10.1109/MTS.2015.2494359
13. *Wang L., Luo J., Luo J., Gao W., Kong J.* The effect of Internet use on adolescents' lifestyles: A national survey // *Computers in Human Behavior*. 2012. Vol. 28. P. 2007–2013.
14. *Xin M., Xing J., Pengfei W., Houru L., Mengcheng W., Hong Z.* Online activities, prevalence of Internet addiction and risk factors related to family and school among adolescents in China // *Addictive Behaviors Reports*. 2018. Vol. 7. P. 14–18.
15. *Park M.-H., Park E.-J., Choi J., Chai S., Lee J.-H., Lee C., Kim D.-J.* Preliminary study of Internet addiction and cognitive function in adolescents based on IQ tests // *Psychiatry Research*. 2011. Vol. 190, № 1-2. P. 275–281.
16. *Hong J.S., Kim D.H., Thornberg R., Kang J.H., Morgan J.T.* Correlates of direct and indirect forms of cyberbullying victimization involving South Korean adolescents: An ecological perspective // *Computers in Human Behavior*. 2018. Vol. 87. P. 327–336.
17. *Aboujaoude E.* The Internet's effect on personality traits: An important casualty of the "Internet addiction" paradigm // *Journal of Behavioral Addictions*. 2017. Vol. 6, № 1. P. 1–4.
18. *Stockdale L.A., Coyne S.M., Padilla-Walker L.M.* Parent and Child Technoference and socioemotional behavioral outcomes: A nationally representative study of 10- to 20-year-Old adolescents // *Computers in Human Behavior*. 2018. Vol. 88. P. 219–226.
19. *Boniel-Nissim M., Sasson H.* Bullying victimization and poor relationships with parents as risk factors of problematic internet use in adolescence // *Computers in Human Behavior*. 2018. Vol. 88. P. 176–183.

20. Coelho V.A., Romao A.M. The relation between social anxiety, social withdrawal and (cyber) bullying roles: A multilevel analysis // *Computers in Human Behavior*. 2018. Vol. 86. P. 218–226.
21. Nasaesca E., Marín-López I., Llorent V.J., Ortega-Ruiz R., Zych I. Abuse of technology in adolescence and its relation to social and emotional competencies, emotions in online communication, and bullying // *Computers in Human Behavior*. 2018. Vol. 88. P. 114–120.
22. Martínez I., Murgui S., Garcia O.F., Garcia F. Parenting in the digital era: Protective and risk parenting styles for traditional bullying and cyberbullying victimization // *Computers in Human Behavior*. 2019. Vol. 90. P. 84–92.
23. Mihara S., Osaki Y., Nakayama H., Sakuma H., Ikeda M., Itani O., Kaneita Y., Kanda H., Ohida T., Higuchi S. Internet use and problematic Internet use among adolescents in Japan: A nationwide representative survey // *Addictive Behaviors Reports*. 2016. Vol. 4. P. 58–64.
24. Печерская Э.П., Звоновский В.Б., Меркулова Д.Ю., Плешаков В.А., Мацкевич М.Г. Первые шаги детей в Интернете // Социологические исследования. 2014. № 12. С. 74–80.
25. Шаповалова И.С. Влияние интернет-коммуникаций на поведение и интеллектуальное развитие молодежи // Социологические исследования. 2015. № 4. С. 148–151.
26. Спиркина Т.С. Исследование динамики Интернет-зависимости // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 311. С. 159–161.
27. Giedd J.N. The Digital Revolution and Adolescent Brain Evolution // *Journal of Adolescent Health*. 2012. Vol. 51, № 2. P. 101–105.
28. Опрос ВЦИОМ «А зачем Вам Интернет?» № 2123 от 28.09.2012. URL: <https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-media/internet/article/a-zachem-vam-internet.html> (дата обращения: 06.11.2020).
29. Опрос ВЦИОМ «Просторы Интернета: развлечения, общение, работа...» № 2692 от 13.10.2014. URL: <https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-media/internet/article/prostory-interneta-razvlechenija-obshchenie-rabota.html> (дата обращения: 06.11.2020).
30. Григорьева И.А., Келасьева В.Н. Интернет в жизни пожилых: намерения и реальность // Социологические исследования. 2016. № 11. С. 82–85.
31. Левашов В.К. Трансформация информационной сферы гражданского общества // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2019. Т. 19, № 4. С. 651–664. DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-4-651-664
32. Опрос ВЦИОМ «Досуг на фоне самоизоляции» № 4260 от 15.06.2020. URL: <https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-problems/education-skills/article/dosug-na-fone-samoizoljacji.html> (дата обращения: 06.11.2020).
33. Castells M. Materials for an exploratory theory of the network society // *British Journal of Sociology*. 2000. Vol. 51, № 1. P. 5–24.
34. Van Dijk J. The Network society. Social aspects of new media. London : SAGE Publications, 2006.
35. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека / пер. с англ. В.Г. Николаева. М. : КАНОН-Пресс-Ц, 2003.
36. Sastry S., Carroll P. Doctors, patients and the Internet: time to grasp the nettle // *Clinical Medicine*. 2002. Vol. 2, № 2. P. 131–133.
37. Ritterband L.M., Andersson G., Christensen H.M., Carlbring P., Cuijpers P. Directions for the International Society for Research on Internet Interventions (ISRII) // *Journal of Medical Internet Research*. 2006. Vol. 8, № 3. P. 1–6.
38. International Society for Research on Internet Interventions (ISRII). URL: <http://isrii.org/> (дата обращения: 06.11.2020).
39. Mahmoodi N., Bekker H.L., King N.V., Hughes J., Jones G.L. Are publicly available internet resources enabling women to make informed fertility preservation decisions before starting cancer treatment: an environmental scan? // *BMC Medical Informatics and Decision Making*. 2018. Vol. 18 (104), № 1. P. 1–16.
40. Bonfadelli H. The Internet and Knowledge Gaps: A Theoretical and Empirical Investigation // *European Journal of Communication*. 2002. Vol. 17, № 1. P. 65–84.
41. Рыков Ю.Г., Нагорный О.С. Область интернет-исследований в социальных науках // Социологическое обозрение. 2017. Т. 16, № 3. С. 366–394. doi: 10.17323/1728-192X-2017-3-366-394
42. Hargittai E., Hsieh Y.P. Digital Inequality: The Oxford Handbook of Internet Studies / ed. W.H. Dutton. Oxford : Oxford University Press, 2013. P. 129–150.

References

1. Schultz, T.W. (1961) Investment in human capital. *American Economic Review*. 51(1). pp. 1–17.
2. Becker, G.S. (1964) *Human capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press.
3. Ivin, A.A. (ed.) (2004) *Filosofiya: entsiklopedicheskiy slovar'* [Philosophy: Encyclopedic Dictionary]. Moscow: Gardariki.
4. Tsoukas, H. (1997) The tyranny of light: The temptations and the paradoxes of the information society. *Futures*. 29(9). pp. 827–843.
5. Bunina, V.G. (2010) Ot informatsionnogo obshchestva k obshchestvam znaniy [From information society to knowledge societies]. *Vestnik RUDN. Seriya Sotsiologiya – RUDN Journal of Sociology*. 2. pp. 16–26.
6. Endsley, M.R. (2018) Combating Information Attacks in the Age of the Internet: New Challenges for Cognitive Engineering. *HUMAN FACTORS: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*. 60(8). pp. 1081–1094. DOI: 10.1177/0018720818807357
7. Vdovichenko, L.N. (2012) Sotsial'nye otnosheniya v turbulentnoe vremya [Social relations in turbulent time]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 3. pp. 13–15.
8. Pyatov, M.L. (2019) Diletantizm i ekonomicheskaya zhizn' v usloviyakh sovremennosti [Dilettantism and economic life in a contemporary context]. *Vestnik NGUEU*. 1. pp. 10–28.
9. Chernykh, A.I. (2012) Mediarituality [Mediarituals]. *Sotsiologicheskii zhurnal – Sociological Journal*. 4. pp. 105–129.
10. Fluck, M. & McCarthy, D.R. (2019) Information is power? Transparency and fetishism in international relations. *Globalizations*. 16(1). pp. 1–16. DOI: 10.1080/14747731.2018.1507698
11. Batygin, G.S. (2001) Sociologiya internet: nauka i obrazovanie v virtual'nom prostranstve [Sociology in Internet: scholarship and education in virtual space]. *Vestnik RUDN. Seriya: Sotsiologiya – RUDN Journal of Sociology*. 1. pp. 6–16.
12. Orman, L.V. (2015) Information Paradox: Drowning in Information, Starving for Knowledge. *IEEE Technology and Society Magazine*. 34(4). pp. 63–73. DOI: 10.1109/MTS.2015.2494359
13. Wang, L., Luo, J., Luo, J., Gao, W. & Kong, J. (2012) The effect of Internet use on adolescents' lifestyles: A national survey. *Computers in Human Behavior*. 28. pp. 2007–2013. DOI: 10.1016/j.chb.2012.04.007
14. Xin, M., Xing, J., Pengfei, W., Houru, L., Mengcheng, W. & Hong, Z. (2018) Online activities, prevalence of Internet addiction and risk factors related to family and school among adolescents in China. *Addictive Behaviors Reports*. 7. pp. 14–18. DOI: 10.1016/j.abrep.2017.10.003
15. Park, M.-H., Park, E.-J., Choi, J., Chai, S., Lee, J.-H., Lee, C. & Kim, D.-J. (2011) Preliminary study of Internet addiction and cognitive function in adolescents based on IQ tests. *Psychiatry Research*. 190(1-2). pp. 275–281. DOI: 10.1016/j.psychres.2011.08.006
16. Hong, J.S., Kim, D.H., Thornberg, R., Kang, J.H. & Morgan, J.T. (2018) Correlates of direct and indirect forms of cyberbullying victimization involving South Korean adolescents: An ecological perspective. *Computers in Human Behavior*. 87. pp. 327–336. DOI: 10.1016/j.chb.2018.06.010
17. Aboujaoude, E. (2017) The Internet's effect on personality traits: An important casualty of the “Internet addiction” paradigm. *Journal of Behavioral Addictions*. 6(1). pp. 1–4. DOI: 10.1556/2006.6.2017.009
18. Stockdale, L.A., Coyne, S.M. & Padilla-Walker, L.M. (2018) Parent and Child Technoference and socioemotional behavioral outcomes: A nationally representative study of 10- to 20-year-Old adolescents. *Computers in Human Behavior*. 88. pp. 219–226. DOI: 10.1016/j.chb.2018.06.034
19. Boniel-Nissim, M. & Sasson, H. (2018) Bullying victimization and poor relationships with parents as risk factors of problematic internet use in adolescence. *Computers in Human Behavior*. 88. pp. 176–183. DOI: 10.1016/j.chb.2018.05.041
20. Coelho, V.A. & Romao, A.M. (2018) The relation between social anxiety, social withdrawal and (cyber) bullying roles: A multilevel analysis. *Computers in Human Behavior*. 86. pp. 218–226. DOI: 10.1016/j.chb.2018.04.048
21. Nasaescua, E., Marin-López, I., Llorent, V.J., Ortega-Ruiz, R. & Zych, I. (2018) Abuse of technology in adolescence and its relation to social and emotional competencies, emotions in online communication, and bullying. *Computers in Human Behavior*. 88. pp. 114–120. DOI: 10.1016/j.chb.2018.06.036
22. Martínez, I., Murgui, S., García, O.F. & García, F. (2019) Parenting in the digital era: Protective and risk parenting styles for traditional bullying and cyberbullying victimization. *Computers in Human Behavior*. 90. pp. 84–92. DOI: 10.1016/j.chb.2018.08.036

23. Mihara, S., Osaki, Y., Nakayama, H., Sakuma, H., Ikeda, M., Itani, O., Kaneita, Y., Kanda, H., Ohida, T. & Higuchi, S. (2016) Internet use and problematic Internet use among adolescents in Japan: A nationwide representative survey. *Addictive Behaviors Reports*. 4. pp. 58–64. DOI: 10.1016/j.abrep.2016.10.001
24. Pecherskaya, E. P., Zvonovsky, V. B., Merkulova, D. Yu., Pleshakov, V. A. & Matskevich, M.G. (2014) Pervye shagi detey v Internete [First steps of children in the Internet]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 12. pp. 74–80.
25. Shapovalova, I.S. (2015) Vliyanie internet-kommunikatsiy na povedenie i intellektual'noe razvitie molodezhi [Influence of Internet communications on the behavior and intellectual development of youth]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 4. pp. 148–151.
26. Spirkina, T.S. (2008) Issledovanie dinamiki Internet-zavisimosti [Study of the dynamics of Internet addiction]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 311. pp. 159–161.
27. Giedd, J.N. (2012) The Digital Revolution and Adolescent Brain Evolution. *Journal of Adolescent Health*. 51(2). pp. 101–105.
28. VTsIOM. (2012) Opros VCIOM “A zachem Vam Internet?” № 2123 ot 28.09.2012 [VTSIOM survey “Why do you need the Internet?” No 2123 dated 28 September 2012]. [Online] Available from: <https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-media/internet/article/a-zachem-vam-internet.html> (Accessed: 6th November 2020).
29. VTsIOM. (2014) Opros VCIOM “Prostory Interneta: razvlecheniya, obshchenie, rabota...” № 2692 ot 13.10.2014 [VTSIOM survey “The Internet: entertainment, communication, work ...” No 2692 dated 13 October 2014]. [Online] Available from: <https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-media/internet/article/prostory-interneta-razvlecheniya-obshchenie-rabota.html> (Accessed: 6th November 2020).
30. Grigorieva, I.A. & Kelasiev, V.N. (2016) Internet v zhizni pozhiykh: namereniya i real'nost' [Internet in the life of the elderly: intentions and reality]. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 11. pp. 82–85.
31. Levashov, V.K. (2019) Transformation of the information sphere of civil society. *Vestnik RUDN. Seriya: Sotsiologiya – RUDN Journal of Sociology*. 19(4). pp. 651–664. (In Russian). DOI: 10.22363/2313-2272-2019-19-4-651-664
32. VTsIOM. (2020) Opros VTsIOM “Dosug na fone samoizolyatsii” № 4260 ot 15.06.2020 [VTSIOM survey “Leisure against the background of self-isolation” No 4260 dated 15 June 2020]. [Online] Available from: <https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/social-problems/education-skills/article/dosug-na-fone-samoizoljacii.html> (Accessed: 6th November 2020).
33. Castells, M. (2000) Materials for an exploratory theory of the network society. *British Journal of Sociology*. 51(1). pp. 5–24. DOI: 10.1111/j.1468-4446.2000.00005.x
34. Van Dijk, J. (2006) *The Network Society. Social Aspects of New Media*. London: SAGE Publications.
35. McLuhan, M. (2003) *Ponimanie media: vneshnie rasshireniya cheloveka* [Understanding Media: The Extensions of Man]. Translated from English by V.G. Nikolaev. Moscow: KANON-press.
36. Sastry, S. & Carroll, P. (2002) Doctors, patients and the Internet: time to grasp the nettle. *Clinical Medicine*. 2(2). pp. 131–133. DOI: 10.7861/clinmedicine.2-2-131
37. Ritterband, L.M., Andersson, G., Christensen, H.M., Carlbring, P. & Cuijpers, P. (2006) Directions for the International Society for Research on Internet Interventions (ISRII). *Journal of Medical Internet Research*. 8(3). pp. 1–6. DOI: 10.2196/jmir.8.3.e23
38. *International Society for Research on Internet Interventions (ISRII)*. [Online] Available from: <http://isrii.org/> (Accessed: 6th November 2020).
39. Mahmoodi, N., Bekker, H.L., King, N.V., Hughes, J. & Jones, G.L. (2018) Are publicly available internet resources enabling women to make informed fertility preservation decisions before starting cancer treatment: an environmental scan? *BMC Medical Informatics and Decision Making*. 18(104-1). pp. 1–16. DOI: 10.1186/s12911-018-0698-3
40. Bonfadelli, H. (2002) The Internet and Knowledge Gaps: A Theoretical and Empirical Investigation. *European Journal of Communication*. 17(1). pp. 65–84. DOI: 10.1177/0267323102017001607
41. Rykov, Yu. G. & Nagornyy, O.S. (2017) Internet Studies in Social Sciences. *Sotsiologicheskoe obozrenie – Sociological Review*. 16(3). pp. 366–394. (In Russian).
42. Hargittai, E. & Hsieh, Y.P. (2013) Digital Inequality. In: Dutton, W.H. (ed.) *The Oxford Handbook of Internet Studies*. Oxford: Oxford University Press. pp. 129–150.

Сведения об авторе:

Колычева В.А. – кандидат экон. наук, доцент, кафедра статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: v.kolycheva@spbu.ru; the-val@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kolycheva V.A. – Cand. Sci. (Economics), associate professor, Department of Statistics, Accounting and Auditing, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: v.kolycheva@spbu.ru; the-val@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 01.12.2020;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 01.12.2020;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022*

Научная статья

УДК 316.4

doi: 10.17223/1998863X/67/11

ПАТРИОТИЗМ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ В ПОЛИТИКЕ И ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Вячеслав Викторович Маленков

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия, vvmalenkov@gmail.com

Аннотация. Рассматриваются патриотизм и гражданственность как ключевые параметры политики макроидентичности, описывается их роль и соотношение в структуре самоидентичности представителей молодого поколения. Эмпирической базой исследования выступают данные анкетного опроса ($n = 1\,364$) молодежи Тюмени в возрасте от 16 до 30 лет, проведенного в ноябре–декабре 2019 г. Делается вывод о пересечении патриотических и гражданских ориентаций в части обязательств и долга, символических действий, демонстрирующих лояльность стране, но отрицательной корреляцией между отождествлением себя в качестве патриотов и критической гражданственностью.

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, политика макроидентичности, самоидентичность, молодежь

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-011-00632).

Для цитирования: Маленков В.В. Патриотизм, гражданственность в политике и идентичности молодежи // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 120–131. doi: 10.17223/1998863X/67/11

Original article

PATRIOTISM, CIVICISM IN POLITICS AND IDENTITY OF YOUTH

Vyacheslav V. Malenkov

University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation, vvmalenkov@gmail.com

Abstract. The article includes a theoretical and practical part. In the theoretical part, an attempt is made to determine the role of patriotism and citizenship in the policy of macro-identity, and the related issues are clarified. A review of the main approaches to the definition of patriotism as a political phenomenon, theoretical models and typologies proposed by Western scientists – recognized experts in this field is made. The practical part describes some of the key parameters of the patriotic and civic self-identification of young people, their relationship with critical and active citizenship. The empirical basis of the study is the data of a questionnaire survey ($n = 1,364$) of Tyumen youth aged 16 to 30, conducted in November – December 2019. The sample is representative in terms of sex and age (error within 5%), formed by a spontaneous selection of respondents. For statistical data processing, the analysis of contingency tables, as well as cluster analysis (k-means method) was used. Three groups of young people were singled out depending on their patriotic self-identification: identifying themselves as patriots, classifying themselves as patriots only in part, and not considering themselves patriots. The patriotic aspect of self-identification correlates with three groups of citizenship parameters: critical citizenship, responsible citizenship, and active citizenship. Cluster analysis made it possible to classify respondents according to a set of parameters that characterize critical citizenship. Based on this, in groups

with different patriotic orientations, two categories of respondents were identified – loyal and critically oriented. The conclusion is made about the intersection of patriotic identity and civic orientations of young people in terms of civic obligations and responsibilities, as well as in relation to formal symbolic behavior demonstrating loyalty to various actors representing the macropolitical community. Attitudes associated with critical citizenship, on the contrary, reduce the degree of young people's identification as patriots. Respondents who do not consider themselves patriots are characterized by an increased level of criticality – they negatively assess the situation with political rights and freedoms in the country, trust the authorities less, but are more interested in the opportunity to influence and control it.

Keywords: patriotism, civicism, macro-identity politics, self-identity, youth

Acknowledgements: The reported study was funded by RFBR, Project No. 19-011-00632.

For citation: Malenkov, V.V. (2022) Patriotism, civicism in politics and identity of youth. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 120–131. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/11

Введение

Гражданственность и патриотизм играют ключевую роль в функционировании современных обществ. Несмотря на особенности воспроизводства институтов власти в разных странах, они могут выполнять роль базовых структур, интегрирующих социально-политические системы, ключевых механизмов, формирующих, а также обеспечивающих сохранение и укрепление гражданского здоровья современных наций [1], поддержание их пульса и жизненного тонуса, сглаживание эффектов гиперсегментации. Данные феномены тесно связаны между собой, однако их репрезентация в контексте политических культур и политических режимов значительно варьируется, что определяет характер конструируемых макрополитических структур, их субъектную и ценностно-символическую составляющую.

В нашей стране, особенно в последнее десятилетие, патриотизм стал важной частью политики идентичности [2], инициированной и координируемой на самом высоком уровне управления для обеспечения сплоченности российского общества, в том числе с властью. Поэтому неудивительно, что сам концепт и соответствующая проводимой политике модель патриотической идентичности, постоянно транслируемые в публичном дискурсе, укоренились в общественном сознании.

Опросы общественного мнения последние годы фиксируют высокую степень отождествления российских граждан себя в качестве патриотов. По результатам исследования 2018 г. ВЦИОМ зафиксировал максимальный показатель – 92% опрошенных относили себя к таковым (51% ответили «да, безусловно» и 41% «скорее да») [3]. По данным ФОМ, в 2019 г. 73% считали себя патриотами, 21% отрицали это [4], а летом 2020 г. 82% скорее считали себя таковыми, в то же время 14% скорее не считали [5]. При этом наблюдаются некоторые поколенческие различия при ответе на данный вопрос – среди молодежи (от 18 до 30 лет) количество идентифицирующих себя как патриоты несколько меньше – 68% в 2019 г. (в старших когортах – 70–78%) [4], 73% в 2020 г. (в старших когортах – 82–84%) [5].

Результаты впечатляют, однако являются ли они свидетельством исключительно положительной тенденции, можно ли их интерпретировать однозначно как благо для общества? Г. Ариели отрицательно отвечает на данный

вопрос. По результатам сравнительного анализа данных исследования (методом многоуровневой регрессии) в 93 странах он обнаружил, что граждане более развитых из них, глобализированных реже гордятся своей страной, тогда как высокий процент патриотов наблюдается в странах с высокой социальной поляризацией и религиозной однородностью, а также находящихся в состоянии внешнего либо внутреннего конфликта [6. С. 353]. Очевидно, что автор имеет в виду патриотизм не как некую универсальную меру, а доминирующий в вертикальных обществах тип патриотизма и складывающиеся под его влиянием ценностные ориентации. Противоположная модель, часто обозначаемая как гражданский патриотизм, более представлена в горизонтальных обществах.

В принятой в 2020 г. редакции закона «Об образовании» обозначена в качестве приоритетной цель – воспитание, наряду с патриотизмом, гражданственности. Их интеграция могла бы повлиять на трансформацию доминирующего в России, особенно в последние десять лет, защитно-милитаристского патриотизма в гражданский, горизонтальный. Это предполагает повышение значимости демократического гражданства, сочетающего высокую социальную и политическую активность с ориентацией на общее благо, гражданскую ответственность, конструктивный (критический) патриотизм.

Концептуальная рамка исследования

Говоря о гражданско-патриотических ориентациях, следует иметь в виду, что в разных культурных контекстах акцент может смещаться либо в одну сторону – гражданства, либо в другую – патриотизма. При этом данные понятия являются во многих случаях взаимозаменяемыми, особенно учитывая, что в современных обществах они в значительной степени являются результатом социального конструирования. Например, говоря об обязательствах и долге человека перед своей страной, государством, нацией, гражданских добродетелях (*civic virtues*), можно использовать как термин «гражданская ответственность», так и «патриотизм». Говорить о политической и других видах социальной активности можно в контексте качеств «хорошего гражданина» (*good citizen*), но то же самое часто описывают с помощью добавления к патриотизму прилагательных «активный» и «деятельный».

Аналогично существует понятие «критическое гражданство», равно как и разные вариации критического патриотизма. Конкретное же содержательное наполнение и того и другого зависит от контекста, субъектной составляющей и выбора дискурсивной стратегии, предполагающего апелляцию к разным нормативным конструкциям. Существует распространенное предположение, что доминирование патриотизма над гражданственностью вплоть до полного нивелирования последней характерно для дискурсов, доминирующих в авторитарных системах, в то время как в демократических полициях патриотизм чаще оказывается встроенным в гражданственность.

Приводя данные, согласно которым девять из десяти американцев признают себя патриотами, Дж. Вестхаймер отмечает: многие люди называют себя патриотами, но их убежденность в этом моментально исчезает, если спросить у них же что означает данный термин [7. С. 49]. Одни ассоциируют его с лояльностью государству, другие находят смысл патриотизма в противостоянии последнему. Первый вариант связывают с вертикальным патрио-

тизмом, носителем которого являются люди, далекие от гражданской культуры. В то время как во втором случае речь идет о патриотизме горизонтальном, субъектом которого является человек, наделенный гражданскими качествами, культурой гражданственности.

Для различения гражданского патриотизма и негражданского не существует какого-то универсального критерия. Противопоставление осуществляется по многим параметрам и имеет обычно дихотомическую форму, например, «государственное – гражданское», «этническое – гражданское», «локальное – национальное», «национальное – глобальное», «традиционное – современное» и т.д.

Патриотизм часто сравнивают с национализмом, первый чаще всего имеет положительные коннотации, второй – негативные. В этой связи Р. Брубейкер заметил, что часто такое сравнение сводится к попытке отличить хороший патриотизм от плохого национализма [8. С. 120]. Однако, по его мнению, и патриотизм, и национализм определенного формата, могут помочь развитию более устойчивых форм гражданства, а именно солидарности, взаимной ответственности и гражданской приверженности на национальном уровне, слабость которых, как ему представляется, определяет анемичное состояние американского гражданства в начале XXI в. При этом он уточняет: «...я не имею в виду национальную гордость, ее больше, чем нужно в Соединенных Штатах. Я имею в виду солидарность и ответственность за своих сограждан и за то, что делает правительство страны от имени нации» [8. С. 123–124].

Э. Штауб ввел для описания различий между «плохим» и «хорошим» патриотизмом понятия «слепой патриотизм» и «конструктивный патриотизм». Первый, как показали проведенные исследования, положительно коррелирует с политическим размежеванием, этническим национализмом, акцентированием внешней угрозы, формализмом и нетерпимостью к критике, тогда как второй имеет гражданское начало, связан преимущественно с гражданской вовлеченностью, ответственностью за судьбу страны и критической позицией в отношении действий разных субъектов, осуществляемых от имени нации [9. С. 15].

В зарубежной литературе распространено выделение авторитарной и демократической модели патриотизма. Первый, как отмечает Дж. Вестхаймер, в крайней своей точке предполагает безоговорочную верность лидеру или доминирующей группе [7. С. 50], а инакомыслие рассматривается как опасное и дестабилизирующее [10. С. 610]. Демократический же патриотизм – это приверженность не столько государственным учреждениям, сколько людям (согражданам), принципам и ценностям, лежащим в основе демократии, таким как участие в политической жизни, свобода слова, гражданские свободы и социальное равенство [7. С. 51] – для него характерно уважительное и даже поощряющее отношение к инакомыслию [10. С. 610]. В этом контексте гражданский патриотизм, как полагают Дж. Строун и А. Андриот, отражает даже не столько привязанность к определенной нации, сколько ценности и убеждения, связанные с демократическим гражданством [11. С. 556].

А. Палумбо предлагает рассматривать патриотизм через патриотическую идентичность, выделяя четыре его типа: этический, гегемонистский, защитный и «ура-патриотизм» [12. С. 329]. В его интерпретации только этический

имеет подлинную гражданскую природу, остальные же отдалены от нее в большей или меньшей степени. Например, гегемонистский содержит в себе, наряду с сильной гражданско-инклюзивной составляющей, и более традиционные механизмы, основанные на противопоставлении «мы–они». Имея внушительную мировоззренческую и ресурсную базу, такая модель патриотизма часто претендует на универсальность и используется как инструмент усиления внешнего влияния. Фундаментом защитного патриотизма является стремление сохранить этническую сплоченность и культурную аутентичность, поэтому основной режим его функционирования – нейтрализация внешних угроз, недопущение вторжения извне.

Прямой противоположностью этического патриотизма как гражданского является ура-патриотизм, в центре которого эссенциалистские представления о нации, служащие материалом для выстраивания соответствующей макроидентичности. Патриотизм здесь выступает фактически инструментом дифференциации «мы» и «они». Для него характерно подчеркивание исключительности, обилие разграничительных и ранжирующих понятий, постоянная апелляция к миссии, судьбе. Ура-патриотизм превозносит воинственные добродетели, а для усиления эффекта формирует также образ внутренних врагов [12. С. 330].

Описанные выше типы патриотизма и соответствующие им модели ориентаций обобщенно можно разделить на вертикальные и горизонтальные. Заметим, что первые существуют не только в авторитарных режимах, в то же время репрезентация горизонтальной модели составляет специфику именно демократических систем. В последнее время появилось множество работ, описывающих механизмы обеспечения консолидации общества, в том числе в демократических странах, с помощью патриотической риторики, ее интеграции в публичный дискурс, когда патриотизм выступает инструментом «секьюритизации политического дискурса, общенациональной повестки» [13]. Эффект, получаемый в результате применения этих методов, а именно усиление национальной солидарности и резкое повышение уровня конформизма в краткосрочном периоде, называют «ралли вокруг флага» (the rally round the flag effect) [14]. В демократических системах он сохраняется относительно недолго, а в авторитарных конституируется, становясь основой взаимодействия власти с обществом.

Механизмы патриотической мобилизации сверху (преимущественно, административными методами) успешно работали как в советский период, так и позднее [15–17], формируя соответствующие социально-политические установки. Начиная с 2014 г. они стали основой реализуемой на макроуровне политики идентичности, символической политики [18–21].

Исследователи феномена патриотизма в российском обществе констатируют слабую связь его с гражданством, гражданственностью, которые практически не представлены как на уровне публичного дискурса, так и в общественном сознании [15, 22, 23]. Это привело к ситуации, когда на уровне дискурсивных практик многое из того, что называется гражданственностью и воспроизводится в западном контексте как гражданские добродетели (civic virtues), нормы «хорошего гражданства» (good citizenship, good citizen), в российском формально маркируется как патриотизм, а содержательно ограничи-

вается понимаемыми в эссенциалистском смысле обязательствами и долгом перед государством.

Другие же составляющие, например элементы критического и активного гражданства, являющиеся важной частью современной западной модели гражданственности [24. С. 251], вообще исключаются из публичной репрезентации либо трактуются в негативном ключе. Эта же структура устойчиво воспроизводится на уровне общественного сознания, в том числе молодежи, определяя не только установки в гражданской сфере, но и более широкий спектр связанных с этим ценностных ориентаций, жизненных стратегий.

Такая постановка вопроса определила замысел и структуру предпринятого эмпирического исследования. Его цель – выявить специфику гражданских ориентаций респондентов, идентифицирующихся в качестве патриотов, и тех, которые не считают себя таковыми. Фактически речь идет о некотором контурном описании гражданского профиля представителей молодого поколения, имеющих разную патриотическую самоидентичность – либо совпадающую с доминирующей в публичной повестке, либо отличающуюся.

Эмпирическая база исследования

Эмпирической базой исследования являются данные анкетного опроса, проведенного в ноябре–декабре 2019 г. Объектом исследования выступили молодые люди от 16 до 30 лет, проживающие в Тюмени. Выборка ($n = 1\,364$) формировалась посредством стихийного отбора респондентов, репрезентативна по полу и возрасту (ошибка в пределах 5%).

В процессе обработки данных применялся анализ таблиц сопряженности, а для оценки уровня критических ориентаций респондентов использовался кластерный анализ (метод k -средних), позволивший выявить группы лояльных и критически настроенных как среди идентифицирующих, так и среди неидентифицирующих себя в качестве патриотов.

Результаты исследования

Под патриотической идентичностью при обработке данных понималось отождествление респондентами себя в качестве патриотов (полное или частичное) либо отказ определять себя как патриотов. Показателем для замера данного признака являлся ответ на вопрос: «Можете ли Вы назвать себя патриотом?». В результате около четверти опрошенных (24%) определенно считают себя патриотами и примерно пятая часть (21%) к таковым себя не причисляют. Почти половина опрошенных (48%) указали, что могут назвать себя патриотами лишь отчасти. Остальные 6% затруднились определить себя в этой системе координат.

Вместе с тем отнесение себя к одной из обозначенных групп, хотя и может влиять на соответствующие установки, но не полностью их определяет. Особенно в ситуации, когда патриотическая повестка доминирует, а тема гражданственности существует на задворках публичного дискурса, возникающая патриотическая идентичность может сильно диссонировать с гражданскими ориентациями. Последние определялись как совокупность установок, характеризующих отношение к тем или иным параметрам гражданства, гражданским ценностям. Выделено три категории переменных, образующих структуру гражданских ориентаций: критические установки (элементы кри-

тического гражданства), гражданский долг и обязанности (ответственное гражданство), гражданская активность (элементы активного гражданства).

Поскольку формирование конформизма выступает одним из базовых элементов реализуемой политики патриотической идентичности, логично предполагать влияние соответствующих установок (лояльное или критическое отношение) на определение либо отказ определять себя в качестве патриотов. Для выявления соотношения лояльных и критически настроенных респондентов в каждой из обозначенных выше групп (достаточно условно их обозначили как «лояльные» и «критики») был использован метод кластеризации.

В качестве критериев для классификации выступили следующие показатели:

1) оценка опрошенными частоты нарушения гражданско-политических прав и свобод (свобода слова и массовой информации; право проводить митинги, собрания, демонстрации; право участия в управлении государством; активное и пассивное избирательное право);

2) уровень доверия к органам власти (при анализе использовались показатели доверия региональной и местной власти);

3) оценка важности для респондентов политических прав и свобод, связанных с возможностью оппонирования власти (возможность критиковать и контролировать власть, высказывать свое мнение по политическим вопросам без опасения за личную безопасность, свобода информации и собраний).

Соответственно, в категорию критически ориентированных вошли те, кто, во-первых, считает, что все политические права и свободы, перечисленные в анкете, «часто нарушаются». Во-вторых, уровень доверия к действующей на локальном уровне власти у них минимален («совсем не доверяю»). В-третьих, они высоко ценят возможность свободно оппонировать власти, влиять на нее.

Среди патриотов доля критически ориентированных составила 20%, среди считающих себя патриотами лишь отчасти – 34%, а не считающих себя патриотами – 46%. Данная категория респондентов в рассматриваемых трех группах имеет очень похожий профиль, практически идентичную количественную конфигурацию показателей.

Не отнесенные к критически настроенным, в разных группах не демонстрируют такую же однородность позиции по совокупности обозначенных выше показателей. Среди патриотов оставшиеся 80% рассматривают возможность влиять на власть, контролировать ее «достаточно значимой» для себя, но в остальном демонстрируют конформизм – позитивно оценивают ситуацию в области политических прав и свобод в стране (доминируют ответы «скорее не нарушаются»), «в основном доверяют» власти на локальном уровне.

Лояльная часть признающих себя лишь отчасти патриотами и не считающих себя таковыми вообще демонстрируют сходные установки – для них «достаточно значимым» является возможность влияния на власть, при этом оценка соблюдения прав и свобод в этой области скорее позитивная (превалирует ответ «бывает, что нарушаются»). По вопросу доверия власти большинство дали неопределенный ответ («трудно сказать точно»).

По всем параметрам, определяющим гражданственность как интегрированность в национально-государственную систему и несение соответствующих обязательств, ответственности, наблюдаются довольно существенные различия между патриотами и не считающими себя патриотами (табл. 1). Отличия по данным переменным между лояльными и критически ориентированными сегментами внутри этих групп оказались весьма незначительными.

Быть гражданином важно для 93% патриотов, в то время как среди не относящих себя к ним 44%. Еще более отчетливая разница в отношении выраженности чувства гражданского долга. Среди первых его ощущают 85%, большая же часть вторых (72%) отрицают его наличие. У идентифицирующихся в качестве патриотов существенным является внесение вклада в развитие страны (91%), тогда как непатриоты немного чаще отрицают это, чем принимают (52% против 48%). Большинство патриотов (92%) испытывают положительные эмоции, когда звучит гимн России. Среди же представителей противоположной позиции преобладают (63%) те, кто не испытывает аналогичных чувств. Историческим прошлым страны интересуются 85% считающих себя патриотами и только половина из тех, кто не считают себя таковыми.

Таблица 1. Элементы ответственного гражданства (гражданский долг, обязательства), % по каждой группе

Вариант ответа	Считающие себя патриотами	Считающие себя патриотами лишь отчасти	Не считающие себя патриотами
<i>Быть гражданином очень важно для меня</i>			
Да, абсолютно верно	50	23	8
Скорее да	43	58	36
<i>Мне присуще чувство гражданского долга в отношении нашей страны</i>			
Да	48	18	4
Скорее да	37	45	12
<i>Мне важно вносить личный вклад в благополучие страны</i>			
Да, абсолютно верно	43	16	6
Скорее да	47	61	42
<i>Я испытываю положительные эмоции, когда звучит гимн России</i>			
Да, абсолютно верно	60	27	5
Скорее да	21	54	32
<i>Я интересуюсь историческим прошлым России</i>			
Да, абсолютно верно	45	23	15
Скорее да	42	50	37
<i>Быть гражданином для меня лично означает:</i>			
Уважать государство, власть	33	23	13
Быть преданным и связанным чувством долга со своей страной	37	25	9
Способствовать сохранению традиций российской государственности	30	26	14

Среди патриотов больше тех, кто проявляет более высокую гражданскую вовлеченность и придает большее значение гражданско-политическому участию (табл. 2). Например, доля указавших, что регулярно следят за политическими событиями в стране, колеблется от 52% среди непатриотов до 77% у патриотов. Примерно в таком же диапазоне варьируются различия в отношении ценности для респондентов участия в политике, выборах, управлении государством.

Таблица 2. Элементы гражданско-политической активности и ценности активного гражданства, % по каждой группе

Вариант ответа	Считающие себя патриотами		Считающие себя патриотами лишь отчасти		Не считающие себя патриотами	
	Лояльные	Критики	Лояльные	Критики	Лояльные	Критики
<i>Регулярно следят за политическими событиями в стране</i>						
Да, абсолютно верно	30	57	12	27	10	32
Скорее да	45	29	52	46	32	33
	75	86	64	73	42	65
<i>Часто обсуждают политические события, социально-экономические новости, общественные и мировые проблемы (Сумма вариантов ответа «Очень часто» и «Достаточно часто»)</i>						
Со своими друзьями, знакомыми	42	64	26	46	25	54
Со своей семьей (родителями, родственниками)	42	61	29	35	17	36
С коллегами, одноклассниками, одногруппниками	33	66	22	30	15	36
В сети Интернет, в социальных сетях	21	36	16	18	17	24
<i>Считают очень важным для себя:</i>						
Отстаивание своих интересов и прав, влияние на власть	28	56	31	45	39	51
Участие в политике	17	38	11	18	5	15
Участие в выборах	51	65	32	39	16	41
Участие в общественной жизни	42	56	30	36	15	35

Характерно, что признаки активного гражданства более отчетливо проявляются среди критически ориентированных респондентов – различия с лояльными по некоторым позициям составляют в два и более раза, что подтверждает гипотезу о высокой взаимосвязи активного и критического гражданства.

Заключение

Респонденты с разной патриотической идентичностью существенно различаются по всем трем рассмотренным параметрам гражданственности. Во-первых, каждая группа выделяется по соотношению лояльных и критически ориентированных молодых людей. Если среди патриотов доля, высказывающих критические позиции относительно функционирования локальной власти и ситуации с соблюдением гражданско-политических прав и свобод, составила всего 20%, то среди колеблющихся – практически треть (34%), а среди неидентифицирующих себя в качестве патриотов близка к половине (46%). Во-вторых, патриоты и непатриоты отличаются в вопросах, касающихся гражданского долга и обязательств, количественно в среднем примерно в два раза в пользу первых. В-третьих, более высокая гражданско-политическая активность и ценности активного гражданства также прослеживаются среди считающих себя патриотами. При этом критически настроенные во всех трех группах гораздо ближе к модели активного гражданства, чем респонденты-конформисты.

Список источников

1. America's Civic Health Index Report. 2008. URL: <https://ncoc.org/research-type/2008-civic-health-index> (дата обращения: 10.09.2020).

2. Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России: символическая политика в трансформирующейся публичной сфере // ПОЛИТЭК. 2010. № 1. С. 5–28.
3. Что значит быть патриотом? // Пресс-выпуск ВЦИОМ № 3685. 09.06.2018. URL: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9156> (дата обращения: 10.09.2020).
4. Патриотизм. Сколько в стране патриотов? Должен ли каждый быть патриотом? И каковы критерии патриотизма? // Еженедельный опрос «ФОМнибус» 8–9 июня 2019 г. URL: <https://fom.ru/TSennosti/14222> (дата обращения: 10.09.2020).
5. Критерии патриотизма. Надо ли быть патриотом? И что для этого нужно? // Еженедельный всероссийский телефонный опрос ФОМ. 31 июля – 2 августа 2020 г. URL: <https://fom.ru/TSennosti/14446> (дата обращения: 10.09.2020).
6. Ariely G. Why does patriotism prevail? Contextual explanations of patriotism across countries // *Identities*. 2017. Vol. 24, № 3. P. 351–377.
7. Westheimer J. Thinking about patriotism // *Educational Leadership*. 2008. Vol. 65, № 5. P. 48–54.
8. Brubaker R. In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism // *Citizenship Studies*. 2004. Vol. 8, № 2. P. 115–127.
9. Schatz R.T., Staub E., Lavine H. On the Varieties of National Attachment: Blind Versus Constructive Patriotism // *Political Psychology*. 1999. Vol. 20, № 1. P. 151–174.
10. Westheimer J. Politics and Patriotism in Education // *Phi Delta Kappan*. 2006. Vol. 87, № 8. P. 608–620.
11. Straughn J.B., Andriot A.L. Education, Civic Patriotism, and Democratic Citizenship: Unpacking the Education Effect on Political Involvement // *Sociological Forum*. 2011. Vol. 26, № 3. P. 556–580.
12. Palumbo A. Patriotism and pluralism: identification and compliance in the post-national polity // *Ethics & Global Politics*. 2009. Vol. 2, № 4. P. 321–348.
13. Vultee F. Securitization: A new approach to the framing of the “war on terror” // *Journalism Practice*. 2010. Vol. 4, № 1. P. 33–47.
14. Mueller J.E. Presidential Popularity from Truman to Johnson // *The American Political Science Review*. 1970. Vol. 64, № 1. P. 18–34.
15. Гаврилюк В.В., Маленков В.В., Гаврилюк Т.В. Современные модели российской гражданственности // *Социологические исследования*. 2016. № 11. С. 97–106.
16. Магарил С.А. Смыслы патриотизма – исторические трансформации // *Социологические исследования*. 2016. № 1. С. 142–151.
17. Щербинин А.И. Патриотизм как номенклатурный конструкт // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2016. № 35. С. 264–271.
18. Гуков Л.Д. Патриотическая мобилизация и ее следствия // *Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии*. 2018. № 1-2. С. 81–123.
19. Kalinina E. Becoming patriots in Russia: biopolitics, fashion, and nostalgia // *Nationalities Papers*. 2017. Vol. 45, № 1. P. 8–24.
20. Patriotic Mobilisation in Russia. Europe Report № 251. 4 July 2018. Brussels : International Crisis Group.
21. Rogov K. “Crimean Syndrome”: Mechanisms of Authoritarian Mobilization // *Russian Politics & Law*. 2016. Vol. 54, № 1. P. 28–54.
22. Лубский А.В. Патриотизм и гражданственность в российском обществе, или как преодолеть дефицит гражданственности в российском патриотизме // *Гуманитарий Юга России*. 2019. Т. 8, № 2. С. 47–66.
23. Селезнева А.В. Патриотизм как политическая ценность: политико-психологический анализ // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2017. № 38. С. 200–208.
24. Фан И.Б. Западноевропейская модель национального гражданства в российских условиях // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2019. № 52. С. 246–254.

References

1. USA. (2008) *America's Civic Health Index Report*. [Online] Available from: <https://ncoc.org/research-type/2008-civic-health-index> (Accessed: 10th September 2020).
2. Malinova, O.Yu. (2010) *Konstruirovaniye makropoliticheskoy identichnosti v postsovetskoy Rossii: simvolicheskaya politika v transformiruyushchey publichnoy sfere* [The construction of a

macro-political identity in post-Soviet Russia: a symbolic policy in a transforming public sphere]. *Politicheskaya ekspertiza: POLITEKS – Political expertise: POLITEK*. 6(1). pp. 5–28.

3. *Press-vypusk VTsIOM*. (2018) Chto znachit byt' patriotom? [What does it mean to be a patriot?]. 9th September. [Online] Available from: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9156> (Accessed: 10th September 2020).

4. *FOMnibus*. (2019) Patriotizm. Skol'ko v strane patriotov? Dolzhen li kazhdy byt' patriotom? I kakovy kriterii patriotizma? [Patriotism. How many patriots are there in the country? Should everyone be a patriot? And what are the criteria for patriotism?]. 8th – 9th June. [Online] Available from: <https://fom.ru/TSennosti/14222> (Accessed: 10th September 2020).

5. *Ezhenedel'nyy vserossiyskiy telefonnyy opros FOM*. (2020) Kriterii patriotizma. Nado li byt' patriotom? I chto dlya etogo nuzhno? [The criteria for patriotism. Should you be a patriot? And what you need to do?]. 31st July – 2nd August. [Online] Available from: <https://fom.ru/TSennosti/14446> (Accessed: 10th September 2020).

6. Ariely, G. (2017) Why does patriotism prevail? Contextual explanations of patriotism across countries. *Identities*. 24(3). pp. 351–377. DOI: 10.1080/1070289X.2016.1149069

7. Westheimer, J. (2008) Thinking about patriotism. *Educational Leadership*. 65(5). pp. 48–54.

8. Brubaker, R. (2004) In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism. *Citizenship Studies*. 8(2). pp. 115–127.

9. Schatz, R.T., Staub, E. & Lavine, H. (1999) On the Varieties of National Attachment: Blind Versus Constructive Patriotism. *Political Psychology*. 20(1). pp. 151–174. DOI: 10.1111/0162-895X.00140

10. Westheimer, J. (2006) Politics and Patriotism in Education. *Phi Delta Kappan*. 87(8). pp. 608–620.

11. Straughn, J.B. & Andriot, A.L. (2011) Education, Civic Patriotism, and Democratic Citizenship: Unpacking the Education Effect on Political Involvement. *Sociological Forum*. 26(3). pp. 556–580. DOI: 10.1111/j.1573-7861.2011.01262.x

12. Palumbo, A. (2009) Patriotism and pluralism: identification and compliance in the post-national polity. *Ethics & Global Politics*. 2(4). pp. 321–348. DOI: 10.3402/egp.v2i4.2002

13. Vultee, F. (2010) Securitization: A new approach to the framing of the “war on terror”. *Journalism Practice*. 4(1). pp. 33–47. DOI: 10.1080/17512780903172049

14. Mueller, J. (1970) Presidential Popularity from Truman to Johnson. *The American Political Science Review*. 64(1). pp. 18–34. DOI: 10.2307/1955610

15. Gavriluk, V.V., Malenkov, V.V. & Gavriluk, T.V. (2016) Contemporary models of Russian citizenship. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 11. pp. 97–106. (In Russian).

16. Magaril, S.A. (2016) Meanings of patriotism – historical transformations. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 1. pp. 142–151. (In Russian).

17. Shcherbinin, A.I. (2016) Patriotism as a nomenclature construct. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 35. pp. 264–270. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/35/28

18. Gudkov, L. (2018) Patriotic mobilization and the consequences thereof. *Vestnik obshchestvennogo mneniya. Dannye. Analiz. Diskussii*. 1-2. pp. 81–123. (In Russian). DOI: 10.24411/2070-5107-2018-00006

19. Kalinina, E. (2017) Becoming patriots in Russia: biopolitics, fashion, and nostalgia. *Nationalities Papers*. 45(1). pp. 8–24. DOI: 10.1080/00905992.2016.1267133

20. EU. (2018) Patriotic Mobilisation in Russia. *Europe Report*. №251. 4th July 2018.

21. Rogov, K. (2016) “Crimean Syndrome”: Mechanisms of Authoritarian Mobilization. *Russian Politics & Law*. 54(1). pp. 28–54. DOI: 10.1080/10611428.2021.2002065

22. Lubskiy, A.V. (2019) Patriotism and citizenship in Russian society, or how to overcome the deficiency of citizenship in Russian patriotism. *Gumanitarniy Yuga Rossii – Humanities of the South of Russia*. 8(2). pp. 47–66. (In Russian). DOI: 10.23683/2227-8656.2019.2.3

23. Selezneva, A.V. (2017) Patriotism as a political value: political-psychological analysis. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 38. pp. 200–208. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/38/20

24. Fan, I.B. (2019) The Western European model of national citizenship in Russian conditions. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 52. pp. 246–254. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/52/22

Сведения об авторе:

Маленков В.В. – кандидат социологических наук, доцент, кафедра менеджмента и бизнеса Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия). E-mail: vvmalenkov@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Malenkov V.V. – Cand. Sci. (Sociology), associate professor, Department of Management and Business, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation). E-mail: vvmalenkov@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 02.12.2020;
одобрена после рецензирования 25.04. 2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 02.12.2020;
approved after reviewing 25.04. 2022; accepted for publication 11.07.2022*

Научная статья
УДК 314.74
doi: 10.17223/1998863X/67/12

LABOR MARKET INTEGRATION OF NIGERIAN MIGRANTS IN MOSCOW, RUSSIA

Isaac Olumayowa Oni

*National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation,
isaacreigns@gmail.com*

Abstract. This article investigates the economic integration of Nigerian migrants living in Moscow. It examines the process of integration of student migrants and other migrants who are participating in the economic landscape in Moscow. It is noteworthy that a significant proportion of Nigerian migrants during the Soviet era were students, while the rest were government representatives. Some of these students suffered both physical and psychological abuses which was contrary to the Soviet's gospel of racial equality. However, after the dissolution of the USSR in 1991, the dynamics of Nigerian migration to post-Soviet Russia changed, but the discrimination against them continued to subsist. To understand the integration of Nigerian migrants within the economic terrain in Moscow, this article builds on the experiences shared by 25 Nigerian migrants who are actively participating in the Russian economy. Building on the experiences of these Nigerian migrants, this research is divided into two parts. The first explores the situations that many Nigerian migrants underwent when they were seeking employment and the practices within their organizations. While the second part of this research examines the stories of 2 Nigerian entrepreneurs in Moscow. Findings from this study reveal some of the contradictions in the Russian laws against the welfare of migrants and further show that African products are getting popular in Russia. Drawing conclusions from in-depth interviews with migrants from Nigeria much is learned about their experiences and how it has shaped their perceptions of their host country. It adds to the understanding of the situations Nigerian migrants are exposed to and how they have been able to strategize their integration mechanisms regarding economic participation in Moscow.

Keywords: economic integration, Nigerian migrants, ethnic entrepreneur

Acknowledgments: This article is an output of a research project implemented as part of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics (HSE University).

For citation: Oni, I.O. (2022) Labor market integration of nigerian migrants in Moscow, Russia. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 132–139. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/12

Original article

ИНТЕГРАЦИЯ НИГЕРИЙСКИХ МИГРАНТОВ НА РЫНКЕ ТРУДА В МОСКВЕ, РОССИЯ

Айзек Оломайова Они

*Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики,
Москва, Россия, isaacreigns@gmail.com*

Аннотация. Исследуется экономическая интеграция нигерийских мигрантов, проживающих в Москве. Используя метод качественного исследования, рассматриваются карьерные траектории нигерийских трудовых мигрантов и нигерийских предпринимателей.

телей. Исследование показывает, что африканские продукты и услуги становятся популярными среди россиян, вместе с тем имеют место факторы и обстоятельства, препятствующие экономической интеграции трудовых мигрантов и предпринимателей из Нигерии.

Ключевые слова: экономическая интеграция, нигерийские мигранты, этнический предприниматель

Благодарности: Данная статья является результатом исследовательского проекта, реализованного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Для цитирования: Oni I.O. Labor market integration of nigerian migrants in Moscow, Russia // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 132–139. doi: 10.17223/1998863X/67/12

Introduction

Thriving in a society that is different from one's ethnic origin is particularly challenging. The situation is more difficult when one's ethnic community is infinitesimal to other migrant communities in the host society. The inability to communicate in the language of the local community poses a huge barrier when seeking employment [1. P. 31; 2. P. 212]. However, with self-employment, labor market integration and success is often enhanced [3]. Self-employed Nigerian migrants are closely knitted to their ethnic community which is pertinent to creating a niche within the ethnic market [4].

Recognizing the paucity of studies on this group of migrants in Russia, this research fills the lacuna of this understudied aspect of Nigerian migrants by investigating the opportunities created by Nigerian entrepreneurs in the consumption market and the challenges they encounter in operating their businesses in Russia. The aim of this paper is not to give credence to the premise that racism is particular to Russia since almost in all European societies there are individuals, parties, groups and organizations that believe in the ideological categorization of people [5] but to examine how Nigerian migrants cope within the economic sphere in Moscow and how their experience has influenced their perception of Russia.

Theoretical Guide

This paper is premised on two theories: the segmented labor market theory and the ethnic entrepreneurship theory. The proponents of the **segmented labor theory** argue the disparity in wages, income distribution, discrimination and unemployment as major labor market policy [6]. This is a response to the hedonic labor market theory that assumes labor market equality for all workers [7]. Citing Michael Piore and Berger Suzanne, Morawska notes that the segmented labor theory is anchored on three major grounds as it relates to international migration [8], namely: uneven distribution of resources that extends to labor force in industrial society; demand for cheap, flexible and dispensable labor; and unwillingness to raise labor wages.

The labor market of industrial society is divided into two different categories. The first is the primary sector which is capital intensive offers stable and skilled jobs with good reward packages while the secondary sector is labor-intensive with unstable, low-skilled jobs and offers low remuneration. Migrants face disparity and inequality in the labor market from employers and business owners whose decision is

shaped by social and state construct based on social class, race, ethnicity or migration status through corporate policies and practices in the workplace [9]. Thus, regardless of academic qualification, migrants try to eke out survival means aiming at earning money. With employment mainly to earn income and no regard for status these migrants are pushed further into the labor-intensive market structure [10]. Using this theoretical framework together with the ethnic entrepreneurship theory is highly effective in revealing a dimension of the coping strategy employed by Nigerian migrants within the economic landscape in Moscow.

This paper is also anchored on the **ethnic entrepreneurship theory** which explains migrant entrepreneurs using three interactive components, namely: access to opportunities, ethnic characteristics, and emergent strategies [3]. The proponents of this theory Aldrich Howard and Roger Waldinger postulate that these interactive components are necessary to understand how ethnic businesses develop [11]. Ethnic entrepreneurship is “a set of connections and regular patterns of interaction among people sharing common national background or migration experiences” [11. P. 3]. Migration to Russia has continued to increase since the disintegration of the USSR [12] which has contributed to the multi-ethnic structure of the country [13, 14].

The first component of this theory describes the market conditions under which Nigerian entrepreneurs create a niche. Such market conditions favor only products that serve to satisfy the needs in an ethnic community [11]. The second component is the group characteristics which are manifested in two dimensions: predisposing factors and resource mobilization [11]. The predisposing factors are the pre-migration skills and goals that an individual or group has, which allows them to determine their migration strategies [3]. Other factors that also influence migratory decisions which could aid or constrain resource mobilization include ethnic social networks, charisma, and government policies [3]. The last component is the emergence of ethnic strategies. This component describes the interaction of access to opportunities and ethnic characteristics as the foundation on which ethnic strategies are developed that allow adaptation to their environments [11]. The strength of social capital within ethnic enclaves is significant in creating a niche for migrant entrepreneurs in the host economy. The ethnic entrepreneurship theory is significant to this study in that it gives a wider understanding of how migrants explore the market economy of their host country.

Research Method

I conducted this study using a qualitative approach to get firsthand experiences of Nigerian migrants in Moscow. In doing this, I used semi-structured in-depth interviews during the fieldwork. The targeted population was Nigerian migrants who are actively participating in the economic landscape of Moscow. Due to the vastness of Russia, the metropolitan nature of Moscow and financial constraints, this work was limited to Moscow. I selected my respondents using purposive and snowballing techniques and also from major stakeholders within the Nigerian community in Moscow. I also visited churches and parties where I met others.

A total of 25 Nigerians participated in the study who are classified into two categories based on their mode of engagement. The first is Nigerian migrant workers who are employed, which consists of 18 Nigerian migrants. The second category is Nigerian migrant entrepreneurs, who are a total of 7. However, for this study, I use two case studies of Nigerian entrepreneurs in Moscow. This is because

of the similarities that they share in the type of products they offer but target different clients. For this paper, I used fictitious names to represent my respondents. I used English during conversation and I sought respondent's consent to record the conversation which I transcribed verbatim.

Analysis of Findings

Finding Employment in Moscow

Economic reasons are one of the major drivers for global migration. The social composition of Nigerians in Russia changed after the disintegration of the USSR, and Nigerians are present in more cities in post-Soviet Russia [15. P. 214]. However, like in any contemporary society, there are both active and passive racists in Russia [16]. In his words, one of my respondents who has lived in Moscow for over 20 years, said:

I have entered a lot of offices since I have been here and whenever I hear "молодой человек" (young man), I know that the next thing I hear is "Ты не иди сюда" (You do not come in here). He would not even ask me where I am going or what I am here to do, he will just look at me and say: you are not coming in here (Interview 15).

Of course, this is not to presume that this is the overview of the Russians, however, it indicates exclusion from access to social or economic possibilities. The attitudes of the Russians he encountered portray him as an intruder.

The economic landscape for many Nigerians is difficult to navigate, which makes some of them participate in informal employment by distributing fliers in the metro subways and on the streets, selling products such as deodorants on the streets of Moscow [15]. One of my respondents, who arrived in 2017, has an informal employment in one of the biggest supermarket outlets in Moscow, and, for him, it has been a difficult experience so far. He said:

The supervisor in charge of our team at the supermarket where I worked made me work more and eventually did not pay me my money. After several requests, he did not until I reported to the one that he reports to. Even after that, I still did not get my full money. I had to stop working there because I can't just continue in that place. It's very frustrating (Interview 13).

This sentiment was also shared by other respondents who faced economic exploitation from their employers. This is often the situation for labor migrants with limited education and a lack of understanding of Russian. They often work in the informal sector, where the lack of legal protection and insufficient information about their rights have made them vulnerable to exploitation and abuse from recruiters, employers, and authorities [17]. Nigerians with higher education and a good understanding of Russian have their share of exclusion. One of my respondents, who has lived in Moscow for 8 years, said:

It's quite funny that after getting an invite for an interview, you would later be called to answer if you are a Russian citizen and if you say no, they will tell you the job is not for you. Because on the site you registered, you already wrote you are not a Russian and they can view your profile before being contacted (Interview 20).

The respondent expresses a form of rejection that he experienced during his job search. In a similar instance, another respondent, who has spent over three

decades in Russia and also has a Russian partner, said: *“Even if we were better qualified for the job than Russian applicants, they would consider their citizens first”* (Interview 5). Such preferential treatment is, however, not unexpected, but in the case of another respondent in a managerial position, when asked if he has ever been treated differently because of his skin color, he said:

In terms of psychological acceptance with colleagues at work, yes. In my company when the boss which I am after in rank was to leave, even though I was next in line but because I do not have a Russian passport, the position was given to another. Also, there are some benefits that the Russians in my place of work have that I don't have (Interview 8).

The quotation above shows a structural barrier experienced at a workplace limiting the rank the Nigerian migrant could attain within the organization because of his origin.

Nigerian Entrepreneurs in Moscow

First Case Study

Sunbo owns a food business. She was invited and sponsored by her uncle to come to Russia for her studies in 2008 but first had to study the Russian language for two years. By that time when she arrived in Moscow, her uncle, who had been living in Russia for over 20 years, was an established businessman and was one of the wealthiest Africans in Russia before he left many years after Sunbo arrived.

Like many Nigerians, she had had some teaching jobs, but, after she had her first daughter in 2014, she could not go to work any longer, and, since she has a passion for cooking, she started posting pictures of her cooking on social networking sites and started her business. Her mode of operation is based on requests from customers which, after she has completed, she delivers at the location of the customers: *“Being a student then, I started with just Nigeria students in RUDN. Not long, I started having orders from outside the university. So, people started contacting me after I started the business”*. She also has Russians who patronize her: *“Russians order meals like ‘jollof rice’, fried rice, meat pie, chin-chin. The few Russians that have tasted my local meals in terms of maybe ‘egusi’ or manka (manaya), or stuffs like that are maybe those that are dating black guys or have African partners”*. However, her major customers remain Nigerians and some other African countries. Though she started the business using the money given to her by her uncle, ethnic support is indispensable to maintain her business: *“I have a lot of people doing their best one way or the other. It might be just like telling or informing somebody that you have a wedding coming up, or if you have a birthday, contact Sunbo. That’s a big role”*.

Even though Sunbo could participate in the Russian economic space, she believes that living in Russia is difficult, particularly for Nigerians. Aside from the society that is not incorporative enough for Nigerians, the Russian system itself does not give the avenue to grow, particularly for Nigerians who are not students. In other climes, like the United States, foreigners can apply for naturalization after 5 years of being resident in the country [18], it is not the same situation in Russia. Having property such as a house in Russia is a requirement needed to apply for permanent residency which puts a verge on the aspiration of many migrants. To start operating a business in Russia, a residence permit or a work visa is important [19].

Second Case Study

Debo is another young Nigerian entrepreneur in Moscow who makes home confectioneries. He is also an alumnus of a university in Moscow who arrived in Moscow in 2011 and went through the Russian language course for one year. From the onset, he knew leaving his family in Nigeria for the first time and going to a country with a different language and culture would be challenging but he was prepared to explore the adventures that would come his way. He said: “As Nigerians, we’ve got this survival instinct anywhere we find ourselves. This has always kept me going since I arrived in this country”.

He started his business in 2014 during his second year of study. He said: “A friend of mine needed a cake for an event, she actually wanted to give it to a Russian to do, but I was like, I can do it. That was because I was always around people that bake, my mum bakes and all that. So, I was like, okay fine, I will do it”. That was how he started and continues to make cakes as a hobby for people, and gets good compliments. Increased demand afforded him to see the prospect of making cakes, and he started doing it as a business. His customers were mainly Nigerian students and some other African students in his university and church: “In 2014 when I realized that there was a huge demand for it at that time, I went to Nigeria during the summer and took some training to finesse my skills and perfect it”.

Similar to Sunbo’s story, he also takes orders online and then bakes from home and delivers them. At the moment, he does his business alone together with those who do the deliveries. The demographics of Nigerians in Moscow are quite small then he decided to expand his market target to include Russians: “I live in Russia, it actually makes more sense because if you compare the population of Africans living in Russia to Russians themselves, maybe 1% of the total population of Russians, I doubt if it’s even up to 1% but then, looking at the demographics, I felt it was easier and better for me to focus on what Russians eat”. After some time, he thought that if he wanted patronage from Russians then he had to satisfy their need: “I did some training on the proper way of making the kinds of cakes that they will like”. For two years now he has focused on Russians and he is getting increasing orders from Russians: “The goal is to cater for both Russians and Africans but then, I already have the African market, the goal is to penetrate the Russian market”. Most of his Russian clients are from referrals: “The best way for the kind of business that I do which involves foods and all that is by the referees because they need to taste what you have done before”. Debo tries to talk about his business to Russians whenever he gets the opportunity to do so tête-à-tête. He said: “I have lived in the country and have been in the business long enough to know that these guys need something like a personal touch to get to order something from you.”

For Debo, participating within the economic space in Moscow depends on the individual. According to him: “There are lots of opportunities here for Nigerians to explore but the first thing is that it depends on what you want to do”. In such an environment, being able to satisfy people’s wants is important. According to Debo, the life of a Nigerian within the economic landscape in Moscow is determined by the mindset and the networks of people around such a person. In his words, he said: “When I came, I have always had the entrepreneurial mindset right from time even before I left Nigeria and the people that I move with are people are in a way are like-minded. Most of my friends have businesses”. At the time of doing this interview in 2019, Debo was in the final year of his master’s program and did not

have the intention of moving back to Nigeria: “I’ll finish my MBA next year, once I do that, I get my business sorted, get my temporary residence permit. I’ll be here for a while. For me, it wouldn’t make sense for me to go to Nigeria now because I don’t think there’s any company that can pay me”.

Debo believes that the right psychological view and social capital are important to integrate within the economic space in Russia. He does not have any negative feelings toward Russians and does not plan to leave the country any time soon but instead plans to register his company and continue his operation in Russia. The majority of global migration is labor-related [20] and therefore needs an enabling environment to domicile.

Coping Strategies

Even with the different challenges experienced within the economic terrain in Moscow, these Nigerians would rather find a way to cope than go back to their country. In the words of one of the respondents, “*I have developed a thick skin against such behavior*” (Interview 6). Living in such a circumstance unperturbed is critical to surviving in the economic landscape for Nigerian migrants. Using the words of another respondent, “*If that’s what the company’s policy states then I’ll just have to accept it*” (Interview 8). The “thick skin” method has been potent for these Nigerian migrants in ignoring any biases they experienced.

Creating a niche within the Nigerian ethnic enclave is another strategy used by these migrants. Like Sunbo, being unable to continue working as a teacher, she started a business to render services within the Nigerian community. Although entrepreneurs studied in this research are small scale and operating informally, they still make use of the social media to advertise their products, and interacting with Russians contributed to Russians ordering their products.

Conclusion

This paper explores an important aspect of Nigerian migrants that has been understudied in Russia. I expose the circumstances surrounding the difficulty of Nigerian migrants to gain economic integration in Russia and the strategies that they employed to manage the challenges. A review of the government policy on documents required by migrants to have formal employment should be considered and also creating and enabling policy that would allow migrants entrepreneurs to operate within a formal economic environment.

References

1. Khosa, R.M. & Kalitanyi, V. (2014) Challenges in Operating Micro-Enterprises by African Foreign Entrepreneurs in Cape Town, South Africa. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 5(10). pp. 205–205.
2. Gebre, L.T., Maharaj, P. & Pillay, N.K. (2011) The Experiences of Immigrants in South Africa: A Case Study of Ethiopians in Durban, South Africa. *Urban Forum*. 22(1). pp. 23–35.
3. Ngota, B.L., Rajkaran, S. & Mangunyi, E.E. (2019) African Immigrant Entrepreneurs in South Africa: Exploring Their Economic Contributions. *EBER*. 7(4). pp. 33–55. DOI: 10.15678/EBER.2019.070403
4. Asoba, S.N., Twum-Darko, M. & Tengeh, R.K. (2018) Factors Influencing African Immigrant Entrepreneurship in South Africa: A Case of Selected Craft Markets in Cape Town. *International Conference on Business and Management Dynamics ICBMD*. Cape Town, South Africa, August 29, 2018. p. 16.
5. Kjölstad, H. (2009) *White Russia – Xenophobia, Extreme Nationalism and Race radicalism as Threats to Society*. FOI, Swedish Defence Research Agency, Stockholm, User Report FOI-R--2592--SE, 2009.

6. Leontaridi, M. (1998) Segmented Labour Markets: Theory and Evidence. *Journal of Economic Surveys*. 12(1). pp. 103–109. DOI: 10.1111/1467-6419.00048
7. Machina, M. & Viscusi, K. (2013) *Handbook of the Economics of Risk and Uncertainty*. Newnes: North Holland.
8. Morawska, E. (2012) Historical-Structural Models of International Migration. In: Martiniello, M. & Jan, R. (eds) *An Introduction to International Migration Studies: European Perspectives*. Amsterdam: Amsterdam University Press. pp. 55–76. DOI: 10.2307/j.ctt6wp6qz.4
9. Kesici, M.R. (2022) Labour Market Segmentation within Ethnic Economies: The Ethnic Penalty for Invisible Kurdish Migrants in the United Kingdom. *Work, Employment and Society*. 36(2). pp. 328–344. DOI: 10.1177/09500170211034761
10. Massey, D.S. (2001) Migration, Theory of. In: Smelser, N.J. & Baltes, P.B. (eds) *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Elsevier. pp. 9828–9834. DOI: 10.1016/B0-08-043076-7/02187-2
11. Waldinger, R., Ward, R., Aldrich, H., Stanfield, J. & Mcevoy, D. (1991) Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Societies. *Social Forces*. 69. DOI: 10.2307/2072935
12. Matveenko, V.E., Rumyantseva, N.M. & Rubtsova, D.N. (2017) Migration in the Russian Federation Today. *Teorija in Praksa*. 54.6. p. 969–989.
13. Pakulski, J. & Markowski, S. (2014) Globalisation, immigration and multiculturalism – the European and Australian experiences. *Journal of Sociology*. 50(1). pp. 3–9. DOI: 10.1177/1440783314522186
14. Czaika, M. & de Haas, H. (2014) The Globalization of Migration: Has the World Become More Migratory? *International Migration Review*. 48(2). pp. 283–323. DOI: 10.1111/imre.12095
15. Bondarenko, D.M., Demintseva, E.B., Usacheva, V.V. & Zelenova, D.A. (2014) African Entrepreneurs in Moscow: How They Did It Their Way. *Global African Entrepreneurs*. 43. pp. 205–254.
16. Bondarenko, D.M. (2017) African Migrants in Post-Soviet Moscow: Adaptation and Integration in a Time of Radical Socio-Political Transformations. *İrînkêrîndò: A Journal of African Migration, United States*. 9. pp. 142.
17. International Labour Office. (2020) *Labour migration (Eastern Europe and Central Asia)*. [Online] Available from: <https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/labour-migration/lang-en/index.htm> (Accessed: 12th April 2022).
18. USCIS. (2020) *USCIS Early Filing Calculator | USCIS*. June 24, 2020. [Online] Available from: <https://www.uscis.gov/forms/uscis-early-filing-calculator> (Accessed: 27th April 2022).
19. Expatica. (2022) *Starting a Business in Russia*. [Online] Available from: <https://www.expatica.com/ru/working/self-employment/starting-a-business-in-russia-103921/> (Accessed: 7th May 2022).
20. International Labour Office. (2015) *ILO Global estimates of migrant workers and migrant domestic workers: results and methodology: special focus on migrant domestic workers*. Geneva: International Labour Organization.

Information about the author:

Oni I.O. – post-graduate student, Doctoral School of Sociology, and junior researcher, International Laboratory for Social Integration Research, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: isaacreigns@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Сведения об авторе:

Они И.О. – аспирант, научный сотрудник, Международная лаборатория исследований социальной интеграции Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). E-mail: isaacreigns@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 12.05.2022;
одобрена после рецензирования 01.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 12.05.2022;
proved after reviewing 01.06.2022; accepted for publication 11.07.2022

ПОЛИТОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 327

doi: 10.17223/1998863X/67/13

СОТРУДНИЧЕСТВО ИРАНА И ЕАЭС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ирина Владимировна Зеленева

*Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия,
Irina_zeleneva@mail.ru*

Аннотация. Выявляются особенности сотрудничества Ирана и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Определены основные этапы и направления взаимодействия Ирана и ЕАЭС. Акцентируется внимание на проблемах, которые могут негативно повлиять на углубление сотрудничества. Полноценная интеграция между ЕАЭС и Ираном станет возможна после заключения полноформатного соглашения о зоне свободной торговли.

Ключевые слова: региональная интеграция, сотрудничество, ЕАЭС, Иран, Россия, зона свободной торговли

Для цитирования: Зеленева И.В. Сотрудничество Ирана и ЕАЭС: проблемы и перспективы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 140–148. doi: 10.17223/1998863X/67/13

POLITICAL SCIENCE

Original article

COOPERATION BETWEEN IRAN AND THE EAEU: OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS

Irina V. Zeleneva

*Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation,
Irina_zeleneva@mail.ru*

Abstract. The aim of this article is to identify various factors affecting cooperation between Iran and the Eurasian Economic Union (EAEU), and to determine the prospects for further cooperation. On May 17, 2018, an interim agreement was signed between the EAEU and Iran, leading to the formation of a free trade zone. Cooperation between Iran and the EAEU is developing in three main areas: trade, transport, and energy. The distribution of trade turnover between the EAEU countries and Iran is very uneven, a significant share in it belongs to Russia, and the smallest to Belarus and Kyrgyzstan. Transport projects and energy contracts can become a vector for the development of integration processes between Iran and the EAEU. The development of Iran's relations with the EAEU and China opens up opportunities for connecting the transport corridors of the EAEU to the Chinese One Belt and One Road initiative in the southern direction. It seems possible to divide the process of economic rapprochement between the EAEU and Iran into three stages. The first stage of interaction is characterized by the study of the possibility of creating a free trade zone (FTZ) and identifying the benefits that both parties will receive from signing this agreement. The second stage will require the normative and legal consolidation of the norms and principles of trade and economic cooperation, and the signing of an interim agreement on the

establishment of a FTZ. The third stage includes the development of a further action plan and negotiations to conclude a full-fledged agreement on the establishment of a FTZ. In the process of interaction with the EAEU, Iran may face certain problems. Restoration of the US sanctions in 2018, especially on the energy, shipping and financial sectors, has led to a decline in foreign investment and a blow to oil exports. The possibility of termination or suspension of foreign investment in transport projects can significantly affect Iran–EAEU cooperation. By creating and improving the transport and logistics infrastructure, Iran will become a link in the construction of international transport corridors. Further deepening of Iran–EAEU relations, however, will assist both parties to confront regional challenges and threats and to strengthen their security system in the region by establishing a dialogue with neighboring countries.

Keywords: regional integration, cooperation, Eurasian Economic Union, Iran, Russia, free trade zone

For citation: Zeleneva, I.V. (2022) Cooperation between Iran and the EAEU: opportunities and constraints. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 140–148. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/13

Изменения во внешней политике Ирана наметились в 2018 г., этому способствовали следующие обстоятельства: выход США из соглашения по иранской ядерной программе в 2018 г. – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возобновление санкционного режима, замедление уровня экономического роста. Руководство Ирана приняло решение о реализации политики «Взгляд на Восток» и развитии политических и экономических отношений со странами Евразийского региона. Впервые политика «Взгляд на Восток» была провозглашена президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом (2008–2013 гг.). Цель данной политики – укрепление связей с незападными странами, чтобы избежать изоляции, в том числе экономической, вызванной постепенно ухудшающимися отношениями с европейскими странами. Экономическое сотрудничество со странами Азии, особенно в энергетическом и логистическом секторах, считалось важной областью регионального сотрудничества Ирана в Азии, в том числе расширение транзитных маршрутов для увеличения торговли было отмечено в качестве основного направления деятельности. В феврале 2018 г. верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о том, что главные приоритеты во внешней политике заключаются в «предпочтении Востока Западу и соседних стран отдаленным местам» [1]. В национальной концепции Ирана отмечается, что к 2025 г. Исламская Республика должна занять первое место в области экономики, науки и технологий в регионе Западной и Южной Азии, включая Центральную Азию, Ближний Восток и соседние страны, делая акцент на разработку и производство высоких технологий, непрерывный экономический рост, рост уровня доходов на душу населения и достижения полной занятости. Взаимоотношения со странами региона должны строиться на основе принципов взаимного уважения, мудрости и доброй воли, обладать эффективным взаимодействием [2].

Внешнеполитическая стратегия Ирана нацелена на развитие интеграционных отношений между странами Евразийского региона. Установление диалога с соседними странами, создание собственной системы безопасности будут способствовать противостоянию региональным вызовам и угрозам.

Центральное место в евразийской интеграции отводится региональной экономической организации – Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), целью которого является интеграция государств-членов в торгово-эконо-

мической, транспортной, энергетической и других сферах, а также создание сети зон свободной торговли с заинтересованными в евразийской интеграции государствами. Одним из таких государств выступил Иран, который в течение долгого времени не проявлял особого внимания к установлению отношений с другими странами в рамках интеграционных объединений.

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли (ЗСТ) между ЕАЭС и Ираном, было заключено 17 мая 2018 г. [3]. Основное отличие Временного соглашения с Ираном от соглашений о создании зон свободной торговли заключается в том, что ввозные таможенные пошлины в торговле между ЕАЭС и Ираном снижаются или устраняются только по ограниченному охвату товаров, а не практически по всей товарной номенклатуре. Цель Временного соглашения – сформировать полноценную ЗСТ между государствами – членами ЕАЭС и Ираном. Кроме данного соглашения 25 сентября 2019 г. стороны также подписали Меморандум о сотрудничестве между Деловым советом Евразийского экономического союза и Иранской палатой по торговле, промышленности, горному делу и сельскому хозяйству, в котором учреждается Бизнес-диалог ЕАЭС–Иран. Его основная цель, заявленная в Меморандуме, – выработка скоординированной позиции деловых сообществ государств-членов ЕАЭС и Исламской Республикой Иран, а также содействие развитию торгово-экономических отношений [4]. В сентябре 2021 г. страны ЕАЭС и Иран начались переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли.

Сотрудничество между Ираном и ЕАЭС развивается по трем основным направлениям: торговля, транспорт и энергетика. Основное место в отношениях между ЕАЭС и Ираном занимает торгово-экономическое сотрудничество. С момента подписания Временного соглашения товарооборот между странами союза и Ираном в 2018 г. увеличился по сравнению с 2017 г., но в 2019 г. уровень товарооборота резко снизился, что могло быть вызвано непростым периодом, связанным с действием санкций США в отношении Тегерана. А вот в 2020 г. наблюдалась положительная динамика товарооборота, что превысило аналогичный показатель 2019 г. на 18%. Несмотря на некоторые успехи в торговом сотрудничестве между двумя сторонами, доля оборота Ирана с ЕАЭС в торговом балансе в 2019 г. оставалась относительно незначительной и составляла 0,47% (для сравнения: доля Китая – 20%) [5]. Однако внешнеторговый оборот Ирана со странами ЕАЭС за пять месяцев с конца марта по август 2021 г. превысил 1,975 млрд долл., что существенно больше, чем за этот же период 2020 г. Распределение товарооборота между странами ЕАЭС и Ираном очень неравномерное, значительную долю в нем занимает Россия, а самую меньшую – Белоруссия и Киргизия. Согласно отчету, за период с конца марта по август 2021 г. Иран экспортировал товаров на сумму в Россию (222 743 000 долл.), Армению (99 683 000 долл.), Казахстан (63 677 000 долл.), Кыргызстан (26 981 000 долл.) и Беларусь (7 738 000 долл.) [6].

Вектором развития интеграционных процессов между Ираном и ЕАЭС могут стать транспортные проекты и энергоресурсные контракты. Особое значение имеет проект международного транспортного коридора (МТК) «Север–Юг», который значительно сокращает маршрут и, соответственно, транспортные расходы. МТК «Север–Юг» – трансевразийский транспортный коридор, призванный соединить Индию, Иран с Северной и Центральной Европой наиболее коротким маршрутом, обеспечит условия для расши-

рения товарооборота стран-членов и партнеров ЕАЭС [7]. Развитие международных транспортных коридоров на территории Ирана предполагает создание новой или модернизацию старой транспортной инфраструктуры.

Развитие отношений Ирана с ЕАЭС и Китаем открывает возможности для сопряжения транспортных коридоров ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс и один путь» в южном направлении. Данное сопряжение представляется возможным, так как транспортный стержень проекта «Один пояс и один путь» – Евроазиатская транспортная магистраль (ЕТМ) и ее северный, морской и южный маршруты – совпадают с евразийскими МТК «Восток–Запад» и «Север–Юг». По территории Ирана может пройти южный маршрут ЕТМ, что обеспечит выход для Китая к иранским портам Бендер-Аббас в Персидском заливе и Чабахар в Оманском заливе.

Развитие железнодорожной транспортной сети с Арменией также находится на повестке дня Ирана. Наличие общей границы между Ираном и Арменией предоставляет возможность для сотрудничества не только в транспортной сфере, но и в области электроэнергетики. Армения располагает большими ресурсами по развитию экспорта электроэнергии за пределы ЕАЭС, в частности в Иран. Развитие электроэнергетического потенциала между Ираном и Арменией связано с реализацией программы «Армения–Иран: газ в обмен на электроэнергию».

Взаимодействие Ирана с ЕАЭС в энергетической сфере создало условия для активизации деятельности ПАО «Газпром» в направлении Ирана. Наиболее перспективными проектами в газовой отрасли видится строительство завода по производству СПГ и строительство газопровода Иран–Индия (через Пакистан). Данный проект предусматривает реализацию на территории Ирана интегрированных проектов в области добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Однако в настоящее время реализация данного проекта временно остановлена по причине того, что Индия не готова подписать меморандум о сотрудничестве из-за участия в проекте Пакистана [8]. Потенциал для сотрудничества между Ираном и ЕАЭС в энергетических проектах значителен, а упрощение условий участия российских нефтегазовых компаний в проектах на территории Ирана позволит иранской стороне успешно реализовать нефтегазовый потенциал страны.

Процесс экономического сближения ЕАЭС и Ирана представляется возможным разделить на три этапа. Первый этап взаимодействия характеризуется исследованием возможности создания ЗСТ и выявлению преимуществ, которые получают обе стороны от подписания данного соглашения. На втором этапе потребуется нормативно-правовое закрепление норм и принципов торгово-экономического сотрудничества и подписание сторонами Временного соглашения о создании ЗСТ. Третий этап включает выработку дальнейшего плана действий и проведение переговоров по заключению полноформатного соглашения о создании ЗСТ.

Интенсивность сотрудничества зависит от внешних и внутренних факторов, что может привести к проблемам, усложняющим взаимодействие Ирана с ЕАЭС. Сначала рассмотрим внешние факторы.

- Восстановление санкций США в 2018 г., особенно в отношении энергетического, судоходного и финансового секторов, привело к сокращению иностранных инвестиций и удару по экспорту нефти. Санкции запрещают аме-

риканским компаниям торговать с Ираном, а также с иностранными фирмами или странами, которые имеют дело с Ираном.

- Одновременно с введением санкций против Центрального банка Ирана произошло отключение иранских банковских структур от глобальной платежной системы SWIFT [9]. В результате этого Ирану пришлось искать альтернативные способы расчетов с иностранными партнерами. И хотя сейчас Иран больше склоняется к расчетам в национальных валютах, отсутствие действенного механизма финансового обеспечения внешнеэкономической деятельности негативно сказывается на экономических отношениях с другими странами.

- В качестве внешних факторов, которые могут негативно повлиять на дальнейшую интеграцию Ирана в ЕАЭС, можно назвать напряженные отношения Ирана с арабскими странами и Израилем. Как известно, в ЕАЭС рассматривают Израиль в качестве потенциального участника торгово-экономических отношений в рамках организации [10]. Углубление интеграционных отношений с Ираном, с одной стороны и с Израилем – с другой, может вызвать противоречия и, соответственно, сказаться негативным образом на отношениях ЕАЭС с одной из стран.

- Региональные конфликты также представляют угрозу для торгово-экономических отношений Ирана. Транспортные проекты, реализуемые в регионе, проходят по территории Ирана, Армении, Азербайджана. Проектируемый железнодорожный коридор должен связать Иран и Россию через Армению и Азербайджан. Так, возобновление Нагорно-Карабахского конфликта может привести к срыву транспортных проектов.

- Выделяется проблема экономической несовместимости, которая выражается в том, что экспорт энергоносителей Ирана в страны – члены ЕАЭС имеет мало значения, так как в этом секторе доминирует исключительно Россия, и до тех пор, пока это будет наблюдаться, Иран не сможет занять свою нишу в ЕАЭС [11].

- Возможность прекращения или приостановления иностранного инвестирования транспортных проектов может существенно повлиять на сотрудничество Ирана и ЕАЭС. В реализации транспортного коридора «Север–Юг» на территории Ирана может возникнуть проблема. Индия финансирует строительство иранского глубоководного порта Чабахар на юго-востоке страны [12]. Санкции США в отношении Ирана замедлили строительства порта. Индия надеется, что при новой администрации США улучшатся отношения между Вашингтоном и Тегераном. В противном случае возникнет риск задержки инвестирования и, соответственно, заморозки проекта [13].

Существуют и внутренние факторы, которые исходят от действий руководства Ирана и могут повлиять на взаимодействие Ирана и ЕАЭС в рамках сотрудничества по Временному соглашению.

- Основой экономик Ирана, России и Казахстана остается нефтяной сектор, вследствие чего Китай может рассматриваться Ираном как более перспективное направление для экспорта нефтепродуктов.

- Возможность прекращения или приостановления иностранного инвестирования транспортных проектов может существенно повлиять на сотрудничество Ирана и ЕАЭС.

- Иран сохраняет высокие таможенные пошлины на некоторые виды товаров для защиты внутреннего рынка.

- Сохраняется низкий уровень инвестиционной привлекательности.
- Отсутствие знаний об особенностях рынков стран ЕАЭС, культурные и языковые барьеры могут отрицательно сказаться на сотрудничестве Ирана и ЕАЭС [14].

Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном предоставляют ряд возможностей помимо прямого снижения импортных пошлин. Иран не является членом Всемирной торговой организации (ВТО), однако, всем товарам ЕАЭС предоставляются базовые условия, основанные на правилах ВТО, особенно в отношении применения защитных мер, разрешительных споров и правил происхождения. Прозрачные и преференциальные условия торговли способствуют обеспечению стабильности на рынках, что естественным образом повышает доверие предпринимателей и, следовательно, создает благоприятные условия для инвестиций.

Еще одной возможностью для развития экономического сотрудничества между Ираном и Россией в рамках ЕАЭС является создание финансового и торгового хаба, который способствовал бы развитию торгово-экономических связей, облегчению финансового взаиморасчета и ведения бизнеса для предпринимателей [15. С. 189]. Одним из направлений торговой политики ЕАЭС является постепенный отказ от расчетов в долларах и переход на взаиморасчеты в национальной валюте.

Несмотря на существующее экономическое давление и ограничительные меры, направленные в сторону Исламской Республики, мы можем наблюдать позитивные сдвиги в реализации важных энергетических проектов, в том числе строительство АЭС «Бушер», объединение и расширение пропускной способности линий электропередачи (ЛЭП), а также разработку иранских нефтяных и газовых месторождений [16].

Продолжая тему транзитного потенциала Ирана, предполагается, что реализация МТК «Север–Юг» принесет Ирану ежегодный доход от 1 до 2 млрд долл. Усиление экономического участия Китая в Иране через инициативу «Один пояс и один путь» означает инвестирование со стороны Китая в те проекты, в которых западные инвесторы не хотят участвовать из-за страха попасть под санкции США [17. С. 33]. В то же время реализация транзитного потенциала Ирана через такие проекты, как коридор «Север–Юг», коридор «Персидский залив – Черное море», коридор Ашхабадского соглашения, позволит получить экономические выгоды за счет денежных сборов за транзит через свою страну [18].

Развивая транспортную инфраструктуру, Иран может стать идеальным партнером в создании новых транспортных и энергетических коридоров на Южном Кавказе. После окончания карабахской войны между Арменией и Азербайджаном Иран позитивно рассматривает предстоящее открытие транспортных и энергетических маршрутов в Россию через Нахичеванский регион Азербайджана, части Армении и Грузию.

Сопряжение ЕАЭС с китайской проектом «Один пояс и один путь» предполагает создание транспортной сети и сокращение барьеров для торговли и инвестиций, что подразумевает заключение соглашений о ЗСТ между странами Евразийского региона. Создание нормативной базы для общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов необходимо для экономик стран ЕАЭС, это поможет решить проблему «экономической несовместимости».

Заключение

В развитии отношений с ЕАЭС Иран проявляет осторожность и не стремится полностью открывать свои рынки для стран – членов данной организации. Оценивая перспективы интеграции Ирана в ЕАЭС в качестве полноправного члена, можно сказать, что сначала необходимо прийти к договоренностям о заключении полноформатного соглашения о ЗСТ, а затем уже принимать меры по адаптации части иранского законодательства к нормам ЕАЭС. Создавая и улучшая транспортно-логистическую инфраструктуру, Иран станет связующим звеном в построении международно-транспортных коридоров. Во взаимодействии ЕАЭС и Ирана будет присутствовать китайский фактор, который заключается в расширении инициативы «Один пояс и один путь» в сторону Ирана и углублении экономического сотрудничества между Ираном и Китаем. Однако данное обстоятельство выгодно обеим сторонам. Дальнейшее углубление отношений между Ираном и ЕАЭС в целом соответствует его внешнеполитическим интересам: противостоять региональным вызовам и угрозам, создавая собственную систему безопасности в данном регионе путем установления диалога с соседними странами.

Список источников

1. *Saraswat D.* Iran's Look to the East Policy 2.0: Reconciling Foreign Policy Independence and Economic Integration // Indian Council of World Affairs. 30 October 2018. URL: https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=4823&lid=2826 (accessed: 18.10.2021).
2. *The 20-Year National Vision of the Islamic Republic of Iran for the dawn of the Solar Calendar Year 1404 [2025 C.E.]* // Iran Data Portal. URL: <https://irandataportal.syr.edu/20-year-national-vision> (accessed: 30.03.21).
3. *Interim Agreement* leading to formation of a free trade area between the Eurasian Economic Union and its Member States, of the one part, and the Islamic Republic of Iran, of the other part. May 17, 2018. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/Interim%20Agreement%20EAEU-Iran_final.pdf (accessed: 22.02.2021).
4. *Memorandum* between Business Council of the Eurasian Economic Union and the Iran Chamber of URL:Commerce, Industries, Mines and Agriculture. September 25, 2019. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%d0%98%d1%80%d0%b0%d0%bd/%d0%9c%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%bc%20%d0%b0%d0%bd%d0%b3.pdf (accessed: 22.02.2021).
5. *Внешняя торговля ЕАЭС по странам за 2019–2020 гг.* // Евразийская экономическая комиссия. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2020/12/E202012_2_1.pdf (дата обращения: 05.04.2021).
6. *Товарооборот Ирана и ЕАЭС достиг двух миллиардов долларов* // URL: https://www.iran.ru/news/economics/118855/Tovarooborot_Irana_i_EAES_dostig_dvuh_milliardov_dollarov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 22.02.2021)
7. *Smagin N.* EAEU – Iran Trade and Its Prospects. April 6, 2021. URL: <https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/eaau-iran-trade-and-its-prospects/> (accessed: 24.10.21).
8. *Евразийские транспортные коридоры: текущий статус и перспективы* // Всероссийская академия внешней торговли. 2019. URL: <https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%90%D0%92%D0%A2-%D0%A6%D0%AD%D0%98.pdf> (дата обращения: 05.04.2021).
9. *Индия не готова подписать меморандум по газопроводу из-за Пакистана* // РИА Новости. 15.01.2020 . URL: <https://ria.ru/20200115/1563432843.html> (дата обращения: 05.04.2021).
10. *COUNCIL REGULATION (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EU) No 961/2010* // Official Journal of the European Union. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:088:0001:0112:EN:PDF> (accessed: 13.04.2021).

11. Micovic N. Iran wants to join the Eurasian Economic Union – but will Russia allow it? // ArabNews. February 26, 2021. URL: <https://www.arabnews.com/node/1816451> (accessed: 10.04.2021).
12. Lim K. Iran's Eurasia Wager // The Washington Institute for Near East Policy. April 20, 2020. URL: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-eurasian-wager> (accessed: 10.04.2021).
13. Vatanka A. Russia, Iran and economic integration on the Caspian // Middle East Institute. August 17, 2020. URL: <https://www.mei.edu/publications/russia-iran-and-economic-integration-caspian> (accessed: 11.04.2021).
14. Kumar M., Verma N. India likely to start full operations at Iran's Chabahar port by May end // Reuters. March, 2021. URL: <https://www.reuters.com/article/india-iran-ports-int-idUSKBN2AX1DK> (accessed: 11.04.2021).
15. Расулинежад Э., Орлова О.Г. Торгово-экономическая интеграция Евразийского экономического союза и Исламской Республики Иран как направление международной деятельности ЕАЭС // Московский экономический журнал. 2020. № 10. С. 189. doi 10.24411/2413-046X-2020-10699
16. Иран рассчитывает на продолжение регионального сотрудничества с Россией // ТАСС. 9 февраля 2021. URL: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10660745> (дата обращения: 12.04.2021).
17. Барари Х., Зеленева И.В. Возможности российско-иранского сотрудничества в энергетической сфере // Вестник Забайкальского государственного университета. 2020. № 10. С. 28–35. doi: 10.21209/2227-9245-2020-26-10-28-35
18. Azizi H. Iran and the Eurasian Transport Initiatives: Short-term Challenges, Long-term Opportunities // The Institute for Iran-Eurasia Studies. February 21, 2019. URL: <http://iraneurasia.ir/en/doc/article/3812/iran-and-the-eurasian-transport-initiatives-short-term-challenges-long-opportunities> (accessed: 18.10.2021).

Reference

1. Saraswat, D. (2018) Iran's Look to the East Policy 2.0: Reconciling Foreign Policy Independence and Economic Integration. *Indian Council of World Affairs*. 30th October. [Online] Available from: https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=3&ls_id=4823&lid=2826 (Accessed: 18th October 2021).
2. Iran Data Portal. (n.d.) *The 20-Year National Vision of the Islamic Republic of Iran for the dawn of the Solar Calendar Year 1404 (2025 C.E.)*. [Online] Available from: <https://irandataportal.syr.edu/20-year-national-vision2826> (Accessed: 30th March 2021).
3. Eurasiancommission. (2018) Interim Agreement leading to formation of a free trade area between the Eurasian Economic Union and its Member States, of the one part, and the Islamic Republic of Iran, of the other part. 17th May. [Online] Available from: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/Interim%20Agreement%20EAEU-Iran_final.pdf (Accessed: 22nd February 2021).
4. Eurasiancommission. (2019) *Memorandum between Business Council of the Eurasian Economic Union and the Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture*. 25th September. [Online] Available from: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/%d0%98%d1%80%d0%b0%d0%bd/%d0%9c%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd/%d0%b4%d1%83%d0%bc%20%d0%b0%d0%bd/%d0%b3.pdf (Accessed: 22nd February 2021).
5. Eurasiancommission. (2020) *Vneshnyaya trgovlya EAES po stranam za 2019–2020* [Foreign trade of the EAEU by countries for 2019–2020]. [Online] Available from: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Documents/2020/12/E202012_2_1.pdf (Accessed: 5th April 2021).
6. Iran.ru (2021) *Tovarooborot Irana i EAES dostig dvukh milliardov dollarov* [The trade turnover between Iran and the EAEU reached two billion dollars]. [Online] Available from: https://www.iran.ru/news/economics/118855/Tovarooborot_Irana_i_EAES_dostig_dvuh_milliardov_dollarov?utm_source=ayxnews&utm_medium=desktop (Accessed: 22nd February 2021).
7. Smagin, N. (2021) *EAEU–Iran Trade and Its Prospects*. 6th April. [Online] Available from: <https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/eaue-iran-trade-and-its-prospects/> (Accessed: 24th October 2021)
8. All-Russian Academy of Foreign Trade. (2019) *Evraziyskie transportnye koridory: tekushchiy status i perspektivy* [Eurasian transport corridors: current status and prospects]. [Online] Available from: <https://www.vavt-imef.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%>

D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%90%D0%92%D0%A2-%D0%A6%D0%AD%D0%98.pdf (Accessed: 5th April 2021).

9. RIA Novosti. (2020) *Indiya ne gotova podpisat' memorandum po gazoprovodu iz-za Pakistana* [India is not ready to sign a memorandum on the gas pipeline because of Pakistan]. 15th January. [Online] Available from: <https://ria.ru/20200115/1563432843.html> (Accessed: 5th April 2021).

10. EU. (2012) COUNCIL REGULATION (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EU) No 961/2010. *Official Journal of the European Union*. [Online] Available from: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:088:0001:0112:EN:PDF> (Accessed: 13th April 2021).

11. Micovic, N. (2021) Iran wants to join the Eurasian Economic Union – but will Russia allow it? *ArabNews*. 26th February. [Online] Available from: <https://www.arabnews.com/node/1816451> (Accessed: 10th April 2021)

12. Lim, K. (2020) *Iran's Eurasia Wager*. 20th April. [Online] Available from: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/irans-eurasian-wager> (Accessed: 10th April 2021).

13. Vatanka, A. (2020) *Russia, Iran and economic integration on the Caspian*. 17th August. [Online] Available from: <https://www.mei.edu/publications/russia-iran-and-economic-integration-caspian> (Accessed: 11th April 2021).

14. Kumar, M. & Verma, N. (2021) *India likely to start full operations at Iran's Chabahar port by May end*. [Online] Available from: <https://www.reuters.com/article/india-iran-ports-int-idUSKBN2AX1DK> (Accessed: 11.04.21).

15. Rasulinezhad, E. & Orlova, O.G. (2020) Trade and economic integration of the Eurasian economic union and the Islamic Republic of Iran as an area of international activity of the EAEU. *Moskovskiy ekonomicheskij zhurnal – Moscow Economic Journal*. 10. pp. 172–194. DOI 10.24411/2413-046X-2020-10699

16. TASS. (2021) *Iran rasschityvaet na prodolzhenie regional'nogo sotrudnichestva s Rossiei* [Iran counts on continued regional cooperation with Russia]. 9th February. [Online] Available from: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10660745> (Accessed: 12th April 2021).

17. Barari, Kh. & Zeleneva, I.V. (2020) Russian-Iranian prospects for cooperation in the energy sector. *Vestnik Zabaykal'skogo gosudarstvennogo universiteta*. 10. pp. 28–35. DOI: 10.21209/2227-9245-2020-26-10-28-35

18. Azizi, H. (2019) *Iran and the Eurasian Transport Initiatives: Short-term Challenges, Long-term Opportunities*. 21st February. [Online] Available from: <http://iraneurasia.ir/en/doc/article/3812/iran-and-the-eurasian-transport-initiatives-short-term-challenges-long-opportunities> (Accessed: 18th October 2021).

Сведения об авторе:

Зеленева И.В. – доктор исторических наук, кандидат политических наук, профессор кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия).

E-mail: irina_zeleneva@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Zeleneva I.V., Dr. Sci. (History), Cand. Sci. (Political Science), professor of the Department of World Politics, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation).

E-mail: Irina_zeleneva@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11.03.2022;
одобрена после рецензирования 05.05.2022; принята к публикации 11.07.2022

The article was submitted 11.03.2022;
approved after reviewing 05.05.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научная статья

УДК 323.2

doi: 10.17223/1998863X/67/14

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫБОРАМИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Оксана Сергеевна Морозова

*Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Рязань, Россия,
ok.morozova@365.rsu.edu.ru*

Аннотация. Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное воздействие на процесс организации и проведения выборов во всем мире. Трансформации подверглось и наблюдение за выборами. Наблюдение за выборами, осуществляемое ранее силами внутренних наблюдателей и международных мониторинговых миссий, начиная с весны 2020 г. претерпевает существенные изменения. Актуализируется дискуссия о необходимости и целесообразности наблюдения за выборами.

Ключевые слова: выборы, наблюдение, пандемия COVID-19

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ (проект № 21-011-31777 «Трансформация института выборов в период пандемии COVID-19: от временных мер до перспективных новаций»).

Для цитирования: Морозова О.С. Наблюдение за выборами в условиях пандемии: новая реальность // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 149–158. doi: 10.17223/1998863X/67/14

Original article

ELECTION OBSERVATION IN A PANDEMIC: A NEW REALITY

Oksana S. Morozova

*Ryazan State University named after S.A. Yesenin, Ryazan, Russian Federation,
ok.morozova@365.rsu.edu.ru*

Abstract. In modern reality, the COVID-19 pandemic has radically affected all spheres of public life, including electoral technologies and processes. It also became urgent to review the significance of certain electoral institutions and processes, which by now were already perceived as integral, and their existence was considered unshakable. We are talking, first of all, about election observation. Research by Susan Hyde and Judith Kelly was among the first attempts to systematize and quantify the impact of international observers on the quality of elections. The authors proved that the presence of international observers can reduce the number of violations of electoral legislation, although only on the election day and not in all cases the same. Whether their presence has any long-term consequences has not yet been clearly determined. The starting point for increasing criticism of the role of international surveillance was the election in Kenya in 2017. Questions remain relevant: If election monitoring is limited to short-term effects, is this enough to justify the costs of this practice? Where should observers go, because today not only developing democracies are struggling with uncertainty about the quality of elections? The COVID-19 pandemic has exacerbated the previously emerging crisis phenomena in international election observation: a change in standards from the promotion of democracy to “worldcracy”; the bias of international organizations and the difference in their strategic interests; lagging behind the use of new technologies, including monitoring of social networks; dominance over local observers; and

the contradiction of the conclusions of individual election observation missions to court decisions. International election monitoring, in addition to solving the above-mentioned problems, must adapt to the new conditions associated with COVID-19. This adaptation should include the development and active implementation of election observation guidelines during COVID-19. In the long term, the sustainability of election observation depends on the institutional strengthening of observer groups formed by NGOs within countries. International missions need to gradually resort to the wider use of online technologies in election observation. For the full use of the potential of international observers, priority should be given to sending not short-term, but long-term monitoring missions. Follow-up missions between elections are also crucial to ensure the implementation of the observers' recommendations.

Keywords: elections, surveillance, COVID-19 pandemic

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research and the Social Research Expert Institute, Project No. 21-011-31777.

For citation: Morozova, O.S. (2022) Election observation in a pandemic: a new reality. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* – *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 149–158. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/14

Актуальность исследования и определение проблемы

Постановка вопросов, связанных с организацией и проведением выборов, актуальна все то время, что существует этот демократический институт [1. С. 151]. В современной реальности пандемия COVID-19 радикальным образом повлияла на все сферы общественной жизни, в том числе и на избирательные технологии и процессы. Как никогда ранее новации в сфере выборов не разрабатывались в таком спешном порядке и не внедрялись настолько быстро и массово, как в 2020–2021 гг. Угроза здоровью и жизни населения создала беспрецедентные требования к организации масштабных кампаний, в том числе и политических, к которым относятся, прежде всего, выборы. Пандемия обозначила наиболее проблемные аспекты в подготовке и проведении голосования в условиях реальной угрозы здоровью населения [2. С. 119].

Также стала актуальной необходимость пересмотра значимости тех или иных избирательных институтов и процессов, которые к настоящему времени воспринимались уже как неотъемлемые, а их существование считалось незыблемым. Речь идет, прежде всего, о наблюдении за выборами.

Южная Корея, организовав проведение голосования в разгар эпидемиологической неопределенности в апреле 2020 г. и полностью отказавшись от всех традиционных форм наблюдения за выборами, как со стороны международных мониторинговых миссий, так и силами внутрисударственных наблюдателей, и предложив отслеживать всем желающим онлайн-трансляции голосования на платформе YouTube, положила тем самым начало дискуссии о том, а так ли действительно необходимо присутствие наблюдателей на избирательных участках в день выборов [3. С. 352].

Анализ избирательных кампаний, проводившихся с марта 2020 г. по ноябрь 2021 г., дает представление о том, как складывалась практика участия наблюдателей за выборами в тех странах, которые либо в установленные сроки, либо с переносом, но все же провели выборы. Методологически исследование основано на неоинституциональном подходе. Задачи изучения избирательных институтов в их комплексном взаимодействии, а также понимания трансформации этих институтов являются значимыми для выявления

особенностей современного избирательного процесса и возможных трендов в его развитии.

Наблюдение за выборами: исследовательский анализ

Наблюдение за выборами имеет относительно недолгую историю. С начала 1990-х гг., когда распался Советский Союз и «третья волна» демократии прокатилась по всему миру, эта практика превратилась в «глобальную норму» [4]. Благодаря относительно низким затратам и вновь проявившему интересу западных правительств к «продвижению демократии», она быстро набрала популярность. С середины 2000-х гг. от 70 до 80% всех национальных выборов принимали миссии международных наблюдателей [5]. Наблюдение, по оценке Дж. Келли, превратилось в «индустрию мониторинга» [6. Р. 9].

Когда в 1990-е гг. международное наблюдение за выборами стало стандартной процедурой, о его последствиях практически ничего не было известно. Это вызвало первую волну критики в научной среде, ознаменовавшуюся тем, что Т. Карозес в 1997 г. назвал наблюдателей за выборами «прославленными туристами», стремящимися «вернуться домой и рассказать коллегам о своих экзотических впечатлениях из чужих миров авторитаризма». Однако его главная мысль заключалась в том, что наблюдение за выборами было скорее показным, чем содержательным [7].

К концу 1990-х гг. крупные исследования по наблюдению за выборами все еще отсутствовали, за исключением статей, которые в значительной степени предполагали, а не проверяли его эффективность [8–10], и некоторых тематических исследований на уровне отдельных стран [11].

В начале 2000-х гг. изучение наблюдения за выборами стало вестись более активно. Так, Э. Бьорклунд подробно рассмотрел этот вопрос в формате книги «За пределами свободы и справедливости: наблюдение за выборами», хотя его анализ опирался на ограниченный набор тематических исследований [12]. Некоторые специалисты по-прежнему ставили под сомнение значимость миссий по наблюдению, часто основанных на единичном опыте [13], в то время как другие авторы продолжали указывать на наблюдение как «на силу добра» – в основном без предоставления каких-либо доказательств этого (например, С. Левицкий, Л. Уэй, Д. Кэлингерт) [14, 15].

В исследованиях 1990-х – начала 2000-х гг. утверждалось, что если наблюдатели за выборами выступают с позитивными заявлениями о голосовании, избиратели часто испытывают больше доверия к избирательным процедурам (см. уже упомянутую работу Э. Бьорклунда). Однако когда наблюдатели за выборами выкладывают негативные заявления о прошедшем голосовании, было показано, что они прямо коррелируют с протестами и насилием после выборов [16, 17].

С 2010 г. в некоторых исследованиях оценивались последствия мониторинга выборов. В частности, хотя и с различными оговорками, был сделан вывод о том, что международные наблюдатели могут, по крайней мере в некоторой степени, выявлять, а также и предотвращать нарушения на выборах (об этом писали С. Хайд и Дж. Келли); поощрять участие оппозиционных партий (Дж. Келли); в ряде случаев повысить качество будущих выборов (Д. Донно) [18].

Исследования С. Хайд и Дж. Келли были одной из первых попыток систематически и количественно оценить влияние международных наблюдателей на качество выборов. Сравнивая наблюдаемые и ненаблюдаемые выборы, Дж. Келли подчеркнула, что «наблюдаемые выборы с меньшей вероятностью будут сопровождаться фальсификациями по сравнению с ненаблюдаемыми» [19]. Таким образом, она обнаружила значительную взаимосвязь между присутствием международных наблюдателей и качеством выборов. С. Хайд подкрепила этот аргумент дополнительной аргументацией, показав, что действующая власть с большей вероятностью проиграет выборы, если осуществляется наблюдение за выборами. В свою очередь, Э. Бьорклунд утверждает, что «наблюдатели за выборами часто опасно поверхностны». Э. Боле и С. Хайд нашли доказательства того, что присутствие наблюдателей увеличивает вероятность бойкотов со стороны оппозиции [20].

Что касается долгосрочных последствий наблюдения за выборами, то исследований, посвященных этому, гораздо меньше. Согласно данным Дж. Келли, полученным в результате изучения избирательной практики, только в одной четверти наблюдаются признаки долгосрочных улучшений и, кроме того, их трудно отнести исключительно к деятельности международных наблюдателей. Половина стран с течением времени практически не улучшили качество выборов или вообще не улучшили его, и большинство, похоже, игнорировало рекомендации наблюдателей [19]. Д. Донно в своем исследовании обнаружила, что наблюдатели за выборами могут оказывать долгосрочное влияние на качество выборов, но только в том случае, если они выдвигают какие-либо условия [18. Р. 104].

Таким образом, представляется, что присутствие международных наблюдателей может снизить количество нарушений избирательного законодательства, хотя и только в день выборов и не во всех случаях одинаково. Имеет ли их присутствие какие-либо долгосрочные последствия, до сих пор однозначно не определено.

Международные наблюдатели за выборами не влияют на концептуальный аспект выборов, касающийся распределения власти, но они влияют на ее легитимность. Можно согласиться с позицией Л. Даймонда, который рассматривает «мониторинг выборов как усилие, которое может либо подтвердить, либо опровергнуть легитимность результатов выборов». Таким образом, «в то время как роль выборов состоит в том, чтобы распределить власть, задача наблюдателей за выборами состоит в том, чтобы вмешиваться в этот процесс, добиваясь легитимности избранной власти» [21. Р. 10].

Критика наблюдения за выборами

Отправной точкой для усиления критики в отношении роли международного наблюдения стали выборы в Кении в 2017 г. (известный случай, когда миссии наблюдателей не обнаружили серьезных нарушений, а Верховный суд признал итоги выборов недействительными).

В одной из работ, посвященных анализу этой избирательной кампании, автор приходит к выводу, «что многовекторная дипломатия эффективна в мониторинге президентских выборов в Кении, но неэффективна в предотвращении и сдерживании фальсификаций результатов выборов» [22. Р. 90]. Сам факт того, что решение судебной власти вступило в противоречие с ре-

золюцией международных наблюдателей, подорвало доверие международному наблюдению за выборами. Это пример того, когда международные наблюдатели потворствовали «мирократии» в ущерб демократии, поскольку Содружество и Африканский Соз (АС) опасались ввергнуть Кению в политическую бездну жестокого конфликта.

Но здесь проявляется еще одна проблема. Несмотря на официальные требования к миссиям, наблюдатели не только учитывают качество выборов; их оценки также отражают интересы государств или доноров, их направивших, а также другие косвенные организационные нормы. В одном из последних исследований на эту тему ставится задача выявления различий в работе межправительственных и неправительственных организаций в сфере выборов [23. Р. 768].

Искусственное разделение между международными наблюдателями и местными группами гражданских наблюдателей является еще одним элементом, который характеризует кризис наблюдения за выборами в настоящее время. Внутренний мониторинг часто включает создание и развитие значимых местных организаций, которые остаются на своих местах после завершения выборов, используя свои навыки для гражданского просвещения и других продемократических начинаний, что резко контрастирует с характером «сегодня здесь, завтра уже нет» иностранных наблюдателей. А наблюдатели из числа активистов неправительственных организаций (НПО) могут дать гораздо больше «окупаемости», чем иностранные группы, учитывая, что их расходы на проезд, проживание и прочие траты намного ниже (см. вышеуказанную работу Т. Карозерса).

Еще одним направлением критики в адрес международного наблюдения за выборами является то, что с момента своего создания и по настоящее время миссии наблюдателей не адаптировались к высокотехнологичным новациям. Международные наблюдатели за выборами еще не разработали инструменты и методологию для мониторинга информационных и коммуникационных технологий, включая социальные сети и оценку их влияния на выборы [24].

Усилившаяся критика опирается также и на аргументы, связанные с тем, что ряд стран вообще игнорирует международное наблюдение на выборах. Так, Малайзия не приглашала международные организации по наблюдению за выборами ни на какие из своих всеобщих выборов с 1990 г. и поэтому причисляется к числу тех государств, которые бросают вызов этой международной норме. По мнению М. Исмаила и Н. Нура, благодаря отсутствию зависимости от иностранной помощи и полуавторитарному режиму властям удастся успешно противостоять требованиям присутствия международных наблюдателей. Перспективы их появления были еще более сокращены, начиная с принятия национальной Избирательной комиссией в 2013 г. «программы избирательных визитов», предложенной для компенсации отсутствия международных миссий [25].

Влияние пандемии COVID-19 на наблюдение за выборами

Начало пандемии COVID-19 усугубило кризис международного наблюдения за выборами. Реакция стран в отношении запланированных на 2020 г. выборов была отмечена двумя тенденциями: проведение голосования в за-

планированные сроки или его перенос. И в тех и других случаях перед организациями, традиционно осуществляющими наблюдение за выборами, пандемия обозначила шесть вызовов.

Во-первых, организациям оказалось сложно мобилизовать наблюдателей для развертывания во время выборов в других странах из-за опасений заразиться COVID-19. Международные организации намеренно решили приостановить развертывание мониторинговых миссий, опасаясь возможного заражения COVID-19 или возможного распространения вируса через наблюдателей, которые могут быть инфицированы, но течение их болезни бессимптомно. Так было в первой половине 2020 г. Лишь во второй половине года некоторые международные организации, в частности АС и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, начали направлять наблюдателей на выборы.

Во-вторых, в некоторых случаях международные организации не могли разместить наблюдателей из-за мер изоляции, связанных с COVID-19, в странах, где проводились выборы. Учитывая строгие меры безопасности, большинство стран, планировавших проведение выборов, определили, что все наблюдатели будут помещены в карантин на 14 дней по прибытии. Это было одной из причин отсутствия международных наблюдателей на выборах в Бурунди, Малави и Сейшельских островах. К этой проблеме добавилось требование, чтобы наблюдатели проходили тесты на COVID-19.

В-третьих, опыт выборов, проведенных в последнем квартале 2020 г. – начале 2021 г., указывает на возможность того, что традиция развертывания многочисленных по составу мониторинговых миссий может уйти в прошлое. Так, если оценить выборы в Африке, то большинство из них в этот период прошли в Западной Африке, и АС, и Экономическое сообщество западноафриканских государств развернули миссии меньшего размера, чем обычно, из-за опасений, что наблюдатели заразятся COVID-19. Также и в других регионах количество миссий наблюдателей было относительно небольшим, как, например, в Танзании (октябрь 2020 г.) и Центральноафриканской Республике (декабрь 2020 г.).

В-четвертых, международным организациям, занимающимся наблюдением за выборами, пришлось в спешном порядке разрабатывать руководящие принципы, касающиеся проведения выборов в период пандемии COVID-19. Первой в выработке рекомендаций непосредственно для наблюдателей стала ANFREL (Азиатская сеть за свободные выборы). Руководящие принципы Организации Объединенных Наций в большей степени ориентированы на помощь в проведении выборов, в то время как рекомендации, к примеру Содружества Наций и АС, являются всеобъемлющими, включая элементы, касающиеся наблюдения за выборами.

В-пятых, ограничения, вызванные распространением COVID-19, усложнили задачу проведения наблюдения за выборами. Международные организации, у которых есть подразделения, занимающиеся наблюдением за выборами, были вынуждены перевести многие из своих мероприятий в онлайн из-за пандемии [26].

В-шестых, пандемия привела к быстрому расширению применения либо внедрению в избирательную практику альтернативных видов голосования: по почте, дистанционно в электронном виде и пр. Соответственно, подобные новации требуют дополнительной подготовки членов мониторинговых миссий.

Заключение

Можно согласиться с И.Б. Борисовым и А.В. Игнатовым в том, что «институт международного наблюдения за выборами, являющийся в настоящее время неотъемлемым элементом демократических выборов, мог бы оказывать более эффективное содействие реализации избирательных прав граждан, имплементации международных обязательств государств и международных избирательных стандартов, в случае более полной реализации принципа верховенства права, открытости наблюдения и учета национальных особенностей развития народов и государств» [27. С. 12].

Остаются актуальными вопросы: если мониторинг выборов ограничивается краткосрочными эффектами, достаточно ли этого, чтобы оправдать затраты на эту практику? Куда должны направляться наблюдатели, поскольку сегодня не только развивающиеся демократии борются с неопределенностью в отношении качества выборов.

Пандемия COVID-19 усугубила ранее появившиеся кризисные явления в международном наблюдении за выборами: изменение стандартов от продвижения демократии до «мирократии»; предвзятость международных организаций и различие их стратегических интересов; отставание от использования новых технологий, включая мониторинг социальных сетей; доминирование над местными наблюдателями; противоречие выводов отдельных миссий по наблюдению за выборами решениям судов.

Международное наблюдение за выборами, помимо решения вышеозначенных проблем, должно адаптироваться к новым условиям, связанным с COVID-19. Эта адаптация должна включать разработку и активное внедрение руководств по наблюдению за выборами во время COVID-19. В долгосрочной перспективе устойчивость наблюдения за выборами зависит от институционального укрепления групп наблюдателей, сформированных НПО внутри стран.

Международным миссиям необходимо постепенно прибегать к более широкому использованию онлайн-технологий при наблюдении за выборами. Для полноценного использования потенциала международных наблюдателей приоритет должен отдаваться направлению не краткосрочных, а долгосрочных мониторинговых миссий. Последующие миссии в период между выборами также имеют решающее значение для обеспечения выполнения рекомендаций наблюдателей за выборами.

Список источников

1. Гришин Н.В. Политика государств в отношении международного наблюдения за выборами // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. 2021. Т. 17. № 2. С. 150–162. doi: 10.21638/spur23.2021.203
2. Морозова О.С. Международное наблюдение на выборах в условиях пандемии // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2020. № 3 (64). С. 118–124.
3. Морозова О.С. «Кодекс поведения при COVID-19 для наблюдателей на выборах»: рекомендации ANFREL в условиях пандемии // Политическое представительство и публичная власть: трансформационные вызовы и перспективы : материалы ежегодной Всерос. науч. конф. с междунар. участием / под ред. О.В. Гаман-Голутвиной, Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. 2020. С. 352–353.
4. Hyde S. Catch us if you can: Election monitoring and international norm diffusion // American Journal of Political Science. 2011. № 55 (2). P. 356–369.
5. Hyde S. The Pseudo-Democrat's Dilemma: Why Election Observation Became an International Norm // Cornell University Press. 2011. 248 p.

6. Kelley J. Monitoring Democracy: When International Election Observation Works, and Why It Often Fails. Princeton. 2012. 336 p.
7. Carothers T. The observers observed // Journal of Democracy. 1997. № 8 (3). P. 17–31.
8. McCoy J., Garber L., Pastor R.A. Pollwatching and peacemaking // Journal of Democracy 2 (4). 1991. P. 102–114.
9. Franck T.M. The emerging right to democratic governance // The American Journal of International Law. 1992. Vol. 86 (1). P. 46–91.
10. Garber L., Cowan G. The virtues of parallel vote tabulations // Journal of Democracy. 1993. Vol. 4(2). P. 95–107.
11. Sives A. Free and fair? Monitoring elections in Jamaica // Representation. 1999. Vol. 36 (4). P. 315–324.
12. Bjorklund E. Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy. Washington, D.C. 2004. 383 p.
13. Laakso L. The politics of international election observation: The case of Zimbabwe in 2000 // Journal of Modern African Studies. 2002. Vol. 40 (3). P. 437–464.
14. Levitsky S., Way L. International linkage and democratization // Journal of Democracy. 2005. Vol. 16 (3). P. 20–34.
15. Calingaert D. Election rigging and how to fight it // Journal of Democracy. 2006. Vol. 17 (3). P. 138–151.
16. Hyde S.D., Marinov N. Information and self-enforcing democracy: The role of international election observation // International Organization. 2014. Vol. 68 (2). P. 329–359.
17. Daxecker U.E., Schneider G. Electoral observers: The implications of multiple monitors for electoral integrity // eds. P. Norris, R.W. Frank, F. Martinez i Coma. Advancing Electoral Integrity. Chap. 5. 2014. P. 73–93.
18. Donno D. Defending Democratic Norms: International Actors and the Politics of Electoral Misconduct. Oxford: Oxford University Press Online. 2013. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199991280.001.0001
19. Kelley J. Do international election monitors increase or decrease opposition boycotts? // Comparative Political Studies. 2011. Vol. 44 (11). P. 1527–1556.
20. Beaulieu E., Hyde S.D. In the shadow of democracy promotion: Strategic manipulation, international observers, and election boycotts // Comparative Political Studies. 2009. Vol. 42 (3). P. 392–415.
21. Diamond L. Rethinking civil society: Toward democratic consolidation // Journal of Democracy. 1994. Vol. 5 (3). P. 4–17.
22. Odhiambo E.O.S., Sanmac D.O.O., Okoth P.G. Effectiveness of Multitrack Diplomacy Actors in Critical Assessment of Kenya's Presidential Election Outcomes, 2007–2017 // Journal of Political Science and International Relations. 2021. Vol. 3. P. 83–95
23. Kelly J. D-minus elections: The politics and norms of international election observation // International Organizations. 2009. № 63. P. 765–787.
24. Shayo D.P. Citizen Participation in Local Government Elections in the Age of Crowdsourcing: Explorations and Considerations in Tanzania // SSRN Electronic Journal. 2021.
25. Ismail M.T., Noor N.M. Resisting International Election Observation Through Election Visit Programmes: The Case of Malaysia // Journal of Current Southeast Asian Affairs. 2020. № 39 (1). doi: 10.1177/1868103420930022
26. COVID-19 travel restrictions are adding to the growing pressure on observer missions to prove their worth. URL: <https://issafrica.org/iss-today/election-observation-in-africa-put-to-the-test> (accessed: 20.11.2021).
27. Борисов И.Б., Игнатов А.В. Международное наблюдение на выборах: проблемы институализации // Представительная власть – XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2021. № 4 (187). С. 12–16.

References

1. Grishin, N.V. (2021) Policies of states towards international election observation. *Politicheskaya ekspertiza: POLITEKS – Political expertise: POLITEX*. 17(2). pp. 150–162. (In Russian). DOI: 10.21638/spur23.2021.203
2. Morozova, O.S. (2020) International election observation during the pandemic. *Kaspiyskiy region: politika, ekonomika, kul'tura – The Caspian Region: Politics, Economy, Culture*. 3(64). pp. 118–124. (In Russian).

3. Morozova, O.S. (2020) "Kodeks povedeniya pri COVID-19 dlya nablyudateley na vyborakh": rekomendatsii ANFREL v usloviyakh pandemii [The COVID-19 Code of Conduct for election observers: ANFREL recommendations in a pandemic]. In: Gaman-Golutvina, O.V., Smorgunov, L.V. & Timofeeva, L.N. (eds) *Politicheskoe predstavitel'stvo i publichnaya vlast': transformatsionnye vyzovy i perspektivy* [Political Representation and Public Authority: Transformational Challenges and Prospects]. Moscow: MPSU. pp. 352–353.
4. Hyde, S. (2011a) Catch us if you can: Election monitoring and international norm diffusion. *American Journal of Political Science*. 55(2) pp. 356–369. DOI: 10.1111/j.1540-5907.2011.00508.x
5. Hyde, S. (2011b) *The Pseudo-Democrat's Dilemma: Why Election Observation Became an International Norm*. Cornell University Press.
6. Kelley, J. (2012) *Monitoring Democracy: When International Election Observation Works, and Why It Often Fails*. Princeton.
7. Carothers, T. (1997) The observers observed. *Journal of Democracy*. 8(3). pp. 17–31.
8. McCoy, J., Garber, L. & Pastor, R.A. (1991) Pollwatching and peacemaking. *Journal of Democracy*. 2(4). pp. 102–114.
9. Franck, T.M. (1992) The emerging right to democratic governance. *The American Journal of International Law*. 86(1). pp. 46–91. DOI: 10.2307/2203138
10. Garber, L. & Cowan, G. (1993) The virtues of parallel vote tabulations. *Journal of Democracy*. 4(2). pp. 95–107. DOI: 10.1353/jod.1993.0024
11. Sives, A. (1999) Free and fair? Monitoring elections in Jamaica. *Representation*. 36(4). pp. 315–324. DOI: 10.1080/00344899908523101
12. Bjorklund, E. (2004) *Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy*. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press; Johns Hopkins University Press.
13. Laakso, L. (2002) The politics of international election observation: The case of Zimbabwe in 2000. *Journal of Modern African Studies*. 40(3). pp. 437–464. DOI: 10.1017/S0022278X02003993
14. Levitsky, S. & Way, L. (2005) International linkage and democratization. *Journal of Democracy*. 16(3). pp. 20–34. DOI: 10.1353/jod.2005.0048
15. Calingaert, D. (2006) Election rigging and how to fight it. *Journal of Democracy*. 17(3). pp. 138–151. DOI: 10.1353/jod.2006.0043
16. Hyde, S.D. & Marinov, N. (2014) Information and self-enforcing democracy: The role of international election observation. *International Organization*. 68(2). pp. 329–359. DOI: 10.1017/S0020818313000465
17. Daxecker, U.E. & Schneider, G. (2014) Electoral observers: The implications of multiple monitors for electoral integrity. In: Norris, P., Frank, R.W. & Martinez i Coma, F. (eds) *Advancing Electoral Integrity*. Oxford University Press. pp. 73–93.
18. Donno, D. (2013) *Defending Democratic Norms: International Actors and the Politics of Electoral Misconduct*. Oxford: Oxford University Press Online. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199991280.001.0001
19. Kelley, J. (2011) Do international election monitors increase or decrease opposition boycotts? *Comparative Political Studies*. 44(11). pp. 1527–1556. DOI: 10.1177/0010414011399885
20. Beaulieu, E. & Hyde, S.D. (2009) In the shadow of democracy promotion: Strategic manipulation, international observers, and election boycotts. *Comparative Political Studies*. 42(3). pp. 392–415. DOI: 10.1177/0010414008325571
21. Diamond, L. (1994) Rethinking civil society: Toward democratic consolidation. *Journal of Democracy*. 5(3). pp. 4–17. DOI: 10.1353/jod.1994.0041
22. Odhiambo, E.O.S., Sanmac, D.O.O. & Okoth, P.G. (2021) Effectiveness of Multitrack Diplomacy Actors in Critical Assessment of Kenya's Presidential Election Outcomes, 2007–2017. *Journal of Political Science and International Relations*. 3. pp. 83–95. DOI: 10.11648/j.jpisr.20210403.13
23. Kelly, J. (2009) D-minus elections: The politics and norms of international election observation. *International Organizations*. 63 pp.765–787.
24. Shayo, D.P. (2021) Citizen Participation in Local Government Elections in the Age of Crowdsourcing: Explorations and Considerations in Tanzania. *Program on Governance and Local Development Working Paper*. 47. DOI: 10.2139/ssrn.3871844
25. Ismail, M.T. & Noor, N.M. (2020) Resisting International Election Observation Through Election Visit Programmed: The Case of Malaysia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. 39(1). DOI: 10.1177/1868103420930022
26. Louw-Vaudran, L. (2020) *COVID-19 travel restrictions are adding to the growing pressure on observer missions to prove their worth*. [Online] Available from: <https://issafrica.org/iss-today/election-observation-in-africa-put-to-the-test> (Accessed: 20th November 2021).

27. Borisov, I.B. & Ignatov, A.V. (2021) Mezhdunarodnoe nablyudenie na vyborah: problemy institutionalizatsii [International election observation: problems of institutionalization]. *Predstavitel'naya vlast' – XXI vek: zakonodatel'stvo, kommentarii, problem – Representative power – 21st century*. 4(187). pp. 12–16.

Сведения об авторе:

Морозова О.С. – кандидат политических наук, доцент, заведующая кафедрой политологии и обществознания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (Рязань, Россия). E-mail: ok.morozova@365.rsu.edu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Morozova O.S. – Cand. Sci. (Political Science), associate professor, head of the Department of Political Science and Social Science, Ryazan State University named after S.A. Yesenin (Ryazan, Russian Federation). E-mail: ok.morozova@365.rsu.edu.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 06.12.2021;
одобрена после рецензирования 05.05.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 06.12.2021;
approved after reviewing 05.05.2022; accepted for publication 11.07.2022*

Научная статья

УДК 32.001

doi: 10.17223/1998863X/67/15

ГОСУДАРСТВО ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА ИЛИ ВСЕНАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ СССР В СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Алексей Всеволодович Никандров

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, bobbio71@mail.ru

Аннотация. Анализируется процесс перестройки концептуального каркаса советской марксистской теории государства под сталинским руководством. Целью теоретических новаций была замена диктатуры пролетариата всенародным государством, для чего потребовалось подвергнуть исходные марксистские принципы существенным коррективам. Этот процесс не был доведен до конца, однако сталинские идеи повлияли на дальнейшее развитие теории советского государства.

Ключевые слова: диктатура пролетариата, бесклассовое общество, советский народ, Конституция СССР 1936 г., И.В. Сталин

Для цитирования: Никандров А.В. Государство диктатуры пролетариата или всенародное государство: государственный строй СССР в советской политической мысли сталинской эпохи // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 159–172. doi: 10.17223/1998863X/67/15

Original article

THE STATE OF THE DICTATORSHIP OF THE PROLETARIAT OR THE STATE OF ALL THE PEOPLE: THE STATE SYSTEM OF THE USSR IN THE SOVIET POLITICAL THOUGHT OF THE STALIN ERA

Aleksey V. Nikandrov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, bobbio71@mail.ru

Abstract. The article analyzes aspects of the restructuring of the conceptual framework of the Soviet theory of the state based on the principles of Marxism. This reconceptualization was inspired by Stalin. The purpose was to justify the change in the form of the Soviet state: the proclamation of a “state of all the people” instead of a state of the dictatorship of the proletariat. The principle of the dictatorship of the proletariat could not satisfy the interests of the developing Soviet state, and that is why the concept “people” (the nomination of the actual owner of the state and source of power) and the concept “state of all the people” (the nomination of the new form of the Soviet state) was added to the categorical structure of the Marxist-Leninist theory. To perform this task, the original Marxist principles were subjected to serious adjustment, Soviet political discourse was restructured in accordance with the new guidelines. Since the 1930s, Stalin designed a new Soviet statism and consistently strengthened state-centrism, which required the introduction of specific innovations into the state theory. A theoretical revision of the basic Marxist concepts was needed. The concepts of classes (especially the proletariat), of the dictatorship of the proletariat, and of the state of the dictatorship of the proletariat were revisited. In the Soviet political thought, the significance of a number of Marxist concepts increased (classless society, for example).

Other Marxist concepts (“classes”, “class struggle”) lost their meaning. The theory was filled with non-Marxist concepts (“state of all the people”, “truly people’s democracy”, “friendly classes”). The world revolution in rhetoric was pushed into the distant future, and the proletarian party was presented as the party of the whole people. At the same time, the principle of internationalism was not rejected, but reformulated in a new sense – based on the concept of the USSR as the “fatherland of the world proletariat”. The decline in the political importance of classes in general (and of the proletariat in particular) can be seen in Stalin’s works. Stalin methodically accustomed the Soviet public to ideas about changes in the class structure of Soviet society – very significant changes that called into question the existence of classes in the USSR. New principles and concepts were introduced according to the following scheme: Stalin’s inspiration (speeches by Joseph Stalin) – party conceptualization by AUCPB (documents of the party forums) – theoretical design (carried out by scientists and ideologists) – ideological functioning and propaganda support.

Keywords: dictatorship of proletariat, classless society, Soviet people, 1936 Constitution of USSR, Joseph Stalin

For citation: Nikandrov, A.V. (2022) The state of the dictatorship of the proletariat or the state of all the people: the state system of the USSR in the soviet political thought of the Stalin era. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 159–172. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/15

От интернационализма к государственноцентризму

«Сталинский поворот» в политике и культуре, ведущий свой отсчет с начала 1930-х гг., достаточно хорошо изучен в научной литературе, широко обсуждается в публицистике, нередко дебатруется в СМИ. Имеется целый спектр концепций, в которых выявляются причины, ход, результаты, общие оценки поворота – «от революционализма – к государственничеству и охранительству» [1. С. 229]. Здесь достаточно вспомнить работы Н.С. Тимашева и его концепцию «великого отступления» [2]; М.С. Агурского и его концепцию сталинского национал-большевизма [3]; Д.Л. Бранденбергера и его теорию «руссцентризма» [4]; М.А. Колерова и его концепцию сталинского коммунизма [5]; в этом же ряду стоит концепция «Культуры Два» В.З. Паперного [6].

Начиная с 1930-х гг. Сталин последовательно и дозированно усиливал государственноцентризм. Конструировался новый советский этатизм, требующий определенных изменений в области теории государства. Принцип диктатуры пролетариата не мог более удовлетворять интересам становящегося Советского государства, и возникала потребность корректировки установочной марксистско-ленинской теории, добавления в ее категориальный аппарат понятий «народа» – как обозначения действительного обладателя государства и источника власти; и «всенародного государства» – названия новой формы государственного строя СССР, отражающего изменившееся понимание строящегося социалистического государства. По отношению к марксизму дело шло, по сути, не просто о «повороте», но скорее о «перевороте»: согласно букве марксизма, любое государство является классовым, и всенародных (а следовательно, бесклассовых) государств не бывает.

Этот «теоретический переворот» был вызван достаточно ясными причинами: так, Д. Бранденбергер утверждает, что уже к 1927 г. советское руководство пришло к ясному осознанию, что «десять лет пропаганды и агитации, вращавшейся вокруг таких понятий, как классовое сознание, рабоче-крестьянская солидарность и верность партии как авангарду революции, не

нашли массового отклика. Ни партия, ни революция, ни идея диктатуры пролетариата, похоже, не завоевали особого сочувствия в советском обществе» [7. С. 31].

Принципы интернационализма и «пролетарской солидарности» не годились для теоретического переоформления Советского государства. М.С. Агурский говорит: «Сталин ясно понимал, что программа, с помощью которой можно добиться решающего перевеса, должна быть национальной, но хорошо замаскированной. Никакой лозунг не мог брать под сомнение официальную идеологию в явном виде и не мог защищаться ссылками на Леонтьева – Данилевского – Достоевского – Блока. Уверенность в том, что режим отходит от интернационализма, вызвала бы серьезный кризис в еще не окрепшей системе, а также резко ослабила бы мировую поддержку СССР» [3. С. 201–202].

Теоретическому переосмыслению подлежали основные марксистские понятия – классы вообще (и пролетариат в частности), диктатура пролетариата и государство диктатуры пролетариата. Поэтому в общественно-политической мысли усиливалось значение ряда марксистских концептов («бесклассовое общество» в специфической интерпретации «бесклассовое социалистическое общество»); снижалось значение или переконструировался смысл других марксистских понятий («классы» и «классовая борьба» – методом усиления принципа «союза рабочего класса с крестьянством» и дальнейшей замены его новым принципом «дружественных классов»); вводились немарксистски звучащие концепты («всенародное государство», «подлинно народная демократия»). Мировая революция в риторике отодвигалась в далекое будущее, а большевистская, пролетарская партия превращалась в партию всего народа. При этом принцип интернационализма не отвергался, но переформулировался в новом ключе, а политическая значимость интернационализма оставалась исключительно в риторике. Схема введения новых принципов и концептов была такой: сталинская инспирация – партийная концептуализация – теоретическая конвертация, ротация в политической литературе – идеологическое функционирование и пропагандистское сопровождение.

Говоря «о теоретическом предвидении и выработке соответствующей политической установки» [8. С. 232], Сталин направлял общественно-политическую мысль СССР в нужном ключе. В Отчетном докладе на XVIII съезде партии он будет подчеркивать, что представление о том, «что формы нашего социалистического государства должны оставаться неизменными», – неправильно, так как формы Советского государства «меняются и будут меняться в зависимости от развития нашей страны и изменения внешней обстановки» [9. С. 34–35]. Поскольку меняются формы, будет корректироваться и теория государства.

Итог всех этих изменений теории можно увидеть в тексте проекта III Программы ВКП(б) 1947 г., при Сталине не превращенном в Программу партии. Там провозглашалось: «С ликвидацией эксплуататорских классов, победой социализма и установлением полного морально-политического единства всего народа диктатура пролетариата выполнила свою великую историческую миссию. Советское государство превратилось в подлинно всенародное государство» [10. С. 176]. Как общенародное государство СССР будет представлен в III Программе КПСС, принятой в 1961 г.: «Обеспечив полную

и окончательную победу социализма – первой фазы коммунизма – и переход общества к развернутому строительству коммунизма, диктатура пролетариата выполнила свою историческую миссию и с точки зрения задач внутреннего развития перестала быть необходимой в СССР. Государство, которое возникло как государство диктатуры пролетариата, превратилось на новом, современном этапе в общенародное государство, в орган выражения интересов и воли всего народа» [11. С. 396].

Классы и бесклассовое социалистическое общество

Изменения в «государственный марксизм» вносились при личном руководстве и инспирации И.В. Сталина, который уже около начала 1930-х гг. стал считаться классиком марксизма, корифеем общественно-политических наук, выдающимся ученым. Однако первое кардинальное новшество, давшее начало каскаду теоретических инноваций, представляет не Сталин, а В.М. Молотов, выдвинувший на XVII конференции партии (1932) задачу построения бесклассового социалистического общества в обозримой перспективе, чуть ли в течение второй пятилетки (потом ригоризм снизился, сроки стали отодвигаться). Озвучена эта задача в его докладе «О второй пятилетке», в котором развивалась идея, содержащаяся в Тезисах ЦК, обращенных к участникам конференции. В этих тезисах (точное название – «Директивы к составлению второго пятилетнего плана народного хозяйства СССР (1933–1937 гг.)»). Тезисы по докладам товарищей Молотова и Куйбышева на XVII конференции ВКП(б), одобренные в основном Политбюро ЦК ВКП(б)», было выдвинуто положение о том, что «основной политической задачей второй пятилетки являются окончательная ликвидация капиталистических элементов и классов вообще, полное уничтожение причин, порождающих классовые различия и эксплуатацию, и преодоление пережитков капитализма в экономике и сознании людей, превращение всего трудящегося населения в сознательных и активных строителей бесклассового социалистического общества» [12. С. 143].

Молотов приравнивает друг к другу «ликвидацию капиталистических элементов» и «ликвидацию классов вообще»: «Полная ликвидация капиталистических элементов и полное уничтожение причин, порождающих классовые различия и эксплуатацию, означает тем самым и ликвидацию классов вообще. Если нет капиталистических элементов, т.е. нет эксплуататоров, и если полностью ликвидированы источники классовых различий – о каких же классах можно тогда говорить? Тогда и о классах в собственном смысле слова уже говорить нельзя» [12. С. 143]. В самом деле, по отношению к советскому обществу нельзя говорить об антагонистических классах, а те классы, которые все еще остаются, в собственном смысле классами назвать сложно. Сам термин «бесклассовое социалистическое общество» ранее использовался Сталиным: так, в работе 1927 г. он говорит, что Октябрьская революция, помимо иных, ставит целью «организацию нового бесклассового социалистического общества» [13. С. 240]. А годом ранее М.И. Калинин впервые в советском политическом дискурсе высказал идею об общенародном государстве как о результате развития государства пролетарского: в статье под названием «Что делает Советская власть для осуществления демократии?» он, вглядываясь в будущее, предположил, что «пролетарское государство будет превращаться постепенно, по мере успехов социалистического строительства,

изживания капиталистических отношений и исчезновения капиталистов, в государство общенародное, имеющее уже новый смысл и содержание (устремление к коммунизму)» [14. С. 292].

Снижение политической значимости классов вообще и пролетариата в частности можно наблюдать в работах Сталина, который без излишней торопливости, но методично приучает общественность к идеям о существенных изменениях в классовой структуре советского общества, настолько существенных, что само существование классов в СССР подвергается пусть и неявному, но довольно ощутимому сомнению. Риторика Сталина склонна все в большей степени сближать классы. Изначально речь шла о ленинской идее союза пролетариата и крестьянства, так называемой смычки. Этот союз получает в сталинской мысли строгое определение, увязываемое с ликвидацией классов: в 1928 г. он говорит, что «союз рабочих и крестьян в условиях диктатуры пролетариата нельзя представлять как простой союз. Этот союз есть особая форма классового союза рабочего класса и трудящихся масс крестьянства, ставящая своей целью: а) усиление позиций рабочего класса, б) обеспечение руководящей роли рабочего класса внутри этого союза, в) уничтожение классов и классового общества» [15. С. 95]. Одновременно выставляемые цели обеспечения «руководящей роли рабочего класса» и «уничтожения классов и классового общества» могут быть восприняты как противоречие, однако это противоречие по-сталински диалектично: для уничтожения классов и построения бесклассового общества необходимо усиление рабочего класса и его диктатуры в связи с усилением классовой борьбы по причине сопротивления «капиталистических элементов» и наличия враждебного капиталистического окружения.

Нередко Сталин, как бы «вспоминая» о том, что процесс ликвидации классов, согласно марксистско-ленинским канонам, должен продолжаться на протяжении первой фазы коммунизма, занимать целую эпоху социализма, знаменательно оговаривается. В 1928 г. он заявляет: «Мы часто говорим, что наша республика является социалистической. Значит ли это, что мы уже осуществили социализм, уничтожили классы и отменили государство (ибо осуществленный социализм означает отмирание государства)? Или значит ли это, что при социализме будут еще существовать классы, государство и т.д.? Ясно, что не значит. Имеем ли мы право в таком случае называть нашу республику социалистической? Конечно, имеем. С какой точки зрения? С точки зрения нашей **решимости** и нашей **готовности** осуществить социализм, уничтожить классы и т.д.» [15. С. 311–312].

С той же точки зрения Сталин с определенного момента все чаще говорит о «рабочем классе СССР», нежели о «пролетариате», при том, что до поры до времени не забывается и мировой пролетариат, и мировая революция: в 1931 г. он подчеркивает, что «рабочий класс СССР есть часть мирового рабочего класса. Мы победили не только усилиями рабочего класса СССР, но и благодаря поддержке мирового рабочего класса», а «русская революция не есть частное дело русских, что она, наоборот, является делом рабочего класса всего мира, делом мировой пролетарской революции» [16. С. 40]. В беседе с Эмилем Людвигом Сталин говорит: «Задача, которой я посвящая свою жизнь, состоит в возвышении... рабочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо „национального“ государства, а укрепление государ-

ства социалистического, и значит – интернационального...» [16. С. 105]. Здесь при всем ригоризме риторики поверить Сталину не представляется возможным, ведь возвышать какой-либо класс в рамках какого-либо государства, пусть и социалистического, немыслимо; да «интернациональных» государств, т.е. тех, которые признавали бы, что существуют принципы, стоящие выше их интересов, не бывает.

Сталин это понимает лучше, чем кто бы то ни было, и поэтому в 1927 г., по сути подчиняя «интернационализм» и «мировую революцию» интересам Советского государства, утверждает: «**Революционер** тот, кто без оговорок, безусловно, открыто и честно... готов защищать, оборонять СССР, ибо СССР есть первое в мире пролетарское революционное государство, строящее социализм. **Интернационалист** тот, кто безоговорочно, без колебаний, без условий готов защищать СССР потому, что СССР есть база мирового революционного движения, а защищать, двигать вперед это революционное движение невозможно, не защищая СССР. Ибо кто думает защищать мировое революционное движение помимо и против СССР, тот идет против революции, тот обязательно скатывается в лагерь врагов революции» [13. С. 51].

С 1936 г. интернациональная риторика будет приглушена, а интересы государства, на практике определяющие политику Советского Союза, станут выходить на первый план уже и в риторике. При этом тезис об обострении классовой борьбы, связанный с принципом усиления пролетарской диктатуры, и риторика построения бесклассового общества совмещаются, сливаются в единый подход к построению общества социализма. С конца 1920-х гг. Сталин последовательно проводит установку, суть которой он выражает, ссылаясь на Ленина, о том, что «классы могут быть уничтожены лишь путем упорной классовой борьбы, становящейся в условиях диктатуры пролетариата **еще более ожесточенной**, чем до диктатуры пролетариата» [8. С. 32]. В докладе на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) (1933) он определяет: «Сильная и мощная диктатура пролетариата, – вот что нам нужно теперь для того, чтобы развеять в прах последние остатки умирающих классов и разбить их воровские махинации. Некоторые товарищи поняли тезис об уничтожении классов, создании бесклассового общества и отмирании государства, как... оправдание контрреволюционной теории потухания классовой борьбы и ослабления государственной власти. <...> Уничтожение классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее усиления. Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление...» [16. С. 210–211]. В Отчетном докладе XVII съезду (1934) Сталин усиливает эту мысль: «Взять, например, вопрос о построении **бесклассового социалистического общества**. XVII конференция партии показала, что мы идем к созданию бесклассового, социалистического общества. Понятно, что бесклассовое общество не может прийти в порядке, так сказать, самотека. Его надо завоевать и построить усилиями всех трудящихся – путем усиления органов диктатуры пролетариата, путем развертывания классовой борьбы, путем уничтожения классов...» [16. С. 350].

Трудящиеся и партия в Конституции 1936 г.

«Да, товарищи, класс есть класс. От этой истины не уйдешь» [8. С. 90], – говорит Сталин. Однако почти незаметно, вскользь слово «классы» примени-

тельно к рабочему классу и крестьянству (по определениям, сложившимся в те годы, «основные классы переходного периода») заменяются более нейтральными понятиями «трудящиеся массы», «люди рабочего класса и вообще трудящиеся», «трудящиеся», «трудовой народ»; «крестьянство» становится «трудящимся», «трудовым крестьянством»; вместе они – «рабочие и крестьяне СССР», «трудящееся население СССР», реже – просто «народ». Полное революционной энергетики слово «пролетариат» Сталин заменяет термином «рабочий класс» (иногда – «рабочий класс СССР»). В докладе на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г. «О проекте Конституции Союза ССР» Сталин логично, но в контрасте с марксистской лексикой говорит о «дружественных классах». В этом же докладе он ex cathedra заменяет «пролетариат» на «рабочий класс», подавая пример всем политикам и ученым.

Сталинский доклад о проекте Конституции можно рассматривать вместе с текстом Конституции СССР 1936 г., в которой источником государства и власти объявляются трудящиеся – в лице Советов депутатов трудящихся (статья 3). Советы, «выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата», составляют «политическую основу СССР» (статья 2). «Завоевание диктатуры пролетариата» становится условием роста и укрепления Советов, т.е. историческим фактором формирования Советов; диктатура пролетариата не рассматривается как форма государства. В докладе о проекте Конституции Сталин говорит, что «проект новой Конституции действительно оставляет в силе режим диктатуры рабочего класса» [17. С. 136], а «государственное руководство обществом (диктатура) принадлежит рабочему классу как передовому классу общества» [17. С. 129]. О государстве диктатуры пролетариата речи нет, «диктатура рабочего класса» получает статус режима и неожиданное концептуальное оформление – «государственное руководство обществом». Все это означает снижение теоретического значения диктатуры рабочего класса, но вовсе не означает ее отмену, и трактовать пассаж статьи 2 как констатацию ухода диктатуры пролетариата в историю никому не позволялось, а советская риторика наполнялась восклицаниями о расширении социальной базы диктатуры рабочего класса, о невиданном росте ее мощи. В передовой статье «Расширение и укрепление базы диктатуры рабочего класса в СССР» в «Большевике» утверждается, что «нашлись все же „умники“, которые, впад в „телячий восторг“ и извращая определение в сталинской Конституции нашего государства как социалистического государства рабочих и крестьян, пытались ставить вопрос о „снятии“ диктатуры пролетариата, уже отошедшей, по мнению этих путаников, в историческое прошлое» [18. С. 4].

При всем воспевании диктатуры рабочего класса советская риторика не забывала и о новых установках – трактовать классы как слои общества: «Советское общество, навсегда избавленное от эксплуататоров, состоит ныне из свободных тружеников города и деревни: рабочих, крестьян, интеллигенции. Между этими слоями нашего общества уже ликвидированы коренные классовые различия; экономические и политические грани между ними стираются, падают. Рабочие, крестьяне и интеллигенция превращаются в социальные слои единого советского общества». – И сразу после этих слов следует зна-

менательный вывод: «Это единство всех трудящихся Советской страны означает колоссальнейшее расширение базы диктатуры рабочего класса в СССР» [18. С. 5]. Народ в теории как бы не мог окончательно освободиться от оков диктатуры пролетариата и от классового разделения.

Государство диктатуры пролетариата по своей сути нацелено на идейную и политическую экспансию, вообще диктатура пролетариата принципиально не ограничивает себя рамками национального государства, но скорее нацелено на дальнейшее преобразование мира на новых основаниях. Конституция 1936 г. порывает с этой традицией, и коммунистическая риторика ограничивается утверждением «социалистического государства рабочих и крестьян».

Установка на использование по отношению к двум классам и интеллигенции определений типа «слои общества», «прослойки» была с особой силой проведена Сталиным в знаменитом пассаже из интервью Рою Говарду: «Наше общество состоит исключительно из свободных тружеников города и деревни – рабочих, крестьян, интеллигенции. Каждая из этих прослоек может иметь свои специальные интересы и отражать их через имеющиеся многочисленные общественные организации. Но коль скоро нет классов, коль скоро грани между классами стираются, коль скоро остается лишь некоторая, но не коренная разница между различными прослойками социалистического общества...» [17. С. 111]. Сталин, как бы используя возможности разговорной лексики, которая не обязывает соблюдать строгую терминологическую точность, вдохновенно прорисовывает бесклассовое общество. При этом весь пассаж выстроен весьма логично, а сталинская идея о «свободных тружениках города и деревни» стала отправной точкой дальнейшей советской политической риторики, совместившись с классовым подходом и в некоторые моменты отчасти даже перекрывая его.

Классовый подход в советском дискурсе не «ликвидируется» вместе с классами, ибо классы остаются в силе, и даже в проекте Программы ВКП(б) 1947 г. советское общество предстает как классовое: «На основе победы социализма коренным образом изменилась классовая структура советского общества. Впервые в истории создано общество, состоящее из дружественных классов рабочих и крестьян, освобожденных от ярма эксплуатации, союз которых подкрепляется их содружеством с интеллигенцией» [10. С. 173].

Интересный образчик совмещения дискурсов можно найти в учебнике по теории государства и права 1940 г., авторы которого пишут: «В СССР строится бесклассовое общество. Эксплуататорские классы в нем уже ликвидированы. <...> Социалистическое государство является всенародной организацией. Можно ли при этих условиях говорить о классовом существе государственной власти в СССР? Безусловно можно и следует. Советское социалистическое государство есть организация всех трудящихся, возглавляемая рабочим классом. Поэтому пока в социалистическом государстве до достижения полного коммунизма остается классовое деление, уже по одному этому сохраняется и классовый характер государственной власти» [19. С. 33]. А.Я. Вышинский лаконично утверждает: «Как государство пролетарской диктатуры, Советское государство является подлинно народным государством. Это его первая и основная особенность» [20. С. 246].

В марксистской лексике «трудящиеся массы» (пролетариат и крестьянство) и есть народ. В работах Ленина и Сталина звучит постоянный рефрен: народ – это пролетариат и крестьянство. Все трудящиеся Страны Советов в их единстве составляют советский народ, однако сам этот термин в уставных (программа и устав партии, конституция) и установочных (материалы партийных форумов, работы Сталина) советских документах сталинского времени не использовался. Даже в проекте партийной программы 1947 г. концепт «советский народ» хотя и используется, но не для обозначения источника и обладателя государства, и так всенародное государство оказывается, по сути, источником самого себя (в тексте государство в большей степени связано с партией, чем с народом, да и советский народ привязан к партии). В научной же и идеологической литературе термин «советский народ» стал активно внедряться именно после принятия Конституции 1936 г., с опорой на развиваемые в ней принципы демократизма. Так, А.Я. Вышинский в работе «Триумф конституционных принципов Советского государства» (1939) пишет: «Советская Конституция провозглашает суверенитет Советского государства как суверенитет советского народа...» [20. С. 137].

В Конституции 1936 г. интересным образом проводится «официальное» конструирование партии. До этого момента партия осознавала себя в качестве партии пролетарской, партии рабочего класса, по Сталину, «партией коммунистической, которая есть монолитная партия революционного пролетариата», «монолитной революционно-марксистской партией» [15. С. 282–283]. В проекте Конституции говорилось, что «наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются в коммунистическую партию СССР» [21. С. 14], а в тексте Конституции все «политические подразделения» «социалистического государства рабочих и крестьян», включая и интеллигенцию, обозначены и субстанциально объединены трудом: статья 126 гласит, что «наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса, трудящихся крестьян и трудовой интеллигенции добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза...». Партия получает как бы новое наименование, становясь, по сути, партией Советского государства, государственной партией (надо заметить, что и до этого Сталин эпизодически называл ВКП(б) «компартией СССР» (например, в 1927 г. [13. С. 181]).

В статье 126 Конституции партия представлена как «руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных». После Конституции 1936 г. партия, не переставая быть пролетарской, начинает восприниматься как «государственная», и затем представляться сначала как «авангард трудящихся», затем уже как народная, партия советского народа. Именно такой дискурс получает развитие первоначально в 1936 г., а затем приобретает широкое распространение. Эта установка ярко выражена в проекте программы ВКП(б) 1947 г.: «За годы Советской власти ВКП(б) неизмеримо укрепила свои связи с народными массами, сроднилась с народом и выросла в многомиллионную организацию. ВКП(б) представляет руководящее ядро всех организаций трудящихся – как общественных, так и государственных. Коммунистическая партия является авангардом советского народа» [10. С. 176].

Сам И.В. Сталин в послевоенных работах говорит об общенародном языке, об общенародной собственности, о советском общественном строе как

о подлинно народном; но ничего не говорит ни о «всенародном государстве», ни о «подлинно народной партии», ни даже о бесклассовом обществе (которое уходит из советского дискурса после XVIII съезда), сохраняя верность марксистскому лексикону. Однако его инспирация идеи всенародного государства вряд ли может быть поставлена под сомнение.

«Всенародное государство» в научно-политической литературе 1936 г.

До провозглашения всенародного государства было далеко, однако многим в 1936 г. казалось, что именно эта политическая форма будет объявлена в качестве нового обозначения государственного строя СССР. В самом деле, по смыслу слов «всенародное государство» – это просто иное, может быть, более торжественное, наименование республики, а Советский Союз и был союзом республик и в целом Республикой. Правда, республика считалась формой диктатуры пролетариата, но если пролетариат – один из слоев советского общества, пусть и ведущий, то о какой диктатуре и над кем можно вести речь? Весной 1936 г., перед опубликованием проекта Конституции, во многих изданиях фигурировало «всенародное государство» (о «снятии» или об «уходе в прошлое» диктатуры пролетариата речи не велось). Ученые и идеологи в этот «стахановский год» опередили советскую политическую практику. Их вдохновлял тезис о построении бесклассового общества, государство которого, по логике, должно быть только всенародным.

В апрельском номере 1936 г. журнала «Большевик» (политико-теоретический журнал ЦК партии) публикуется статья П.Ф. Юдина «О государстве при социализме». Признавая превращение советского общества «в бесклассовое, социалистическое», Юдин утверждает: «Наше советское государство стало государством социалистическим, *народным*. <...> Если в переходную к социализму эпоху наше государство было представителем интересов подавляющего большинства народа, т.е. трудящихся, поскольку они составляли большинство общества, то при социализме государство представляет интересы уже всего народа» [22. С. 49].

Философ концентрирует внимание на связи интересов трудящихся и государства в обществе, в котором классы практически ликвидированы, и все стали тружениками социалистического государства: «Наше государство стало народным потому, что классы в нем в основе своей уже ликвидированы, эксплуататоры уничтожены, крестьяне стали тружениками социалистического хозяйства деревни, служащие – тружениками аппарата социалистического государства, рабочие – тружениками социалистических фабрик и заводов. У этих категорий работников могут быть свои специальные интересы. Но эти интересы различных групп людей, работающих в различных областях *советского государства*... Бесспорно, что и государство в обществе, которое состоит из свободных тружеников города и деревни, может быть только государством этих тружеников, т.е. народным государством. Если в переходную к социализму эпоху государство было представителем интересов подавляющего большинства народа... то при социализме государство представляет интересы уже всего народа. Государство стало народным» [22. С. 49]. Из логики общности интересов различных «категорий работников» в рамках государства вытекает, что классов в марксистском понимании в СССР нет.

Майский номер 1936 г. философского журнала «Под знаменем марксизма» открывается статьей М.Б. Митина «О ликвидации классов в СССР и о социалистическом, всенародном государстве». Автор пишет: «Новая Советская конституция, разрабатываемая под непосредственным руководством товарища Сталина, и будет первой в мире конституцией *социалистического общества*, конституцией *социалистического, всенародного государства*» [23. С. 14]. Превращение Советского государства во всенародное утверждается Митиным в более сильном ключе: «Ликвидация эксплуататорских классов в нашей стране, преодоление основных классовых различий между рабочим классом и крестьянством, превращение нашего пролетарского государства во всенародное социалистическое государство, расцвет советской социалистической демократии – все это представляет собой победу всемирного значения» [23. С. 19]. Поскольку грядущее государство – всенародное, то и партия представляется как подлинно народная. Митин одним из первых представляет партию как народную: «Большевистская партия – подлинно пролетарская партия. И в то же время большевистская партия всегда боролась и отстаивала действительные интересы большинства народа. В настоящее время, когда мы завершаем ликвидацию классов и достраиваем социалистическое общество, наша партия выступает единственной и подлинно народной партией» [23. С. 8].

Газета «Ленинградская правда» 23 мая 1936 г. публикует статью Н.А. Вознесенского «Государство социалистического общества» (само название статьи подталкивает мысль о том, что «государство социалистического общества» может быть только всенародным). В этой работе видного советского экономиста говорится: «Наше общество состоит исключительно из свободных тружеников города и деревни – рабочих, крестьян, интеллигенции» (*Сталин*). Вот почему государство социалистического общества является действительно всенародным государством. Вот почему Советы рабочих и крестьянских депутатов являются Советами тружеников социалистического общества. <...> Пролетарское государство всегда представляло интересы трудящихся, которые составляли огромное большинство страны. Теперь пролетарское государство представляет интересы всего народа, ибо классы в основе своей ликвидированы и весь народ является союзом свободных тружеников социалистического общества» [24. С. 267]. Как бы в продолжение акцентировки Юдина, опираясь на сталинский тезис, Вознесенский продвигает тезис о связи интересов «свободных тружеников города и деревни» с интересами государства.

Снова «Большевик», майский (вторая половина месяца) номер 1936 г. Передовая: «Страна наша находится накануне принятия новой Конституции всенародного Советского государства» [25. С. 14]. А.Я. Вышинский: «Советское государство – всенародное государство» [26. С. 22]. Я.А. Берман: «Страна пролетарской диктатуры стала мощным народным социалистическим государством» [27. С. 76]. Советские ученые как бы руководствовались словами Сталина, который в 1929 г. сказал, что «за нашими успехами не поспевает теоретическая мысль, что мы имеем некоторый разрыв между практическими успехами и развитием теоретической мысли. Между тем необходимо, чтобы теоретическая работа не только поспевала за практической, но и опережала ее...» [8. С. 142]. Однако в действительности теоретическая мысль

была подчинена, как было принято говорить, «практике социалистического строительства».

Советская политическая мысль постсталинского времени оценивала Конституцию 1936 г. как этапную веху на пути перерастания государства диктатуры пролетариата в общенародное государство. Это была общая интуиция советских работ. Так, в книге 1981 г. констатируется, что ликвидация эксплуататорских классов и дальнейшее развитие социализма – все это «создавало существенные предпосылки для постепенного отмирания диктатуры пролетариата и превращения ее в общенародную власть. Но значило ли это, что диктатуру пролетариата можно было сразу же, незамедлительно “отменить”? Нет, не значило. Она была необходима для окончательного упрочения социалистических общественных отношений в городе и деревне, для строительства зрелого социализма. <...> Стало быть, Конституция СССР 1936 г. была конституцией перерастания государства пролетарской диктатуры в общенародное государство, конституцией строительства развитого социалистического общества» [28. С. 7].

После опубликования проекта Конституции термин «всенародное государство» исчезает из литературы, и в силе остается концепт «подлинно народное государство» (словосочетание «народное государство», ввиду известной терминологической коллизии – критика Марксом лассальянского положения о «народном государстве» в Готской программе – употреблялось всегда с каким-либо дополнением). Развивается риторика единства народа и государства, партии и народа; расцвета советской демократии – подлинного народовластия, которое возможно только в советском социалистическом обществе. Классы остаются политической основой советского общества, рабочий класс остается авангардом советского народа. Советское государство в «государственной теории» принадлежит народу, но возглавляется пролетариатом, – народ, по сути дела, царствует, но не правит.

В послевоенных произведениях Сталина классовая риторика минимизируется, но классовый подход к обществу и истории сохраняет силу. От этого подхода, от навязчивого представления, что общество может быть только классовым, советская мысль не сможет избавиться вплоть до последних дней СССР, не будучи в силах выйти из плена марксистской «классовой догматики». Дискурс бесклассового общества будет возобновлен на XXVI съезде КПСС (1981), однако заметного развития не получил. На том же съезде было принято постановление о подготовке новой редакции программы КПСС.

Список источников

1. Шейнис В.Л. Власть и закон: Политика и конституции в России в XX–XXI веках. М. : Мысль, 2014. 1082 с.
2. Timasheff N. The Great Retreat. The Growth and Decline of Communism in Russia. New York : E.P. Dutton & Co, 1946. 470 p.
3. Азурский М.С. Идеология национал-большевизма. М. : Алгоритм, 2003. 316 с.
4. Бранденбергер Д.Л. Сталинский руссоцентризм: советская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956 гг.). М. : РОССПЭН, 2017. 405 с.
5. Колеров М.А. Сталин: от Фихте к Берия. Очерки по истории сталинского коммунизма. М. : Модест Колеров, 2017. 640 с.
6. Паперный В. Культура Два. М. : Новое литературное обозрение, 2011. 412 с.
7. Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвещение и терпор в СССР, 1927–1941. М. : РОССПЭН, 2017. 370 с.

8. Сталин И.В. Сочинения. М. : Госполитиздат, 1949. Т. 12.
9. XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М. : Госполитиздат, 1939. 744 с.
10. Сталинское экономическое наследство: планы и дискуссии. 1947–1953 гг. : документы и материалы / сост. В.В. Журавлев, Л.Н. Лазарева. М. : РОССПЭН, 2017. 646 с.
11. Материалы XXII съезда КПСС. М. : Политиздат, 1961. 464 с.
12. XVII конференция ВКП(б). Стенографический отчет. М. : Партиздат, 1932. 396 с.
13. Сталин И.В. Сочинения: в 18 т. М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1952. Т. 10. 400 с.
14. Калинин М.И. Вопросы советского строительства. Статьи и речи. (1919–1946). М. : Госполитиздат, 1958. 712 с.
15. Сталин И.В. Сочинения: в 18 т. М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1952. Т. 11. 382 с.
16. Сталин И.В. Сочинения: в 18 т. М. : ОГИЗ, Госполитиздат, 1953. Т. 13.
17. Сталин И.В. Сочинения: в 18 т. М. : Писатель, 1997. Т. 14. 368 с.
18. Передовая. Расширение и укрепление базы диктатуры рабочего класса в СССР // Большевик. 1936. № 14. С. 1–8.
19. Голунский С.А., Строгович М.С. Теория государства и права. М. : Госюриздат, 1940. 304 с.
20. Вышинский А.А. Вопросы теории государства и права. М. : Госюриздат, 1949. 420 с.
21. Конституция (основной закон) СССР. Проект // Большевик. 1936. № 12. С. 1–16.
22. Юдин П. О государстве при социализме // Большевик. 1936. № 8. С. 43–60.
23. Митин М. О ликвидации классов в СССР и о социалистическом, всенародном государстве // Под знаменем марксизма. 1936. № 5. С. 1–19.
24. Вознесенский Н.А. Государство социалистического общества // Академик Н.А. Вознесенский. Сочинения. 1931–1947. М. : Наука, 2018. 643 с.
25. Передовая. По-большевистски организовать партийную пропаганду // Большевик. 1936. № 10. С. 1–7.
26. Вышинский А. Советский суд и советская демократия // Большевик. 1936. № 10. С. 22–35.
27. Берман Я. О формах собственности в СССР // Большевик. 1936. № 10. С. 76–87.
28. Лукьянов А.И., Денисов Г.И., Кузьмин Э.Л., Разумович Н.Н. Советская конституция и мифы советологов. М. : ИПЛИ, 1981. 245 с.

References

1. Sheynis, V.L. (2014) *Vlast' i zakon: Politika i konstitutsii v Rossii v XX–XXI vekakh* [Power and Law: Politics and Constitutions in Russia in the 20th – 21st Centuries]. Moscow: Mysl'.
2. Timasheff, N.S. (1946) *The Great Retreat. The Growth and Decline of Communism in Russia*. New York: E.P. Dutton & Co.
3. Agurdsky, M.S. (2003) *Ideologiya natsional-bol'shevizma* [Ideology of National-Bolshevism]. Moscow: Algoritm.
4. Brandenberger, D.L. (2017) *Stalinskiy russotsentrizm: sovetskaya massovaya kul'tura i formirovanie russkogo natsional'nogo samosoznaniya (1931–1956 gg.)* [Stalin's Russocentrism: Soviet Mass Culture and the Formation of Russian National Identity (1931–1956)]. Moscow: ROSSPEN.
5. Kolerov, M.A. (2017) *Stalin: ot Fikhte k Beriia. Ocherki po istorii stalinskogo kommunizma* [Stalin: From Fichte to Beria. Essays on the History of Stalin's Communism]. Moscow: Modest Kolerov.
6. Papernyy, V.Z. (2011) *Kul'tura Dva* [Culture Two]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
7. Brandenberger, D.L. (2017) *Krizis stalinskogo agitpropa: Propaganda, politprosveshchenie i terror v SSSR, 1927–1941* [The Crisis of Stalin's Agitprop: Propaganda, Political Education and Terror in the USSR, 1927–1941]. Moscow: ROSSPEN.
8. Stalin, I.V. (1949) *Sochineniya: v 18 t.* [Works: in 18 vols]. Vol. 12. Moscow: OGIЗ, Gospolitizdat.
9. VKP(b). (1939) *XVIII s"ezd VKP(b). Stenograficheskiy otchet* [The 18th Congress of the AUCPB. A stenographic report]. Moscow: Gospolitizdat.
10. Zhuravlev, V.V. & Lazareva, L.N. (eds) (2017) *Stalinskoe ekonomicheskoe nasledstvo: plany i diskussii. 1947–1953 gg.: dokumenty i materialy* [Stalin's Economic Legacy: Plans and Discussions. 1947–1953: Documents and Materials]. Moscow: ROSSPEN.
11. VKP(b). (1961) *Materialy XXII s"ezda KPSS* [The 22nd Congress of the CPSU. Materials]. Moscow: Gospolitizdat.
12. VKP(b). (1932) *XVII konferentsiya VKP(b). Stenograficheskiy otchet* [The 17th Conference of the VKP(b): a stenographic report]. Moscow: Gospolitizdat.

13. Stalin, I.V. (1952a) *Sochineniya: v 18 t.* [Works: in 18 vols]. Vol. 10. Moscow: OGIZ, Gospolitizdat.
14. Kalinin, M.I. (1958) *Voprosy sovetskogo stroitel'stva. Stat'i i rechi. (1919–1946)* [Questions of Soviet Construction. Articles and Speeches. (1919–1946)]. Moscow: Gospolitizdat.
15. Stalin, I.V. (1952b) *Sochineniya: v 18 t.* [Works: in 18 vols]. Vol. 11. Moscow: OGIZ, Gospolitizdat.
16. Stalin, I.V. (1953) *Sochineniya: v 18 t.* [Works: in 18 vols]. Vol. 13. Moscow: OGIZ, Gospolitizdat.
17. Stalin, I.V. (1997) *Sochineniya: v 18 t.* [Works: in 18 vols]. Vol. 14. Moscow: Pisatel'.
18. Anon. (1936) *Peredovaya. Rasshirenie i ukreplenie bazy diktatury rabocheho klassa v SSSR* [Leading article. Expansion and strengthening of the working class dictatorship in the USSR]. *Bol'shevik*. 14. pp. 1–8.
19. Golunsky, S.A. & Strogovich, M.S. (1940) *Teoriya gosudarstva i prava* [Theory of State and Law]. Moscow: Gosyurizdat.
20. Vyshinsky, A.Ya. (1949) *Voprosy teorii gosudarstva i prava* [The Questions of Theory of State and Law]. Moscow: Gosyurizdat.
21. USSR. (1936) *Konstitutsiya (osnovnoy zakon) SSSR. Proekt* [Draft of the Constitution (basic law) of the USSR]. *Bol'shevik – Bolshevik*. 12. pp. 1–16. (In Russian).
22. Yudin, P.F. (1936) *O gosudarstve pri sotsializme* [About the state under socialism]. *Bol'shevik*. 8. pp. 43–60.
23. Mitin, M.B. (1936) *O likvidatsii klassov v SSSR i o sotsialisticheskom, vsenarodnom gosudarstve* [On the elimination of classes in the USSR and on the socialist state of all the people]. *Pod znamenem marksizma*. 5. pp. 1–19.
24. Voznesensky, N.A. (2018) *Sochineniya. 1931–1947* [Works. 1931–1947]. Moscow: Nauka.
25. Anon. (1936) *Po-bol'shevistski organizovat' partiynuyu propagandu* [Organize party propaganda in a Bolshevik way]. *Bol'shevik*. 10. pp. 1–7.
26. Vyshinsky, A.Ya. (1936) *Sovetskiy sud i sovetskaya demokratiya* [Soviet court and Soviet democracy]. *Bol'shevik*. 10. pp. 22–35.
27. Berman, Ya.A. (1936) *O formakh sobstvennosti v SSSR* [On the forms of property in the USSR]. *Bol'shevik*. 10. pp. 76–87.
28. Lukyanov, A.I., Denisov, G.I., Kuzmin, E.L. & Razumovich, N.N. (1981) *Sovetskaya konstitutsiya i mify sovetoologov* [The Soviet Constitution and the Myths of the Sovietologists]. Moscow: IPL.

Сведения об авторе:

Никандров А.В. – кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры философии политики и права философского факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: bobbio71@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Nikandrov A.V. – Cand. Sci. (Political Science), senior researcher of the Department of Philosophy of Politics and Law, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: bobbio71@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 17.03.2022;
одобрена после рецензирования 13.05.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 17.03.2022;
approved after reviewing 13.05.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научная статья

УДК: 32.001(470+571) 66.1(2)

doi: 10.17223/1998863X/67/16

РОМАН И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ» И ФОРМИРОВАНИЕ РАЗНОЧИННОГО СОСЛОВНОГО СОЗНАНИЯ

Борис Александрович Прокудин

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
probor@bk.ru*

Аннотация. «Отцы и дети» – политический роман, который произвел колоссальное воздействие на русское общество 1860-х гг. Он стал не только символом конфликта отцов и детей, либералов и радикалов, он послужил литературной основой, на которой начался «раскол в нигилистах», имевший серьезные последствия для развития социально-политической мысли русской радикальной интеллигенции и формирования разнотинного сословного сознания.

Ключевые слова: И.С. Тургенев, «Отцы и дети», нигилизм, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, М.А. Антонович, «Современник», разнотинцы

Для цитирования: Прокудин Б.А. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» и формирование разнотинного сословного сознания // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 173–189. doi: 10.17223/1998863X/67/16

Original article

IVAN TURGENEV'S NOVEL *FATHERS AND SONS* AND THE FORMATION OF THE RAZNOCHINTSY'S CLASS CONSCIOUSNESS

Boris A. Prokudin

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, probor@bk.ru

Abstract. Ivan Turgenev's novel *Fathers and Sons* made a strong impact on Russian society in the 1860s. Everybody argued about Bazarov and nihilism in Russia. Bazarov became a symbol of the conflict between fathers and children, liberals and radicals. But, besides this, the novel led to a split of Russian radicals into two groups. The first group of radicals recognized Bazarov as a "symbol" of the younger generation. This group was headed by Dmitry Pisarev. The second group recognized Bazarov as a "caricature" of the younger generation. This group was headed by Maxim Antonovich. This article is an attempt to answer the question of why this happened. The article hypothesizes that the conflict between the radicals was caused by the class issue. Dmitry Pisarev and Maxim Antonovich had similar convictions, but had different class interests. Antonovich was the son of a priest, he felt insecure in society. Therefore, he recognized Turgenev's controversial novel as dangerous for the raznochintsy (lit. people of various ranks) class. Pisarev was a nobleman and felt confident in society. Therefore, he saw no threat in Turgenev's novel. After the publication of *Fathers and Sons*, Antonovich's fears were confirmed. Many contemporaries began to perceive nihilists as people capable of violence and destruction. When fires broke out in St. Petersburg in 1862, newspapers began to write that nihilists were to blame for the arson. But some time passed, and the attitude of many young people towards Bazarov began to change. New readers of *Fathers and Sons* discovered many positive traits in Bazarov that they wanted to imitate. They noticed his absolute sincerity, his faith in science. The

raznochintsy existed in Russia since the time of Peter I. But earlier the raznochintsy wanted to get an education in order to become nobles. In the middle of the 19th century there appeared such commoners who wanted to be on their own. Turgenev in his novel gave them a visible image of how one can look and behave. And Dmitry Pisarev gave them ideology. He told how one can live and think. And since that time the word “raznochintsy” has disappeared from use. The raznochintsy with ideology began to be called the “intelligentsia”.

Keywords: Ivan Turgenev, *Fathers and Sons*, nihilism, Nikolai Chernyshevsky, Nikolai Dobrolyubov, Dmitry Pisarev, Maxim Antonovich, *Sovremennik*, raznochintsy

For citation: Prokudin, B.A. (2022) Ivan Turgenev's novel *Fathers and sons* and the formation of the raznochintsy's class consciousness. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 173–189. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/16

Обсуждение социально-политических идей романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» началось еще до его опубликования. К концу 1850-х гг. у Тургенева сложилась репутация художника, особенно внимательно относящегося к важнейшим общественным вопросам современности. Н.А. Добролюбов писал об этой его особенности: «Он быстро угадывал новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях непременно обращал (сколько позволяли обстоятельства) внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество» [1. С. 99]. Поэтому разговоры о готовящемся романе, который будет иметь повышенную социальную значимость, звучали еще за полгода до выхода «Отцов и детей».

Долгожданный роман был напечатан в «Русском вестнике» в марте 1862 г. и сразу стал объектом общественной борьбы. Вокруг типа нигилиста, воплощенного в образе Базарова, началась ожесточенная журнальная борьба. «Хвалители и хулители» романа оказались и среди консерваторов, и среди радикалов. В то время как одни обвиняли Тургенева в оскорблении молодого поколения, другие упрекали в «низкопоклонстве» перед этим поколением. «Я замечал холодность, доходившую до негодования, во многих мне близких и симпатических людях, – писал Тургенев о первых откликах на свой роман; – я получал поздравления, чуть не лобызания, от людей противного мне лагеря, от врагов» [2. С. 87]. Тургеневу удалось наделить своего героя Базарова столь разнообразным набором качеств, что каждый читатель увидел его таким, каким желал увидеть, и решил, что именно таким его задумывал автор.

Однако интересно, что «линия фронта» в спорах вокруг романа пролегла не только между представителями «старшего поколения» (консерваторами и либералами) и молодыми радикалами, как было бы логично представить. Роман спровоцировал так называемый раскол в нигилистах. То есть одна группа радикальной интеллигенции признала Базарова «карикатурой на все молодое поколение», а другая – «символом всего молодого поклонения». Одни сочли роман очень вредным для общества, другие – полезным.

Но ведь это странно, если учесть, что обе группы радикалов с идейной точки зрения мало друг от друга отличались. Если мы всерьез захотим понять, в чем состояло в начале 1860-х гг. различие идейных платформ М.А. Антоновича из журнала «Современник» и Д.И. Писарева из журнала «Русское слово», которые вступили в спор, это будет сделать не так уж просто. Тот и другой считали себя материалистами, позитивистами, разумными

эгоистами, утилитаристами, сторонниками коллективных форм труда, общинного землевладения и освобождения женщин (т.е. того набора идей, который в XIX в. называли социализмом, коммунизмом, нигилизмом).

Автор «Истории русской общественной мысли» Р.В. Иванов-Разумник, изучавший полемику, писал: «Между собой эти журналы, особенно начиная с 1864 г., находились в жестокой борьбе, ибо первый из них, „Современник“, был представителем революционно-социалистической мысли, а второй, идеологом которого был гремевший тогда Писарев, являлся проводником радикальных и индивидуалистических тенденций» [3. С. 278]. Понимать это можно таким образом, что в 1864–1865 гг. Писарев несколько «ушел вправо» от «Современника» и революционному сценарию переустройства жизни в России противопоставлял мирную «культурническую деятельность», т.е. умение действовать на благо народа, не приходя в резкое столкновение с действительностью (см.: [4. С. 216–237]). И свои надежды на преобразования Писарев возлагал на интеллигенцию, «мыслящих реалистов», тогда как Антонович, формально продолжавший традиции Чернышевского и Добролюбова, мечтал об изменении всех сфер государственной жизни через радикальные демократические преобразования. Возможно, это было действительно так, но специфика полемики в подцензурных изданиях состояла в том, что политическое значение спора всегда уходило на задний план, а центр тяжести перемещался на второстепенные вопросы: фигуру Базарова, трактовку учения Джона Стюарта Милля или подробности женской эмансипации в контексте романа Чернышевского «Что делать?». Одним словом, полемика журналов шла не по тому направлению, которое могло бы прояснить политические взгляды авторов, а по побочному, только путая читателей¹.

Несмотря на это, мы действительно можем говорить, что позиции журналов к 1864–1865 гг., в частности Писарева и Антоновича, разошлись. И спор о фигуре Базарова мог скрывать под собой более существенный вопрос о двух тактиках общественной борьбы. Но ведь начался этот спор раньше, в 1862 г., когда позиции Писарева еще нельзя было назвать определенными, а Антонович только дебютировал в «Современнике».

Есть еще одно объяснение «раскола в нигилистах» – конкуренция. Потеряв Добролюбова и Чернышевского, журнал «Современник» был вынужден конкурировать с набирающим популярность «Русским словом» за одну аудиторию. Не имея возможности удержаться на былом теоретическом уровне, авторы «Современника» стали «производить различие». Восторженное приветствие образа Базарова со стороны Писарева провоцирует «Современник» поддержать другую интерпретацию, предложенную Антоновичем. И после этого для редакции «Русского слова» задачей будет постоянное изобличение «Современника». Однако такая точка зрения представляется еще менее вероятной, хотя бы потому, что статья «Базаров» и «Асмодей нашего времени» написаны почти одновременно.

¹ Так, Н.С. Лесков в одной из глав роман «Некуда» (1864) поместил ироничный диалог, в котором безымянные персонажи пытаются выяснить суть разногласий двух «солидарных журналов»: «Так из-за чего ж между ними полемика?.. Ведь они одного направления держатся?..» – спрашивает один. «Как же это вы не понимаете? – отвечает другой. – Одни в принципе только социальные, а проводят идеи коммунистические; а те в принципе коммунисты, но проводят начала чистого социализма» [5. С. 670–671].

Тогда все-таки почему идейно близкие радикальные публицисты, Писарев и Антонович, в своей трактовке образа Базарова заняли противоположные позиции, первый сказал, что Базаров – «идеал», второй – «карикатура»?

Идеологический раскол в журнале «Современник»

У Л.Н. Толстого в повести «Юность» есть фрагмент, где его герой Николай Иртенев признается, что в период обучения в университете делил всех студентов по французскому выговору на равных и презираемых: «Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. „Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?“ с ядовитой усмешкой спрашивал я его мысленно» [6. С. 173].

«Как мы» – это как дворяне, аристократы. Своих он опознавал (кроме французского) еще по длинным чистым ногтям и светским манерам: умению кланяться, танцевать и непринужденно разговаривать. Все остальные студенты были для него чужими, он их не только презирал, но и ненавидел. Понимал, что это плохое чувство, но пока ничего не мог с собой поделать.

Понятно, что речь идет о разночинцах, людях не дворянского происхождения, которых в университетах к середине XIX в. становилось все больше. Чаще всего это были дети священнослужителей, окончившие духовные семинарии¹. Но в семинариях их учили Закону Божию, там не преподавали французского языка, не учили рисованию, музыке, танцам, хорошим манерам. И на фоне дворян семинаристы выглядели угловатыми и грубыми, так что в университетах даже существовал отдельный жанр шуток – шутки над семинаристами.

Однако стране все больше требовались образованные кадры. Нужны были чиновники, врачи, учителя. Дворян не хватало, и постепенно эти сферы все больше наполнялись образованными разночинцами. Дворяне, надо сказать, тогда еще свысока относились к медицине и педагогике, быть «лекарем» или учителем считалось не дворянским делом. И они легко отдавали эти профессии на откуп разночинцам. Но неожиданно, к середине XIX в., яркие разночинцы стали появляться в сферах, которые раньше считались исключительной монополией дворянства, например в литературе и журналистике. И прекрасной иллюстрацией конфликта разночинцев во дворянстве может служить история журнала «Современник».

С середины 1850-х гг. в либеральный журнал «Современник» Н.А. Некрасова и И.И. Панаева стали привлекаться новые писательские силы из разночинцев. До этого ядро редакции составляли «породистые» дворяне: И.С. Тургенев, А.В. Дружинин, Д.В. Григорович, П.В. Анненков. Все они были помещиками, либералами. А тут, в 1854 г., в журнал пришел работать первый разночинец – Николай Гаврилович Чернышевский, молодой человек 27 лет, сын священника из Саратова, который плохо говорил по-французски

¹ В университетах процент разночинцев, вышедших из духовного сословия, был значительно выше остальных. Имея семинарское образование, «поповские дети» оказывались более других подготовлены для обучения в университетах. «Духовенство было единственным сословием, которое разделяло с дворянами возможность широкого доступа к образованию, поэтому в России XIX в. сложились лишь две интеллигентские субкультуры», – пишет американская исследовательница Лори Манчестер, противопоставляя культуру дворянской интеллигенции и сыновей служителей церкви, ставших интеллигенцией (см.: [7. С. 12]).

и плохо знал манеры. Но окончил университет и уже успел опубликовать ряд статей в «Отечественных записках» А.А. Краевского.

Дворяне отнеслись к нему поначалу благосклонно. Но Чернышевский довольно скоро начал высказывать свои идеи и навязывать концепции. Оказалось, что он только написал диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности», в которой изложил манифест новой материалистической эстетики. Он заявил там, что «истинное» искусство должно иметь общественное значение: должно воспроизводить действительность, объяснять ее и выносить действительности «приговор». И начал писать с этих позиций статьи о литературе. Несмотря на то, что отдел критики до прихода в «Современник» Чернышевского считался не самым сильным, известный литературный критик в журнале имелся: А.В. Дружинин. Дружинин был сторонником противоположной концепции – «чистого искусства», его называли «главой» русской «эстетической» критики. В первое время своего сотрудничества в «Современнике» Чернышевский основное противодействие получил именно от Дружинина и сразу повел решительное наступление на его позиции (см.: [8, 9. С. 231–251]): «Когда я стал писать исключительно для „Современника“, – вспоминал Чернышевский, – я вытеснил из него Дружинина: я писал так много, что для Дружинина, писавшего быстро и много, не оставалось достаточно места; притом его литературные понятия были слишком различны от моих; и при моем возрастающем влиянии на общий тон журнальных отделов „Современника“ Дружинин оказался непригодным для него по образу мыслей» [10. С. 721].

Тургеневу, Григоровичу, Анненкову не нравилось поведение Чернышевского, его «литературные понятия» и особенно – его «возрастающее влияние» на «Современник». К тому же стало понятно, что их разногласия с Чернышевским не только эстетические, но и мировоззренческие, политические. Понятно, что Чернышевский не любит европейскую цивилизацию: презирает мещанство и капитализм, а ко всему прочему, очень критически относится к помещикам. «Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода – и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором 9/10 народа – рабы и пролетарии» [11. С. 110], – писал Чернышевский еще в дневнике 1848 г. и, разумеется, подписался бы под этими словами позже. Там же он говорил о своих политических убеждениях: «Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев» [11. С. 122].

Тургенев и «либеральная партия», которые поначалу «терпели» «семинариста», начали борьбу с «красным» Чернышевским, желая его увольнения из «Современника»¹. Тогда в письмах Дружинину и Григоровичу Тургенев стал называть Чернышевского исключительно «клоповоняющим господином»². Однако хозяин журнала Некрасов не спешил избавляться от своего ведущего сотрудника, чувствуя его нарастающую популярность среди моло-

¹ Подробней о перипетиях конфликта см.: [13. С. 16–33].

² «Я имел неоднократно несчастье заступаться перед Вами за пахнущего клопами (иначе я его теперь не называю) – примите мое раскаяние – и клятву – отныне преследовать, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами!...» [14. С. 42].

дежи. И стал напротив все больше привлекать к сотрудничеству в журнале разночинцев. Вскоре в «Современнике» появился критик Н.А. Добролюбов, потом – писатель Н.Г. Помяловский, очеркисты Н.В. Успенский, Ф.М. Решетников и др. Дворяне назвали это «вторжение семинаристов в журнал».

«Старые сотрудники, – писала мемуаристка А.Я. Панаева, – находили, что общество Чернышевского и Добролюбова нагоняет тоску. „Мертвечиной от них несет! – говорил Тургенев. – Ничто их не интересует!“ Григорович уверял, что он даже в бане сейчас узнает семинариста, когда тот моется: запах деревянного масла и копоти чувствуется от присутствия семинариста, лампы тускло начинают гореть, весь кислород они втягивают в себя, и дышать делается тяжело» [12. С. 134].

Кстати, из воспоминаний Чернышевского мы знаем, что Тургенев поначалу, когда Добролюбов только пришел в «Современник», сделал попытку с ним подружиться. Но ничего не вышло. Тургенев приглашал Добролюбова к себе обедать, но тот отказывался. Тургенев пытался сделать Добролюбова своим собеседником, при встречах в журнале или в квартире Некрасова пытался заговорить, но Добролюбов почти демонстративно избегал общения с Тургеневым. На расспросы Чернышевского, почему он ведет себя так «неразговорчиво с почтенным человеком», Добролюбов отвечал, что Тургенев «ему скушен», и что не имеет смысла говорить с людьми только потому, что они способны «более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь честному» [15. С. 729].

Грубость Добролюбова по отношению к Тургеневу можно объяснить неловкостью, которую молодой семинарист, безусловно, чувствовал перед «аристократом». Но тут было еще кое-что. Дворяне издавна привыкли относиться к представителям низших сословий покровительственно. Это было естественно. Разночинцы сами всегда хотели быть похожими на дворян, дослужиться до дворянства. И Тургенев смотрел на Добролюбова как на младшего брата, которого нужно опекать. А Добролюбов не хотел быть младшим братом дворянства, не хотел, чтобы до него снисходили, не хотел «дослуживаться». Он хотел быть сам по себе. Отстаивать собственными ценностями. Такое поведение было ново.

«Понятно, – резюмировал Чернышевский, – что Тургенев не мог не досадовать на такое обращение с ним» [15. С. 728]. И в конце концов стал отзываться о Добролюбове крайне нелестно. Теперь «либеральная партия» хотела увольнения не только Чернышевского, но и Добролюбова. Однако и семинаристы не оставались в долгу, постоянно задевали в своих статьях, то Григоровича, то Тургенева.

Конфликт «либералов и демократов»¹, длившийся пять лет, закончился, по сути, поражением «либеральной партии» и уходом Тургенева из журнала. В большинстве научных работ до конца 1980-х гг. доминировала точка зрения, что своего апогея конфликт достиг в 1860 г.: статья Добролюбова о романе «Накануне» («Когда же придет настоящий день?») не понравилась Тургеневу своим тоном и интерпретацией романа, он пытался добиться, чтобы рецензию не печатали, и поставил Некрасову ультиматум: «Выбирай: я или Добролюбов». И Некрасов выбрал Добролюбова. Так история разрыва Тур-

¹ Так было принято называть это противостояние в советском литературоведении 1970-х гг. См.: [17. С. 13].

генева с «Современником» была впервые представлена в мемуарах Панаевой (см.: [12. С. 144]).

В 1989 г. А.В. Муратов, критиковавший излишне «беллетристические» мемуары Панаевой за неточность в изложении фактов, доказал, что поводом к разрыву были другие статьи, появившиеся несколькими месяцами позже (см.: [16. С. 316–340]). Однако и он признавал, что утвердившийся взгляд на историю разрыва Тургенева с «Современником» в целом соответствует истине: выбирая между семинаристами и Тургеневым, Некрасов выбрал семинаристов. И это решение кажется прагматичным: Некрасов потерял Тургенева (который начал отдаляться от журнала еще в 1858 г.) и Григоровича, но сохранил своих литературных критиков, любимцев радикальной молодежи, и целую группу писателей-разночинцев, которые пришли вслед за Чернышевским.

Уход Тургенева из журнала знаменовал собой не только поражение либералов в политическом противостоянии и конфликте эстетических «программ». Уход Тургенева был победой, которые униженные раньше разночинцы одержали над представителями дворянства. Благодаря художественным произведениям, очеркам и публицистике разночинцев, либеральный журнал «Современник» стал идейным центром и трибуной радикальной интеллигенции.

Конфликт в «Современнике» стал обрастать домыслами, в литературной среде поползли слухи, что Тургенев уезжает за границу, чтобы писать повесть под заглавием «Нигилист», где расквитается семинаристами. И когда через два года появился роман «Отцы и дети», многие в фигуре Базарова увидели карикатурный портрет Добролюбова и карикатуру на все молодое поколение.

Был ли Базаров разночинцем?

В записной книжке, содержащей подготовительные материалы к «Отцам и детям», в разделе «Формулярный список действующих лиц новой повести» (дата на титульном листе «Формулярного списка» – август 1860 г.) Тургенев писал, что Базаров – «сын доктора, который сам был сын попа». И далее, перечисляя качества главного героя, добавлял: «Нигилист. Самоуверен, говорит отрывисто и немного – работящ. – (Смесь Добролюбова, Павлова, Преображенского)» [18. С. 566]. Из этой троицы только И.В. Павлов, знакомый Тургенева доктор и литератор, был дворянином. В юности он подпал под влияние М.В. Буташевича-Петрашевского, но позднее отошел от революционных увлечений и примкнул к литераторам «славянофильской ориентации». Так что его «нигилизм» проявлялся исключительно в «резких высказываниях по вопросам литературы». Добролюбов же был разночинцем, бывшим «семинаристом». Н.С. Преображенский, студенческий товарищ Добролюбова, судя по всему, тоже был выходцем из семьи священнослужителей¹.

Так почему же Тургенев, который своему герою даже фамилию дал священническую (см.: [19. С. 340–341]), не сделал Базарова разночинцем? В советское время было принято называть Базарова представителем «разночинно-демократической интеллигенции», так он обозначен в энциклопедиях. Но не

¹ См. комментарии к подготовительным материалам к роману «Отцы и дети» [21. С. 719–720].

ошибка ли это? Базаров, безусловно, живет жизнью разночинца, но формально он дворянин во втором поколении.

Тут стоит сделать небольшое отступление и определиться в терминах. Элис Виртшафтер, автор большого историко-социологического исследования феномена разночинцев в России XVIII–XIX вв., писал, что разночинцам невозможно дать единого определения: «Границы этой социальной категории необычайно подвижны, и при конкретном использовании этот термин мог быть отнесен практически к любой группе общества, включая дворянство, горожан и крестьянство» [20. С. 12]. При этом в разное время понятие «разночинец» употреблялось в отношении представителей разных социальных слоев.

Например, большинство исследователей утверждают, что впервые слово «разночинец» появляется в XVIII в. Сначала, будучи этимологически связанным с бюрократическим словосочетанием «люди разных чинов», он относился к сравнительно устойчивой группе лиц, находившихся вне основных сословий. Но, скажем, в указе 1755 г., которым создавался Московский университет «для дворян и разночинцев», под разночинцами понимались просто люди недворянского происхождения. Такое употребление было расширено в XIX в., пишет исследователь Кристофер Беккер, когда в литературных и публицистических текстах разночинцами начинают называть людей недворянского происхождения, получивших образование. К XX в. этот термин стал применяться еще шире: возобладали «бесклассовая» теория, когда в число разночинцев начали включать представителей «демократической» интеллигенции, вне зависимости от ее сословного происхождения (см.: [22. Р. 72–73]).

Получается, что в контексте второй половины XIX в. мы можем говорить о разночинцах «по сословию», к которым причисляли образованных лиц недворянского происхождения (например, Чернышевского и Добролюбова); разночинцах «по профессии», к которым в разное время относили дворян, которые по бедности были вынуждены зарабатывать на жизнь интеллектуальным или профессиональным трудом (скажем, В.Г. Белинского или Ф.М. Достоевского¹); и разночинцах «по образу мыслей», к которым так же относили дворян, которые по сумме своих взглядов были близки к «мыслящим пролетариям» (наиболее показательный пример – Д.И. Писарев, дворянин, которого в советское время называли «радикальный разночинец»).

Таким образом, Базаров – разночинец «по образу мыслей», «внук дьячка», но все-таки дворянин во втором поколении. Казалось бы, сделай его Тургенев сыном дьячка, было бы проще и понятней. Связь Базарова с духовным сословием отвечала распространенным в дворянских кругах представлениям о происхождении отечественного нигилизма (см.: [23. С. 38]). Она была воспринята ими как весьма «характеристичная» черта тургеневского героя. В этой связи Тургенева совершенно обоснованно критиковали за слишком уж отдаленное родство его героя с духовенством: «Может быть, фигура Базарова вышла бы еще типичнее, если б автор прямо произвел его от дьячка» [24. С. 272], – писал в статье «О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева» Н.М. Катков.

¹ Литературоведы 1920-х гг. нередко называли Достоевского «разночинцем», например, проводя различие между Достоевским и И.С. Тургеневым, Н.Ф. Бельчиков писал: «Один – разночинец, представитель мелкобуржуазной среды, другой – обеспеченный барин, помещик» [25. С. III].

Итак, почему же Тургенев этого не сделал? Ответ кажется простым. Сделай Тургенев Базарова семинаристом, главный конфликт книги стал бы сословным. Точнее, заметно сместился бы авторский акцент, и взаимоотношение поколений было бы представлено читателям, прежде всего, как противоречие сословное. Несмотря на то, что тема двух поколений, предопределившая сюжет романа «Отцы и дети», была подсказана Тургеневу недавней идеологической борьбой между «либералами и демократами» журнала «Современник», Тургенев, по-видимому, хотел противопоставить в своем романе не столько сословия и не столько политические программы, а мировидения людей сороковых и людей шестидесятых годов.

Катков писал: «типичный нигилист» – сын дьячка, намекая на то, что появление нигилизма, может быть, больше связано с процессами «гниения» в замкнутом сословии священнослужителей, чем с нерешенными проблемами в русском обществе. Двойственный статус Базарова лишал комментаторов возможности давать такие упрощенные объяснения природы нигилизма. А кроме того, Тургенев показывал, что «внук дьячка», «мелкий» дворянин с образованием, но без барского воспитания, собственности и крепостных крестьян, может быть не менее радикально настроенным по отношению к существующим порядкам, чем семинарист, прошедший «палочное» воспитание в бурсе.

Итак, Тургенева интересовал вопрос изменения ценностей в русском обществе, вступавшего в эпоху Великих реформ. В узком смысле, – процесс смены ценностных установок внутри двух «партий» равно оппозиционных по отношению к официальной идеологии (дворянского либерализма и «революционно-демократической» идеологии разночинной интеллигенции)¹. В широком смысле – ценностей «абстрактного» идеализма людей 1840-х гг. и «реализма» людей 1860-х гг. По-видимому, Тургенев почувствовал, что лучше всего разделение своих героев на отцов и детей он может показать с помощью образа нигилиста, нигилизм является катализатором смены ценностей. Тургенев угадал очень точно, потому что, опираясь на роман и отталкиваясь от суждений Тургенева о нигилизме, представители всех направлений общественной мысли в России уяснили свои мировоззренческие позиции и произвели «размежевание» своих социально-политических программ, осознав те «непримиримые противоречия», которые не осознавали раньше.

«Раскол в нигилистах»

Итак, роман «Отцы и дети» вышел в 1862 г., когда в литературной среде еще свежи были воспоминания об истории разрыва Тургенева с «Современником», и многие в фигуре Базарова увидели карикатурный портрет Добролюбова. Конечно, Базаров не был карикатурой на Добролюбова. И Тургенев не хотел свести свой роман к памфлету². Но литераторам «левого» лагеря,

¹ Такую трактовку романа мы можем найти в недавнем исследовании сотрудников Института философии РАН. См.: [26. С. 233].

² Тургенев использовал Добролюбова в качестве одного из протопопов Базарова, но после выхода романа он неоднократно заявлял, что не писал на Добролюбова «памфлет» и не пытался отомстить обидчику: «Мои критики называли мою повесть „памфлетом“, упоминали о „раздраженном“, „уязвленном“ самолюбии, – писал Тургенев; – но с какой стати стал бы я писать памфлет на Добролюбова, с которым я почти не видался, но которого высоко ценил как человека и как талантливого писателя?» [2. С. 87–88].

знавшим о конфликте «либералов и демократов», сложно было отделаться от мысли, что «Отцы и дети» – это месть разночинцам-семинаристам. Они не замечали положительных черт Базарова, а по инерции видели только отрицательные.

Например, еще один семинарист Максим Алексеевич Антонович, который после смерти Добролюбова руководил литературно-критическим отделом «Современника», написал разгромную статью о романе Тургенева, которую назвал: «Асмоней нашего времени». Статья вышла в третьем номере журнала за 1862 г. Антонович взял за основу своего критического очерка тезис, что Тургенев в романе «Отцы и дети» вместо реалистического изображения «картины современной жизни» и «современных личностей» выступил как либеральный идеолог, занялся исключительно «выражением собственных личных симпатий и антипатий»: «...в романе, за исключением одной старушки, нет ни одного живого лица и живой души, – писал он, – а все только отвлеченные идеи и разные направления, олицетворенные и названные собственными именами» [27. С. 67]. И вместо литературного произведения у Тургенева получился «плохой и поверхностный морально-философский трактат».

Антонович с первых страниц романа почувствовал, что к главному герою, Базарову, и всем представителям «молодого поколения» Тургенев питает «какую-то личную ненависть и неприязнь, как будто они лично сделали ему какую-нибудь обиду и пакость, и он старается отметить им на каждом шагу, как человек лично оскорбленный; он с внутренним удовольствием отыскивает в них слабости и недостатки» [27. С. 68]. Посмотрите, как он описывает Базарова, говорит Антонович, Базаров у него «мало говорит и много ест» (обжора), злоупотребляет шампанским (почти алкоголик), третирует своих добрых родителей, не способен на любовь к женщине и «отрицает» все напропалую. То есть отрицает не то, что общество требует улучшения и реформирования, а все вообще «бессознательно, неразумно, вследствие ощущения».

Тургенев, по Антоновичу, не только сделал из Базарова карикатуру, вульгаризировал идеи молодого поколения, но еще и оклеветал его, потому что в одном месте романа Базаров высказывает сомнения в необходимости отмены крепостного права. Речь идет о словах, сказанных им в споре с Павлом Петровичем Кирсановым: «Свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке» [28. С. 51]. «Это уж не непонимание, а сущая клевета, взведенная на молодое поколение и на современные направления, – пишет Антонович. – Действительно, были люди, не расположенные к свободе, которые говорили, что крестьяне без опеки помещичьей сопьются с круга и предадутся безнравственности. Но кто же эти люди? Скорей они принадлежат к числу „отцов“, к разряду Павла и Николая Петровичей, а уж никак не к „детям“» [27. С. 67].

Статья Антоновича похожа не на критический очерк о художественном произведении, а на выступление в суде, где он обвиняет Тургенева в распространении ложной информации о «молодом поколении» с подробным разбором всех «случаев клеветы». И наблюдения Антоновича за тем, как Тургенев построил образ Базарова, – точны в деталях, Базаров, действительно, пьет

шампанское, отталкивает добрых родителей, не способен любить женщину, испытывает по отношению к Одинцовой вместо любви «страсть, похожую на злобу», и сомневается в необходимости отмены крепостного права. Но детали эти Антоновичем неправильно поняты, и выводы по поводу романа, основанные на них, – совершенно ошибочны. Эта ошибка происходит в силу неправильной установки Антоновича, который прочел «Отцы и дети» не как литературное произведение, а лишь как «трактат», и все слова Базарова (и других представителей «молодого поколения») воспринял буквально. И, кроме того, отказался обращать внимание на контекст, в котором эти слова были произнесены.

Один из главных конфликтов, который Тургенев закладывал в свой роман и пытался раскрыть с помощью образа Базарова, – конфликт между разумом и чувствами. Он заключается в том, что Базаров создал для себя непротиворечивую систему ценностей, основанную на философии материализма, которая в какой-то момент вошла в противоречие с его чувствами. Базаров старым абстрактным принципам и идеалам (среди которых, по его мнению, были и честь, романтическая любовь и прочие «пустяки») противопоставил конкретный опыт, решил верить только в то, что видит, и делать только то, что полезно. И вдруг, к большому неудовольствию Базарова, оказалось, что его чувства начинают противоречить материалистическим установкам. Например, любовь к женщине он считает романтическим предрассудком и, тем не менее, влюбляется в Одинцову. Приходится подавлять чувства. Именно из-за этого внутреннего конфликта Базаров в присутствии Одинцовой испытывает «страсть, похожую на злобу». То есть «злоба», замеченная Антоновичем, происходит не от отсутствия любви, а как раз из-за ее досадного наличия.

Что же касается «идеологических» слов Базарова, то их нельзя рассматривать вне контекста их произнесения. Антоновича задает, что у Тургенева «молодое поколение следует отрицательному направлению слепо и бессознательно не потому, чтоб оно уверено было в несостоятельности того, что оно отрицает, а просто только вследствие ощущения» [27. С. 75]. Действительно, Базаров говорит: «Я придерживаюсь отрицательного направления – в силу ощущения. Мне приятно отрицать, мой мозг так устроен – и баста! Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? – тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет, да и я в другой раз тебе этого не скажу» [28. С. 121].

Антонович использует эти слова в своем «обвинительном акте», но не учитывает, что сказаны Базаровым они в минуту глубокого разочарования, когда люди говорят нарочно то, во что не верят. Эта сцена происходит уже после того, как Одинцова отвергла его любовь, Базаров «рассыпался», по его собственному выражению, и стал постепенно превращаться в пессимиста и скептика. В этом же скептическом настроении сказаны известные слова про мужика: «А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть и который мне даже спасибо не скажет... да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?» [28. С. 120–121]. Эти слова звучат очень «не демократично», но произнесены они только оттого, что Базаров страстно хотел помогать Филиппу и Сидору, но понял, что бессилен что-то изменить.

Сомнения в необходимости отмены крепостного права, как их квалифицировал Антонович, Базаров высказывает до того, как начал «рассыпаться», но в определенном полемическом запале, во время спора со своим главным оппонентом Павлом Петровичем Кирсановым, который пытался выяснить, в чем состоит его «учение». Базаров «начал злиться» и доказывать, что он не принадлежит к «проповедникам»:

«А потом мы догадались, – говорит Базаров, – что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству; мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно оттого, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке» [28. С. 50–51].

Если принять во внимание психологическую мотивировку этих слов, становится понятно, что в этой фразе Базаров нисколько не сомневается в необходимости отмены крепостного права, а досадует на «передовых людей» и чиновников-либералов, которые хотят перенесения на русскую почву прогрессивных европейских институтов, вместо того чтобы для начала подготовить для них почву. Одним словом, все выражения Базарова психологически мотивированы, и воспринимать их буквально – означает ошибаться. Однако Антонович настойчиво игнорирует приемы психологической прозы и как будто нарочно ошибается.

Примерно в одно время со статьей Антоновича в журнале «Современник» появилась статья Дмитрия Ивановича Писарева «Базаров», которая отличалась полным сочувствием образу Базарова. Считается, что именно статья «Базаров» положила начало знаменитому «расколу в нигилистах» (см.: [29. С. 52–54]).

Надо сказать, что в жизни молодого критика Писарева роман «Отцы и дети» имел важное значение. Образ Базарова произвел на него громадное впечатление, во многом изменив его жизнь, а статья «Базаров» принесла ему широкую известность. Прочитав «Отцы и дети», Писарев восторженно приветствовал появление нового героя современности, нигилиста Базарова, увидев в нем воплощение «обаятельной силы». В стремлении Базарова к «осознательной пользе» и настоящему «делу» вместе с презрением к старым социальным нормам Писарев увидел черты «нового типа» и признаки смены ценностных ориентиров.

Писарев взял за основу своей критической статьи тезис, противоположный тезису Антоновича, что Тургенев в романе «Отцы и дети», напротив, выступил как настоящий реалист, «не сочувствовал вполне» ни одному из своих действующих лиц, а показал жизнь, как она есть. Он показал как сильные, так и все слабые и смешные черты Базарова, показал его грубым, «крайне необразованным», а отрицание его, порой, глупым. Писарев ожидал, что читателям Базаров может и не понравиться, «но я точно так же уверен в том, – писал он, – что непосредственное чувство читателей, не скованных

обязательными отношениями к теории, оправдает Тургенева и увидит в его произведении не диссертацию на заданную тему, а верную, глубоко прочувствованную и без малейшей утайки нарисованную картину современной жизни» [30. Стб. 397].

Писарев высказал мысль, что Тургенев, барин и либерал Тургенев, конечно, не мог любить Базарова, и создавая его образ, «хотел разбить его в прах», но помимо своей воли, бессознательно, как настоящий художник, написал его апологию: «...признал его перевес над окружающими людьми и сам принес ему полную дань уважения». «Он хотел сказать: наше молодое поколение идет по ложной дороге, и сказал: в нашем молодом поколении вся наша надежда» [30. Стб. 419]. По Писареву, художественное чутье Тургенева, воспевшего Базарова, одержало победу над его сословными интересами.

Так почему Антонович игнорирует приемы психологической прозы, а Писарев не игнорирует и понимает роман как будто точнее, ближе к авторскому замыслу? Потому что Антонович глупее Писарева? Нет. Ответ лежит в другой плоскости: Антонович – разночинец «по сословию», а Писарев – разночинец только «по образу мыслей».

Н.К. Михайловский в статье «Из литературных и журнальных заметок 1874 года», пытаясь дать социально-политическое определение разночинцев, показал разницу между этими типами, отделяя «чистых разночинцев» от «кающихся дворян», к которым относил Писарева. Среди характерных черт «чистых разночинцев» он выделял скромное социальное происхождение, бедность, непростое детство, а также непосредственное знание народной жизни. «Кающиеся дворяне» могли иметь схожий с разночинцами образ мыслей, но они не обладали «знанием народной жизни», имели другое воспитание и поэтому не могли до конца понять потребности и чаяния разночинцев (см.: [31. С. 97–115]).

Антонович так набросился на роман Тургенева, потому что сам был семинаристом, сыном священника (как Чернышевский и Добролюбов). В отличие от Писарева, он чувствовал себя уязвимым в обществе, где правили дворяне. Он считал, что если разночинцев (и их радикальное крыло – нигилистов) признают общественно опасными элементами, с ними может случиться что угодно, им могут запретить поступать в университет (как это уже делали), могут запретить устраиваться на государственную службу, могут вообще начать ссылать в Сибирь и сажать в тюрьму. Когда потребовалось встать на защиту интересов своего только нарождающегося сословия, Антоновичу уже было не до литературоведения. Ориентируясь на среднего читателя романа, который мог неправильно понять психологически мотивированных высказываний героев, которые у Тургенева порой говорят не совсем то, что думают, Антоновичу нужно было как можно быстрее сказать, что разночинцы (и нигилисты) – не такие, как Базаров. Они нормальные. Может быть они и материалисты, но это не значит, что они не могут любить родителей. Они не монстры и не дураки, они отрицают совершенно конкретные вещи. А роман «Отцы и дети» – очень вредный, потому что не борется, а только усиливает сословные стереотипы.

Какой можно сделать вывод из «спора» Писарева и Антоновича? И в чем социально-политическая значимость этого «спора»? Центральная тема романа «Отцы и дети» – конфликт поколений. Молодые запальчиво бунтуют и

утверждают новое, старшие не сдаются и защищают старое. Можно предположить, что эта конфронтация стара, как мир, и одинаково воспроизводится каждым новым поколением. Да и поколения, в сущности, одинаковые. Действительно, в традиционном обществе разница в условиях жизни поколений была минимальна, молодые бунтовали, но к старости становились такими же, как их отцы. Однако роман «Отцы и дети» появился как раз в тот момент, когда традиционная структура общества в России начала заметно меняться. И «дети» стали отличаться от «отцов» не только возрастом, но и набором ценностей.

Традиционный конфликт отцов и детей к началу 1860-х гг. усилился социальной проблематикой, благодаря появлению нового социального слоя – разночинцев, близостью Великих реформ, необходимостью решать крестьянский вопрос, который должен был изменить вековой уклад российской жизни. И поэтому трактовка образа Базарова, представителя «молодого поколения», носителя новых ценностей, вдруг стала такой важной.

Таким образом, роман Тургенева «Отцы и дети» сыграл важную роль в общественной жизни России 1860-х гг. Появление образа Базарова не только оказалось событием, обнажившим все идейные противоречия своего времени, но и послужило идейной основой, на которой начался «спор в нигилистах», оказавший существенное влияние на специфику социально-политической мысли радикальной интеллигенции эпохи Великих реформ и формирование разночинного сословного сознания.

Список источников

1. Добролюбов Н.А. Когда же придет настоящий день? // Собрание сочинений : в 9 т. Статьи и рецензии 1860. М. : Л. : Гос. изд-во худ. лит., 1963. Т. 6. С. 96–141.
2. Тургенев И.С. По поводу «Отцов и детей» // Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Т. 11. Сочинения. М. : Наука, 1983. С. 86–98.
3. Иванов-Разумник П.В. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Часть первая: 1826–1886. М. : Федерация, 1930. 383 с.
4. Кирпотин В.Я. Радикальный разночинец Д.И. Писарев. Л. : Прибой, 1929. 252 с.
5. Лесков Н.С. Некуда // Собрание сочинений : в 11 т. М. : ГИХЛ, 1957. Т. 2. 757 с.
6. Толстой Л.Н. Юность // Полное собрание сочинений : в 90 т. Т. 2. Отрочество. Юность. М. : Гос. изд-во худ. лит., 1935. С. 79–241.
7. Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России. М. : Новое лит. обозрение, 2015. 448 с.
8. Евгеньев-Максимов В.Е. «Современник» при Чернышевском и Добролюбом. М., 1936. 624 с.
9. Демченко А.А. Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1828–1858). М. : ЦГИ Принт, 2015. 384 с.
10. Чернышевский Н.Г. Воспоминания о Некрасове // Полное собрание сочинений : в 15 т. М. : Гослитиздат, 1939. Т. 1. С. 714–722.
11. Чернышевский Н.Г. Дневник второй половины 1848 г. и первой половины 1849 // Полное собрание сочинений : в 15 т. М. : Гослитиздат, 1939. Т. 1. С. 38–214.
12. Панаева (Головачева) А.Я. Из «Воспоминаний» // И.С. Тургенев в воспоминаниях современников : в 2 т. М. : Худ. лит., 1983. Т. 1. С. 104–152.
13. Векслер И.И. И.С. Тургенев и политическая борьба шестидесятых годов. 2-е изд. Л. : М. : Изд-во АН СССР, 1935. 96 с.
14. Тургенев И.С. 417. А.В. Дружинину и Д.В. Григоровичу. 10(22) июля 1855. Спасское // Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Т. 3. Письма. М. : Наука, 1987. С. 41–43.
15. Чернышевский Н.Г. Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым // Полное собрание сочинений : в 15 т. М. : Гослитиздат, 1939. Т. 1. С. 723–741.

16. Муратов А.Б. Н.А. Добролюбов и разрыв И.С. Тургенева с журналом «Современник» // В мире Добролюбова : сб. ст. М. : Сов. писатель, 1989. С. 316–340.
17. Батюто А.И. Тургенев-романист. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1972. 392 с.
18. Тургенев И.С. Подготовительные материалы к роману «Отцы и дети» // Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Т. 12. Сочинения. М. : Наука, 1986. С. 563–577.
19. Генералова Н.П., Хитрово Л.К. К родословной главного героя романа «Отцы и дети» (Кто дал фамилию Евгению Базарову?) // Тургенев И.С. Новые исследования и материалы. М. ; СПб. : Альянс-Архео, 2012. С. 329–346.
20. Виртшафтер Элис К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. М. : Логос, 2002. 272 с.
21. Батюто А.И., Битюгова И.А., Гозенпуд А.А., Никитина Н.С. и др. Примечания // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Т. 12. Сочинения. М. : Наука, 1986. С. 577–730.
22. Becker Ch. “Raznochintsy: The Development of the Word and of the Concept” // The American Slavic and East European Review. Feb., 1959. Vol. 18, № 1. P. 63–74.
23. Белоусов А.Ф. «Внук дядька» // Рижский филологический сборник. Вып. 1-й: Русская литература в историко-культурном контексте. Рига : ЛУ, 1994. С. 30–41.
24. Катков Н.М. О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева // Избранные труды. М. : РОССПЭН, 2010. С. 259–280.
25. Бельчиков Н.Ф. Достоевский и Тургенев // Ф.М. Достоевский и И.С. Тургенев. Переписка. [История одной вражды]. Л. : Academia, 1928. С. III–VIII.
26. Безменщиков А.Е., Щербатова И.Ф. Политика, общество и культура в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» // Часы Ивана Тургенева. Международная конференция «Иван Сергеевич Тургенев: философствующий писатель и политический философ. К 200-летию со дня рождения». М. : Голос, 2018. С. 232–251.
27. Антонович М.А. Асмодей нашего времени // Современник. 1862. № 3. Современное обозрение. С. 65–122.
28. Тургенев И.С. Отцы и дети // Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах Т. 7. Сочинения. М. : Наука, 1981. С. 5–191.
29. Щербаков В.И. Д.И. Писарев и литература эпохи нигилизма. М. : ИМЛИ РАН, 2016. 416 с.
30. Писарев Д.И. Базаров // Полное собрание сочинений в шести томах. Т. 2. СПб. : Типография Ю.Н. Эрлих, 1894. Стб. 373–422.
31. Михайловский Н.К. Из литературных и журнальных заметок 1874 года // Литературная критика и воспоминания. М. : Искусство, 1995. С. 84–115.

References

1. Dobrolyubov, N.A. (1963) *Sobranie sochineniy*: V 9 t. [Collected Works: in 9 vols]. Vol. 6. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury. pp. 96–141.
2. Turgenev, I.S. (1983) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem v tridsati tomakh* [Complete Works and Letters: in 30 volumes]. Vol. 11. Moscow: Nauka. pp. 86–98.
3. Ivanov-Razumnik, R.V. (1930) *M.E. Saltykov-Shchedrin. Zhizn' i tvorchestvo* [M.E. Saltykov-Shchedrin. Life and Works]. Vol. 1. Moscow: Federatsiya.
4. Kirpotin, V.Ya. (1929) *Radikal'nyy raznochinets D.I. Pisarev* [Radical commoner D.I. Pisarev]. Leningrad: Priboy.
5. Leskov, N.S. (1957) *Sobranie sochineniy v 11 tomakh* [Collected Works in 11 vols]. Vol. 2. Moscow: GIKhL.
6. Tolstoy, L.N. (1935) *Polnoe sobranie sochineniy*: V 90 t. [Complete Works in 90 vols]. Vol. 2. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoy literatury. pp. 79–241.
7. Manchester, L. (2015) *Popovichy v miru: dukhovenstvo, intelligentsiya i stanovlenie sovremennogo samosoznaniya v Rossii* [Priests' sons in the world: the clergy, the intelligentsia and the formation of modern self-awareness in Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
8. Evgeniev-Maksimov, V.E. (1936) “*Sovremennik*” pri Chernyshevskom i Dobrolyubove [“Sovremennik” under Chernyshevsky and Dobrolyubov]. Moscow: [s.n.].
9. Demchenko, A.A. (2015) *N.G. Chernyshevskiy. Nauchnaya biografiya (1828–1858)* [N.G. Chernyshevsky. A scientific biography (1828–1858)]. Moscow: TsGI Print.
10. Chernyshevskiy, N.G. (1939a) *Polnoe sobranie sochineniy: V 15 t.* [Complete Works in 15 vols]. Vol. 1. Moscow: Goslitizdat. pp. 714–722.

11. Chernyshevskiy, N.G. (1939b) *Polnoe sobranie sochineniy: V 15 t.* [Complete Works in 15 vols]. Vol. 1. Moscow: Goslitizdat. pp. 38–214.
12. Panaeva (Golovacheva), A.Ya. (1983) Iz “Vospominaniy” [From “Memories”]. In: Elizavetina, G.G. (ed.) *I.S. Turgenev v vospominaniyakh sovremennikov: v 2 t.* [I.S. Turgenev in the memoirs of contemporaries: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. pp. 104–152.
13. Veksler, I.I. (1935) *I.S. Turgenev i politicheskaya bor'ba shestidesyatykh godov* [I.S. Turgenev and the political struggle of the sixties]. 2nd ed. Leningrad; Moscow: USSR AS.
14. Turgenev, I.S. (1987) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem v tridsati tomakh* [Complete Works and Letters: in 30 volumes]. Vol. 3. Moscow: Nauka. pp. 41–43.
15. Chernyshevskiy, N.G. (1983) Vospominaniya ob otnosheniyakh Turgeneva k Dobrolyubovu i o razryve druzhby mezhdu Turgenevym i Nekrasovym [Memories of Turgenev's relationship to Dobrolyubov and the break in friendship between Turgenev and Nekrasov]. In: Elizavetina, G.G. (ed.) *I.S. Turgenev v vospominaniyakh sovremennikov: v 2 t.* [I.S. Turgenev in the memoirs of contemporaries: in 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. pp. 321–340.
16. Muratov, A.B. (1989) N.A. Dobrolyubov i razryv I.S. Turgeneva s zhurnalom “Sovremennik” [N.A. Dobrolyubov and I.S. Turgenev's break with the magazine “Sovremennik”]. In: Kuznetsov, F.F. & Lesnevskiy, S.S. (ed.) *V mire Dobrolyubova* [In Dobrolyubov's World]. Moscow: Sovetskii pisatel'. pp. 316–340.
17. Batyuto, A.I. (1972) *Turgenev-romanist* [Turgenev as a novelist]. Leningrad: Nauka.
18. Turgenev, I.S. (1986) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem v tridsati tomakh* [Complete Works and Letters: in 30 volumes]. Vol. 12. Moscow: Nauka. pp. 563–577.
19. Generalova, N.P. & Khitrovo, L.K. (2012) K rodoslovnoy glavnoy geroya romana “Ottsy i deti” (Kto dal familiyu Evgeniyu Bazarovu?) [To the genealogy of the main character of the novel “Fathers and Sons” (Who gave the last name to Evgeny Bazarov?)]. In: Generalova, N.P. & Lukina, V.A. (eds) *Turgenev I.S. Novye issledovaniya i materialy* [Turgenev I.S. New research and materials]. Moscow; St. Petersburg: Al'yans-Arkheo. pp. 329–346.
20. Kimerling Wirtshafter, E. (2002) *Sotsial'nye struktury: raznochintsy v Rossiyskoy imperii* [Structures of Society: Imperial Russia's “People of Various Ranks”]. Translated from English. Moscow: Logos.
21. Batyuto, A.I. & Bitugova, I.A. et al. (1986) Prilozheniya [Applications]. In: Turgenev, I.S. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem v tridsati tomakh* [Complete Works and Letters: in 30 volumes]. Vol. 12. Moscow: Nauka. pp. 577–730.
22. Becker, Ch. (1959) Raznochintsy: The Development of the Word and of the Concept. *The American Slavic and East European Review*. 18(1). pp. 63–74.
23. Belousov, A.F. (1994) Vnuk d'yachka [Grandson of the deacon]. In: Daugovich, S. (ed.) *Rizhskiy filologicheskiy sbornik* [The Riga Philological Collection]. Vol. 1. Riga: LU. pp. 30–41.
24. Katkov, N.M. (2010) *Izbrannye trudy* [Selected Works]. Moscow: ROSSPEN. pp. 259–280.
25. Belchikov, N.F. (1928) Dostoevskiy i Turgenev [Dostoevskiy and Turgenev]. In: Dostoevsky, F.M. & Turgenev, I.S. *F.M. Dostoevskiy i I.S. Turgenev. Perepiska [Istoriya odnoy vrazhdy]* [F.M. Dostoevsky and I.S. Turgenev. Correspondence. [The Story of One Feud]]. Leningrad: ACADEMIA. pp. 3–8.
26. Bezmenshchikov, A.E. & Shcherbatova I.F. (2018) Politika, obshchestvo i kul'tura v romane I.S. Turgeneva “Ottsy i deti” [Politics, society and culture in I.S. Turgenev's “Fathers and Sons”]. In: Nikolsky, S.A. (ed.) *Chasy Ivana Turgeneva* [Ivan Turgenev's Clock]. Moscow: Golos. pp. 232–251.
27. Antonovich, M.A. (1862) Asmodey nashego vremeni [Asmodeus of our time]. *Sovremennik*. 3. pp. 65–122.
28. Turgenev, I.S. (1981) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem v tridsati tomakh* [Complete Works and Letters: in 30 volumes]. Vol. 7. Moscow: Nauka. pp. 5–191.
29. Shcherbakov, V.I. (2016) *D.I. Pisarev i literatura epokhi nihilizma* [D.I. Pisarev and literature of the era of nihilism]. Moscow: IWL RAS.
30. Pisarev, D.I. (1894) *Polnoe sobranie sochineniy v shesti tomakh* [Complete Works in six vols]. Vol. 2. St. Petersburg: Yu.N. Erlikh, Sadovaya, № 9. pp. 373–422.
31. Mikhaylovskiy, N.K. (1995) *Literaturnaya kritika i vospominaniya* [Literary Criticism and Memories]. Moscow: Iskustvo. pp. 84–115.

Сведения об авторе:

Прокудин Б.А. — кандидат политических наук, доцент кафедры истории социально-политических учений Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: probor@bk.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Prokudin B.A. – Cand. Sci. (Political Science), associate professor, of the Department of the History of Social and Political Doctrines. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: probor@bk.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 25.03.2021;
одобрена после рецензирования 05.05.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 25.03.2021;
approved after reviewing 05.05.2022; accepted for publication 11.07.2022*

Научная статья
УДК 32.019.5
doi: 10.17223/1998863X/67/17

ОБРАЗЫ МОЛОДЕЖНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ В СОЗНАНИИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Антонина Владимировна Селезнева¹, Арина Леонидовна
Божедомова², Екатерина Валерьевна Луканина³

^{1, 2, 3} *Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Москва, Россия,*

¹ *ntonina@mail.ru*

² *arina_bozh@bk.ru*

³ *lukanina_99@mail.ru*

Аннотация. Представлены результаты политико-психологического исследования восприятия российской молодежью шести молодежных политических лидеров – выходцев из сферы молодежной политики: А.П. Метелева, О.Н. Занко (Амельченковой), М.В. Воропаевой, Ю.В. Оглоблиной, В.М. Власова, Д.А. Давыдова. Подчеркивается, что образы этих политических деятелей слабо сформированы и неконгруэнтны. Молодежь мало знает о них и не считает их представителями своих интересов.

Ключевые слова: политическое лидерство, молодежный политический лидер, образ политика, политическое восприятие, молодежь, молодежная политика

Для цитирования: Селезнева А.В., Божедомова А.Л., Луканина Е.В. Образы молодежных политических лидеров в сознании российской молодежи // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 190–201. doi: 10.17223/1998863X/67/17

Original article

IMAGES OF YOUTH POLITICAL LEADERS IN THE CONSCIOUSNESS OF RUSSIAN YOUTH

Antonina V. Selezneva¹, Arina L. Bozhedomova², Ekaterina V. Lukanina³

^{1, 2, 3} *Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation*

¹ *ntonina@mail.ru*

² *arina_bozh@bk.ru*

³ *lukanina_99@mail.ru*

Abstract. In the article we present the analysis of the perception of six youth political leaders: A.P. Metelev, O.N. Zanko (Amelchenkova), M.V. Voropaeva, Yu.V. Ogloblina, V.M. Vlasov, D.A. Davydov, who come from youth politics and who continue their careers in public administration and public policy, through the methods of political psychology. The objectives of the study are to identify the personal and professional potential of contemporary young politicians, the general mood of young people towards this cohort, and to provide a comprehensive study of the youth political leadership phenomenon in the contemporary Russian context. The conceptual research model is based on the understanding of the image of a politician as a complex mental construct, reflecting the real characteristics

of politicians and expectations towards them. Due to the unexplored nature of the phenomenon, the study presents an analysis of a set of parameters: leaders' origin, the potential electorate's attitude to them, and their professional path. The empirical research basis is represented by focused interviews with young people aged 18 to 35 ($n = 356$) with projective techniques. Based on the empirical data analysis, we revealed some peculiarities of the perception of youth political leaders: the parameters of attractiveness, strength and activity at the rational and unconscious levels of perception are expressed heterogeneously and often do not correlate with each other. The motivational profiles of the politicians are dominated by such motives as "power for ambition" and "power for action", which seems quite justified for professional politicians. Images of the politicians are characterized by ambivalence or uncertainty, even though the study was conducted during the peak of image activity – on the eve of the election to the State Duma and after it. The absence of a direct positive correlation between the respondents' young age and their perception of youth leaders deserves particular attention as well. This is indicated by the respondents' ignorance about their activities and views on the rational level, and by their perception that young politicians are "immature for adult politics" on the unconscious level. Nevertheless, some leaders have indicators of attractiveness, strength and activity, which are favorable for a politician image at the unconscious level of perception. The results of the study suggest that youth leaders have potential in the form of electoral attractiveness. At the same time, perception incongruence on different levels gives reason to speak about the need to work on the formation of youth political leaders' images and their positioning in the public policy space.

Keywords: political leadership; youth political leader; image of politician; political perception; youth; youth politics

For citation: Selezneva, A.V., Bozhedomova, A.L. & Lukanina, E.V. (2022) Images of youth political leaders in the consciousness of russian youth. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 190–201. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/17

Актуальность исследования особенностей восприятия молодежных политических лидеров российской молодежью обусловлена необходимостью изучения и научного осмысления современных тенденций развития сферы молодежной политики в нашей стране. Одной из них, в частности, является превращение ее институциональной структуры и проектных ресурсов в каналы рекрутирования молодых людей в сферу «взрослой» публичной политики и государственного управления. Ярким примером тому является целый пул молодых депутатов Государственной Думы последнего созыва, которые имеют опыт многолетней работы в «молодежке» и прошли через лидерские конкурсы президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Кроме того, исследователи отмечают в качестве проблемной зоны современной молодежной политики ее обезличенный и бессубъектный характер [1], поэтому появление новых молодых лиц, представляющих эту сферу, может отчасти способствовать решению данной проблемы. Все это делает актуальной задачу изучения восприятия молодежью тех или иных своих представителей как политических лидеров, за которыми она готова идти и которых готова поддерживать (в том числе и в рамках избирательных кампаний).

Теоретико-методологические основания и характеристика исследования

Изучение образов молодежных политических лидеров в сознании российской молодежи опирается, прежде всего, на положения теории политического восприятия и исследования российских политических психологов [2–4]. Это,

во-первых, понимание образа политика как его отражения в сознании людей в совокупности его реальных характеристик и существующих в его отношении ожиданий, обозначение его сложной внутренней структуры, обусловленной двухуровневым характером процесса политического восприятия [5]. Во-вторых, это использование специального инструментария – фокусированного интервью с применением проективных техник (ассоциации с животными, цветами и запахами) [6]. Поэтому наша исследовательская стратегия предполагает анализ основных компонентов образа политика (узнаваемость, одобрение политических взглядов и поддержка деятельности, политическая мотивация), а также параметров его восприятия (привлекательность, сила, активность) на рациональном и неосознаваемом уровнях.

Объектом восприятия в нашем исследовании являются молодежные политические лидеры, поэтому второй пласт теоретических оснований составляют разработки в данной области, которых, надо признать, крайне мало. Само понятие «молодежный политический лидер» является относительно новым для политической науки, поэтому результаты его концептуального осмысления и эмпирического изучения представлены в очень ограниченном круге научных работ [7–11]. Рассматривая молодежных политических лидеров как новый, только формирующийся тип политических лидеров, мы акцентируем внимание на таких параметрах их категоризации, как происхождение («выходцы» из сферы молодежной политики), восприятие (отношение молодежи к ним как к своим представителям) и продвижение (построение политической карьеры в сфере публичной политики или системе государственного управления). Такой подход позволяет комплексно рассматривать данный феномен с учетом сложно очерчиваемых границ сферы молодежной политики и быстро меняющихся тенденций политического развития.

Выбранный нами подход позволил определить конкретные персоны для изучения их образов в сознании молодежи, адаптировать имеющийся в арсенале политических психологов инструментарий для решения поставленных задач и провести эмпирическое исследование. В качестве объекта изучения были выбраны шесть молодых людей, которых по определенным параметрам можно назвать молодежными политическими лидерами: Ю.В. Оглоблина, А.П. Метелев, О.Н. Амелъченкова (Занко), В.М. Власов, М.В. Воропаева, Д.А. Давыдов. Все они прошли большой путь социализации в сфере молодежной политики, а в 2021 г. участвовали в выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (ФС РФ), причем первые четверо стали депутатами. Эмпирическую базу исследования составили фокусированные интервью, проведенные с молодыми респондентами в возрасте от 18 до 35 лет в период с августа по ноябрь 2021 г. Всего было собрано 356 интервью (по каждому политику – не менее 55 интервью). Респонденты представляли регионы из всех федеральных округов РФ, выборка была сбалансирована по полу и возрасту.

Результаты исследования и интерпретация

Артем Метелев

Артем Павлович Метелев с юности активно был вовлечен в деятельность молодежных организаций, в том числе «Молодой Гвардии Единой России». Работал в ФГБУ «Роспатриотцентр», был членом Общественной палаты РФ.

В данный момент является Председателем комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по молодежной политике, а также занимает пост Председателя Совета Ассоциации волонтерских центров. Является членом партии «Единая Россия».

Узнаваемость молодого политика (даже в период избирательной кампании) невелика – всего 14% респондентов точно определили его по фотографии. У этой категории молодых людей его деятельность вызывает одобрение, в особенности его активность в сфере волонтерства.

Параметр «привлекательность» в образе А. Метелева выражен наиболее явно. Респонденты особенно отмечают привлекательность его телесных характеристик. Большинству респондентов нравится его молодость. Они воспринимают его как открытого и позитивного человека, чаще всего отмечая улыбку и «свежий взгляд». Положительно оцениваются также его психологические качества. Молодые люди видят его целеустремленным и серьезным человеком, которому можно доверять.

На рациональном уровне А. Метелева воспринимают как сильного и активного молодого политика. Так, 40% опрошенных отмечают, что А. Метелев представляет интересы молодежи и сам является выходцем из молодежной политики. Респонденты считают, что он будет развивать молодежную сферу и расширять ее в разных направлениях. При этом лишь 14% молодых людей в момент опроса были готовы отдать свой голос за него на выборах в Государственную Думу.

В мотивационном профиле образа А. Метелева просматриваются две доминанты. С одной стороны, преобладающим является мотив «власть для реализации собственной цели» в двойственной трактовке. Прежде всего, данный мотив понимается как реализация личных амбиций А. Метелева: *«Не знаю... Возможно, ему в детстве не давали проявлять себя. И он нашел инструмент для реализации себя как личности»*. С другой стороны, часть респондентов, обозначая данный мотив, подразумевает, что А. Метелев имеет особую миссию для решения социально-политических проблем: *«Может быть, ему нужна не власть, а он хочет мир лучше сделать»*; *«По нему не видно, что он стремится к власти, а скорее он как раз-таки хочет что-то делать, быть полезным»*.

Во-вторых, в мотивационном профиле просматривается мотив «власть для построения карьеры»: *«Проявить как-то себя, построить карьеру»*; *«Просто чтобы построить карьеру – стать одним из лучших»*. В контексте деятельности А. Метелева данный мотив оценивается положительно, что отражает ценностные установки молодого поколения в целом на достижение успеха и продвижение по карьерной лестнице.

На неосознаваемом уровне восприятия А. Метелев ассоциируется с привлекательными, но средними по масштабу, слабыми и неагрессивными животными. В палитре ассоциируемых животных преобладают метафорические роли «слуги» (25,5%) с акцентом на несамостоятельность и зависимость от «хозяина» и «хранителя норы» (21,8%) с приписанными ему респондентами эгоистическими и корыстными мотивами. Молодой политик ассоциируется с приятными и нейтральными запахами, преимущественно деревенскими («древесный», «запах лаванды», «утренняя свежесть», «с ароматом елки»). Противоречивый характер образа политика подчеркивает также его ассоциа-

ции с цветом – одновременно ярким и тусклым с преобладанием холодных оттенков цветовой палитры (52,7%).

Таким образом, можно отметить расхождения в восприятии А. Метелева на рациональном и неосознаваемом уровнях. Единственные два параметра, которые определенно присутствуют в его образе и характеризуют его привлекательность как политика, это «молодой возраст» и «приятная внешность». Параметры «сила» и «активность» в образе выражены слабо, что свидетельствует о низком потенциале его политического лидерства.

Ольга Занко

Ольга Николаевна Занко (Амельченкова) начала свою деятельность в сфере молодежной политики с 2012 г. Сейчас она является депутатом Государственной Думы VIII созыва, исполнительным директором и председателем центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Она – самый узнаваемый молодежный лидер из всех изученных нами (хотя и ее показатель узнаваемости в целом крайне низкий – всего 16,7%). Она воспринимается как привлекательный политик. Респонденты чаще всего обращали внимание на ее взгляд: *«Властный взгляд. Она знает, что должна делать. Она не боится внешних угроз»; «Серьезный взгляд, целеустремленный»; «Какой целеустремленный взгляд»*. Молодым людям импонируют ее профессиональные качества: она представляется им хорошим работником, который точно доводит все дела до конца. На рациональном уровне О. Занко воспринимается как активный политик.

В мотивационном профиле образа О. Занко ярко выражен мотив «власть ради дела» (21,7%). На втором месте – мотив «власть ради амбиций» (18,3%). Интересно отметить, что ей молодые люди меньше, чем другим, приписывают мотив «власть ради денег». На рациональном уровне восприятия она кажется людям бескорыстным и честным политиком, обладает и высокой электоральной привлекательностью среди респондентов. Пятая часть опрошенных готовы были отдать за нее свой голос на выборах, отмечая, что О. Занко представляет интересы молодежи (но не самих молодых респондентов – 26,7%).

На неосознаваемом уровне восприятия О. Занко ассоциируется у молодых людей со светлыми цветами неопределенной интенсивности (разница в показателях яркости и тусклости цвета, степени их теплоты и холодности невелика). В ассоциациях с запахами преобладают приятные и феминные ароматы, что указывает на мягкость и привлекательность образа политика. Она ассоциируется с привлекательными животными среднего размера, но слабыми и неагрессивными. Таким образом, прослеживается расхождение между восприятием О. Занко на рациональном уровне как сильного и уверенного политика и низкими параметрами силы и активности в ассоциациях на неосознаваемом уровне.

Мария Воропаева

Мария Александровна Воропаева начала свою деятельность в молодежной политике с избрания ее председателем Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Еврейской автономной области в 2012 г.

Затем она возглавила Молодежный парламент при Государственной Думе. В 2020 г. стала победителем конкурса «Лидеры России. Политика». Участвовала в выборах в Государственную Думу ФС РФ в 2021 г., но мандата не получила.

В сознании молодежи уровень визуальной узнаваемости М. Воропаевой по фотографии низкий – всего 10,2%. Показатели одобрения ее политических взглядов и деятельности также низкие, поскольку молодые люди попросту ничего не знают о ней.

По параметру привлекательности на рациональном уровне М. Воропаева имеет самую высокую оценку физических характеристик и внешности среди всех рассматриваемых нами политиков (59,3%): *«По фото – привлекательная и опрятная девушка, официально и опрятно одета»*; *«Умный взгляд, приятная улыбка»*; *«Опрятный внешний вид, улыбка на лице»*. Параметры силы и активности также ярко выражены.

Непривлекательными молодым людям видятся ее психологические характеристики. Она кажется им замкнутой, сдержанной, но в то же время резкой: *«...не нравится манера ее общения с окружающими – иногда слишком резко»*; *«Она как-то замкнута в себе... Это скованность как неуверенность»*.

27,1% респондентов считают, что М. Воропаева представляет интересы молодежи, но не ассоциируется как представитель их – респондентов – интересов. Она кажется им чужой. И большинство из них не готовы были отдать за нее свой голос на выборах.

В мотивационном профиле у Воропаевой четко прослеживаются мотивы «власть ради амбиций» (15,3%) и «власть ради дела» (10,2%): *«Для реализации в жизнь своих личных амбиций через полезную и необходимую общественную деятельность»*; *«Думаю здоровые амбиции и стремление к самореализации»*; *«Реализация личных политических амбиций»*.

На неосознаваемом уровне М. Воропаева чаще всего ассоциируется с агрессивными животными среднего размера, играющими роль «охотника» (32,3%). Ее образ раскрашен тусклыми (59,3%) и темными (42,4%) цветами с преобладанием холодных оттенков. Также она ассоциируется с естественными (52,5%) и деревенскими (49,2%) запахами. Это является свидетельством выраженности параметров силы и активности в ее образе при низком уровне привлекательности.

Таким образом, можно заключить, что М. Воропаева воспринимается, прежде всего, как сильный и активный молодой политик с высоким лидерским потенциалом.

Юлия Оглоблина

Юлия Васильевна Оглоблина активно занимается молодежной политикой. Известна как член центрального штаба Общероссийского Народного Фронта и исполнительный директор Российского союза сельской молодежи. В 2020 г. стала победителем конкурса «Лидеры России. Политика». Она вошла в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, где выдвинула предложение по закреплению молодежной политики как предмета совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, которое было поддержано Президентом.

В 2021 г. была избрана депутатом Государственной Думы по 23-му избирательному округу Республики Мордовия от партии «Единая Россия».

В период предвыборной кампании Ю. Оглоблину узнали по фотографии 11% респондентов, причем половина из них не были уверены в правильности своих предположений (ответы преимущественно носили характер «что-то слышал»). Деятельность политика вызывает одобрение у узнавших ее, что связано с симпатиями респондентов к проектам, фокусирующимся на развитии села, которыми занимается Ю. Оглоблина. Образ кандидата привлекателен за счет телесных характеристик. Особенно респонденты отмечают приятное лицо. Противоречивы психологические характеристики: 20% респондентов воспринимают улыбку как фальшивую, а на 21% сторонников она производит позитивное впечатление сдержанного и серьезного человека. Отметим, что она видится им профессионалом, 10% молодых людей.

Ю. Оглоблину воспринимают как сильного и активного человека, которому можно доверить решение проблем. Пятая часть респондентов не готовы были голосовать за нее, сославшись на то, что они не знакомы с ее программой, столько же затруднились ответить. Это указывает на слабую предвыборную агитацию. В то же время политик обладает электоральной привлекательностью: 19% отметило, что проголосовали бы за нее, при том, что из них 8% ничего не знали о ней и ее деятельности. Респонденты приписывают кандидату такие мотивы участия в политической деятельности, как «власть ради дела» (25%) и «власть ради амбиций» (15%).

Ассоциации с животными, определяющие неосознаваемый уровень восприятия, показывают, что она производит впечатление человека смелого, имеющего интенцию к борьбе за власть и свои идеи (мифологический образ охотника – 28,3%), и одновременно несамостоятельного, исполняющего приказы свыше (мифологическая роль слуги – 21,7%). Преобладание темных (41,7%) и тусклых (56,7%) цветов показывает, что на неосознаваемом уровне респонденты воспринимают кандидата как потенциально влиятельного. В ассоциациях с запахом преобладают нежные (43%) и естественные (68%) ароматы, что указывает на мягкость образа. А социальные запахи, коих хотя и немного (14%), но они ассоциируются с чем-то близким к «премиальному», снова указывают на потенциал силы и влияния, что благоприятно для политика. Анализ данных неосознаваемого уровня восприятия показывает, что большинству респондентов Ю. Оглоблина приятна (70% в ассоциациях с животным и 68% – с запахом).

Подытоживая исследование образа Ю.В. Оглоблиной, стоит отметить два главных плюса – целостность образа и внешнюю (телесную) «нейтральную» привлекательность, что хорошо для женщины-политика. Кроме того, она имеет потенциал к лидерству и власти: на рациональном уровне она воспринимается как политик,двигающийся в одном направлении (политика в поддержку сельской местности и молодежная политика), а на неосознаваемом уровне выражена склонность к лидерству и влиянию.

Василий Власов

Василий Максимович Власов – представитель партии ЛДПР, первый заместитель Руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента. В 2016 г. получил место в Государственной Думе VII созыва, став самым молодым де-

путатом. Уже с первых лет на посту активно выдвигал законодательные инициативы с целью наделить молодых людей новыми правами в политическом поле (снижение возраста избирателя до 16 лет, разрешение на вступление в политические партии с 16 лет и т.д.).

В. Власов из всех объектов исследования имеет один из самых высоких показателей по параметру «узнаваемость» – 15,6%. Во многом это обусловлено его личными связями и выдвиганием законопроектов в поддержку блогеров, которые придали его персоне популярности в медиапространстве. В то же время среди всех исследуемых лидеров В.М. Власов получил наименьший процент одобрения своей деятельности. Это связано с тем, что респонденты, не одобряя деятельность привлекаемых им медиаперсон, судили лидера именно по их деятельности, поскольку непосредственно с инициативами и работой В. Власова ознакомлены не были.

На рациональном уровне восприятия В. Власов больше остальных политиков непривлекателен для респондентов по физическим характеристикам (*«потерянный взгляд»*, *«слишком формальный вид»*, *«галстук несовременный»*), в то же время привлекательными считаются его психологические качества (25%) – *«такой костюм говорит о целеустремленности»*, *«уверенная поза, но спокойный характер»*. Так, 15,6% респондентов отмечают, что В. Власов выглядит как политический деятель, и приписывают ему соответствующие профессионально-деловые качества: умение держаться на публике, нацеленность на результат, умение решать проблемы.

Молодому политику приписывают алчные мотивы – «власть ради денег» (23,4%). Немалая часть респондентов – 17,2% – считают, что лидеру власть нужна ради дела, а именно помогать людям и представлять интересы различных групп. Так, В. Власов видится респондентам человеком, в первую очередь, представляющим интересы политической партии (25%), причем многие из опрошенных, которые не знали депутата, высказали верное предположение о том, что он является членом партии ЛДПР. Также 17,2% респондентов отметили, что он создает впечатление человека, которой бы мог представлять интересы предпринимателей, поскольку сам похож на молодого бизнесмена.

На неосознаваемом уровне В. Власов воспринимается респондентами преимущественно как «чужак» (26,6%), а также человек с корыстными мотивами (21,9%), что соотносится с представлениями о нем на рациональном уровне восприятия. Молодой депутат ассоциируется преимущественно с неагрессивными, слабыми, средними по размеру, но привлекательными животными, что указывает на то, что респонденты не воспринимают В. Власова как крупную политическую фигуру. Согласно ассоциациям с запахом, он воспринимается респондентами преимущественно сильным, но несколько отстраненным от народа политиком, но что указывает преобладание техногенных (50%) и городских (35,9%) запахов. Положительным для политика является его ассоциация с основными (53,1%) и холодными (60,9%) оттенками цветового спектра, что придает молодому лидеру некой солидности и электоральной привлекательности.

Таким образом, можно сказать, что привлечение медийных личностей в пространство профессиональной деятельности политика положительно сказалось на его узнаваемости, но придало негативных оттенков качественному восприятию депутата молодым электоратом. Образ В. Власова нечеткий и не

очень привлекательный, на рациональном и неосознаваемом уровнях он воспринимается как отдаленный от народа политик.

Денис Давыдов

Давыдов Денис Александрович долгое время был председателем Координационного совета «Молодая Гвардия Единой России». В 2021 г. принимал участие в избирательной кампании в Государственную Думу в Ставропольском крае, но не прошел. В настоящее время является заместителем председателя Правительства Ставропольского по вопросам молодежной политики. Член Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия».

Узнаваемость Д. Давыдова среди молодежи очень невысока – 12,1%. Вместе с тем его образ можно назвать, наверное, самым цельным среди всех исследуемых нами молодых политиков.

На рациональном уровне восприятия Д. Давыдов кажется респондентам привлекательным в основном за счет психологических характеристик (31%): *«видно, что человек заслуживает доверия»; «энергетика хорошая»; «на вид человек мягкий добрый с положительными намерениями»*. Отмечались и физические характеристики (27,6%), в особенности привлекательная внешность и молодость. Образ этого молодежного лидера отличается таким высоким интегральным показателем, как *«все нравится»* (36,2%). Политическая мотивация слабо выражена: ему приписывают либо альтруистические (*«он хочет, чтобы всем людям было хорошо»; «он хочет, чтобы страна шла по направлению развития»*), либо эгоистические с положительной коннотацией (*«хочет чего-то достичь»; «хочет самореализации»; «хочет построить карьеру»*) мотивы.

Несмотря на то, что превалирующим ответом на вопрос *«отдали бы Вы свой голос за него?»* был ответ *«нет»* (37,2%) с пометкой *«потому что я его не знаю»*, 17,2% опрошенных (при узнаваемости в 12,1%) отдали бы свой голос за Д. Давыдова. Это свидетельствует о том, что он производит нужное впечатление на потенциальный электорат (молодежь). Четверть респондентов (25,9%) считают, что он представляет интересы молодежи, и в том числе интересы самих респондентов: *«представляет интересы молодежи, вероятнее, хотя я думаю, в будущем это будет не только молодежь, но и люди старшего поколения; мои, получается, представляет тоже»*.

На неосознаваемом уровне среди всех исследуемых нами молодых лидеров Д. Давыдов имеет самый конкретный и, на наш взгляд, благоприятный для политика образ. Так, в ассоциациях с цветом превалируют основные (70,7%), темные (44,8%) и теплые (51,7%) оттенки. Это свидетельствует о том, что молодежь видит в нем идейного политического лидера, вызывающего эмоциональный отклик. В ассоциациях с запахом преобладают приятные (44,8%), естественные (50%), деревенские (48,3%) ароматы. Это свидетельствует о том, что респонденты видят в нем *«своего»*, понятного, не чуждого. Подтверждают это и результаты в ассоциациях с животными: как правило, Д. Давыдову приписывается роль *«хозяина»* (24,1%), в основном медведя, что соответствует национальным архетипам. Размеры ассоциируемого животного преимущественно средние (41,4%), но большая доля приходится на крупных животных (37,9%), что является самым большим показателем среди наших объектов исследования.

Таким образом, Д. Давыдов, как на рациональном, так и на неосознаваемом уровнях, воспринимается как наиболее понятный и близкий молодежи политик.

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо сделать некоторые выводы.

Во-первых, образы всех изученных нами молодых политических лидеров слабо сформированы. Это можно объяснить, с одной стороны, тем, что они только начинают свою профессиональную политическую карьеру и имеют малый опыт позиционирования в публичном пространстве. С другой стороны, такая ситуация является следствием наблюдаемой в последние электоральные циклы тенденции превалирования административно-технологических подходов к проведению избирательных кампаний в ущерб их образно-символическим составляющим. Исследование проводилось до и после выборов в Государственную Думу, т.е. в период, когда все рассматриваемые нами молодые политики как кандидаты в депутаты должны были активно работать над собственным имиджем, повышать узнаваемость среди молодежи для получения ее электоральной поддержки.

Во-вторых, образы изученных нами молодых политиков в большинстве своем неконгруэнтны: параметры привлекательности, силы и активности на рациональном и неосознаваемом уровнях восприятия выражены неоднородно и часто не соотносятся между собой. Это касается, в первую очередь, параметров силы и активности, которые у некоторых рассматриваемых нами политиков (например, А. Метелева, О. Амельченковой и В. Власова) слабо выражены на неосознаваемом уровне, что для молодежных политических лидеров недопустимо.

В-третьих, в мотивационных профилях рассматриваемых нами молодежных политических лидеров преобладают мотивы «власть ради амбиций» и «власть ради дела». Такое сочетание мотивов для профессиональных политиков представляется вполне оправданным. Политическая мотивация не выражена только у Д. Давыдова, а В. Власову респонденты приписывают меркантильные мотивы материальной выгоды. При этом существующие на неосознаваемом уровне мифологические образы ассоциируемых животных обозначают проблемные моменты восприятия, например, О. Амельченковой и А. Метелева как корыстных и эгоистичных политиков.

В-четвертых, рассматриваемые нами политики в большинстве своем не воспринимаются молодежью как «свои» политические лидеры. Молодежь не знает их в лицо, не осведомлена об их политических взглядах и деятельности. Они не воспринимаются как представители интересов ни обобщенной молодежи (самые высокие показатели у А. Метелева – 40%, М. Воробаевой – 27,1% и Д. Давыдова – 25,9%), ни конкретных молодых людей – участников нашего опроса (самый высокий показатель у Ю. Оглоблиной – 16,7%). Совершенно «чужим» представляется В. Власов, который на неосознаваемом уровне ассоциируется с животным «не из нашего леса».

В-пятых, результаты исследования показывают наличие потенциала для формирования и во многом корректирования образов молодежных политических лидеров. И двойственность их восприятия на неосознаваемом уровне, и

высокие показатели нейтральных позиций в ассоциативных рядах определяют пространство возможностей для работы над их образами и позиционированием в публичном пространстве. Основная линия развития здесь – будучи уже «лидерами из молодежи» стать «лидерами для молодежи», известными, открытыми, понятными, привлекательными, сильными и активными настолько, чтобы молодые люди хотели сейчас и в будущем за ними идти.

Список источников

1. Селезнева А.В., Зиненко В.Е. Молодежная политика как фактор формирования гражданского самосознания российской молодежи: политико-психологический анализ // Государственное управление. Электронный вестник (Электронный журнал). 2021. № 87. С. 96–104.
2. *New Trends in Russian Political Mentality: Putin 3.0* / ed. by E.B. Shestopal. Lanham, Maryland : Lexington Books. 2016. 414 p.
3. *Психология политического восприятия в современной России* / под ред. Е.Б. Шестопал. М. : РОССПЭН, 2012. 423 с.
4. *Власть и лидеры в восприятии российских граждан. Четверть века наблюдений (1993–2018)* / отв. ред. Е.Б. Шестопал. М. : Весь Мир, 2019. 656 с.
5. Зверев А.Л., Палитай И.С., Смутькина Н.В., Рогозарь А.И. Особенности политического восприятия в современных российских условиях // Полис. Политические исследования. 2016. № 3. С. 40–54.
6. Шестопал Е.Б. Особенности использования психологических методов для изучения политического восприятия // Социальная психология и общество. 2018. Т. 9, № 3. С. 81–90.
7. MacNeil C. Bridging generations: Applying “Adult” Leadership Theories to Youth Leadership Development // *New Directions for Youth Development*. 2006. Vol. 2006, № 109. P. 27–43.
8. Redmond S., Dolan P. Towards a Conceptual Model of Youth Leadership Development // *Child & Family Social Work*. 2014. Vol. 21, № 3. P. 1–11.
9. Попова О.В. Политический потенциал молодежного лидерства в российских условиях: результаты межрегионального исследования // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. 2018. Т. 14, № 4. С. 492–511.
10. Асеева Т.А., Шашкова Я.Ю. Особенности реализации молодежного политического лидерства в регионах РФ (на примере Алтайского края) // История и современное мировоззрение. 2021. Т. 3, № 1. С. 94–99.
11. *Молодежное политическое лидерство в российских регионах* / под ред. О.В. Поповой, Я.Ю. Шашковой. СПб. : ООО «Скифия-принт», 2020. 216 с.

References

1. Selezneva, A.V. & Zinenko, V.E. (2021) Youth Policy as a Factor of Forming Russian Youth Civic Self-Consciousness: Political and Psychological Analysis. *Gosudarstvennoe upravlenie – Public Administration*. 87. pp. 96–104. (In Russian). DOI: 10.24412/2070-1381-2021-87-96-104
2. Shestopal, E.B. (ed.) (2016) *New Trends in Russian Political Mentality: Putin 3.0*. Lanham, Maryland: Lexington Books.
3. Shestopal, E.B. (ed.) (2012) *Psikhologiya politicheskogo vospriyatiya v sovremennoy Rossii* [Psychology of Political Perception in Modern Russia]. Moscow: ROSSPEN.
4. Shestopal, E.B. (ed.) (2019) *Vlast' i lidery v vospriyatii rossiyskikh grazhdan. Chetvert' veka nablyudeniy (1993–2018)* [Power and Leaders in the Perception of Russian Citizens. A Quarter of a Century of Observations (1993–2018)]. Moscow: Ves' Mir.
5. Zverev, A.L., Palitay, I.S., Smulkina, N.V. & Rogozar, A.I. (2016) Specifics of political perception in contemporary Russia. *Polis. Politicheskie issledovaniya – Polis. Political Studies*. 3. pp. 40–54. (In Russian). DOI: 10.17976/jpps/2016.03.05
6. Shestopal, E.B. (2018) Psychological methods in political perception studies. *Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo – Social Psychology and Society*. 9(3). pp. 81–90. (In Russian). DOI: 10.17759/sps.2018090309
7. MacNeil, C. (2006) Bridging generations: Applying “Adult” Leadership Theories to Youth Leadership Development. *New Directions for Youth Development*. 2006(109). pp. 27–43. DOI: 10.1002/yd.153

8. Redmond, S. & Dolan, P. (2014) Towards a Conceptual Model of Youth Leadership Development. *Child & Family Social Work*. 21(3). pp. 1–11. DOI: 10.1111/cfs.12146
9. Popova, O.V. (2018) The political potential of youth leadership in the Russian context: the results of interregional research. *Politicheskaya ekspertiza: POLITEKS – Political Expertise: POLITEKS*. 14(4). pp. 492–511. (In Russian). DOI: 10.21638/spbu23.2018.403
10. Aseeva, T.A. & Shashkova, Ya.Yu. (2021) Features of the Implementation of Youth Political Leadership in the Regions of the Russian Federation (the Case of the Altai Krai). *Istoriya i sovremennoe mirovozzrenie – History and Modern Perspectives*. 3(1). pp. 94–99. (In Russian). DOI: 10.33693/2658-4654-2021-3-1-100-113
11. Popova, O.V. & Shashkova, Ya.Yu. (eds) (2020) *Molodezhnoe politicheskoe liderstvo v rossiyskikh regionakh* [Youth Political Leadership in Russian Regions]. St. Petersburg: Skifiya-print.

Сведения об авторах:

Селезнева А.В. – доктор политических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: ntonina@mail.ru

Божедомова А.Л. – магистрант кафедры социологии и психологии политики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва, Россия). E-mail: arina_bozh@bk.ru

Луканина Е.В. – магистрант кафедры социологии и психологии политики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: lukanina_99@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Selezneva A.V. – Dr. Sci. (Political Science), associate professor of the Department of Sociology and Psychology of Politics, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: ntonina@mail.ru

Bozhedomova A.L. – master's student of the Department of Sociology and Psychology of Politics, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: arina_bozh@bk.ru

Lukanina E.V. – master's student of the Department of Sociology and Psychology of Politics, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: lukanina_99@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 27.05.2022;

одобрена после рецензирования 29.05.2022; принята к публикации

The article was submitted 27.05.2022;

approved after reviewing 29.05.2022; accepted for publication

Научная статья

УДК 32.019.5

doi: 10.17223/1998863X/67/18

ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОВЕСТОК В ПРОТЕСТНЫХ КАМПАНИЯХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Александр Владимирович Соколов¹,
Алексей Александрович Беляков²

^{1, 2} Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль, Россия,

¹ alex8119@mail.ru

² belyakov.aleksey920@gmail.com

Аннотация. Рассматриваются особенности экологических протестных повесток в социальных сетях. Анализируется сущность и особенности протестной онлайн-активности. Дается классификация протестных повесток, перечисляются особенности их определения. Рассматриваются информационное содержание экологических протестов и роль в них повесток экологической направленности. Делается вывод о политизации экологического протеста в России.

Ключевые слова: экологический протест, протестные повестки, социальные сети, политизация

Благодарности: Статья подготовлена в рамках исследования, финансируемого за счет гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МД-855.2020.6 «Мобилизация и демобилизация в современных практиках протестной активности».

Для цитирования: Соколов А.В., Беляков А.А. Трансформация и поддержка экологических повесток в протестных кампаниях в социальных сетях // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 202–215. doi: 10.17223/1998863X/67/18

Original article

TRANSFORMATION AND SUPPORT OF ENVIRONMENTAL AGENDAS IN PROTEST CAMPAIGNS ON SOCIAL NETWORK SITES

Alexander V. Sokolov¹, Aleksey A. Belyakov²

^{1, 2} P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl, Russian Federation

¹ alex8119@mail.ru

² belyakov.aleksey920@gmail.com

Abstract. The introduction of social network sites into the life of society has led to the transformation of the old forms of civic engagement and the emergence of the new ones. Due to the unique features of the virtual space: hypertextuality, extraterritoriality, instant feedback, etc., social processes have reached a new stage of their development. Having received the opportunity for unhindered communication, instant response, as well as a certain degree of anonymity, public activists have become, perhaps, the main beneficiaries of

the rapid development of online civil society. Online activity has become rightfully considered one of the forms of social participation, first among activists, later among the scientific community and the authorities. It is precisely because of the attention to this phenomenon that recent online activism could not help but be politicized because social network sites have become a convenient platform for sociopolitical communication. A form of this communication is online protest activity – one of the forms of expression of the will of citizens, implemented in the virtual space. Over time, new forms and types of protest actions began to appear on the network, affecting a wide range of unresolved problems. The aggravation of certain topics is primarily due to the specifics of broadcasting information – the main resource of networks. Depending on the volume of information transmitted, the purposes of its use and the degree of dissemination between users, protest campaigns either attracted the attention of the general public or remained local. The totality of such information, the semantic load used in its translation, goals, motives, ideals, etc. are protest agendas. An analysis of the broadcasting of such agendas can show not only the structure of modern online protests, but also about the prevalence of certain unresolved problems. One of such problems in the past few years is damage caused to the environment and the consequences that this damage brings to residents of certain territories. For several years, in a number of protest environmental campaigns, the environmental agenda has been firmly entrenched in the minds of activists. In this regard, the study analyzes the current coverage of protest environmental agendas, determines the degree of support for such agendas. The politicization of environmental agendas in protest campaigns in 2019 and 2020 has been proven.

Keywords: environmental protest; protest agendas; social network sites; politicization

Acknowledgments: The study is supported by the grant from the President of the Russian Federation for state support of young scientists, Project No. MD-855.2020.6.

For citation: Sokolov, A.V. & Belyakov, A.A. (2022) Transformation and support of environmental agendas in protest campaigns on social network sites. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 202–215. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/18

Теоретические подходы

Одной из особенностей современной протестной активности является массовый переход информационного сопровождения протестов в социальные сети и мессенджеры. Благодаря таким особенностям социальных сетей как гиперсексуальность, экстерриториальность и анонимность протестная активность стала более стихийной, широкой по охвату аудитории и территории. Появляется такое явление, как протестная онлайн-активность. Раскрывая понятие онлайн протестной активности и коллективных действий в онлайн-среде, необходимо разделить эти термины на ключевые составляющие. Понятие онлайн-активности подразумевает под собой производное от Интернета пространство коммуникации, в котором идет распространение массовых ценностей со специфическими для виртуального пространства нормами и ценностными ориентирами, отличными от реальных [1]. Понятие же «протестная активность» чаще всего упоминается в контексте коллективных, вызванных недовольством населения кем- или чем-либо, несогласие с существующим социальным порядком, который воспринимается как ущемляющий или ограничивающий их интересы [2. С. 87].

Таким образом, совместное использование двух вышеупомянутых понятий позволяет дать следующее определение онлайн протестной активности – это форма коллективных действий граждан, направленная на изменение существующего социального порядка и условий существования, реализуемая в

сети Интернет с использованием специфических форм коммуникации и опирающаяся на уникальные для виртуального пространства ценности.

Существует множество подходов к изучению онлайн-протестов и влияния информационных технологий на осуществление гражданской активности в виртуальном пространстве. Так, ряд исследователей придерживаются пространственно-временного подхода к изучению протестной активности в социальных сетях, рассматривая взаимосвязь между протестными явлениями, их социально-географическими особенностями и интерпретацией событий в виртуальном пространстве [3. С. 3]. Похожую позицию занимает и Aaron Franklin Brantly, который на примере протестов на Украине в 2013–2014 гг. отмечает, что помимо географического фактора на протестную активность влияет и лингвистический фактор [4. С. 365]. Иной подход рассматривает мобилизационную роль политического дискурса в социальных сетях. Авторы данного подхода приходят к выводу, что политическое согласие или несогласие с информационным ресурсом может вести как к увеличению, так и к уменьшению политической активности [5. С. 1587]. Еще один подход заключается в анализе реакций в социальных сетях на какие-либо события. Так, отмечается, что коллективные реакции являются совокупностью индивидуальных реакций с присущими им характеристиками: пространственными, социальными, временными, тематическими и т.д. [6. С. 783]. Однако ряд исследователей отмечают, что политическая роль социальных сетей не столь значительна, как это принято считать в режимоцентричной политической интерпретации, но, несмотря на это, влияние социальных сетей на политическую мобилизацию все еще достаточно велико [7. С. 4]. Похожей позиции придерживаются ученые, которые утверждают, что активисты часто не видят наличия разницы между завышенными ожиданиями от социальных сетей и реальным опытом их использования [8. С. 1822]. При этом Rasmus Rodineliussen, описывая роль Facebook в рамках военного конфликта в Сирии, отмечает, что он стал элементом инфраструктуры мобилизации, а также средством эффективного распространения революционных настроений среди пользователей [9. С. 248].

С течением времени и развитием социальных сетей и мессенджеров их влияние на формирование общественного мнения стало значительно шире, чем у стандартных средств массовой информации. Во многом это обусловлено не только спецификой транслирования и большим количеством получателей информации, но и возможностью ведения онлайн-коммуникации. В этом смысле современные информационные и коммуникационные технологии предлагают принципиально новые возможности для выражения своей гражданской позиции, осуществления коллективной мобилизации социального [10. С. 266] и политического характера [11. С. 51], а также трансформации традиционных форм протестной активности, как, например, митинги [12. С. 16]. Возможность выражать свое мнение по какому-либо вопросу и вести диалог стала в значительной мере характеризовать социальные сети и мессенджеры как площадки общественно-политической и, в том числе, протестной коммуникации. Участие в данной коммуникации большого числа людей и сообществ позволяет формировать множество информационных потоков, которые не только передают уже сформировавшиеся смыслы, идеи и содержание, но и создают новые, расширяя

спектр затрагиваемых проблем. Таким образом формируется информационное содержание протеста.

Содержание протестной информации в социальных сетях достаточно разнообразно. Ее составляют как отдельные посты в открытых группах, так и личные сообщения пользователей, комментарии под публикациями, репосты из онлайн-средств массовой информации, информация на форумах, различные фото- и видеоматериалы и т.д. В зависимости от того, какую смысловую нагрузку несет информация, ее можно разделить на общие проблемные темы, которые являются одной из основ для зарождения протестной активности. Когда какая-либо проблема привлекает все больше внимание, расширяется за счет дополнительной информации, ее начинают поддерживать и распространять лидеры общественного мнения, о ней можно говорить как о протестной повестке. В зависимости от поднимаемой проблемы, от используемой социальной сети, а также от ряда других факторов, протестная повестка может выделяться не только внутренними проблемными темами, но и характером и стилистикой публикаций, что делает сами повестки более разнообразными.

Протестные повестки в социальных сетях служат не только для передачи информации и выражения определенных ценностей, но и для нахождения оптимального баланса между информированием и агитацией [13. С. 229]. Так, К.А. Платонов и Д.И. Юдина обращают внимание на то, что существуют различия между повестками общепротестных сообществ в социальных сетях и сообществ, образовавшихся вокруг отдельных дискуссионных общественно значимых вопросов. Эти различия могут служить основой для введения классификации протестных повесток.

Как уже было указано выше, первая классификация протестных повесток в социальных сетях разделяет их по уровню охватываемых общественно-политических проблем. В данной классификации можно выделить:

- Общепротестные повестки – содержат информацию об общемировых проблемах и проблемах на уровне государства, народа, нации. Характерной особенностью данных повесток являются общеупотребимые термины, примеры, поднимаемые проблемы и заявляемые темы, а также отсутствие организованного транслирования. В качестве примера можно привести экологические протестные повестки, набирающие популярность во всем мире.

- Локальные повестки – содержат информацию о проблемах малых групп или определенной территории. Данные повестки транслируются либо членами малых групп, либо населением определенных территорий недовольных существующим положением. Протесты с локальной повесткой имеют небольшое количество участников. Характерным примером транслирования локальных протестных повесток может служить протестная кампания против строительства храма в Екатеринбурге.

- Смешанные повестки – содержат признаки двух предыдущих. Чаще всего подобные повестки формируются как локальные, постепенно приращивая дополнительные общепротестные повестки. Протестам с такой повесткой характерен большой масштаб и разнообразие транслируемых повесток. Примером протеста с смешанными повестками может служить кампания против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

В зависимости от того, на каком этапе протестной кампании транслируется та или иная тема или идея, можно выделить основную (декларируемую)

повестку и дополнительную (второстепенную). Основное отличие этих двух повесток заключается в том, что первая несет в себе информацию, которая легла в основу зарождения протеста, а вторая возникает в процессе активности как реакция протестующих на иные проблемы. Очевидно, что при возникновении в информационном поле протеста дополнительных тем, частота трансляции основной повестки будет сокращаться. Данное явление можно определить как трансформацию декларируемой повестки – процесс изменения общего дискурса в рамках протестной кампании с основных тем на второстепенные, появляющиеся с течением времени.

Исходя из наблюдений за протестными кампаниями в социальных сетях, можно выдвинуть гипотезу, что трансформация декларируемой повестки происходит по-разному, в зависимости от типа и тематики протестной кампании. Можно выделить классификацию процесса трансформации протестных повесток, состоящую из трех форм трансформации:

1. Незначительная трансформация. Данный процесс означает, что протестная кампания в течение длительного времени сохраняет статичность информационного поля, где приоритетной повесткой является декларируемая изначально. Стоит заметить, что подобная трансформация часто характерна для локальных протестов, которые объединяют людей с одной территории, связанных общей личной проблемой и т.д.

2. Частичная трансформация. Данный тип процессов трансформации протестных повесток можно встретить в достаточно крупных протестных кампаниях, декларируемая повестка которых определена достаточно четко, но имеет множество проявлений. В данном случае основная повестка сохраняет интенсивность трансляции, но все еще является достаточно общей. Как результат, для полноценного освещения проблемы гражданские активисты вынуждены транслировать дополнительные повестки по отдельным составным проблемам, включенным в основную повестку.

3. Преимущественная (полная) трансформация. Данный процесс характерен для затянутых во времени протестных кампаний. В них наблюдается продолжительный этап доминирования основной повестки, которая с течением времени полностью распадается на отдельные второстепенные повестки, одна из них может занять доминирующую позицию.

Характерные признаки той или иной степени трансформации встречаются в различных протестных кампаниях вне зависимости от содержания протестной повестки. Однако существуют повестки, частота упоминаний которых в протестных кампаниях позволяет говорить о том, что они являются наиболее актуальными для современных активистов и оппозиционных сил. К таким повесткам можно отнести проблемы загрязнения окружающей среды, сведенные в рамках данного исследования к обобщенной экологической повестке.

Проблемы загрязнения окружающей среды стали особо остро подниматься во второй половине 2010-х гг. Причиной повышения внимания к данной проблематике стало растущее экологическое движение, техногенные катастрофы, рост числа свалок и выбросов от производственных предприятий. Осознание возможной угрозы повлияло на переход экологического активизма из пассивного и неполитического в активное протестное движение, требующее не только решения экологических проблем, но и затрагивающее общественно-политические проблемы. В России политизация экологического про-

теста началась с движения против строительства участка автомобильной трассы «Москва–Санкт-Петербург» через лес в городе Химки. В рамках данного протеста стали подниматься не только проблемы вреда для экологии, но и политической и управленческой халатности органов государственной и региональной власти. Несмотря на широкий общественный резонанс, протестному движению не удалось добиться значимых результатов. Однако этот протест поднял острые общественно-политические проблемы, которые нашли отражения в протестном движении 2011–2012 гг.

Дальнейшее развитие экологического протеста в России продолжилось на региональном уровне. В течение 2012–2017 гг. в различных регионах страны местные жители проводили акции протеста против строительства промышленных предприятий, организации и расширения свалок, вырубки лесов, загрязнения источников воды и т.д. Однако данные протесты не выходили за рамки локальных акций. Изменения произошли в 2016–2017 гг. после начала массовых протестов в Московской области, главным требованием которых было закрытие мусорных свалок и строительства мусоросжигательных заводов. Итогом данных протестов стало решение о вывозе части отходов в регионы, что позволило бы снизить уровень загрязнения в столичной агломерации. Однако это же решение запустило массовое протестное экологическое движение в регионах, которое к 2019 г. перестало быть локальным и перешло на федеральный уровень. Особенностью региональных протестов стало то, что движения, не достигшие заявленных целей, способствовали росту социального капитала активистов. В дальнейшем это облегчало их самоорганизацию по другим поводам. Успешные же протестные движения в регионах обрели межрегиональный характер и выдвинули политических лидеров федерального уровня [14. С. 218].

Одним из наиболее резонансных стал протест против строительства свалки в районе станции Шиес в Архангельской области. Он же стал одним из первых, получивших не только всероссийское, но и международное освещение. Помимо этого, данный протест был успешен с точки зрения результата. После этого успешно завершился еще ряд экологических протестов: против строительства заводов на озере Байкал и Рыбинском водохранилище, против разработки шихана Куштау, против строительства мусороперерабатывающих заводов в Московской области и т.д. Таким образом, протесты, основной целью которых было сохранение окружающей среды, стали одними из наиболее эффективных в конце 2010-х гг. Однако экологическая повестка во многих этих протестах не была основной, а скорее дополняла декларируемые организаторами протеста цели: отменить строительство, закрыть предприятия и т.д. Помимо этого, проблемы экологии затрагивались и в протестах, где основная повестка носила четко политический характер. Таким образом актуализировался вопрос о месте экологических проблем в протестном движении в современной России. Определение особенностей транслирования экологических повесток стало целью представленного в данной работе исследования.

Методика исследования

С целью определения особенностей транслирования экологических протестных повесток в социальных сетях и поддержки данных протестных повесток пользователями был проведен анализ сообществ в социальной сети

«ВКонтакте» по четырем наиболее крупным и известным кейсам экологических протестов, реализованных на территории России в период 2017–2021 гг.:

- против строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на территории Рыбинского водохранилища;

- против разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией;

- против строительства мусоросжигающих заводов;

- против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Критериями выбора анализируемых сообществ является принадлежность к конкретной протестной повестке, которая ставится как основная, а также наличие не менее 500 подписчиков для обеспечения постоянных реакций на публикации в группе. Критерий количества публикаций не являлся ключевым. Таким образом, были выделены девять групп по четырем кейсам, в которых проводился анализ.

Выбор в пользу социальной сети «ВКонтакте» обусловлен ее популярностью в отечественном сегменте сети Интернет (на начало 2021 г., по статистическим данным, аудитория пользователей «ВКонтакте» составляет 97 млн человек [15]), а также наиболее полным перечнем способов поддержки, которые может проявить пользователь.

Для подсчета количественных показателей активности организаторов протестной кампании в социальных сетях, а также для подсчета количественных показателей активности пользователей был применен ивент-анализ публикаций в каждом из отобранных сообществ соответствующий периоду с начала протестной кампании до конца протестной кампании либо до конца 2020 г., если кампания продолжалась на момент проведения анализа. В рамках ивент-анализа были собраны данные о количестве публикаций по основной и дополнительной повесткам, а также количеству реакций, которые были оставлены под постами, содержащими данные повестки.

Количественные данные использовались для подсчета двух типов индексов – трансформации основной протестной повестки и индекса поддержки повестки. С их помощью дается оценка транслированию протестных повесток в социальных сетях в рамках рассматриваемых сообществ.

Под поддержкой повестки понимается активность пользователей в рамках реакции на одну повестку в ходе протестной акции или кампании, выраженная в лайках, репостах, комментариях, просмотрах. Коэффициент поддержки повестки используется для определения уровня вовлеченности пользователей социальных сетей в обсуждение и распространение публикаций по ней. Поддержка повестки – активность пользователей в рамках протестной акции или кампании, выраженная в лайках, репостах, комментариях, просмотрах. Для того чтобы определить данный показатель, был применен индекс поддержки повестки, который позволяет в числовом выражении оценить степень вовлеченности пользователей в просмотры, распространение и комментирование той или иной повестки. Индекс представлен в виде формулы

$$W = \frac{\sum R \cdot k}{P},$$

где $\sum R \cdot k$ – это сумма реакций, умноженных на их весовые коэффициенты, P – количество постов.

Весовые коэффициенты для данного индекса определялись при помощи экспертного опроса, проведенного авторским коллективом в ноябре 2020 г., в котором участникам предлагалось дать оценку от 1 до 10 баллов влиянию той или иной формы реакции в социальных сетях на вовлеченность пользователя в протестную онлайн-активность. После этого ответы опрошенных были переведены в шкалу от 0 до 1 для удобства дальнейших подсчетов. Всего было опрошено 32 эксперта, представляющих академическое сообщество, органы региональной и местной власти, общественные организации. Результаты опроса экспертов представлены в табл. 1. Из нее можно сделать вывод о том, что наиболее значимыми для оценки вовлеченности пользователей в протестную онлайн-активность являются репосты и комментарии.

Таблица 1. Распределение оценок экспертов

Коэффициент				
Лайки	Репосты	Комментарии	Просмотры	Подписка
0,428125	0,684375	0,653125	0,309375	0,615625

Под трансформацией основной протестной повестки понимается количественное преобразование основной проблематики протеста путем добавления в нее новых проблемных тем и тематик, отличных от декларируемых изначально. Данный показатель позволит определить, насколько активно экологические повестки транслируются в общем числе протестных повесток, а также насколько сильно подвержены изменениям основные повестки экологических протестов.

Коэффициент трансформации повестки предназначен для того, чтобы в простой графической и цифровой форме отразить трансформацию декларируемой повестки. Чтобы выразить трансформацию декларируемой повестки в числовом виде, применяется упомянутый ранее индекс трансформации декларируемой повестки, имеющий формулу

$$TRP = (P_{\text{осн}} - P_{n1} - P_{n2} - P_{\text{осн}}) / P_{\text{общ}},$$

где $P_{\text{осн}}$ – количество постов по декларируемой повестке; P_n – количество постов по дополнительной повестке; $P_{\text{общ}}$ – общее количество постов.

Индекс может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Чем ближе значение индекса к 1, тем меньше происходила трансформация протестной повестки. Значение 0 – протестная повестка транслировалась наравне с дополнительными, т.е. занимала примерно 50% информационного пространства сообщества. Отрицательные значения данного показателя – транслирование основной повестки не являлось приоритетным в данном сообществе и уступало дополнительным повесткам.

Результаты исследования

В четырех из семи рассматриваемых протестных кампаний основная повестка была связана с темой экологии или защиты окружающей среды от человеческого вмешательства. В первую очередь необходимо определить степень целостности данных протестных кампаний с точки зрения сохранения основных транслируемых идей и установок. Для этого был проведен анализ публикационной активности в наиболее крупных сообществах по данным

протестам в социальной сети «ВКонтакте». Результаты подсчета публикационной активности представлены в табл. 2.

Таблица 2. Сумма публикаций и реакций

Протест	Посты	Лайки	Репосты	Комментарии	Просмотры
ЦБК	3 166	47 069	13 753	17 713	282 682
Шиес	3 610	615 846	60 230	34 625	329 604 629
Куштау	504	424 234	12 841	589	703 1485
Мусоросжигательные заводы	4 928	94 339	23 144	32 997	5 503 485

Из анализа полученных данных становится видно, что при примерно равной публикационной активности в трех протестных кампаниях, одна из них в значительно большей степени привлекла внимание пользователей. Высокие показатели активности пользователей в протестной кампании против строительства мусорного полигона у станции Шиес объясняются, в первую очередь, переходом данной кампании с регионального на федеральный уровень. Значительное внимание к данному событию было обращено после начала публикации кадров с места строительства и размещения видео о противостоянии протестующих и сотрудников охранной организации. Благодаря социальным сетям протестующим удалось не только привлечь дополнительное внимание онлайн-сообщества, но и инициировать активные действия людей офлайн. Возможность такого рекрутирования в социальных сетях при выходе протеста за пределы регионального информационного пространства подтверждается также на примере протеста против разработки шихана Куштау в Башкирии. Данная кампания развернулась на фоне удачного завершения протеста в Архангельской области, а также активно освещалась в социальных сетях и мессенджерах, что позволило ей в короткие сроки привлечь внимание не только местных жителей, но и сообщества эоактивистов за пределами страны, а также органов региональной и федеральной власти, и разрешить проблему в короткие сроки. Однако протесты против строительства мусоросжигательных заводов и ЦБК в Вологодской области имели вялотекущий характер и оставались в большей части региональными, что негативно отразилось на активности пользователей, уставших от однообразных публикаций и отсутствия прогресса в разрешении конфликта. Тем не менее данные акции привлекли значительное внимание пользователей в определенные периоды своей реализации, в связи с чем мы и обращаем на них внимание.

Характерной чертой протестных кампаний в социальных сетях, как было отмечено выше, является множество транслируемых смыслов и идей. Однако их переизбыток может негативно сказаться на общем восприятии протестной кампании или привести к потере ее идеологической составляющей, а затем и ее окончанию. В связи с этим целесообразно проследить, насколько изменилась транслируемая в рамках протестных кампаний повестка. Для этого был подсчитан индекс трансформации основной повестки для каждой из протестных кампаний.

Так, в рамках транслирования повесток протестной кампании против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище организаторам удалось практически полностью сохранить изначально декларируемую повестку. Подсчет индекса трансформации показал высокий результат – 0,81. Вместе с этим основная повестка в меньшей степени поддерживалась пользователями:

значение индекса поддержки повестки равно 0,34, что существенно меньше транслируемых дополнительных повесток (рис. 1). Рассматривая их, следует отметить, что организаторы больше внимания уделяли развлекательному контенту и вопросам загрязнения окружающей среды, напрямую не связанным с строительством предприятия. Однако и данные публикации не имели широкой поддержки пользователей, тогда как использование в транслировании повесток политического характера с критикой власти могло бы заинтересовать пользователей сильнее.

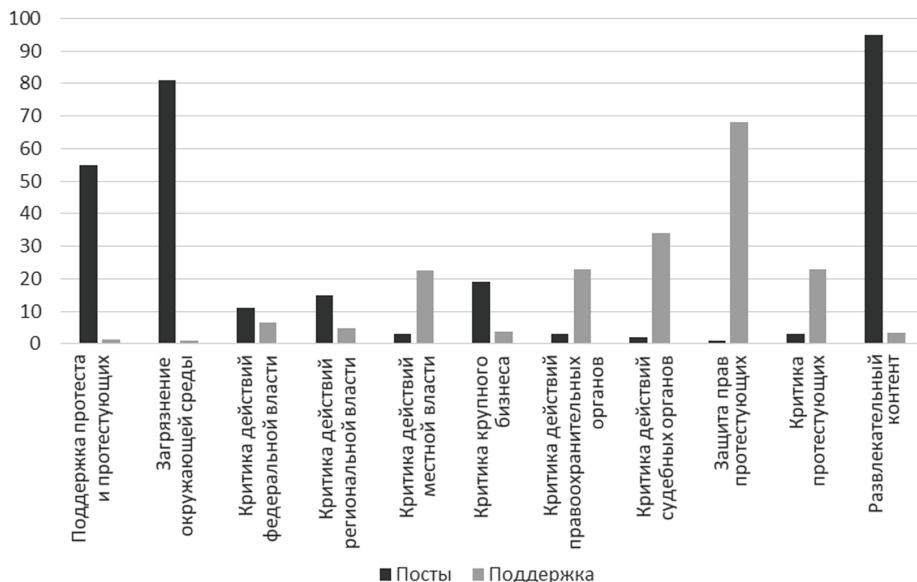


Рис. 1. Дополнительные повестки в рамках транслирования протестной кампании против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище

Рассматривая второй кейс – протест против строительства мусоросжигательных заводов – можно заметить, что организаторы кампании более равномерно распределили внимание пользователей, сохранив преобладание основной повестки. При значении индекса трансформации в 0,62, организаторы акции активно транслировали не только основную повестку, но и проблему загрязнения окружающей среды, которая заняла четверть от всех публикаций в рамках протестной кампании. При этом равномерное распределение дополнительных тематик соответствовало интересу пользователей, так как их поддержка повесток также распределилась относительно равномерно (рис. 2).

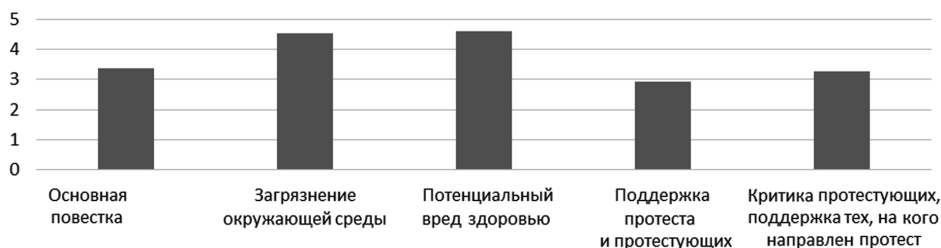


Рис. 2. Распределение повесток в рамках кампании против строительства мусоросжигательных заводов

Несмотря на непродолжительность, протестная кампания против разработки шихана Куштау позволяет сделать дополнительные выводы по уровню поддержки экологических повесток в подобных акциях в России. Так, при высоком уровне сохранения основной повестки и индексе трансформации равном 0,8, за период исследования было сделано всего 504 публикации. Из них десятая часть была направлена на критику власти. Рассматривая уровень поддержки основной экологической повестки и дополнительной повестки по загрязнению окружающей среды (рис. 3), можно сделать вывод, что пользователи социальных сетей в большей степени поддерживали именно экологическую тематику, затронутую изначально. Особо стоит выделить высокую поддержку публикаций на тему критики протестующих, что говорит о разнородности взглядов пользователей социальных сетей, подписанных на протестные сообщества.

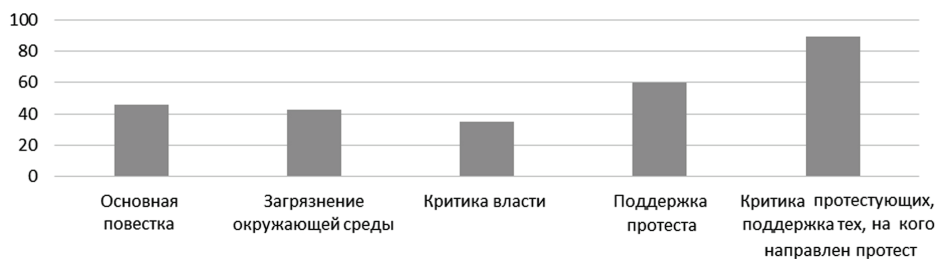


Рис. 3. Распределение повесток в рамках кампании против разработки шихана Куштау по уровню поддержки

Наиболее полную картину по восприятию экологического протеста в социальных сетях позволяет оценить статистика сообществ протестной кампании против строительства мусорного полигона у станции Шиес в Архангельской области. Этот протест можно охарактеризовать как наиболее крупный и затяжной по сравнению с рассмотренными выше. Еще одной особенностью данного протеста является его явная политизация, которая стала очевидна после анализа трансформации основной повестки. Значение индекса трансформации в рамках данного протеста равняется 0,23, что означает лишь незначительное преобладание основной повестки и наличие большого количества публикаций по дополнительным повесткам. При этом среди всех повесток особо выделяются критика действий органов власти на всех уровнях, а также критика действий правоохранительных и судебных органов. При этом внимание организаторов также в значительной мере было уделено вопросам загрязнения окружающей среды и поддержки протестующих (рис. 4).

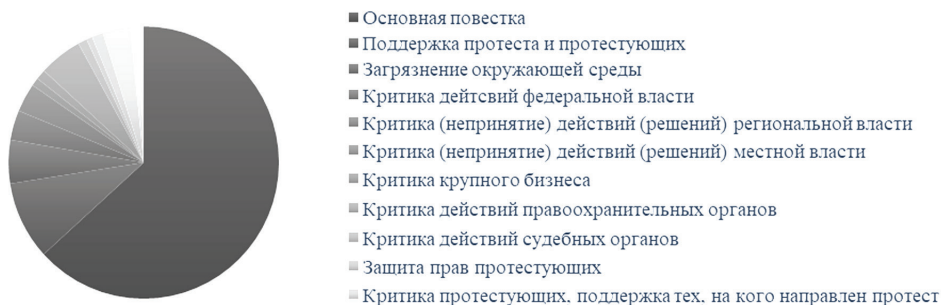


Рис. 3. Распределение повесток в рамках кампании против строительства мусорного полигона у станции Шиес

При явном отхождении от основной повестки в рамках данной протестной кампании, организаторам удалось добиться высокого интереса к основной повестке. Так, значение индекса поддержки основной повестки равняется 428,97, что является самым высоким показателем поддержки среди всех четырех рассмотренных кейсов. Помимо этого, высокие значения поддержки наблюдаются и у повестки о загрязнении окружающей среды (14,37), тогда как уровень поддержки повесток с критикой власти держится на значении 10–12.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует, что в протестах на экологическую тематику уровень поддержки данных повесток является достаточно высоким, даже несмотря на преобладание политических, развлекательных и общественных повесток. Это говорит о высокой степени заинтересованности пользователей в вопросах сохранения окружающей среды от вмешательства бизнеса или государства. При этом такая заинтересованность может объясняться общей экологической направленностью протеста, что несколько осложняет определение точного отношения пользователей. Несмотря на это, можно говорить о том, что вопросы экологии, поднимаемые в рамках данных протестных кампаний, были одними из самых тиражируемых и освещаемых, что, в итоге, привело к разрешению конфликтных ситуаций и вмешательству в урегулирование ситуации федеральной власти. Стоит также отметить явную политизацию экологического протеста, особенно после перехода с регионального на федеральный уровень. Политизация протеста происходит в основном в формате критики действующей региональной и федеральной власти, а также их действий или бездействий в отношении спорной ситуации.

Также стоит обратить внимание, что на обострение конфликта и выход протеста за пределы региона во многом влияют не усугубление экологической ситуации, а действия, направленные против протестующих. В этот момент экологическая повестка, оставаясь основой протестной кампании, дополняется повестками, связанными с критикой правоохранительных органов, судов, бизнеса и других субъектов, противостоящих протестующим. При этом не всегда интерес к протесту обеспечивается за счет поддержания повестки о защите экологии. Как видно из рассмотренных кейсов, наибольшая активность пользователей, при примерно равном количестве подписчиков во всех сообществах, наблюдалась там, где организаторы не отдавали преимущества в транслировании только основной повестки, дополняя ее второстепенными. Из этого можно сделать вывод, что экологический протест не может расширяться без увеличения числа сопутствующих ему тем и проблем, затрагиваемых в рамках одной протестной кампании.

Список источников

1. Шакирова Е.Ю. Сознание vs виртуальность // Научные труды Московского гуманитарного университета. 2018. № 3. URL: <http://journals.mosgu.ru/trudy/article/view/745> (дата обращения: 15.09.2021).
2. Коневская О.Ю. Методологические подходы к изучению протестной активности населения // Вопросы современной юриспруденции. 2015. № 12 (51). С. 85–93.
3. Ertugrul A.M., Lin Y., Chung W. et al. Activism via attention: interpretable spatiotemporal learning to forecast protest activities. EPJ Data Sci. 8, 5 (2019). doi:10.1140/epjds/s13688-019-0183-y

4. Aaron F.B. From Cyberspace to Independence Square: Understanding the Impact of Social Media on Physical Protest Mobilization During Ukraine's Euromaidan Revolution // *Journal of Information Technology & Politics*. 2019. Vol. 16 (4). P. 360–378. doi: 10.1080/19331681.2019.1657047
5. Kim J., Hyun K.D. Political disagreement and ambivalence in new information environment: Exploring conditional indirect effects of partisan news use and heterogeneous discussion networks on SNSs on political participation // *Telematics and Informatics*. 2017. Vol. 34, is. 8. P. 1586–1596.
6. Dunkel A., Andrienko G., Andrienko N., Burghardt D., Hauthal E., Purves R. A conceptual framework for studying collective reactions to events in location-based social media // *International Journal of Geographical Information Science*. 2019. Vol. 33 (4). P. 780–804. doi: 10.1080/13658816.2018.1546390
7. Volpi F., Clark J.A. Activism in the Middle East and North Africa in times of upheaval: social networks' actions and interactions // *Social Movement Studies*. 2019. Vol. 18 (1). P. 1–16. doi: 10.1080/14742837.2018.1538876
8. Dumitrica D., Felt M. Mediated grassroots collective action: negotiating barriers of digital activism // *Information, Communication & Society*. 2018. P. 1821–1837. doi: 10.1080/1369118X.2019.1618891
9. Rodineliussen R. Organising the Syrian revolution – student activism through Facebook // *Visual Studies*. 2019. Vol. 34 (3). P. 239–251. doi: 10.1080/1472586X.2019.1653790
10. Усачева О.А. Интернет как новая площадка для гражданской самоорганизации // Социальные сети и виртуальные сетевые сообщества: сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед., Институт системного анализа. Лаборатория «Информатика сообществ»; отв. ред. Л.Н. Верченков, Д.В. Ефременко, В.И. Тищенко. М., 2012. С. 264–280.
11. Ваньке А., Ксенофонтowa И., Тартаковская И. Интернет-коммуникации как средство и условие политической мобилизации в России (на примере движения «За честные выборы») // *ИНТЕР*. 2014. № 7. С. 44–73.
12. Архипова А.С., Радченко Д.А., Титков А.С., Козлова И.В., Югай Е.Ф., Белянин С.В., Гаврилова М.В. «Пересборка митинга»: интернет в протесте и протест в интернете // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. 2018. № 1 (143). С. 12–34.
13. Платонов К.А., Юдина Д.И. Повестка протестных онлайн-сообществ Санкт-Петербурга во «ВКонтакте» // *Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены*. 2019. № 5. С. 226–249. doi: 10.14515/monitoring.2019.5.11
14. Бронников И.А., Белоусов Г.Ф., Горбачев М.Ф. Факторы формирования и развития региональных экологических протестных движений в современной России // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2021. № 59. С. 214–223. doi: 10.17223/1998863X/59/20
15. Социальные сети в России: цифры и тренды. URL: <https://vc.ru/social/182436-socialnye-seti-v-rossii-cifry-i-trendy> (дата обращения: 20.10.2021).

References

1. Shakirova, E.Yu. (2018) Consciousness vs virtuality. *Nauchnye trudy Moskovskogo gumanitarnogo universiteta*. 3. DOI: 10.17805/trudy.2018.3.8.
2. Konevskaya, O.Yu. (2015) Metodologicheskie podkhody k izucheniyu protestnoy aktivnosti naseleniya [Methodological approaches to the study of the population protest activity]. *Voprosy sovremennoy yurisprudentsii*. 12(51). pp. 85–93.
3. Ertugrul, A.M., Lin, Y., Chung, W. et al. (2019) Activism via attention: interpretable spatio-temporal learning to forecast protest activities. *EPJ Data Sci.* 8(5). DOI: 10.1140/epjds/s13688-019-0183-y
4. Aaron, F.B. (2019) From Cyberspace to Independence Square: Understanding the Impact of Social Media on Physical Protest Mobilization During Ukraine's Euromaidan Revolution. *Journal of Information Technology & Politics*. 16(4). pp. 360–378. DOI: 10.1080/19331681.2019.1657047
5. Kim, J. & Hyun, K.D. (2017) Political disagreement and ambivalence in new information environment: Exploring conditional indirect effects of partisan news use and heterogeneous discussion networks on SNSs on political participation. *Telematics and Informatics*. 34(8). pp. 1586–1596.
6. Dunkel, A., Andrienko, G., Andrienko, N., Burghardt, D., Hauthal, E. & Purves, R. (2019) A conceptual framework for studying collective reactions to events in location-based social media. *International Journal of Geographical Information Science*. 33(4). pp. 780–804. DOI: 10.1080/13658816.2018.1546390
7. Volpi, F. & Clark, J.A. (2019) Activism in the Middle East and North Africa in times of upheaval: social networks' actions and interactions. *Social Movement Studies*. 18(1). pp. 1–16. DOI: 10.1080/14742837.2018.1538876

8. Dumitrica, D. & Felt, M. (2018) Mediated grassroots collective action: negotiating barriers of digital activism. *Information, Communication & Society*. 23(13). pp. 1821–1837. DOI: 10.1080/1369118X.2019.1618891
9. Rodineliussen, R. (2019) Organising the Syrian revolution – student activism through Facebook. *Visual Studies*. 34(3). pp. 239–251. DOI: 10.1080/1472586X.2019.1653790
10. Usacheva, O.A. (2012) Internet kak novaya ploshchadka dlya grazhdanskoj samoorganizatsii [Internet as a new platform for civic self-organization]. In: Verchenov, L.N., Efremenko, D.V. & Tishchenko, V.I. (eds) *Sotsial'nye seti i virtual'nye setevye soobshchestva* [Social networks and virtual network communities]. Moscow: RAS. pp. 264–280.
11. Vanke, A., Ksenofontova, I. & Tartakovskaya, I. (2014) Internet-kommunikatsii kak sredstvo i uslovie politicheskoy mobilizatsii v Rossii (na primere dvizheniya “Za chestnye vybory”) [Internet communications as a means and condition for political mobilization in Russia (a case study of the movement “For Fair Elections”)]. *INTER*. 7. pp. 44–73.
12. Arkhipova, A.S., Radchenko, D.A., Titkov, A.S., Kozlova, I.V., Yugay, E.F., Belyanin, S.V. & Gavrilova, M.V. (2018) “Rally rebuild”: Internet in protest and protest on the Internet. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal*. 1(143). pp. 12–34. (In Russian). DOI: 10.14515/monitoring.2018.1.02
13. Platonov, K.A. & Yudina, D.I. (2019) Agenda of Vkontakte online protest communities based in St Petersburg. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal*. 5. pp. 226–249. (In Russian). DOI: 10.14515/monitoring.2019.5.11
14. Bronnikov, I.A., Belousov, G.F. & Gorbachev, M.F. (2021) Factors of Formation and Development of Regional Environmental Protest Movements in Modern Russia. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 59. pp. 214–223. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863Kh/59/20
15. VC.ru. (2020) *Sotsial'nye seti v Rossii: tsifry i trendy* [Social networks in Russia: numbers and trends]. [Online] Available from: <https://vc.ru/social/182436-socialnye-seti-v-rossii-tsifry-i-trendy> (Accessed: 20th October 2021).

Сведения об авторах:

Соколов А.В. – доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой социально-политических теорий Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (Ярославль, Россия). E-mail: alex8119@mail.ru

Беляков А.А. – аспирант кафедры социально-политических теорий Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (Ярославль, Россия). E-mail: belyakov.aleksey920@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Sokolov A.V. – Dr. Sci. (Political Science), associate professor, head of the Department of Socio-Political Theories, P.G. Demidov Yaroslavl State University (Yaroslavl, Russian Federation). E-mail: alex8119@mail.ru

Belyakov A.A. – postgraduate student, Department of Socio-Political Theories, P.G. Demidov Yaroslavl State University (Yaroslavl, Russian Federation). E-mail: belyakov.aleksey920@gmail.com

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 21.11.2021;

одобрена после рецензирования 13.05.2022; принята к публикации 11.07.2022

The article was submitted 21.11.2021;

approved after reviewing 13.05.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научная статья

УДК 32.019.51-321.6/8

doi: 10.17223/1998863X/67/19

ГРАЖДАНИН В ПОТОКАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КОЛЛИЗИИ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

Александр Иванович Соловьев

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, solovyev@spa.msu.ru

Аннотация. Современные потоки цифровизации, порождая новые конфигурации в отношениях государства и общества, непременно резонируют в сфере гражданской культуры. В то же время обусловленное цифровизацией изменение технических и политических параметров публичной власти и управления, порождая противоречивые отклики в культурном теле гражданского общества, поддерживает сложившейся в России приоритет традиционалистских ценностей, препятствуя свободным формам обогащения и развития гражданской культуры.

Ключевые слова: государственная власть и управление, цифровизация, гражданин, гражданское сообщество, политическая культура

Для цитирования: Соловьев А.И. Гражданин в потоках цифровизации: коллизии политики и культуры // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 216–230. doi: 10.17223/1998863X/67/19

Original article

CITIZEN IN THE STREAMS OF DIGITALIZATION: COLLISIONS OF POLITICS AND CULTURE

Aleksandr I. Solovyev

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation, solovyev@spa.msu.ru

Abstract. Modern flows of digitalization in various spheres of life form new configurations of social and business ties between the state and society. In fact, the current level of digital communications initiates a new chronopolitical cycle of global development. However, its specific forms depend on the strategies of the ruling political regimes, within which these processes not only generate new structures and mechanisms of power and public administration, but also resonate in the sphere of culture, in mental constructs and living standards of citizens. In the context of various strategies of the ruling regimes that focus on distancing citizens from the decision-making process, on communication with business or on strengthening national identification models, versions of the cultural evolution of civil society are also significantly modified. Responses and developments in the cultural body of the state and civil society are conditioned by various trends in the use of digital technologies. In turn, the actual political trend of digitalization mainly supports the authorities' desire to take control of those forms of challenging their positions that can provoke a crisis of legitimization, shake the stability of their dominant position. In hybrid regimes and countries of unintended authoritarianism, digital technologies are used to strengthen political and administrative control over citizens' sociopolitical activity and territorial movements, their discursive practices and deliberative arenas. Such forms of reproduction of the main information and political mechanisms of government, as well as the strengthening of control functions in the public sphere and mass discourse, not only preserve the fragmented nature of subcultural communications, but also support the spread of paternalistic and conformist

attitudes in society, create advantages for traditionalist and paternalistic values. In Russia, the digitalization of politics preserves the old fractures in the domestic cultural body, maintaining the standards of confrontational discourse and hindering the enrichment of the value experience of a Russian citizen. Preservation of the established political realities in the medium term retains risks for maintaining constructive communications between the state and society, hinders free forms of enrichment and development of civic culture, and the spread of ideals and values of democracy.

Keywords: political power, ruling regime, public administration, digitalization, citizen, civil society, political culture.

For citation: Solovyev, A.I. (2022) Citizen in the streams of digitalization: collisions of politics and culture. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 216–230. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/19

Цифровизация как триггер политико-культурной динамики

Мировой опыт давно и убедительно показал, что характер организации политической власти находится в прямой зависимости от используемых в государстве технических ресурсов и инструментов. За последние несколько десятилетий эта зависимость окрепла в еще большей степени, продемонстрировав качественное расширение человеко-машинных отношений, изменивших формат как государственного управления, так и жизненных горизонтов населения, профессиональных ориентиров и ценностных представлений граждан. Нынешняя стадия цифровизации, неразрывно связанная и параллельно развивающаяся с четвертой промышленной революцией («индустрией 4.0»), обуславливает активное внедрение в систему государственного управления платформенных механизмов, технологий макроанализа статистических больших данных и математических алгоритмов обработки колоссальных массивов информации, блокчейн и других инструментов распределенных реестров, роботизированного создания сетевого контекста, а также иных аналогичных технических новшеств. Это позволяет говорить о качественно новом этапе в развитии «цифрового публичного управления», о феномене «технополитики», демонстрирующей образование «политико-технических комплексов», сочетающих различные социальные и технические инструменты госрегулирования [1. С. 11].

Новый уровень цифровых коммуникаций, существенно изменяя отношения государства и общества, по сути, инициирует новый хронополитический цикл мирового развития. Однако его конкретные формы, новые оттенки взаимоотношений власти и населения, по-своему реагирующих на качественное расширение цифровых механизмов политической коммуникации и демонстрирующих особые версии использования этих инструментов, зависят от стратегий правящих политических режимов. Это, казалось бы, сугубо техническое уплотнение связей власти и населения вместе с соответствующими изменениями институционального дизайна становится еще и триггером ментальных трансформаций современного гражданина.

Эти культурные отклики цифровизации отражают не только снижение значения традиционных форм госрегулирования (the rhetorical presidency) [2. С. 349], но и демонстрируют весьма разнообразные тенденции в политическом освоении этих инструментов, устраняющих «лишние» компоненты в управлении экономическими, административными и иными процессами

(не исключая, впрочем, и анклавного, очагового проникновения «цифры» в эти социальные пространства). Понятно, однако, что культурные фильтры в силу своего рутинизированного характера из всего массива сенсорных и когнитивных реакций на информационные процессы отсеивают лишь особые, смыслозначимые оценки. Что, впрочем, делать в условиях обвального инфотрафика весьма затруднительно и потому людям часто приходится адаптироваться к цифровой реальности с внутренним грузом «неизвлекаемого смысла» окружающих их явлений. При этом культурные реакции человека могут оказаться заложниками его чувствительности к политическим скандалам и провокациям, стремительного нарастания жизненных рисков, качественного снижения доверия к институтам власти, паническим состояниям, а также другим эмоционально острым массовым настроениям, которые нередко являются продуктом токсичного сетевого контента или технологий манипулятивной социальной инженерии [3. С. 58]. В любом случае пространство цифровой политики и управления отражается на культурном теле лишь в результате ценностной реакции общества на наиболее значимые, структурные трансформации властных отношений, определяющих изменения в социальных и политических локациях человека и гражданина.

В настоящее время в мире образовалось несколько стратегий формирования инфраструктуры, складывающихся в рамках концепции «платформенного государства» и раскрывающих особые версии реформирования государственного управления на основе цифровых программных алгоритмов [4]. В этом контексте профессор Л.В. Сморгунов выделяет три наиболее заметные в современном мире тенденции цифровизации [5]. Первая – технократическая стратегия, наиболее ярко выраженная в идеологии «умной нации» в Сингапуре (Smart Nation) и направленная на расширенное использование цифровых технологий для предоставления гражданам качественных и более дешевых государственных услуг. Однако, не будучи связанной с вовлечением населения в обсуждение правительственных планов и тяготея к «непреднамеренному цифровому авторитаризму», эта стратегия во многом воплощает предсказанное З. Бжезинским еще в 1970-х гг. возникновение «полностью контролируемого общества». Вторая, условно говоря, коммерческая стратегия цифровизации развивается в Финляндии и предполагает активное использование рыночных механизмов для повышения управленческой гибкости правительства. Третья, характерная для Эстонии, утверждает зависимость технологий от действий человека и потому акцентирующую их роль в усилении объединяющего эффекта национальных традиций и формирования родственной «цифровой идентичности».

Понятно, однако, что независимо от своих содержательных отличий, эти разнообразные тенденции неизбежно выстраивают траектории своего движения в национальных рамках «оцифрованной реальности» и, следовательно, так или иначе, опираются на различные ментальные конструкции элитарных и неэлитарных слоев населения. Хотя, как можно видеть, не все из них акцентируют роль культурных компонентов на фоне лидерства цифровых параметров формирующихся «политико-технических комплексов».

Конечно, даже в целом нельзя утверждать, что культурные факторы качественно изменяют логику применения цифровых механизмов. Однако тот факт, что человек неизбежно корректирует определенные формы мировос-

приятия в условиях становления новой архитектуры организации власти, однозначно сказывается на степени поддержки им государственных проектов и целей. Потому и сегодня стремительное преобразование технико-социальной среды, будучи в известном смысле принудительным осовремениванием индивидуальной жизнедеятельности человека, неизбежно проблематизирует понимание им своего социально-политического местоположения, затрагивая и его самооценку, и понимание реальных прав в отношениях с государством, и дальнейшие жизненные перспективы. Немаловажным фактором внутренних трансформаций является и то, что гражданские структуры и сообщества подчас опережают государство в освоении новых возможностей использования цифровых инструментов. Причем как на корпоративном, так и на индивидуальном уровнях. В результате эти технологические возможности также влияют на характер политического позиционирования человека.

Как бы то ни было, но адаптация человека к новой стадии электронного окружения жизни влияет на его политическое позиционирование и реальные возможности воздействия на власть, что в свою очередь непременно побуждает его к внутренней самопроверке жизненных ориентиров и гражданских ценностей. Уже сейчас цифровая трансформация механизмов политического доминирования и управленческой архитектуры, расширяя предпосылки активизации и самоорганизации граждан, провоцирует культурную фрустрацию массового сознания, сказывается на уровне ожиданий населения от государства.

Понятно, что реакция общества на цифровое расширение политических и управленческих возможностей предельно важна и для государства, ибо технические новации и соответствующие формы общения власти и гражданина могут обрести конструктивные формы взаимодействия лишь на фундаменте адекватных идущим изменениям культурных стереотипов и ментальных конструкций. В этом смысле поколенческая или иная разница в темпах и ритмах культурного освоения цифровых инструментов превращается в условие не только эффективного осуществления власти и управления, но и сохранения государством своего статуса гражданского антрепренера.

Одним словом, в разных политических режимах индивидуальная и коллективная формы рефлексии по поводу изменения важнейших параметров местоположения человека в цифровом пространстве политического доминирования неизбежно влияют на его устойчивые, укорененные в стиле жизни ценностные ориентиры и представления. В любом случае, сегодня обществом весьма интенсивно преодолеваются прежние практики его «выключения» из прямых отношений с государством (впрочем, и за счет нецивилизованных форм активности в виде электронного мошенничества и киберанархии).

Культурные отблески основных тенденций цифровизации

В силу сложности и многогранности культурных реакций человека на информационные обновления в сфере власти и управления, объяснение их содержания предполагает определенные упрощения, что возможно сделать, к примеру, за счет выделения основных тенденций цифровизации. Первый тренд – *инструментально-технический*, который качественно расширяет информационное взаимодействие государства и общества, демонстрируя предложение населению целого ряда услуг за счет инструментов «умного управления» и «электронного правительства», а также других методов их

получения в рамках специализированных правительственных программ («цифровой экономики», «цифрового государственного управления» и др.), интегрирующих цифровые платформы, технологии блокчейна, облачной обработки данных, искусственного интеллекта и т.д. Личные кабинеты, многочисленные приложения, порталы государственных услуг, электронный банкинг и многие другие инструменты стали привычной реальностью современного человека.

Типичным последствием применения цифровых технологий стало и усиление информационной прозрачности публичных институтов, упрощение межведомственной координации, использование независимой аналитической экспертизы, внедрение новых механизмов противодействия коррупции, а также другие организационно-административные новации¹. Устойчивое обновление и совершенствование технических устройств предполагают и постоянный сбор персональных сведений, расширяющих административно-управленческие возможности как государства, так и индивида (что позволяет говорить о перспективе формирования «персональных» форм государственного управления и предоставления гражданских прав «по требованию»).

Впрочем, отдельные зоны государства все еще сохраняют свою «общественную» непроницаемость даже с учетом цифровых достижений. Так, механизмы принятия государственных решений сохраняют латентные схемы целеполагания, в значительной степени препятствуя обратной связи и возможностям привлечения независимой экспертизы. В силу этого цифровые инструменты выполняют здесь «минимальные» функции, связанные скорее с контролем за соблюдением правил дискуссии с гражданскими структурами [6. С. 14]. Причем, в России сохранение такой информационно-политической непроницаемости этой зоны государственного управления сочетается еще и с дефицитом обнародования данных по недвижимости, расходам федерального и региональных бюджетов, а также социально-экономическому эффекту от публикации государственных данных [7. С. 113]. Излишне говорить, что сохранение закрытости этой социальной арены не только провоцирует риски в отношениях государства и общества (поскольку последнее оказывается не информировано ни о структурах, анонимно принимающих решения, ни о фигурах и их интересах, лежащих в основании целей), но и наглядно показывает гражданам дистанцию, отделяющую их от совместного участия. Вполне вероятно, что такое положение в какой-то степени провоцирует тенденции к хакеризму и электронному мошенничеству.

Видимо, излишне говорить и об изменениях в информационном окружении повседневной жизни человека, где старые форматы информирования уступают место цифровым носителям, демонстрируя экспоненциальный рост пользователей социальных сетей² и позволяя прогнозировать скорое встраи-

¹ Например, в России разработана система управления программами противодействия коррупции с использованием технологий искусственного интеллекта «Посейдон».

² По данным специалистов, на сегодняшний день в мире зарегистрировано почти 3,2 млрд пользователей сетей, 79% населения развитых и развивающихся стран имеют профиль в социальных сетях [2. С. 179]. Не менее впечатляющим является и наличие «интернета вещей», означающего, что более 6 млрд окружающих человека предметов подключены к Интернету [3. С. 10]. При этом в России с населением 145,9 млн человек 129,8 млн являются интернет-пользователями. Таким образом, уровень проникновения данной информационно-коммуникационной сети в России на начало года достиг 89% от общей численности, что на 4,7% выше прошлого года [8].

вание традиционного телевидения в цифровые массмедиа. Возникающие в быту новые привычки (например, одновременного просмотра телевизионных программ и сетей (*double skinning*)) подталкивают людей к обретению новых знаний и компетенций, заставляя менять алгоритмы своей повседневной деятельности. Впрочем, здесь дают о себе знать и препятствия, вызванные возрастными сложностями обучения пользовательскими программами, привычками к преимущественному использованию бумажных носителей, предпочтениями к непосредственным формам общения и другим формам жизнедеятельности, сужение которых вызывает у людей травматический эффект. В силу этого у отдельных категорий населения проблемы с их адаптацией к темпам развития технической среды провоцируют дискомфорт и настороженность к цифровым инструментам, стремление сузить ареал технических средств в своей жизни. И лишь молодежь успевает осваивать и лидировать в освоении новых инструментов коммуникации.

И все же в целом, даже констатируя сохраняющееся в обществе компетентностное неравенство в области использования цифровых технологий, следует признать качественное расширение предпосылок активности населения (как потребителей государственных услуг и товаров в новом формате), так и обновление обыденных представлений граждан при взаимодействии с государством. И даже на фоне характерных для сегодняшнего времени рисков усиления административно-информационного контроля или провалов в защите персональных данных люди активно вовлекаются в новый формат взаимодействия. Провоцируя трансформацию бытовых форм жизнедеятельности человека, эти новации постепенно изменяют стандарты потребления, способствуя психологическому привыканию к новому формату взаимодействия с государством и некоторому изменению ориентационной схематики. Другими словами, цифровые изменения в области управленческих технологий не способны привести к масштабным трансформациям культурного тела общества. И даже у чиновников такие подвижки не стимулируют отказ от накапливавшихся десятилетиями корпоративных ценностей и бюрократических предрассудков.

Куда более существенным основанием культурных трансформаций современного гражданина является собственно *политическая* тенденция цифровизации, которая целиком и полностью зависит от характера правящих режимов, по-своему налаживающих отношения власти с населением в рамках оппонирующего партнерства государства и общества и сочетающих инструменты офлайн и онлайн политического управления.

В рамках этой исключительно обширной тенденции основные культурные последствия цифровизации по преимуществу связаны с различными гранями политического соперничества правящего режима и общества, влияющего на позиционирование каждого индивида. Так, вряд ли можно ошибиться, полагая, что основные культурные отблески этой тенденции зависят от цифровой стратегии правящих режимов, направленной на сохранение политических порядков и демонстрирующей стремление властей взять под контроль те формы оспаривания их позиций, которые способны спровоцировать кризис легитимации, поколебать устойчивость их доминирующего положения. Иными словами, граждане, прежде всего, реагируют на те цифровые методы, которые правящий режим применяет для воспроизводства политического

господства, по-своему сочетая их с поиском перспективных социально-экономических решений.

Наиболее типичной формой проявления этой политической стратегии становится масштабное использование цифровых (в том числе биометрических) технологий для политико-административного контроля за общественно-политической активностью и территориальными перемещениями граждан, их дискурсивными практиками. Но если в демократических странах эти задачи решаются на правовом фундаменте, защищающем права человека и гражданина, то в авторитарных и гибридных режимах власти постоянно соскальзывают от противоборства с радикальными группировками к противостоянию с критическому контентом, рассматриваемым ими как угроза госбезопасности и национальному суверенитету. Таким образом, под удар, прежде всего, попадают арены политической делиберации (необходимые для рационализации взаимоотношений элиты и населения и использования массмедиа против манипуляций общественным мнением [9. Р. 70]), вводятся ограничения на доступ населения к общественно значимой информации, осуществляется блокировка интернет ресурсов оппозиции и запрещаются внесистемные сайты, осуществляется цензурирование и расширяются полномочия спецслужб, ограничиваются возможности сетевого фрейминга (в том числе и используемого людьми для повседневного общения), а также проводятся иные мероприятия, позволяющие властям создавать «прозрачное» общество, исключаяющее риски делегитимации правящих режимов.

С этим комплексом задач напрямую связано и оценивание обществом действий властей по поводу борьбы с киберпреступностью, предотвращения рисков незаконного проникновения электронных мошенников в личную информацию граждан, присвоения интеллектуальной собственности, незаконного использования материальных и интеллектуальных активов гражданина (в виде продажи персональных данных корпоративными структурами и государственными фигурами). В данном случае людям важно знать, что государство охраняет их персональную информацию в интересах граждан, а не злоупотребляет своими правами в узкоэгоистических целях. В силу этого данный аспект цифровой политики властей становится мощным триггером не только воспламенения общественной повестки и политически значимых эмоций, но и корректировки ориентационных воззрений населения.

Наряду с обозначенными аспектами политического применения цифровых инструментов типичной культурно значимой ареной является и информационно-символическое пространство. Опять-таки, по сравнению со странами демократического пула, граждане, проживающие в государствах с жесткими правящими режимами, имеют возможность сполна оценить практики их вытеснения за рамки публичных дебатов, создания странового суверенного Интернета и вытеснения из медиа пространства мировых информационных гигантов, устойчивое применение технологий дополненной реальности и латерального таргетинга в целях фабрикации общественных интересов и ценностей¹. При этом в ряде стран даже стремление властей сохранить «демократический» имидж не препятствует перетеканию админи-

¹ Представляется, что во многом именно из-за масштабных практик авторитарных и гибридных режимов по регулированию информационного пространства и поддержанию асимметричных гибридных коммуникаций [11] в мире произошло глобальное сокращение свободы Интернета [10. С. 153].

стративного контроля в политические ограничения гражданских прав и свобод и репрессии против гражданских лидеров и активистов. В этом контексте, возможно, самый показательный пример дает опыт КНР, где перечень предоставляемых гражданам государственных услуг напрямую зависит от степени их политической лояльности.

На фоне практик, снижающих возможности общества в поддержании конструктивной и свободной коммуникации с властью, ряд ученых все же усматривает источники увеличения цифровых и политических ресурсов общества. Прежде всего, за счет активности блогеров, расцениваемых ими как лидеров общественного мнения, создающих для государства новую рамку отношений, предполагающую неизбежную реакцию властей на продвижение общественной повестки и запросов граждан, оказывающих серьезное давление на публичные институты [10. С. 127, 143]. Думается, однако, что более убедительной трактовкой новой роли блогеров является признание политического влияния лишь небольшого числа наиболее известных и популярных фигур (Influencer) [3. С. 18]. Впрочем, и они не в состоянии изменить характерные для национального государства механизмы принятия решений (формирующиеся под давлением неформальных сегментов правящего класса и которые, кстати, используют значительную часть блогосферы в своих интересах) или же противопоставить позициям властей и их лидеров какую-то влиятельную общественную программтику. Так что даже возможные преимущества общества в части освоения цифровых технологий все равно сохраняют преимущества государства как в части обладания ресурсами, так и целенаправленного регулирования общественными процессами. Коротко говоря, преимущество политической воли и инструментов принудительного регулирования по-прежнему остаются в руках государства. И этого не может изменить ни усиление интернет-давления граждан, ни намечающийся исторический переход от «демократии масс» к «демократии публик» (С. Московичи).

Подтверждением этому служит и масштабное использование властью цифровых инструментов для наращивания репутационного капитала правящих режимов вопреки усилиям оппонентов. Хотя, конечно, стоит уточнить, что успешность такой политики зависит, как от способности властей контролировать ключевые национальные СМИ и медиа-идеологии, так и от качества проводимой государственной информационно-символической политики (создающей интерпретационные рамки массового дискурса и предлагающей населению модели и нормы гражданской активности на основе апелляции к высоким символам и архетипическим конструкциям национального менталитета). Более того, эффективность этих усилий государства зависит и от качества разрабатываемых в рамках такой символической самопрезентации политических проектов, складывающихся на фоне политической коррозии партийных программ и разрушения крупных идеологических течений¹.

¹ В данном аспекте следует констатировать, что совсем недавние представления о государственной информационной политике, рассматривавшейся в начале нулевых как инструмент обеспечения потребностей гражданского общества, сегодня меняются на более аутентичные представления, аттестующие эту линию активности государства как совокупность отдельных медиапроектов крупных политических инвесторов, для которых государственные цели являются прямым выражением их корпоративных интересов. Не случайно еще десятилетие назад в России рынок отечественных СМИ был организован таким образом, что почти все основные медиаресурсы стали принадлежать или «Газпром-медиа», или близким к власти бизнесменам [12].

Однако, учитывая отмеченные ранее «охранительные» интенции активности властей, можно констатировать, что результаты их пропагандистской активности не только сохраняют прежние расколы массовой политической культуры, но и порождают новые формы ценностной интерференции (на актуальном историческом материале активируя конфликты, связанные с миграционными потоками, геополитическими противоречиями, этнической некомплимментарностью разных народов и т.д.). В ряде стран такое положение способствует тому, что политические конфликты, отражаясь в различных формах властного проектирования, вытесняют из политического пространства не только интересы гражданского населения (заинтересованного в жизненном благополучии, саморазвитии), но и попирают гуманистические основания культуры, ее генетическую ориентацию на взаимное обогащение ценностей и ориентаций. И если что-то и тормозит осуществление этой стратегии в авторитарных государствах, так это действия самих правящих кругов, нередко использующих цифровые технологии как средство ведения прежней политики, где решающую роль играют не коммуникации, а интересы и институты. В этом смысле пропагандистская агрессия медиаидеологий формирует такие грани политической реальности, которые вместо поощрения культурно-экспериментальных (коммуникативно-поисковых) форм активности населения провоцируют воспроизводство отягощенных многочисленными фобиями консервативных и даже этнологических ориентаций в повседневной жизнедеятельности человека. В этих условиях агрегаторами культурной активности человека становятся различные формы традиционализма со всем шлейфом его мировоззренческих приоритетов – патримониализмом, конформизмом, начетничеством и проч.

Российская цифровизация в зеркале культурных трансформаций

В современной России помимо универсальных противоречий в национальном теле культуры при активном использовании инструментов цифровизации воспроизводится и ряд традиционных конфликтов, связанных с различными гранями политического развития и управления.

В целом на фоне расширения информационного поля политики многослойность отечественного культурного тела сохраняет прежние разломы и точки дискommunikации, препятствующие обогащению ценностного материала общества. Институциональные и коммуникативные механизмы, препятствующие «культурному вторжению Запада», не только конструируют искусственные водоразделы «наших» и «ненаших» (вытесняющих из публичного дискурса либерально-демократические ценности), но и поддерживают устойчивый тренд к ужесточению взаимоотношений государства и общества. На фоне санкционного давления и рост русофобии в западном мире этот конфронтационный дискурс не только усиливает принципы дихотомического мировосприятия, но и реанимирует хорошо известные по советскому опыту стандарты массового «оборонного сознания». И хотя устами Д.А. Медведева власти утверждают, что страна не собирается «закрываться от мира», налицо все признаки вызревания автаркических тенденций.

По сути, сегодняшнее время формирует такие же – по силе влияния – обстоятельства, которые сложились в первые постсоветские годы, когда «пат-

риотически мыслящие люди» проявляли «неспособность дистанцироваться от непопулярных» действий правительства и «действовать самостоятельно», оказавшись «в полной растерянности, когда к власти приходят неоконсервативные силы» [13. С. 323].

Упрощая социокультурную ситуацию, можно предположить, что культурные отклики цифровизации имеют в России два существенных разветвления. Так, применительно к обществу в целом можно констатировать, что использование новых инструментов в системе власти и государственного управления, интенсифицировав практику постановочных политических институтов и акций¹, не изменило и даже не снизило «фрагментацию и противоречивость общественного сознания», в рамках которого «просматриваются несколько мировоззренческих типов, выстраивающихся в спектре от стихийных традиционалистов, «традиционалистов-этакратов», разочаровавшихся традиционалистов и до модернистов и постмодернистов» [15. С. 158]. При этом есть все основания полагать, что именно подобные управленческие практики вольно или невольно поддерживают рутинизированную реакцию массовой политической культуры на идущие трансформации, соответствующим образом расширяя численность граждан, склоняющихся к патерналистской модели государства².

В то же время культурная реакция молодежи, как известно, наиболее адекватно вписывающейся в процессы цифровизации и наиболее остро воспринимающей реальный ценностно-ориентационный плюрализм, обладающий для нее важнейшим онтологическим статусом (Д. Мур), демонстрирует иные предпочтения и ориентиры. Они, собственно, и влияют на понимание молодыми людьми своих возможностей и перспектив развития в общем контексте социальной жизни. Иначе говоря, ее ценностные «символы-сигнификаторы» (помогающие «ориентироваться в системе политических отношений») и «символы-интеграторы» (дающие возможность различать в политике параметры «справедливого и несправедливого, полезного и вредного, неизбежного и случайного, необходимого и ненужного, постоянного и сиюминутного», что помогает ей усваивать «значение тех или иных ценностных приоритетов... принципов политического устройства... причинно-следственные связи между отдельными политическими событиями») [19. С. 162] демонстрируют иные формы культурной реакции на процессы цифровизации и особенности российской публичной политики. А ведь по прошествии 7–10 лет именно эта часть общества станет у руля общественных преобразований.

С одной стороны, молодежь, вроде бы, вписывается в общий тренд нарастания конформизма, лояльности и приспособленчества, усиливающего влияния на ее сознание консьюмеристской психологии, что неизбежно влечет

¹ К этим проявлением «кажимости» политического процесса специалисты относят создание партий-спойлеров, «псевдопарламентов», «псевдовыборов», «псевдосудов» или же «псевдосвободных СМИ», в сумме своей формирующих состояние «псевдопубличности» [14].

² Так, по данным Левада-Центра (выполняет функции иноагента), 10 лет назад 63% опрошенных видели преимущество жесткого контроля перед предоставлением людям свободы и ограничением участия государства функцией контроля [16]. В 2020 г. 49% граждан считало, что стране постоянно нужна сильная рука и еще 26% полагали, что это полезно еще и в отдельных случаях [17]. Также социологи сигнализируют о том, что за последние полгода доля россиян, не готовых лично более активно участвовать в политике, увеличилась с 74 до 78% [18].

трансформацию традиционно понимаемой гражданственности в психологию «потребителей общественных благ и ценностей» [20]. В то же время почти у трех четвертей опрошенных социологи фиксируют отказ от участия в общественной деятельности [21], в ряде случаев сочетающийся даже с отказом от выполнения гражданских обязанностей [22. С. 57]. Показательно и то, что молодежный конформизм, сочетаясь с дефицитом политической идентификации с партийными и идейно-политическими требованиями [23. С. 106], провоцирует усиление симпатий молодых людей к «космополитической идентификации» (с 4–6% фиксируемых несколько лет назад до 11% в 2021 г.) [24] и повышение «отчужденного отношения... к своей стране», «отсутствие заинтересованности в ее судьбе» [25. С. 117]. Что вполне определенно свидетельствует о нарастании постепенного ослабления символических связей молодых поколений со своей страной [26]. Не случайно, как пишут Т.В. Евгеньева и А.В. Селезнева, «все субъекты, прямо или косвенно имеющие отношение к власти или государству», рассматриваются молодыми людьми как «чужие» (в то время как «свои» составляют «семья, друзья, члены группы в сети Интернет»). При этом «предательство (часто при этом уточняемое как «предательство соратников») респонденты называют значимым аморальным поступком», в то время как «измена Родине набирает меньше одного процента» [27. С. 283].

С другой стороны, по данным региональных исследований, от 66,67 и до 77,5% студенческой молодежи выражают уверенную поддержку либеральным ценностям [28], которые органически связаны как с гражданской активностью человека, так и его ответственностью по отношению к обществу. При этом 12,6% молодых россиян предпочитают конфликтный характер проявления гражданского активизма, сопряженного с критическим отношением к действующей власти [22. С. 57] и к ее отдельным геополитическим проектам.

В целом эти молодежные приоритеты так или иначе являются реакцией на действующие в стране политико-административные ограничения и информационное давление пропаганды, предлагающей молодым людям односложные ответы на вызовы современного мира. С точки зрения потребностей свободного саморазвития человека такое положение означает глубокую коррозию субкультурного пространства общества, способную сохранить свои травматические очертания на время, соотнесенное с жизнью этих поколений. В любом случае, однако, наличие поколенческих ножниц в культурном восприятии общества политической власти и управления является весьма тревожным сигналом, учитывая не только перспективы будущего позиционирования молодежи, но и способность культурных противоречий к повышению внутренней напряженности в обществе.

Однако достаточно очевидные представления о сохранении нынешнего внутри- и внешнеполитического курса позволяют говорить и о сохранении в среднесрочном горизонте доминирования консервативных и традиционалистских оснований национальной политической культуры. Точнее говоря, той ее субкультурной части, которую отличает синкретическое единство недоверия к власти и низкого уровня общественной солидарности с притерпелостью и механическому подчинению политически доминирующим силам.

Так что если цифровизация и расширяет информационную открытость мира, то политический курс правящих кругов все явственнее сокращает гу-

манитарный и консесуальный потенциал культурного обновления. Расширение цифровых возможностей культурной динамики общества сталкивается с практиками жесткой императивной координации в отправлении власти и с институциональным подкреплением внеевропейской траектории политических коммуникаций. А требования общества по части усиления личной информационной безопасности, ослабления контроля со стороны власти, саморазвития личности и сохранения гарантий гражданских прав и свобод все еще перемешиваются с «ястребиным клекотом» реакционеров (М. Горбачев), преследующих отнюдь не общественные цели. Одного этого фактора достаточно, чтобы констатировать невозможность изменений в разрозненном политико-культурном генотипе российского общества, снижение приоритетов его традиционалистских ориентиров.

Представляется, что эти травматические коллизии массовой культуры не просто вредят укреплению культурной самобытности российского общества, но и укрепляют ту историческую «культурную эстафету», которую страна унаследовала от Византийской империи (А. Тойнби). Понятно, что такая тенденция будет лишь укреплять стереотипы гражданской несамодостаточности индивида, усиливать включение властей в его диалог с миром в качестве обязательного наставника и попечителя. Соответственно, вызревание новых культурных ориентиров будет неизбежно превращаться в поединок людей с официальными нормами и установкой их единомышленников, нацеленных на безоговорочную «победу» своих ценностей. Однако с этим багажом страна будет последовательно утрачивать европейскую ментальность даже в недрах образованного класса, тем самым усекая культурное разнообразие российской жизни и поощряя дисциплинированность в ее восприятии.

Одним словом, цифровизация, провоцируя новую стадию «прерывности и изменения» российского типа цивилизации, тем не менее, обнаруживает ее старую проблему — отсутствие внутреннего «органического единства» (Н. Бердяев), которое способно многократно усилить возможности общественного развития. Но хватит ли у цифровизации в будущем возможностей, если не для коррекции традиционалистских ориентаций, то хотя бы для расширения культурного поля и усиления находящейся в дефиците «общественной воли» (П. Чаадаев)? Время покажет.

Список источников

1. *Сморгунов Л.В.* Три стратегии политики цифровизации: государственное управление и трансформационный потенциал цифровых технологий // Мозаичное поле мировой и российской публичной политики. Политическая наука: Ежегодник 2020–2021 / Российская Ассоциация политической науки ; под ред. О.В. Гаман-Голутвиной, А.И. Соловьева, А.И. Щербинина, Москва ; Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2021. С. 9–33.
2. *Основы теории и практики интегрированных коммуникаций и медийной политики в «новой реальности»* / под ред. П.В. Меньшикова. М. : МГИМО, 2022. 462 с.
3. *Стратегические коммуникации в цифровую эпоху. Новые технологии* / под ред. Л.С. Сальниковой. М. : Научная библиотека, 2019. 298 с.
4. *O'Reilly T.* What's the Future and Why It's up to Us. London: Penguin Random House, 2017. 422 p.
5. *Сморгунов Л.В.* Политическая онтология цифровизации // Политическое в условиях цифровых трансформаций : материалы Всерос. науч. конф., Санкт-Петербург, 24–25 октября 2021г. / под ред. А. Курочкина, Л. Сморгунова, О. Игнатьевой. М. : Аспект Пресс, 2022. С. 10–17.
6. *Кондратенко К.С.* Институциональная рекурсивность публичных социотехнических систем // Демократия и управление: Информационный бюллетень «Политическая онтология циф-

ровизации: исследование институциональных оснований цифровых форматов государственной управляемости». 2021. № 1. С. 13–17.

7. Косоруков А.А. Цифровое государственное управление. М.: Макс Пресс, 2020. 281 с.

8. Digital 2022. Russian Federation // We Are Social URL: <https://disk.yandex.ru/i/HFmsAxsAsb2qSg>. (дата обращения: 14.03.2022)

9. Fishkin J.S. When the people speak: Deliberative democracy and public consultation New York: Oxford University Press, 2009. 256 p.

10. Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления: навстречу цифровому обществу. М.: Проспект, 2021. 413 с.

11. Moe W.W., Schweidel D.A. Social Media Intelligence. New York : Cambridge University Press, 2013. 200 p.

12. Кто владеет СМИ в России: ведущие холдинги // BBC. 2014. URL: https://www.bbc.com/russian/russia/2014/07/140711_russia_media_holdings (дата обращения: 25.04.2022).

13. Политическая культура: теория и национальные модели / К.С. Гаджиев, Д.В. Гудименко, Г.В. Каменская и др. М.: Интерпракс, 1994. 352 с.

14. Шалюгина Т.А. Имитация в современном российском обществе: сущность, субъекты воздействия, социальное пространство проявления : автореф. дис. ... д-ра философ. наук. Ростов н/Д, 2012. 62 с.

15. Тихонова Н.Е. Динамика представлений россиян о соотношении интересов индивида и государства // Полис. 2021. № 6. С. 155–170.

16. Левада-Центр (<https://www.levada.ru/2011/01/17/paternalistskie-nastroeniya-rossiyan/>) (дата обращения: 25.05.2022).

17. Левада-Центр (<https://www.levada.ru/2020/02/25/gosudarstvennyj-paternalizm/>) (дата обращения: 20.05.2022).

18. Левада-Центр (<https://iarex.ru/sociology/67803.html>) (дата обращения: 25.05.2022).

19. Пушкарёва Г.В. Конфликтное поле российской символической политики // Конфликтное поле публичной политики: опыт, уроки и перспективы российского общества / под ред. А.И. Соловьёва, Г.В. Пушкарёвой. М.: Аргмак-медиа, 2022. 336 с.

20. Bennett W.L. Branded political communication: Lifestyle politics, logo campaigns, and the rise of global citizenship // Politics, products and markets: Exploring political consumerism, past and present. 2004. Past and Present. P. 101–125

21. Ильинский И.М., Луков В.А. Феномен комсомола и современные тенденции развития молодежного движения в России // Социологические исследования, 2018. № 10. С. 44–53.

22. Роль молодежных организаций в процессе политической социализации российской молодежи / под ред. О.В. Поповой, Я.Ю. Шашковой. СПб.: Скифия-принт, 2019. 245 с.

23. Радаев В.В. Миллениалы. Как меняется российское общество. М.: Изд-во Высшей школы экономики, 2019. 224 с.

24. Задорин И. Выступление на конференции «Государственное управление: современные вызовы». Факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова. 7.12.2021. URL: <http://conf.spa.msu.ru/> (дата обращения: 12.12.2021).

25. Селезнева А.В., Смутькина Н.В., Яковлева А.Ф. Образ России в структуре гражданского самосознания молодежи: визуальное измерение // ПРАΞНМА. 2021. № 2 (28). С. 110–129.

26. Сащенко Н.П. О характере социально-политических представлений о России в символическом пространстве национально-государственной идентичности // XI Международная Грушинская социологическая конференция «Пересборка социального, или Насколько дивным будет новый мир?», 17.05.2021–29.05.2021. URL: https://orel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=422679

27. Евгеньева Т.В., Селезнева А.В. Моральное и политическое в представлениях российской молодежи в контексте ее социально-политической самоидентификации // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 65. С. 278–287.

28. Пушкарёва Г.В., Михайлова О.В., Батоврина Е.В. Политические ориентации российского студенчества: региональный срез // Южно-российский журнал социальных наук. 2021. Т. 22, № 1. С. 19–33.

References

1. Smorgunov, L.V. (2021) Tri strategii politiki tsifrovizatsii: gosudarstvennoe upravlenie i transformatsionnyy potencial tsifrovyykh tekhnologiy [Three strategies of digitalization policy: public administration and the transformational potential of digital technologies]. In: Gaman-Golutvina, O.V., Soloviev, A.I. & Shcherbinina, A.I. (eds) *Mozaichnoye pole mirovoy i rossiyskoy publichnoy politiki. Politicheskaya nauka: Ezhegodnik 2020–2021* [A Mosaic Field of World and Russian Public Policy. Political Science: Yearbook 2020–2021]. Moscow; Tomsk: Tomsk State University. pp. 9–33.

2. Menshikov, P.V. (2022) *Osnovy teorii i praktiki integrirrovannykh kommunikatsiy i mediynoy politiki v "novoy real'nosti"* [Fundamentals of the Theory and Practice of Integrated Communications and Media Policy in the "New Reality"]. Moscow: MSIIR.
3. Salnikova, L.S. (2019) *Strategicheskie kommunikatsii v tsifrovuyu epokhu. Novye tekhnologii* [Strategic Communications in the Digital Age. New Technologies]. Moscow: Nauchnaya biblioteka.
4. O'Reilly, T. (2017) *What's the Future and Why It's up to Us*. London: Penguin Random House.
5. Smorgunov, L.V. (2022) Politicheskaya ontologiya tsifrovizatsii [Political ontology of digitalization]. In: Kurochkin, A., Smorgunov, L. & Ignatieva, O. (eds) *Politicheskoe v usloviyakh tsifrovyykh transformatsiy* [The Political Under Digital Transformations]. Moscow: Aspekt press. pp. 10–17.
6. Kondratenko, K.S. (2021) Institutsional'naya rekursivnost' publicnykh sotsiotekhnicheskikh sistem [Institutional Recursiveness of Public Sociotechnical Systems]. In: *Demokratiya i upravlenie* [Democracy and Governance]. Information Bulletin "Political Ontology of Digitalization: A Study of the Institutional Foundations of Digital Formats of State Governance". 1. pp. 13–17.
7. Kosorukov, A.A. (2020) *Tsifrovoe gosudarstvennoe upravlenie* [Digital Public Administration]. Moscow: Maks Press.
8. Russian Federation. (2022) *Digital 2022. We Are Social*. [Online] Available from: <https://disk.yandex.ru/i/HFmsAxsAsb2qSg> (Accessed: 14th March 2022)
9. Fishkin, J.S. (2009) *When the people speak: Deliberative democracy and public consultation*. New York: Oxford University Press.
10. Volodenkov, S.V. (2021) *Internet-kommunikatsii v global'nom prostranstve sovremennogo politicheskogo upravleniya: navstrechu tsifrovomu obshchestvu* [Internet communications in the global space of modern political management: towards the digital society]. Moscow: Prospekt.
11. Moe, W.W. & Schweidel, D.A. (2013) *Social Media Intelligence*. New York: Cambridge University Press.
12. BBC. (2014) *Kto vladeet SMI v Rossii: vedushchie kholdingi* [Who owns the media in Russia: leading holdings]. [Online] Available from: https://www.bbc.com/russian/russia/2014/07/140711_russia_media_holdings (Accessed: 25th April 2022).
13. Gadzhiev, K.S., Gudimenko, D.V., Kamenskaya, G.V. et al. (1994) *Politicheskaya kul'tura: teoriya i natsional'nye modeli* [Political Culture: Theory and National Models]. Moscow: Interpraks.
14. Shalyugina, T.A. (2012) *Imitatsiya v sovremennom rossiyskom obshchestve: sushchnost', sub"ekty vozdeystviya, sotsial'noe prostranstvo proyavleniya* [Imitation in modern Russian society: essence, subjects of influence, social space of manifestation]. Abstract of Philosophy Dr. Diss. Ro-stov on Don.
15. Tikhonova, N.E. (2021) Russians' perceptions of the relationship between the individual and state interests: an empirical analysis of dynamics. *Polis – Political Studies*. 6. pp. 155–170. (In Russian). DOI: 10.17976/jpps/2021.06.11
16. Levada-tsentr. (2011) *Paternalistskie nastroyeniya rossiyan* [Paternalist moods of Russians]. [Online] Available from: <https://www.levada.ru/2011/01/17/paternalistskie-nastroyeniya-rossiyan/> (Accessed: 25th May 2022).
17. Levada-tsentr. (2020) *Gosudarstvennyy paternalizm* [State Paternalism]. [Online] Available from: <https://www.levada.ru/2020/02/25/gosudarstvennyj-paternalizm/> (Accessed: 20th May 2022).
18. Ivakhnik, A. (2019) *Opros Levada-Tsentra o sostoyanii politicheskogo soznaniya rossiyan ne vyyavil ser'eznoy dinamiki* [Survey by Levada Center on the state of political consciousness of Russians did not reveal serious dynamics]. [Online] Available from: <https://iarex.ru/sociology/67803.html> (Accessed: 25th May 2022).
19. Pushkareva, G.V. (2022) Konfliktnoe pole rossiyskoy simvolicheskoy politiki [The conflict field of Russian symbolic politics]. In: Soloviev, A.I. & Pushkareva, G.V. (eds) *Konfliktnoe pole publichnoy politiki: opyt, uroki i perspektivy rossiyskogo obshchestva* [The conflict field of public policy: experience, lessons and prospects of the Russian society]. Moscow: Argamak-media.
20. Bennett, W.L. (2004) Branded political communication: Lifestyle politics, logo campaigns, and the rise of global citizenship. In: Stolle, D. *Politics, Products and Markets: Exploring Political Consumerism, Past and Present*. Routledge. pp. 101–125
21. Ilinskiy, I.M. & Lukov, V.A. (2018) The Phenomenon of the Komsomol and Modern Trends in the Development of the Youth Movement in Russia. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 10. pp. 44–53. (In Russian).
22. Popova, O.V. & Shashkova, Ya.Yu. (eds) (2019) *Rol' molodezhnykh organizatsiy v protsesse politicheskoy sotsializatsii rossiyskoy molodezhi* [The role of youth organizations in the process of political socialization of Russian youth]. St. Petersburg: Skifiya-print.

23. Radaev, V.V. (2019) *Millenialy. Kak menyaetsya rossiyskoe obshchestvo* [Millennials. How Russian society is changing]. Moscow: HSE.

24. Zadorin, I. (2021) *Vystuplenie na konferentsii "Gosudarstvennoe upravlenie: sovremennye vyzovy"* [Speech at the conference "Public Administration: Modern Challenges"]. Faculty of Public Administration of Moscow State University. December 7, 2021. [Online] Available from: <http://conf.spa.msu.ru/> (Accessed: 12th December 2021).

25. Selezneva, A.V., Smulkina, N.V. & Yakovleva, A.F. (2021) The image of Russia in the structure of the civic consciousness of the youth: a visual dimension. *ППАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ППАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 2(28). pp. 110–129. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2021-2-110-129

26. Sashchenko, N.P. (2021) O kharaktere sotsial'no-politicheskikh predstavleniy o Rossii v simvo-licheskom prostranstve natsional'no-gosudarstvennoy identichnosti [On the nature of socio-political ideas about Russia in the symbolic space of national-state identity]. *Peresborka sotsial'nogo, ili naskol'ko divnym budet novyy mir?* [Reassembly of the Social, or How Wonderful Will the New World Be?]. Proc. of the 11th Grushin Sociological Conference. May 17 – 29, 2021. [Online] Available from: https://orel.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=422679

27. Evgenieva, T.V. & Selezneva, A.V. (2022) Russian Youth's Perception of the Moral and the Political in the Context of Their Sociopolitical Self-Identification. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 65. pp. 278–287. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/65/23

28. Pushkareva, G.V., Mikhaylova, O.V. & Batovrina, E.V. (2021) Political Orientation of Russian Students: Regional Profile. *Yuzhno-rossiyskiy zhurnal sotsial'nykh nauk – South-Russian Journal of Social Sciences*. 22(1). pp. 19–33. (In Russian). DOI: 10.31429/26190567-22-1-19-33

Сведения об авторе:

Соловьев А.И. – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политического анализа Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: solovyev@spa.msu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Solovyev A.I. – Dr. Sci. (Political Science), professor, head of the Political Analysis Department Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: solovyev@spa.msu.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 24.04.2022;

одобрена после рецензирования 20.05.2022; принята к публикации 11.07.2022

The article was submitted 24.04.2022;

approved after reviewing 20.05.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научная статья

УДК 323.2, 316.62

doi: 10.17223/1998863X/67/20

МОТИВЫ И ФАКТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Ярослава Юрьевна Шашкова¹, Сергей Юрьевич Асеев²

^{1,2} *Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия*

¹ *yashashkova@mail.ru*

² *suass@mail.ru*

Аннотация. На основе фокус-группового опроса учащихся 10–11-х классов школ, студентов сузуов и вузов, проведенного осенью 2021 г. в восьми приграничных регионах Сибири и Дальнего Востока, выявлены доминирующие мотивы и факторы их политического участия/неучастия. Особое внимание уделено отношению учащейся молодежи к протестным акциям и выборам как знаковым политическим событиям 2021 г.

Ключевые слова: молодежь, школьники, студенты, политическое участие, политические установки

Благодарности: Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта «Факторы и каналы формирования политического сознания и мотивации политического участия учащейся молодежи приграничных регионов Сибири и Дальнего Востока» № 21-011-31651.

Для цитирования: Шашкова Я.Ю., Асеев С.Ю. Мотивы и факторы политической активности учащейся молодежи приграничных территорий Сибири и Дальнего Востока // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 231–242. doi: 10.17223/1998863X/67/20

Original article

MOTIVES AND FACTORS OF STUDENTS' POLITICAL ACTIVITY IN THE BORDER TERRITORIES OF SIBERIA AND THE FAR EAST

Yaroslava Yu. Shashkova¹, Sergey Yu. Assev²

^{1,2} *Altai State University, Barnaul, Russian Federation*

¹ *yashashkova@mail.ru*

² *suass@mail.ru*

Abstract. The article analyzes the motives and factors of political engagement/non-engagement of students from the border regions of Siberia and the Far East to predict the development of Russian political practices and assess the prospect of their involvement in the political process. The structuration theory of political action by Anthony Giddens serves as a methodology of the research. The data of the research have been obtained from polls of focus groups of grade 10 and 11 pupils, students of colleges and universities in Altai Krai, Zabaykalsky Krai, Primorsky Krai, Khabarovsk Krai, Omsk Oblast, the Republics of Altai, Tyva, Buryatia (October–November 2021). The polls' conduct after the January protests and the election campaigns of 2021 made it possible to reveal the carefully considered opinions

of young people about the motives of their current political behavior, the conditions and factors for the inclusion of young people in public policy. To reach the set goals, the authors analyzed the assessment by young people of the degree of political subjectivity in their social groups, their current attitudes to participation in protest actions, exercising of their active and passive electoral rights, the impact of digitalization, migration attitudes, attitudes to government policy, values and other factors on the choice of strategies and forms of young people's political behavior. The conducted research has revealed the prevalence of skeptical assessments by pupils and students of their political abilities, as well as the association of political actions exclusively with protest movement. At the same time, the authors have observed that the state's response to the protest movement of 2021 led to a reorientation of some young people from unconventional to conventional (elections, signing petitions, etc.) forms of political behavior to protect their interests, as well as to an increase in depoliticization of the youth. The most significant motives of this transformation are, on the one hand, fear and disappointment of young people in the effectiveness of mass politics, and, on the other hand, their desire for change, their pragmatism and interest. Against the background of the positive effect of the political process digitalization, the research shows a decrease in the influence of the value factor, migration attitudes and assessments of Russian policies on the political activeness of young people. The conclusion is made about switching the focus of student attention to ensuring personal comfort and self-fulfillment, and the probability of their return to public policy in the event of serious threats to these, as well as formation of their situational decision-making behavior.

Keywords: youth; schoolchildren; students; political activity; political attitudes

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research and the Social Research Expert Institute, Project No. 21-011-31651.

For citation: Shashkova, Ya.Yu. & Assev, S.Yu. (2022) Motives and factors of students' political activity in the border territories of Siberia and the Far East. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 231–242. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/20

Введение

Динамика российского политического процесса последних лет предоставила молодежи возможность получить различный опыт включенности в сферу политики, расширить свой индивидуальный и групповой габитус. Это, в свою очередь, приводит к изменению политических практик молодежной среды, к формированию в ней новых трендов, способных стать значимыми в среднесрочной перспективе. Политические события 2021 г. поставили многих молодых людей в ситуацию выбора: «участвовать – не участвовать» и «если участвовать, то в каком качестве», заставили, хотя бы ситуативно, воспроизводить в своем политическом поведении модель Э. Гидденса, согласно которой «человеческая деятельность... предстает в виде непрерывного потока (*durée*) поведенческих проявлений» и «включает в качестве составных элементов рефлексивный мониторинг (среды. – Я.Ш., С.А.), рационализацию и мотивацию деятельности» [1. С. 41].

Исходя из этого, прошедшие в 2021 г. протестные акции и выборы позволяют выявить современные тенденции политического участия молодежи, определить более осмысленное и квалифицированное мнение молодых людей о мотивах своего текущего политического поведения, условиях и факторах включения молодежи в публичную политику. Для решения поставленной задачи в статье анализируются оценки молодежью степени политической субъектности своей социальной группы, ее текущие установки на участие в протестных акциях, реализацию активного и пассивного избирательного пра-

ва, влияние цифровизации, миграционных установок, отношения к политике органов власти, ценностного и других факторов на выбор молодыми людьми стратегии и форм политического поведения. Методологическим принципом анализа выступает тезис Э. Ноэль, согласно которому наиболее четкое представление о мотивах поведения имеют не те, кто собирается что-то делать, а те, кто только что совершил какое-либо действие [2. С. 139].

Политическая активность молодежи уже длительное время выступает одной из приоритетных тем изучения особенностей поведения данной социальной группы в политической науке и социологии. Результаты эмпирических исследований различного уровня отражают отношение молодежи к отдельным формам политических действий [3–5], ее электоральное поведение [6, 7], основные тенденции различных периодов [8–10]. В последние годы особое внимание уделяется установкам молодежи на протестную активность [11, 12], а также роли цифровых технологий в политических коммуникациях и активности молодых людей [13–15]. Не теряют своей актуальности и работы по ценностным основам поведения молодежи [16–18], условиям и проблемам формирования ее субъектности в политическом пространстве страны и регионов [19–22].

Эмпирической базой статьи послужили результаты 14 фокус-групп, проведенных с учащимися 10–11-х классов, студентами ссузов и вузов в 8 приграничных регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов: Алтайском, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Омской области, республиках Алтай, Тыва, Бурятия (октябрь–ноябрь 2021 г.). В каждой фокус-группе принимали участие представители только одного региона и одного сегмента учащейся молодежи.

Публичная активность

Как отмечает А.Л. Колтунов и его соавторы, мотивацию политического участия молодых людей необходимо рассматривать с двух позиций: с одной стороны, это понимание своей роли в происходящих общественно-политических процессах, с другой – практическая полезность (карьерный рост, высокий социальный статус, материальные возможности и т.д.) [9. С. 50].

Проведенное исследование показало наличие размежевания учащейся молодежи в оценке своей роли в политике и степени политической активности. Большая часть респондентов скептически оценивают свои возможности в политической сфере: *«Молодежь практически не влияет – у нее мало знаний, мало опыта»* (м, школа); *«...влияния нет, причина – в апатии государства по отношению к молодежи, нет какой-то объединяющей идеи, каждый сам по себе»* (м, ссуз).

В то же время в поведении тех, кто допускает для себя участие в политике или уже участвует в политических событиях, проявляются новые тенденции. Особенно заметные трансформации, по сравнению с исследованиями 2018–2020 г., произошли в сфере массовых форм политического поведения. Несмотря на то что под политическими акциями и своим политическим участием большинство респондентов понимает оппозиционные акции, и лишь незначительная часть школьников соотносит свои политические действия с официальными праздничными мероприятиями, обнаружилось падение популярности протестных форм активности молодежи. Оценивая последствия

протестов последнего периода, большинство респондентов не намерено в перспективе принимать в них участие. В качестве главных обоснований данной позиции звучали страх перед последствиями и разочарование в этой форме политического участия.

Показательно, что мотив страха присутствует у всех изучаемых сегментов молодежи и связывается с представлением о наличии реальных угроз для своего здоровья, статуса и окружения: *«Нет желания рисковать собой, родственниками, учебой»* (м, вуз); *«боюсь, что меня потом не возьмут на какую-нибудь должность в госструктуре... да и в семье есть госслужащие, поэтому не хотелось бы подставлять»* (м, школа); *«какие бы важные интересы не хотелось отстаивать, здоровье важнее для большинства»* (ж, школа). Исключение здесь составляют только субъекты Федерации и населенные пункты, где подобные акции не проводились, и респонденты понимают, что и в будущем их вероятность крайне мала.

Причиной разочарования в массовых акциях стало формирование у молодежи устойчивого убеждения в их неэффективности, неспособности оказать влияние на власть и ситуацию в обществе, обусловленные малочисленностью и территориальной локализацией выступлений: *«те же протесты с Навальным, люди выходили, но итога не было»* (ж, ссуз); *«...в Хабаровске вышло 100 тыс., опять же не сработало, ничего не изменилось»* (м, вуз); *«в нашей большой стране – это не эффективно, когда в каком-то регионе протестуют. В нашей стране это выглядит как красный флажок: „Заметьте пожалуйста, у нас что-то произошло в стране, мы хотим вам об этом сказать“. А из-за 1–2 протестов в нескольких городах это не эффективно»* (ж, школа).

Исходя из оценки эффективности существующих механизмов коммуникации с властью и наблюдаемой модели реагирования на несанкционированную гражданскую активность, акции протеста в молодежной среде стали восприниматься как крайняя форма политической активности. Она может быть применима только при массовом участии и наличии серьезных угроз правам и личному благополучию, например при введении тотального контроля, нехватки средств для выживания: *«Какая-то ситуация с моими близкими, друзьями, например резко решат снести дом, где живу я, родные, уже выбора не будет и пойдешь – пусть хоть что-то они сделают...»* (ж, ссуз); *«Если я пойму, что мне уж совсем плохо жить в этой стране, городе, с таким правительством, то да. Я тогда не побоюсь уже за место учебы, потому что это не самое главное»* (ж, вуз). Этот мотив участия молодежи в акциях протеста отмечают и другие исследователи [18]. Также некоторую роль при принятии решения об участии играют факторы близости респонденту проблематики акций и наличия у них ярких лидеров.

Тем самым можно констатировать, что своей политикой и ужесточением административных санкций власть на данный момент достигла снижения актуальности протестных мероприятий в сознании учащейся молодежи, но показательно и то, что сохраняется отмечаемая рядом авторов [12. С. 73] тенденция меньшего участия молодых людей в публичных акциях провластного характера. Лишь некоторые респонденты указали свое участие в локальных и «безопасных» для них практиках по примеру тематических конкурсов, форумов, волонтерских и грантовых проектов.

В этих условиях происходит переориентация политически активной молодежи на конвенциональные формы политического поведения – участие в выборах, подписание петиций, выступления в соцсетях, которые оцениваются как более эффективные и/или безопасные.

Говоря об актуальности выборов в молодежной среде, следует отметить, что они осознаются как значимая форма активности преимущественно совершеннолетними респондентами, обучающимися в вузах и ссузах, но максимальный интерес к ним проявляет школьная молодежь, еще не имеющая электорального опыта: *«Интересно посмотреть, хотя понимаю, что мой голос особо ни на что не повлияет»* (ж, школа); *«...хочу сходить, узнать, как проходит этот процесс, нельзя судить о выборах, не участвуя в них»* (ж, ссуз).

При этом важность участия в выборах может оцениваться школьниками и студентами исходя из их гражданской позиции, осознания возможности реализации негативных сценариев голосования и как попытка изменения ситуации в обществе в условиях неэффективности и/или невозможности массовых акций: *«Это мое право, мой голос важен, кроме того, если пойдешь и проголосуешь, то уже твой бюллетень не могут использовать»* (ж, ссуз); *«выборы – это важно, нужно показать, что ты не равнодушен»* (м, школа); *«...это мое право, я могу – значит я буду»* (м, школа); *«...пойду голосовать, чтобы государство улучшалось»* (ж, вуз). В зарубежных исследованиях также отмечается роль ответственного отношения молодежи к своим гражданским обязанностям, что выступает главной мотивацией их участия в выборах [24. С. 62].

Дополнительным фактором электоральной активности выступает уровень выборов. Учащаяся молодежь разграничивает их по степени актуальности для себя: *«Буду голосовать в самых важных – президентских и думских»* (м, ссуз). Как отмечает Е.Г. Городецкая, «для молодежи именно выборы Президента наполнены более высоким содержанием, а собственное участие в них приравнивается к участию в делах государства» [15. С. 26]. По мнению Д.А. Ежова, интерес молодежи к процедуре голосования стимулируется в современных условиях и активным использованием ресурсов Интернета и мобильных технологий [7. С. 358].

С другой стороны, распространению абсентеизма в молодежной среде, по словам респондентов, способствуют предсказуемость результатов выборов и административное принуждение к участию в голосовании, после которого формируется отрицательное отношение к данному институту: *«Считаю, что государство уже знает итог выборов»* (ж, ссуз); *«...все для вида создано, победитель выбран заранее»* (ж, вуз); *«заставили участвовать в армии, если они станут честными, то пойду»* (м, вуз); *«...нас заставляли в универе...»* (ж, вуз).

Однако необходимо учитывать, что проведенное исследование выявляет больше проективную электоральную активность молодежи, в то время как на ее реальное участие в голосовании будет влиять в том числе и ситуативный фактор содержания избирательных кампаний: *«Я бы участвовал в выборах, если бы кандидаты были нацелены на улучшение жизни страны»* (м, школа); *«...если заинтересует кандидат, то пойду, и наоборот»* (ж, вуз).

Более определенно участники фокус-групп высказывались о своих намерениях баллотироваться в региональные или муниципальные органы власти – эту форму политической активности допускают для себя лишь единицы. В качестве мотивации отказа чаще всего звучали отсутствие знаний, опыта и необходимых качеств: *«кандидатом не стала бы – далека от этой деятельности, не во всем разбираюсь, а для избрания нужны знания»* (ж, школа). Также респонденты отмечали неспособность одного человека изменить ситуацию, необходимость поддержки избирателей, отсутствие интереса и боязнь ответственности: *«Я бы не представлял никакой весомой силы во всей системе, не важно, на каком уровне и, как в случае М. Евдокимова, это опасно и бесполезно»* (м, ссуз); *«это колоссальная ответственность, я ее не потяну»* (ж, ссуз).

Структура мотивов и факторов

Помимо страха и оценки эффективности различных форм политической активности, значимыми декларируемыми мотивами и факторами участия/неучастия школьников и студентов в политике выступают интерес к ней, профессиональное самоопределение, этический образ политики и ее цифровизация.

К наличию/отсутствию интереса к политике при обсуждении возможных форм политического поведения апеллируют от 40 до 50% респондентов в каждом сегменте учащейся молодежи. При этом многие респонденты отмечали наличие проблем в поведении и мотивации молодежной среды в целом: *«Сейчас не оказывает влияния – все другим заняты»* (ж, вуз); *«...современная молодежь о политике не думает, больше соцсети, игры, блогеры»* (м, ссуз). Вследствие этого участие большинства молодых людей в политических процессах приобретает не системный, а ситуативный характер, затрудняя их прогнозирование.

Абсентеистская модель поведения особенно заметна у студентов ссузов, многие из которых прямо говорят о своей политической пассивности и отсутствии интереса к политической деятельности: *«...я пассивная, происходит и происходит, главное, чтобы это не коснулось меня и моей семьи. Я против, чтобы и мои родные участвовали в каких-либо акциях...»* (ж, ссуз); *«Я, как большинство людей, готова что-то обсуждать, но вот что-то делать – это другой вопрос ...Наверное, этим кто-то другой займется, а не я»* (ж, школа).

Убежденность молодых людей в сложности технологических и организационных процессов в условиях информационного общества, необходимости специальной подготовки для их осуществления переносится и на политическую сферу: *«...политикой и государством должны заниматься люди от 35 и выше, более опытные, более знающие»* (ж, вуз); *«политикой должны заниматься профессионалы, которые в этом разбираются. Например, когда у человека появляются проблемы со здоровьем, он же не поедет к сантехнику?»* (м, вуз). Вследствие этого, объективно оценивая свои стартовые возможности в политике, большинство молодежи не видит в ней сферу своей будущей профессиональной самореализации, в частности, как указывалось ранее, в качестве кандидатов на выборах. Соответственно, они теряют свой интерес к политике и не демонстрируют вовлеченность в нее. Интересно, что

студенты ссузов Республики Тыва озвучивали запрос на знания о политике даже для реализации активного избирательного права: «...*Я не разобралась, к какой партии идти, за какого депутата голосовать, эти баннеры назойливые иногда надоедают, и не знаешь, за какого депутата проголосовать*» (ж, ссуз). В результате значительная часть молодежи становится «носителем культуры наблюдателей», способствуя сохранению доминирующих в российском обществе государственно-патерналистских установок и подданнического типа культуры [22. С. 22].

Некоторую роль в уходе политики на периферию интересов молодежи играет и распространение в ее среде «токсичного» образа политической сферы, ассоциируемой с «грязью», «связями» и большими деньгами.

В условиях продолжающегося снижения интереса молодежи к политическим организациям и институционализированным формам участия возрастает значение цифровых форматов социальной активности [13. С. 193]. Исследователи отмечают, что новые механизмы электронной демократии потенциально несут в себе возможность для развития инициативы, солидаризации и консолидации молодежи в деле их вовлечения в принятие управленческих решений [14. С. 5]. И действительно, в цифровизации политики школьники и студенты видят приемлемые для себя формы коммуникации с властью (петиции, обращения): «*Цифровизация дает возможность вынести какую-то проблему на всеобщее обозрение, чтобы на нее обратили внимание*» (м, вуз); «... *участие через интернет удобнее – не нужно куда-то идти*» (м, школа). Однако они осознают и недостатки/угрозы цифровой среды: «*Сеть продвигает все быстро, мимолетно, в этом и положительное, и отрицательное*» (ж, школа); «...*информация все более легкая ...меньше ...остается в головах, все менее наполнена смысловой нагрузкой*» (м, ссуз). Наиболее критичны в своих высказываниях студенты: «...*Стоит опасаться инфопузырей, в которых каждый из нас находится*» (м, вуз); «...*это тоже самое телевидение, у разных платформ свои владельцы, и они транслируют свое мнение*» (м, вуз). Также можно отметить снижение мобилизационного потенциала блогеров – все чаще их деятельность и оценки политической ситуации воспринимаются респондентами как лишенный профессионализма коммерческий проект с купленными тематиками.

На этом фоне исследование показало снижение влияния на политическое участие молодежи ценностного фактора, а также миграционных установок молодых людей и их оценок российской политики.

Как отмечал Д.В. Руденкин, в мотивации политической активности молодежи часто прослеживается ценностная подоплека: «такая активность становится для молодых людей не столько механизмом решения неких текущих проблем, сколько способом продемонстрировать свое мировоззренческое несогласие с тем устройством общества, которое она видит» [4. С. 205]. Однако, в отличие от результатов фокус-групп 2018–2019 гг., в настоящий момент наблюдается «размывание» картины ценностей в сознании учащейся молодежи – многие респонденты не могут внятно объяснить свое видение их содержания. Основная причина этого, на наш взгляд, заключается в стремлении респондентов уйти от крайних точек зрения, избежать столкновений в обсуждении политических тем, чтобы не провоцировать конфликты в своем окружении и не нарушать состояние личного комфорта.

На это же направлены и текущие миграционные установки молодежи. В условиях депрессивности большинства исследуемых регионов внешняя миграция выступает способом ухода, в том числе и от политических проблем взаимодействия с государством, в то время как внутренняя имеет преимущественно социально-экономическую детерминанту, отражает стремление к самореализации и более комфортной среде проживания: *«Если тебя что-то не устраивает – сделай так, чтобы устраивало. Не нравится в этом государстве – езжай в другое, все просто»* (ж, ссуз). Особенно высокий миграционный потенциал характерен для дальневосточной молодежи, что отмечается и в исследованиях других авторов [21. С. 121]. При отсутствии возможности миграции либо наличии установки на сохранение места жительства в дальнейшем молодые люди становятся более активными в политической сфере, так как стремятся улучшить условия проживания в своем регионе. Однако об отсутствии внутригосударственных миграционных установок говорили лишь отдельные респонденты.

Отмеченный выше страх молодежи перед административным прессингом проявился в ее оценках действующей власти. При сохранении доминирования отрицательных оценок государственной политики, у ряда респондентов наблюдается стремление смягчить их или уйти от обсуждения проблемных тем: *«Не отвергаю радикально, но надо менять все уровни»* (м, школа); *«в основном не устраивает, все хорошее перекрывается плохим»* (м, школа); *«устраивает лишь частично»* (ж, вуз).

В качестве основных проблем выделяется социальное и межрегиональное неравенство, характеризующееся как несправедливость, закрытость власти. В дополнение к этому во всех сегментах учащейся молодежи отмечается наличие в политическом пространстве конфликта поколений: *«Государство не дает. Будущее за молодежью, а в правительстве люди старой закалки, им не выгодно, что их заменяют»* (м, школа); *«...старшие не будут слушать молодежь, в вопросах неополитических – может быть»* (ж, школа).

Обоснование же своей поддержки или нейтрального отношения к власти молодые люди сводят к аргументам, которые можно обозначить категорией «обывательского индивидуализма»: *«Пока все устраивает – я живу, учусь, могу лечиться, кушаю – я довольна»* (ж, школа); *«меня ничего не напрягает, пока мне хорошо»* (ж, ссуз). Исследователи уже длительный период говорят о преобладании индивидуализма в молодежной среде [16]. Как отмечают А.П. Воробьев и его коллеги, молодые люди могут, исходя из своих индивидуалистических потребностей, рассматривать социальную справедливость как «социальную справедливость в отношении именно меня», поскольку они не видят ценности общественной солидарности и не готовы поступиться своими интересами ради потребностей общества [18. С. 165, 168].

Выводы

Как показало проведенное исследование, в существующих реалиях российского политического процесса школьники старших классов и студенты регионов Сибири и Дальнего Востока больше готовы участвовать в конвенциональных формах политического поведения (выборы, подписание петиций и т.д.), чем в неконвенциональных (протесты).

Среди мотивов принятия решения касательно протестной активности преобладают страх (препятствует), желание перемен (мотивирует), относительно конвенциональной – прагматизм (уклоняются или активны исходя из профессионального самоопределения) или интерес. Последний особо актуален в среде учащейся молодежи, так как с накоплением личного опыта и формированием собственной позиции это эмоциональное переживание познавательной потребности сокращается.

За последний год произошло существенное усиление влияния на поведение молодежи мотива страха за себя и личное будущее, при этом сокращался ранее отмечаемый оптимизм молодежной среды по поводу развития общества. Фактор страха перед административным давлением распространяется в сознании молодых людей и на цифровую среду, что приводит к снижению их активности в онлайн-пространстве, усиливает информационную закрытость этой группы. Кроме того, для артикуляции интересов молодежи оказались не эффективны ни протестные формы политического поведения, ни традиционные институты представительства. Ценности перестали выступать для многих студентов и школьников важным фактором массового политического участия. Также не способствует расширению политических практик молодежи сокращение официально поощряемых форм политической активности и их «безопасных тематик». Это приводит к уходу молодых людей из поля публичной политики, переключению их активности на обеспечение личного комфорта и самореализацию, чему способствует глобальный экономический кризис периода пандемии.

Анализ полученных результатов показал, что выявленные установки учащейся молодежи подтверждают тезис А.Н. Ильина – развитие индивидуализма в обществе потребления все больше деполитизирует и деконсолидирует российское общество, усиливает в нем «осознание тщетности попыток в коллективных действиях» и разубеждает в возможности оказывать совместное влияние на глобальные процессы и важные политические решения [23. С. 103].

Возврат молодых людей в политику возможен при появлении серьезных угроз их личному комфорту и уровню жизни. В то же время, осознавая подвижность современных процессов, они не планируют возврат надолго, постоянно подчеркивая, что «дальше будет видно». Таким образом, затрудняется прогнозирование действий молодежи даже в среднесрочной перспективе.

Список источников

1. Гидденс Э. Устройство общества: Очерк теории структуризации. М. : Академический проект, 2005. 528 с.
2. Ноэль Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии. М. : Прогресс, 1978. 380 с.
3. Ницевич В.Ф., Игнатова Т.В. Основные формы политической активности российской молодежи // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. № 4 (30). С. 61–67.
4. Руденкин Д.В. Полюсы политической активности российской молодежи: сравнение активистов провластных и оппозиционных движений // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2020. № 55. С. 203–215.
5. Шаикова Я.Ю., Асеев С.Ю., Асеева Т.А., Казанцев Д.А. Проблема эффективности институциональных форм политического участия молодежи (на примере Алтайского края и Новосибирской области) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 51. С. 192–204.

6. Пырма Р.В. Электоральное участие молодежи в выборах Президента России 2018 года // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2019. Т. 9, № 2 (38). С. 50–57.
7. Ежов Д.А. Актуальные тенденции и факторы электоральной активности российской молодежи // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7, № 3 (24). С. 356–358.
8. Селезнева А.В., Зиненко В.Е. Политическая активность российской молодежи: современные тенденции развития // Вестник Московского государственного областного университета. 2020. № 2. С. 192–208.
9. Колтунов А.Л., Ребышева Л.В., Савицкая Ю.П. Проблемы политической активности молодежи: социологический аспект // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2018. № 4. С. 46–54.
10. Попова О.В. Политические настроения молодежи: лояльность или протест? // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2019. Т. 21, № 4. С. 599–619.
11. Антошин В.А., Антошин А.В., Колесникова К.И. Протестный потенциал и протестная активность современной российской молодежи: ценностные доминанты, динамика и тенденции // Alma mater (Вестник высшей школы). 2021. № 12. С. 93–101.
12. Елисеева Е.А., Нечкина А.А., Зуляр Р.Ю. Молодежь Иркутской области: протестный потенциал и отношение к политической оппозиции // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2021. Т. 36. С. 67–75.
13. Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В., Азаров А.А. Гражданские и политические онлайн-практики в оценках российской молодежи (2018) // Политическая наука. 2019. № 2. С. 180–197.
14. Морозова Е.В., Ломаева А.К. Барьеры электронного политического участия студенческой молодежи в Российской Федерации // Социально-политические исследования. 2019. № 2 (3). С. 5–22.
15. Городецкая Е.Г. Мотивация электорального поведения студенческой молодежи // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2020. Т. 6 (72), № 4. С. 23–29.
16. Давыдова М.А. Приверженность молодежи ценностям индивидуализма: характеристики терминальных и инструментальных ценностей // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2012. № 4 (108). С. 125–131.
17. Зубок Ю.А., Чупров В.И., Любутов А.С., Сорокин О.В. Жизненные позиции молодежи: смысловые основания формирования // Вестник Института социологии. 2021. Т. 12, № 3. С. 79–98.
18. Воробьев А.П., Константинова М.В., Еременко М.С. Политическая культура молодежи: гражданственность в политическом сознании и поведении // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 63. С. 162–171.
19. Петухов В.В. Российская молодежь и ее роль в трансформации общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 119–138.
20. Барсукова С.Ю., Звягинцев А.В., Лаптиева Л.С., Сафиуллина Э.И. Мотивы участия молодежи в избирательных кампаниях // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 4. С. 300–318.
21. Березутский Ю.В. Дальневосточная молодежь как субъект и объект государственной политики // Власть и управление на Востоке России. 2019. № 1 (86). С. 113–125.
22. Самсонова Т.Н., Зиненко В.Е. Формирование политической субъектности молодежи в современной России: критерии, условия, проблемы // Общество: политика, экономика, право. 2021. № 3 (92). С. 17–24.
23. Ильин А.Н. Деконсолидация и деполитизация, характерные для общества потребления // Социологический журнал. 2014. № 3. С. 101–115.
24. Cammaerts B. et al. Youth Participation in Democratic Life Stories of Hope and Disillusion. London School of Economics and Political Science. UK, 2016. 237 p.

References

1. Giddens, A. (1984) *Ustroenie obshchestva: Ocherk teorii strukturatsii* [The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration]. Translated from English. Moscow: Akademicheskii projekt.
2. Noel, E. (1978) *Massovyie oprosy: vvedenie v metodiku demoskopii* [Mass Surveys: An Introduction to Demoscopy Methodology]. Translated from English. Moscow: Progress.

3. Nitsevykh, V.F. & Ignatova, T.V. (2013) Basic forms of political activity of the Russian youth. *Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk – Central Russian Journal of Social Sciences*. 4(30). pp. 61–67. (In Russian).
4. Rudenkin, D.V. (2020) Polarities of Russian Youth's Political Activity A Comparison of Activists of Pro-Government and Opposition Movements. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 55. pp. 203–215. (In Russian). DOI 10.17223/1998863X/55/21
5. Shashkova, Ya.Yu., Assev, S.Yu., Asseva, T.A. & Kazantsev, D.A. (2019) The Problem of the Efficiency of Institutional Forms of Political Participation Among the Russian Youth (On the Example of Altai Krai and Novosibirsk Oblast). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 51. pp. 192–204. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/51/20
6. Pyrma, R.V. (2019) Electoral Participation of Youth in the Election of the President of Russian Federation in 2018. *Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta – Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*. 9(2). pp. 50–57. (In Russian). DOI: 10.26794/2226-7867-2019-9-2-50-57
7. Ezhov, D.A. (2018) Actual Trends and Factors of the Electoral Activity of Russian Youth. *Azimut nauchnykh issledovaniy: ekonomika i upravlenie – Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration*. 3(24). pp. 356–358. (In Russian).
8. Selezneva, A.V. & Zinenko, V.E. (2020) Political Activity of Russian Youth: Current Development Trends. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta – Bulletin of Moscow Region State University*. 2. pp. 192–208. (In Russian). DOI: 10.18384/2224-0209-2020-2-1012
9. Koltunov, A.L., Rebysheva, L.V. & Savitskaya, Yu.P. (2018) Issues of political activity of youth: sociological aspect. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Sotsiologiya. Ekonomika. Politika – Proceedings of Higher Educational Institutions. Sociology. Economics. Politics*. 4. pp. 46–54. (In Russian).
10. Popova, O.V. (2019) Political Views of the Youth: Loyalty or Protest? *Vestnik Rossiyskogo universiteta družby narodov. Seriya: Politologiya – RUDN Journal of Political Science*. 21(4). pp. 599–619. (In Russian). DOI: 10.22363/2313-1438-2019-21-4
11. Antoshin, V.A., Antoshin, A.V. & Kolesnikova, K.I. (2021) Protest potential and protest activity of modern Russian youth: value dominants, dynamics and trends. *Vestnik Vysshey Shkoly – Alma Mater*. 12. pp. 93–101. (In Russian). DOI: 10.20339/AM.12-21.093.
12. Eliseeva, E.A., Nechkina, A.A. & Zulyar, R.Yu. (2021) Youth of Irkutsk Region: Protest Potential and Attitude toward the Political Opposition. *Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politologiya. Religiovedeniye – The Bulletin of Irkutsk State University. Series Political Science and Religion Studies*. 36. pp. 67–75. (In Russian). DOI: 10.26516/2073-3380.2021.36.67
13. Brodovskaya, E.V., Dombrovskaya, A.Yu., Pyrma, R.V. & Azarov, A.A. (2019) Civil and political online practices in the evaluations of Russian youth (2018). *Politicheskaya nauka – Political Science*. 2. pp. 180–197. (In Russian). DOI: 10.31249/poln/2019.02.09
14. Morozova, E.V. & Lomaeva, A.K. (2019) Barriers to e-political participation of students in the Russian Federation. *Sotsial'no-politicheskie issledovaniya – Social and Political Research*. 2(3). pp. 5–22. (In Russian). DOI: 10.24411/2658-428X-2019-10437
15. Gorodetskaya, E.G. (2020) Motivation of Student Electoral Behavior. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Sotsiologiya. Pedagogika. Psikhologiya – Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Sociology. Pedagogy. Psychology*. 6(72-4). pp. 23–29. (In Russian).
16. Davydova, M.A. (2012) Commitment of youth to values of individualism: characteristics of terminal and tool values. *Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1: Regionovedenie: filosofiya, istoriya, sotsiologiya, yurisprudentsiya, politologiya, kul'turologiya – The Bulletin of the Adyge State University. Region Studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political Sciences and Culturology*. 4(108). pp. 125–131. (In Russian).
17. Zubok, Yu.A., Chuprov, V.I., Lyubutov, O.V. & Sorokin, O.V. (2021) Life positions in self-regulation of life activity of the youth. *Vestnik Instituta sotsiologii – Bulletin of the Institute of Sociology*. 12(3). pp. 79–98. (In Russian). DOI: 10.19181/vis.2021.12.3.738
18. Vorobiev, A.P., Konstantinova, M.V. & Eremenko, M.S. (2021) Political Culture of Youth: Civic Consciousness in Political Consciousness and Behavior. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 63. 162–171. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/63/16
19. Petukhov, V.V. (2020) Russian Youth and Its Role in Society Transformation. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 3. pp. 119–138. (In Russian). DOI: 10.14515/monitoring.2020.3.1621

20. Barsukova, S.Y., Zvyagintsev, A.V., Laptieva, L.S. & Safiullina, E.I. (2021) Motives of Youth Participation in Election Campaigns. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny – Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. 4. pp. 300–318. (In Russian). DOI: 10.14515/monitoring.2021.4.1841

21. Berezutskiy, Yu.V. (2019) The Far Eastern youth as a subject and object of the state policy. *Vlast' i upravlenie na Vostoke Rossii – Power and Administration in the East of Russia*. 1(86). pp. 113–125. (In Russian). DOI: 10.22394/1818-4049-2019-86-1-113-125

22. Samsonova, T.N. & Zinenko, V.E. (2021) Formation of the Political Subjectivity of Youth in Modern Russia: Criteria, Conditions, Problems. *Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo – Society: Politics, Economics, Law*. 3(92). pp. 17–24. (In Russian). DOI: 10.24158/pep.2021.3.2

23. Ilin, A.N. (2014) De-consolidation and De-politicization as Characteristics of Consumer Society. *Sotsiologicheskii zhurnal – Sociological Journal*. 3. pp. 101–115. (In Russian).

24. Cammaerts, B. et al. (2016) *Youth Participation in Democratic Life Stories of Hope and Disillusion*. London: London School of Economics and Political Science. DOI: 10.1057/9781137540218

Сведения об авторах:

Шашкова Я.Ю. – доктор политических наук, профессор кафедры философии и политологии, руководитель Центра политического анализа и технологий Института гуманитарных наук, Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия). E-mail: yashashkova@mail.ru

Асеев С.Ю. – кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и политологии Института гуманитарных наук, Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия). E-mail: suass@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Shashkova Ya.Yu. – Dr. Sci. (Political Sciences), professor of the Department of Philosophy and Political Science, head of the Center for Political Analysis and Technologies of the Institute for the Humanities, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: yashashkova@mail.ru

Assev S.Yu. – Cand. Sci. (History), associate professor of the Department of Philosophy and Political Science, Institute for the Humanities, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: suass@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 03.02.2022;
одобрена после рецензирования 05.05.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 03.02.2022;
approved after reviewing 05.05.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научная статья
УДК 32.019.5
doi: 10.17223/1998863X/67/21

«НАСТЯ НЕ МИГРАНТ, НАСТЯ НАША». МИГРАНТЫ ИЗ РОССИИ В СЛОВАЦКОМ МИГРАЦИОННОМ ДИСКУРСЕ

Радослав Штефанчик¹, Терезия Шерешова²

^{1,2} Экономический университет в Братиславе, Братислава, Словакия

¹ radoslav.stefancik@euba.sk

² terezia.seresova@euba.sk

Аннотация. Международная миграция – относительно новая тема в словацком политическом дискурсе. Словацкие политики начали обсуждать миграцию только в 2015 г., в основном негативно. И это несмотря на то, что миграция может иметь также положительные последствия для принимающей страны. Одним из примеров тому могут послужить спортивные достижения эмигрантки из Российской Федерации А. Кузьминой. Нас интересует вопрос о том, как мигранты из России расцениваются в словацком миграционном дискурсе. Из-за специфических особенностей мигрантов из Российской Федерации, таких как родство языков, близость религий и культур, субъекты миграции могут быть положительно восприняты местным обществом. Социально-экономический статус мигрантов также влияет на позитивное отношение к мигрантам из России. Исследование проводилось посредством дискурс-анализа, который был завершен в октябре 2021 г.

Ключевые слова: миграция, интеграция, дискурс, Словакия, Россия

Благодарности: Данный текст написан в рамках проекта VEGA 1/0344/20.

Для цитирования: Штефанчик Р., Шерешова Т. «Настя не мигрант, Настя наша». Мигранты из России в словацком миграционном дискурсе // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 243–256. doi: 10.17223/1998863X/67/21

Original article

“NAST’A IS NOT A MIGRANT, NAST’A BELONGS TO US!”. MIGRANTS FROM RUSSIA IN SLOVAK MIGRATION DISCOURSE

Radoslav Štefánčík¹, Terézia Seresová²

^{1,2} University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovakia

¹ radoslav.stefancik@euba.sk

² terezia.seresova@euba.sk

Abstract. International migration is a relatively new topic in Slovak political discourse. Slovak politicians started discussing migration only in 2015, and in an extremely negative way. Most Slovak politicians saw the migration processes in 2015 and 2016 as a threat to domestic cultural and national identity, even though Slovakia was not a destination country for refugees from Africa and the Middle East during this period. Slovak politicians have stressed the need to defend the country against migration processes, even though the number of migrants residing in Slovakia is gradually increasing. At the same time, 2015 can be seen as the beginning of a migration discourse that involved not only politicians but also the general public. Until this period, migration was mostly discussed by academics and

scientists. In our article, we focus on a particular group of migrants as an object of migration discourse. These are migrants with origins in the Russian Federation. We choose this group to find out how a group of migrants who are not distinguished from the majority society by physiognomic features or by a different religion or culture is presented in political discourse. We are interested in answering the question of how migrants from Russia are presented in Slovak migration discourse. We believe that due to the specific characteristics of migrants from the Russian Federation, such as related language, religion, and culture, some migrant groups are perceived neutrally or positively by the domestic political elite as well as by the majority of society. In addition to the above-mentioned characteristics, the socio-economic structure of Russian migrants also influences the positive perception of migrants originating in Russia. There are several successful businessmen, scientists, academics, and sportsmen among the migrants from Russia with long-term residence in Slovakia, which has the same influence on their overall perception by the domestic society. We arrive at our findings through discourse analysis. The corpus under study consists of publicly available texts and statements published in media, in parliamentary debates, and on social media. We included in the corpus texts that were published until October 2021. We completed the research in October 2021, so our conclusions do not include any changes in migration discourse after that date. Although the perception of migrants as a threat prevails in Slovak migration discourse, we argue in this article that until October 2021 migrants from the Russian Federation were not presented as a threat in public discourse. On the contrary, using the example of biathlete Anastasiya Kuzminova's achievements, the discourse can even observe the marginalisation of her migrant background. Thus, the successes of some migrants of Russian origin may have an impact on the creation of a positive image of the entire national category of migrants. The article points out that the ability of migrants to integrate into the autochthonous society is an important factor in the attitude of the native population towards immigrants, although the topic of integration is marginalised in the Slovak migration discourse. Russian migrants are well integrated in Slovakia; there are no reports of possible problems with their integration. We consider the recognition of Russians living in Slovakia as a national minority to be important in the perception of Russian immigrants so that the domestic public can perceive Russian immigrants as an autochthonous part of society.

Keywords: migration, immigration, discourse, Slovakia, Russia

Acknowledgments: The study is supported by Project VEGA 1/0344/20.

For citation: Štefančík, R. & Seresová, T. (2022) "Nast'a is not a migrant, Nast'a belongs to us!". Migrants from Russia in Slovak migration discourse. *Vestník Tomského gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 243–256. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/21

Введение

Словакия как независимое государство и как часть Чехословакии была типичным государством эмиграции на протяжении всего XX в. Со вступлением Словакии в Европейский Союз в 2004 г. ситуация в сфере международной миграции постепенно меняется. Из первоначально эмигрантского государства Словакия превращается в страну с ежегодно растущим числом иммигрантов. Несмотря на эту тенденцию, тема долгое время оставалась вне основного политического дискурса. Серьезный поворот в миграционном дискурсе произошел только после того, как в 2015 г. большая волна беженцев направилась в европейские страны. Тема миграции в этот период остро обсуждалась словацкими политиками. За некоторыми исключениями мигранты представлялись с негативной стороны, обычно как угроза безопасности страны. С ростом значения темы миграции в политическом дискурсе мы также наблюдаем постепенную трансформацию того, как общество воспринимает концепцию мигранта. Если до 2015 г. этот термин воспринимался общественностью довольно нейтрально, то после 2015 г. он начинает приобретать негативный оттенок.

В описанной ситуации мы наблюдаем интересный феномен в словацком политическом дискурсе. В то время как мигранты из культурно различающихся стран расцениваются как угроза безопасности, жители стран, близких по культуре / близких по ментальности и культуре, обычно вообще не воспринимаются как мигранты. Эту ситуацию прекрасно иллюстрируют дискуссии в социальной сети Facebook, в которых регулярно появляется утверждение «Настя не мигрантка, Настя наша». Эти слова отражают тот факт, что мигрант – это любое лицо, решившее на определенное время или навсегда поселиться в государстве, совершенно отличном от страны его происхождения.

Хотя Российская Федерация считается скорее местом назначения для иммигрантов, эмиграция из России – не новое социальное явление. В 1990-е гг. мы стали свидетелями миграции российских евреев в Израиль, русских немцев в Федеративную Республику Германия или русских греков в Грецию [1]. В условиях экономической и политической трансформации Российская Федерация, в частности, переживала трудовую миграцию, которая сохраняется и до сих пор [2]. Среди эмигрантов большое количество людей с высшим образованием и высококвалифицированных специалистов. По мнению Г.Б. Прончева, И.В. Кузнецовой и И.В. Колодезниковой [3], уровень образования российских эмигрантов выше среднего уровня образования населения России, а также стран-получателей. Помимо упомянутых выше Германии и Греции, другие европейские страны также входят в число стран назначения эмигрантов из России. И это не всегда экономически сильные государства, наоборот, небольшие государства, менее успешные в политическом и экономическом плане, становятся для некоторых россиян странами назначения миграции.

Цель нашего исследования – выяснить, как иммигранты из Российской Федерации рассматриваются в словацком публичном дискурсе. При обсуждении России в Словацкой Республике обычно высказываются две противоположные точки зрения – положительная и отрицательная. Но это явление не является исключительным, подобные противоречивые мнения высказываются в публичных дебатах и при обсуждении других стран, например США, Германии, Венгрии, Украины или даже Чехии. Вопрос прежде всего в том, влияет ли мнение о политическом режиме России на мнение об эмигрантах из этого государства. В своем рассуждении мы исходим из тезиса, что оценка политической ситуации в России не влияет на формирование политического дискурса о русских иммигрантах. На восприятие русских мигрантов, проживающих в Словакии, влияют другие факторы. В их числе, безусловно, успешная работа, например Анастасии Кузьминой, иммигрантки из Российской Федерации, представлявшей Сборную Словакии по биатлону. В дополнение к этому общеизвестному факту мы попытаемся выявить в тексте другие факторы, которые могли повлиять на восприятие словацкой общественностью русских иммигрантов, длительно проживающих в Словакии. Мы считаем социально-экономический статус мигрантов и успешный процесс интеграции в основное общество решающими факторами, которые влияют на то, как коренное общество воспринимает мигрантов.

Методологические и теоретические предпосылки исследования

Нами сделанные выводы были достигнуты за счет анализа политического дискурса. Согласно голландскому автору ван Дейку [4], при исследовании

дискурса прослеживаются две основные категории методов исследования: качественные и количественные. К числу первых относится, например, изучение различных типов речевых актов, нарративов, форм вербальной интеракции, а также исследование конкретных лингвистических жанров, помимо прочего, политической журналистики либо парламентских дебатов. Во вторую группу ван Дейк включает методы исследования длинных, объемных текстов посредством современных корпусных инструментов, экспериментальные психологические и этнографические методы обработки материала в его социальных и культурных контекстах. С той же перспективы можно рассматривать и разграничение методов исследования миграционного дискурса. В нашем исследовании мы применяем комбинацию количественного и качественного подходов. В первую очередь, обратившись к инструментам Словацкого национального корпуса, мы нашли тексты, посвященные теме миграции из России. Словацкий национальный корпус представляет собой наиболее крупный корпус текстов в Словакии, он содержит все полученные и обработанные корпусом тексты, опубликованные либо написанные после 1955 года, т.е. 1 455 млн слов. Используя ключевые слова, мы выбрали из числа настоящих текстов те, которые связаны с нашей проблематикой, и подвергли их качественному дискурс-анализу. Также пришлось осуществить селекцию текстов, поскольку среди них оказались тексты о русских мигрантах в других государствах (зачастую попадались тексты о русских мигрантах в Израиле) и научные тексты. Помимо Словацкого национального корпуса, при поиске высказываний в адрес русских мигрантов мы воспользовались поисковой системой blbec.online, способной осуществлять поиск среди 22 млн комментариев, опубликованных в социальной сети Facebook.

По словам ван Дейка [5], существует множество способов, как анализировать миграционный дискурс посредством качественного дискурс-анализа. Некоторые исследования направлены лишь на один аспект дискурса, например на структуры и использование некоторых средств выражения. Более общая методология исследования миграционного дискурса предлагает обобщенное и систематическое рассмотрение различных уровней и структурных параметров дискурса и его применения, а также функций в социальном и политическом контексте [5. С. 231].

В исследовании использован анализ политического дискурса в форме качественного анализа опубликованных текстов. Мы не обращаем внимания на частотность употребления отдельных высказываний, связанных с миграцией, а также не заостряем внимания на лингвистическом понимании дискурса, т.е. не замечаем конкретных средств выражения, используемых в дискурсе, а скорее занимаемся содержанием политических выступлений и их использованием в конкретном социальном и культурном контексте. Нас интересует, что говорят политики и общественность о миграции русских и деятельности этой категории иммигрантов в словацком обществе. Также занимает ответ на вопрос, говорится ли в рамках настоящего дискурса о проблематике интеграции, поскольку не только мы, но и другие авторы [6, 7] считают дискуссию об интеграции иммигрантов частью миграционного дискурса.

В исследуемый корпус входят тексты, которые были опубликованы в словацких СМИ, а также высказывания общественных деятелей и отдельных личностей, размещенные в социальных сетях. Следовательно, мы принимаем

во внимание высказывания не только политиков, но и частных лиц. Мы отталкиваемся от определения ван Дейка [4], согласно которому в число участников политического процесса входят не только политики-профессионалы. Политические процессы затрагивают широкий спектр граждан. В этот процесс вовлечены не только политики, но и различные виды организаций и учреждений, и не в последнюю очередь – широкая общественность.

Одной из возможностей исследования миграционного дискурса Ван Дейк [5] называет анализ парламентских дебатов. Проблемой настоящего подхода в случае Словакии является отсутствие у политиков интереса к обсуждению в парламенте вопроса иммиграции русских граждан. И по этой причине мы включаем в анализ политические высказывания, сделанные прежде всего за пределами парламента, свое внимание также направляем на прочих акторов общественной жизни, таких как СМИ и общественность. При осуществлении анализа политического дискурса по данной проблематике воспользуемся также инструментами поиска Словацкого национального корпуса.

Миграционный дискурс – это политический дискурс не только потому, что он воспроизводится политиками или содержится в политических документах. Это политическое явление, потому что является частью понимания национальной идентичности и определения сообщества. Ван Дейк [5] подчеркивает, что миграционный дискурс касается не только миграции, но также может быть важной частью миграции как явления. Современные исследования дискурса указывают на то, что дискурс – это не только форма использования языка, но также форма социального и политического взаимодействия. Согласно Ван Дейку [4], действующими лицами политического дискурса являются не только политики, но и представители неправительственных организаций, академики и ученые. И хотя эти группы влияют на дискурс, они не заинтересованы в получении политической власти посредством своих заявлений. Миграционный дискурс включает в себя не только подходы к миграции в целом, но и к отдельным группам по различным критериям: религии, этнической принадлежности, национальности или принадлежности к определенному географическому региону (например, Аравийскому полуострову или постсоветскому региону). В нашей статье мы также выбрали этот подход для анализа миграционного дискурса в сфере миграции населения Российской Федерации в Словакию.

Эмиграция в Словакию из России

В конце 2020 г. в Словакии было зарегистрировано 150 012 иностранцев с видом на жительство, что составляет менее 2,8 процента от общей численности населения. Из этого числа 90 806 были иностранцами из стран за пределами Европейского союза. Из этих стран большинство (42 162) были родом из Украины, за ними следовали граждане Сербии (16 005), Вьетнама (6 798), России (5 658) и Китая (2 695) [8].

Хотя общая численность населения российского происхождения, долгое время проживающего в Словакии, по меркам Словакии невелика, Россия является четвертой по величине страной происхождения в категории стран за пределами Европейского союза по количеству иммигрантов. В отличие от миграции между Востоком и Западом, миграция между Чехословакией и Со-

ветским Союзом существовала еще до 1989 г. В период с 1948 по 1989 г., помимо политических условий, миграция поддерживалась и другими факторами. В основном речь шла о возможности учиться и работать в Советском Союзе, и наоборот, в Чехословакии, что впоследствии проявилось в заключении браков между русскими иммигрантами и словаками. В период 1948 и 1989 г. в Словакии проживало множество выдающихся русских. Среди их числа были ученые, известные архитекторы, художники и преподаватели.

Еще до распада Советского Союза советским солдатам пришлось покинуть Чехословакию. В этот период все более распространенными становятся браки словацких мужчин с женщинами из бывшего Советского Союза, которые были заинтересованы в том, чтобы остаться на территории бывшей Чехословакии. Однако выявить участников этих фиктивных браков по их принадлежности к государствам – правопреемникам Советского Союза сегодня чрезвычайно сложно. С.В. Рязанцев и С.Ю. Сивоплясова [9] считают миграцию русских женщин с целью экстрадиции особым «социокультурным феноменом». Несмотря на развод, эти женщины не возвращаются в страну происхождения, а пытаются найти нового мужа и таким образом остаться в стране назначения миграции. Как видно из таблицы, браки членов большинства словацкого общества с гражданами Российской Федерации продолжают и сегодня. Однако речь идет исключительно о браках словацких мужчин с русскими женщинами, а не наоборот. Согласно имеющимся данным за период с 2004 по 2018 г. Россия была пятой страной после Чехии, Украины, Польши и Венгрии с наибольшим количеством женщин, состоящих в браке со словацкими мужчинами. Что касается браков между словацкими женщинами и русскими мужчинами, Россия не входит в группу первых 35 стран эмиграции словацких женщин, несмотря на то, что они имеют больше шансов найти партнера за границей, чем словацкие мужчины. Нельзя исключать существование браков между русскими мужчинами и словацкими женщинами, но вполне вероятно, что большинство из них заключаются на территории Российской Федерации.

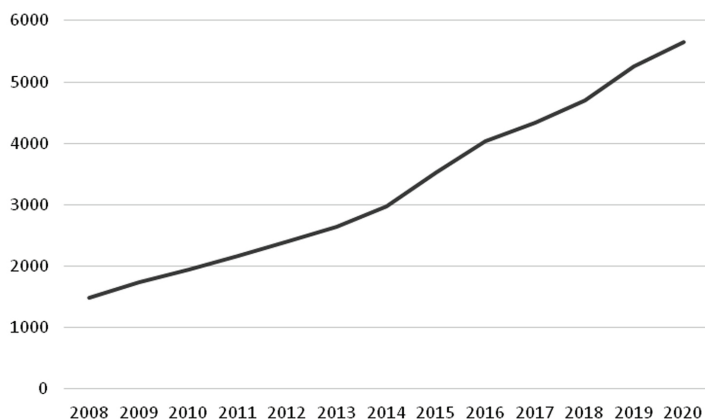
Количество браков между словацкими мужчинами и российскими женщинами на территории Словацкой Республики с 2007 по 2018 г.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
29	21	31	39	42	43	39	43	50	54	55	61

Источник [10].

Как видно из рисунка, в последние годы в Словакии мы наблюдаем постепенный рост количества мигрантов из Российской Федерации. В 2020 г. рост количества российских мигрантов был более медленным по сравнению с прошлым годом, не исключено, что основной причиной тому стала пандемия COVID-19. Однако если мы посмотрим на предыдущие годы, то увидим, что в 2020 г. прирост мигрантов из России составил 401 человек, что в среднем больше, чем в предыдущие годы (с 2008 г. прирост мигрантов в среднем составлял 345 человек в год). Мигранты из России приезжают в Словакию индивидуально, а предпринимательская деятельность и семейная жизнь являются двумя главными мотивами их приезда. Для этой группы мигрантов свойственно преобладающее число женщин, составляющих 55,4% от общего количества русских, живущих в Словакии. По сравнению с другими группами мигрантов в русском сообществе преобладают лица в возрасте с 34 до

49 лет, лица с уже окончанным образованием и определенной профессиональной квалификацией [11].



Количество российских мигрантов в Словацкой Республике. Источник [8]

Легально прибывающих мигрантов из России можно разделить на четыре основные группы: мигранты с бизнес-намерениями, трудовые мигранты, студенты и мигранты с целью воссоединения семей. Однако точная категоризация этих групп затруднена из-за отсутствия соответствующей статистики. Согласно подсчетам Центрального управления труда, социальных дел и семьи, из 401 мигранта, прибывшего в Словакию из Российской Федерации в 2020 г., 250 человек получили вид на пребывание для работы. Рост числа российских мигрантов, проживающих в Словакии, также связан с постепенным переходом временной миграции в долгосрочную. В основном к этой группе мигрантов относятся студенты, которые ищут возможность для трудоустройства в Словакии после учебы. А.А. Байков и др. [12] отмечают, что молодые россияне, которые после школы решили продолжить свое обучение в университетах других стран, впоследствии ищут другие способы остаться за границей на более длительный период или навсегда.

Изменения в словацком миграционном дискурсе. Изучение политического дискурса, как и других областей дискурсивного анализа, охватывает широкий круг различных тем и использует широкий спектр аналитических методов. Согласно Уилсону [13. С. 410], одна из основных целей анализа политического дискурса – выявить способы манипулирования языком для достижения определенной задачи.

Словацкие политики стали говорить о миграции начиная лишь с 2015 г., находясь под влиянием миграционных процессов того времени. До 2015 г. в Словакии практически не существовало политического миграционного дискурса. Изначально о миграции говорилось прежде всего в кругу ученых и академиков, но не среди общественных масс. Политические программы содержали малейшие упоминания о миграции, а если политики и обращались к этой теме, то, как правило, не получали заметной реакции общественности.

С тех пор как в 2015 г. словацкие политики открыли тему международной миграции, они представляют ее как некую угрозу. Вопросам безопасности посвящены многие критические исследования, стремящиеся углубить и расширить классический государственно-центристский подход и демонстри-

рующие другие аспекты безопасности. Чрезвычайно активными в этом направлении являются представители Копенгагенской школы – Барри Бьюзен, Оле Вэвер и Яап де Вильд [14]. Представители Копенгагенской школы делают переоценку многих аспектов привычного понимания концепта безопасности, интерпретируя и анализируя ее как речевой акт [15]. По словам автора, безопасность ведет себя не как знак, отправляемый референту, а как некое действие, выполняемое за счет высказывания. Следовательно, конкретное высказывание одновременно является и действием. Государство в вопросе безопасности не играет роли пассивного наблюдателя. Напротив, перемещает развитие в более конкретную область, тем самым получая право пользования любыми средствами для его элиминации [16]. Вдохновившись идеями представителей Копенгагенской школы, А. Джерард [16. С. 39; 17] определяет секьюритизацию как «дискурсивные процессы, порождающие угрозу существования, которая впоследствии требует ответа по безопасности». В том же свете с 2015 г. представляют миграцию и словацкие политики. Из их уст звучат требования элиминировать либо полностью остановить миграцию, лучше позаботиться о защите границ, усилить полномочия полиции, ввести более строгую политику в отношении беженцев и автоматическую депортацию мигрантов, которые нарушат закон в принимающем их государстве. В политических высказываниях доминирует мысль о том, что мигранты – это только те лица, которые приезжают в Словакию из различных стран с заметными различиями культурного и религиозного характера, в связи с чем их культура несовместима со словацкой культурой.

Мигранты из России в словацком миграционном дискурсе

По мнению С.В. Рязанцева [17], русские, проживающие за рубежом, представляют собой очень разнообразную этническую, религиозную, социальную и политическую группу населения [17, 18]. Во многих странах назначения мигранты хорошо интегрировались в общество коренных народов, при этом наиболее успешно прошел процесс интеграции мигрантов первого поколения. Близость культур и языков (русский язык как лингва франка в Восточной Европе до 1989 г.) способствовала интеграции русских иммигрантов в словацкое общество без каких-либо сопутствующих проблем, наблюдаемых среди мигрантов других национальностей, этнических групп, культур или религиозных общин. Хотя, по мнению Рязанцева [17], русские эмигранты пытаются отказаться от некоторых проявлений национальной идентичности, культурная деятельность русских эмигрантов в Словакии свидетельствует об их чрезвычайно активной культурной жизни. В Словакии есть несколько русских ассоциаций, общественных объединений и культурных центров. Однако в прошлом русские иммигранты были более активными. Постепенный спад в области различных русских культурных сообществ русский иммигрант и бывший сотрудник Словацкой академии наук Александр Чумаков объясняет отсутствием интереса «новых» русских к группированию в рамках культурных сообществ. По его словам, есть разница между русскими иммигрантами, приехавшими в Словакию еще до Второй мировой войны преимущественно по политическим причинам, и так называемыми новыми русскими, приезжающими в Словакию после 1989 г. исключительно по экономическим причинам.

«Довоенные эмигранты стремились держаться вместе, чтобы не забыть язык и культуру. У „новых“ русских такой мотивации нет, что и понятно. Когда они затоскуют по родине, то просто купят авиабилет и спустя пару часов окажутся в России»¹.

Согласно Ван Дейку [5], одной из важных характеристик, описываемых в семантике дискурса, является способ словесного охватывания объекта дискурса. Если мы говорим конкретно о миграционном дискурсе, мы выделяем в нем несколько общих терминов, которые относятся к субъектам миграционных потоков, а именно к «мигрантам», «иммигрантам», «чужестранцам», «беженцам» или «иностранцам» в целом. В дополнение к этим общим именам мы также можем найти более конкретные имена в дискурсе миграции, либо в зависимости от религиозной принадлежности – «мусульмане», либо в зависимости от национальности – «сирийцы». В случае с мигрантами из Российской Федерации С.В. Рязанцев [17] называет несколько терминов, используемых в странах назначения миграции: «Русские», «эмигранты из России», «жители с русскими корнями», «рожденные в России», «эмигранты из России». Мы, безусловно, согласны с мнением, что термин «русская диаспора» не подходит для описания русских мигрантов в мире, включая Словакию. В Словакии для обозначения этой группы иностранцев использовались стандартные термины: «мигранты из России», «русские мигранты», а в настоящее время – «русское меньшинство в Словакии». Однако мы имеем в виду термины, относящиеся к миграционным корням, которые употребляются в основном в академической сфере. Такие термины, как «мигрант» или «миграция», приобрели негативный оттенок в публичном дискурсе Словакии после 2015 г. В сегодняшних публичных дебатах термин «мигрант» часто понимается как выходец из разных – в культурном или религиозном отношении – государств или служит выражением для обозначения людей с другим цветом кожи. Поскольку эти характеристики не подходят для мигрантов из Российской Федерации, в литературе используется термин «русское меньшинство». В 2005 г. русские получили признание в Словакии как национальное меньшинство [19].

На нейтральное или позитивное восприятие мигрантов из России местным населением Словакии влияет несколько факторов. Первый – это культурное, религиозное и языковое родство словацкого и русского народов. Русские принадлежат к категории мигрантов, терпимых в Словакии как политической элитой, так и общественностью (*«Русские в Словакии – не иностранцы, они наши»²*). Дискурс Словакии отражает потребности в контролируемой миграции, одновременно поддерживая миграцию представителей культурно и религиозно связанных народов, т.е. славян и христиан. Сторонниками этой идеи были политические деятели разного политического или идеологического статуса. Примером может послужить заявление бывшего министра внутренних дел Даниэля Липшица, который поддержал идею управляемой миграции из стран, связанных с культурой Словакии:

¹ Jancura V. *Aké to je byt' Rusom na Slovensku*. Pravda, 6.10.2012. URL: <https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/250755-ake-to-je-byt-rusom-na-slovensku> (дата обращения: 24.09.2021).

² Televizia Prievizda. *Ruská komunita na Slovensku*. Televizia Prievizda, 12.11.2012. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yNw90SuYLDw> (дата обращения: 30.10.2021).

«В Словакии также наблюдается демографический кризис, поэтому было бы разумно рассмотреть вопрос о легальной миграции образованных людей из близких по культуре стран»¹.

Второй фактор напрямую связан с первым. Это способность мигрантов из России интегрироваться в коренное общество без проблем (как, например, при иммиграции членов некоторых культурных или религиозных сообществ). Благодаря взаимосвязи культур, религии и языка русские мигранты могут легко адаптироваться к словацким традициям. Умение общаться и знание языка считается одним из важнейших критериев успешной интеграции [20]. Конечно, интеграция не означает ассимиляцию, и российские мигранты не утрачивают свою культуру. Приверженность к русским традициям, скорее, обогащает словацкие традиции, но не воспринимается как препятствие для успешной интеграции. Именно культурная близость является решающим критерием принятия этой категории мигрантов политиками, которые крайне негативно относятся к проблеме миграции.

Несмотря на то что языковая и культурная близость положительно воздействует на восприятие данной группы мигрантов словацкой общественностью, словацкие ученые [11] отмечают, что в настоящем случае интеграция может превратиться в ассимиляцию. Для иммигрантов из государств Восточной и Юго-Восточной Европы, в первую очередь из Украины и России, характерно стремление остаться незамеченными. Мигранты из этих государств пользуются близостью своих физических черт и быстрым освоением языка автохтонного населения, чтобы смешаться с обществом и стать «невидимыми». Веской причиной такой стратегии является недоверие к формальным институтам и стремление избежать связи с государственными учреждениями. Авторы утверждают, что в особенности у мигрантов из России была замечена склонность к негации собственной культурной идентичности и стремление адаптироваться к культуре или социальным обычаям мажоритарного общества. Организации, объединяющие мигрантов, занимаются больше культурными мероприятиями, нежели решением социальных проблем.

Третьим фактором нейтрального или положительного восприятия русских мигрантов является статус и реноме некоторых личностей русского происхождения. Многие российские мигранты происходят из экономической, интеллектуальной и спортивной элиты. В дискурсах о миграции часто упоминается, что мигранты воспринимаются местным населением как экономическая угроза. Действительно, коренные жители могут воспринимать мигрантов как конкурентов на рынке труда или как людей, рассчитывающих на социальную помощь. Иностранные рабочие как источник дешевой рабочей силы могут повлиять как на рост внутренней безработицы, так и на снижение средней заработной платы в тех экономических областях, где высокая занятость иностранных рабочих. Этот аргумент приводится и в миграционном дискурсе, когда обсуждаются, например, украинские мигранты или иностранные рабочие из Сербии, Болгарии или Румынии. В дискурсах об эмигрантах из России этот аргумент отсутствует. Многие российские мигранты имеют хорошее экономическое положение. Некоторые русские эмигранты

¹ Lipšic D. Smrt' imigrantom môžu želať len duševní maloroľníci. Denník N, 8.9.2015. URL: <https://dennikn.sk/235306/smrt-imigrantom-mozu-zelat-len-dusevni-malorolnici-7-poznamok-k-utecencom/> (дата обращения: 24.09.2021).

открывают собственные компании, создавая рабочие места и для местного населения. Российских предпринимателей привлекает в Словакии не только дешевая недвижимость, но и ограничительная политика в отношении беженцев и, что не менее важно, возможность общаться на своем родном языке.

«Русским общаться в Словакии лучше, чем в Венгрии или Австрии. Еще одно преимущество Словакии – это отношение к беженцам. Премьер-министр Роберт Фицо решительно отвергает беженцев, вы не принимаете их, и мы не можем сказать этого об Австрии. Там их очень много. Экономика Словакии продолжает преуспевать, недвижимость и услуги дешевле, чем в Москве или Санкт-Петербурге»¹.

Миграционные потоки из России включают также миграцию интеллигенции – университетскую элиту. Этот вид миграции из Российской Федерации имеет многолетнюю традицию в Словакии. Например, одним из основоположников современной словацкой социологии была уроженка Москвы Далибар Алиева. В течение многих лет она работала в редакционной коллегии словацкого научного журнала «Социология», была первооткрывателем в исследованиях повседневной жизни как объекта социологического исследования, ее структур и процессов, которые повлияли на развитие словацкой социологии.

Словацкие ученые [21] представили результаты исследования миграционных процессов и их интеграции на словацкий рынок труда. Оно показало, что до 70% русских мигрантов, проживающих в Словакии, были выпускниками университетов, менее четверти – имели аттестат о среднем образовании. Согласно этому исследованию самой веской причиной выбора Словакии в качестве страны назначения были прямые или опосредованные возможности трудоустройства. Многие мигранты из России остались работать в Словакии после окончания учебы в местных университетах. Ищут работу в Словакии и русские женщины-мигранты, которые приехали в первую очередь для воссоединения или создания семьи.

Считаем необходимым отметить исключительно успешную карьеру словацкой биатлонистки российского происхождения Анастасии Кузьминой. Представитель сборной Словакии по биатлону, она завоевала первую для Словакии золотую медаль на зимних Олимпийских играх. Именно на этом примере мы можем наблюдать, что словаки могут иметь диаметрально противоположное мнение о разных представителях международной миграции. В то время как миграционные потоки, сформированные анонимной массой беженцев, негативно воспринимаются жителями Словакии, часто как угроза для словацкого общества, миграционное происхождение успешных личностей словаки игнорируют.

«Давай, ты наша! Спасибо! Спасибо! Настя, ты лучшая!»².

«Наша Настя – удивительная женщина»³.

¹ Kazankov O. *Rusi chcú na Slovensku kupovať nehnuteľnosti, no bráni im v tom legislatíva*. Trend, 5.8.2016. URL: <https://www.trend.sk/spravy/rusi-chcu-slovensku-kupovat-nehnutelnosti-brani-im-tom-legislativa> (дата обращения: 24.09.2021).

² Rimaj Š. *Nasťa, si naša!* Pravda, 1.3.2018. URL: <https://sport.pravda.sk/zimne-sporty/clanok/460590-zlata-nasta-postavila-bansku-bystricu-do-pozoru/> (дата обращения 30.10.2021).

³ Danko A. *Naša Nasťa je úžasná žena*. URL: <https://www.facebook.com/stranasns/posts/2341392295892844/> (дата обращения 20.01.2021).

Заключение

На основании проведенных исследований можно сказать, что миграционный дискурс как часть словацкого политического дискурса существует только с 2015 г., т.е. с периода массовых миграционных потоков населения некоторых африканских государств и ближневосточного региона. Вопрос безопасности доминирует в словацком миграционном дискурсе. Политики называют мигрантов угрозой безопасности – угрозой для внутренней безопасности, экономики, культуры и политики. В своей статье мы обратили основное внимание на анализ миграционного дискурса в связи с миграцией населения из Российской Федерации. Проанализировав отобранные тексты, мы пришли к выводу, что мигранты из России как участники миграционных процессов 2015 и 2016 гг. по-разному воспринимаются словацким обществом.

Мигранты из России не представляют ни одну из четырех названных угроз словацкому обществу. Сегодня угроза безопасности в основном приписывается религиозным фанатикам, мигранты считаются потенциальными террористами в этом случае. С точки зрения экономической безопасности мигранты рассматриваются как конкуренты на рынке труда и бремя для системы социальной защиты.

Третья угроза носит культурный характер. В этом случае мигранты представлены как представители другой религии, обычно мусульманской, чьи традиции несовместимы с христианскими. Наконец, миграция как угроза носит также политический характер, когда национальное государство – член Европейского союза вынуждено принять миграционное законодательство, несмотря на категорическое несогласие с ним. В этом случае мигранты преподносятся как причина потери национального суверенитета.

Основываясь на этих четырех измерениях угрозы, сделаем вывод, что в случае с мигрантами из России ни одна из представленных угроз от них не исходит, т.е. российские мигранты не представляют экономическую, культурную, политическую угрозу или угрозу безопасности. Напротив, социально-экономическая структура поддерживает терпимость к этому типу миграции среди/со стороны членов внутреннего общества. Русские мигранты, приезжающие в Словакию, имеют схожие со словаками культурную принадлежность и религиозное мировосприятие, близкий язык, хорошее экономическое состояние и в основном качественное образование и профессиональный опыт. Признание русских, проживающих в Словакии, национальным меньшинством также было важным: общественность стала воспринимать русских иммигрантов как коренную часть населения. И последнее, но не менее важное: на отношении к российским переселенцам, возможно, положительно сказалось и то, что по сравнению с другими группами (например, из Укрины) это группа мигрантов немногочисленная.

Список источников

1. Aleshkovski I., Grebenyuk A., Vorobyeva O. The Evolution of Russian Emigration in the Post-Soviet Period // *Social Evolution & History*. 2018. Vol. 17, № 2. P. 140–155.
2. Iontsev V.A., Ryazantsev S.V., Iontseva S.I. Emigration from Russia: new trends and forms // *R-Economy*. 2016. Vol. 2, № 2. P. 216–224.
3. Pronchev G.B., Kuznetsova I.V., Kolodeznikova I.V. Intellectual Emigration from Modern Russia // *Ad Alta – Journal of Interdisciplinary Research*. 2019. Vol. 9, № 1. P. 13–16.

4. van Dijk T.A. What is political discourse analysis // *Belgian Journal of Linguistics*. 1997. Vol. 11, № 1. P. 11–52.
5. van Dijk T.A. Discourse and Migration // *Qualitative Research in European Migration Studies* / ed. by R. Zapata-Barrero, E. Yalaz. Cham : Springer, 2018. P. 227–245.
6. Goodman S.W. Integration Requirements for Integration's Sake? Identifying, Categorising and Comparing Civic Integration Policies // *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 2010. Vol. 36, № 5. P. 753–772.
7. Millar J. An interdiscursive analysis of language and immigrant integration policy discourse in Canada // *Critical Discourse Studies*. 2013. Vol. 10, № 1. P. 18–31.
8. ÚHCP. Azyl a migrácia. URL: <https://www.minv.sk/?statistiky-20> (accessed: 24.01.2021).
9. Рязанцев С.В., Сиволясова С.Ю. «Русские жены» на международном брачном рынке // Социологические исследования. 2020. № 2. С. 84–95.
10. Podmanická Z. et al. Štatistika v súvislostiach. Hlavné trendy vývoja sobášnosti v SR v roku 2018. Bratislava : ŠÚ SR, 2019.
11. Blažek M., Andrášová S., Paulenová N. Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím. Bratislava : IOM, 2013.
12. Байков А.А., Лукьянец А.С., Письменная Е.Е., Ростовская Т.К., Рязанцев С.В. Эмиграция молодежи из России: Масштабы, каналы, последствия // Социологические исследования. 2018. № 11. С. 75–84.
13. Wilson J. Political Discourse // *The Handbook of Discourse Analysis* / ed. By D. Schiffrin, D. Tannen, H.E. Hamilton. Malden and Oxford Blackwell, 2001. P. 398–415.
14. Buzan B. et al. Security: a new framework for analysis. London : Lynne Rienner Publishers, 1998.
15. Wæver O. Securitization and Desecuritization / ed. by B. Buzan, L. Hansen // *International 27 Security*. Vol. 3. Widening Security. Los Angeles et al.: SAG, 2007. P. 66–98.
16. Gerard A. The Securitization of Migration and Refugee Women. London ; New York : Routledge, 2014.
17. Рязанцев С.В. Эмиграция из России: к вопросу о понятийном аппарате // Социологические исследования. 2018. № 8. С. 48–53.
18. Рязанцев С.В., Письменная Е.Е., Лукьянец А.С., Сиволясова С.Ю., Храмова М.Н. Современная эмиграция из России и формирование русскоговорящих сообществ за рубежом // Мировая экономика и международные отношения. 2018. № 6. С. 93–107.
19. Gallová Kriglerová E., Kadlečíková J., Lajčáková J. Migranti. Nové pohľady na staré problémy. Bratislava : CVEK, 2009.
20. Lou N.M., Noels K.A. Mindsets about language learning and support for immigrants' integration // *International Journal of Intercultural Relations*. 2020. № 79. P. 46–57.
21. Filadelfiová J., Gyárfášová O., Sekulová M., Hlinčíková M. Migranti na slovenskom trhu práce: problémy a perspektívy. Bratislava : IVO, 2011.

References

1. Aleshkovski, I., Grebenyuk, A. & Vorobyeva, O. (2018) The Evolution of Russian Emigration in the Post-Soviet Period. *Social Evolution & History*. 17(2). pp. 140–155. DOI: 10.30884/seh/2018.02.09
2. Iontsev, V.A., Ryazantsev, S.V. & Iontseva, S.I. (2016) Emigration from Russia: new trends and forms. *R-Economy*. 2(2). pp. 216–224. DOI: 10.17059/2016-2-15
3. Pronchev, G.B., Kuznetsova, I.V. & Kolodeznikova, I.V. (2019) Intellectual Emigration from Modern Russia. *Ad Alta – Journal of Interdisciplinary Research*. 9(1). pp. 13–16.
4. van Dijk, T.A. (1997) What is political discourse analysis. *Belgian Journal of Linguistics*. 11(1). pp. 11–52. DOI: 10.1075/bjl.11.03.dij
5. van Dijk, T.A. (2018) Discourse and Migration. In: Zapata-Barrero, R. & Yalaz, E. (eds) *Qualitative Research in European Migration Studies*. Cham: Springer, pp. 227–245.
6. Goodman, S.W. (2010) Integration Requirements for Integration's Sake? Identifying, Categorising and Comparing Civic Integration Policies. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 36(5). pp. 753–772. DOI: 10.1080/13691831003764300
7. Millar, J. (2013) An interdiscursive analysis of language and immigrant integration policy discourse in Canada. *Critical Discourse Studies*. 10(1). pp. 18–31. DOI: 10.1080/17405904.2012.736696
8. ÚHCP. (n.d.) *Asylum and Migration*. [Online] Available from: <https://www.minv.sk/?statistiky-20> (Accessed: 24th January 2021).

9. Ryazantsev, S.V. & Sivoplyasova, S.Y. (2020) 'Russian Wives': At the International Marriage Market. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 2. pp. 84–95. (In Russian). DOI: 10.31857/S013216250008496-8
10. Podmanická, Z. et al. (2019) *Štatistika v súvislostiach. Hlavné trendy vývoja sobášnosti v SR v roku 2018*. Bratislava: ŠÚ SR.
11. Blažek, M., Andrášová, S. & Paulenová, N. (2013) *Skúsenosti migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím*. Bratislava: IOM.
12. Baykov, A.A., Lukyanets, A.S., Pismennaya, E.E., Rostovskaya, T.K. & Ryazantsev, S.V. (2018) Youth Emigration from Russia: Scale, Channels, Consequences. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 11. pp. 75–84. (In Russian). DOI: 10.31857/S013216250002787-8
13. Wilson, J. (2001) Political Discourse. In: Schiffrin, D., Tannen, D. & Hamilton, H.E. (eds) *The Handbook of Discourse Analysis*. Malden and Oxford Blackwell. pp. 398–415.
14. Buzan, B. et al. (1998) *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
15. Wæver, O. (2007) Securitization and Desecuritization. In: Buzan, B. & Hansen, L. (eds) *International 27 Security*. Vol. 3. Los Angeles et al.: SAG. pp. 66–98.
16. Gerard, A. (2014) *The Securization of Migration and Refugee Women*. London, New York: Routledge.
17. Ryazantsev, S.V. (2018) Emigration from Russia: About Conceptual Categories. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 8. pp. 48–53. (In Russian). DOI: 10.31857/S013216250000761-0
18. Riazantsev, S.V., Pismennaya, E.E., Lukyanets, A.S., Sivoplyasova, S.Y. & Khramova, M.N. (2018) Modern emigration from Russia and formation of Russian-speaking communities abroad. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya – World Economy and International Relations*. 6. pp. 93–107. (In Russian).
19. Gallová Kriglerová, E., Kadlečíková, J. & Lajčáková, J. (2009) *Migranti. Nové pohľady na staré problémy*. Bratislava: CVEK.
20. Lou, N.M. & Noels, K.A. (2020) Mindsets about language learning and support for immigrants' integration. *International Journal of Intercultural Relations*. 79. pp. 46–57. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2020.08.003
21. Filadelfiová, J., Gyárfášová, O., Sekulová, M. & Hlinčíková, M. (2011) *Migranti na slovenskom trhu práce: problémy a perspektívy*. Bratislava: IVO.

Сведения об авторах:

Штефанчик Р. – доктор политических наук, доцент, декан факультета прикладных языков, Экономический университет в Братиславе (Братислава, Словакия). E-mail: radoslav.stefancik@euba.sk

Шерешова Т. – аспирант, факультет международных отношений, Экономический университет в Братиславе (Братислава, Словакия). E-mail: terezia.seresova@euba.sk

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Štefančík R. – Dr. Sci. (Political Science), associate professor, dean of the Faculty of Applied Languages, University of Economics in Bratislava (Bratislava, Slovak Republic). E-mail: radoslav.stefancik@euba.sk

Seresová T. – post-graduate student, Faculty of International Relations, University of Economics in Bratislava (Bratislava, Slovak Republic). E-mail: terezia.seresova@euba.sk

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 20.02.2022;

одобрена после рецензирования 05.05.2022; принята к публикации 11.07.2022

The article was submitted 20.02.2022;

approved after reviewing 05.05.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научная статья

УДК 327: 711.424.3

doi: 10.17223/1998863X/67/22

ГОРОД В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ПАНДЕМИИ COVID КОВИД-19 (2020 – НАЧАЛО 2022 г.)

Елена Владимировна Хахалкина

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,
ekhakhalkina@mail.ru*

Аннотация. Ставится цель выявить влияние климатических изменений на города в условиях пандемии КОВИД-19. Показано, что экологическое состояние в мире, улучшенное на первоначальном этапе пандемии, стало возвращаться к прежним уровням загрязненности окружающей среды по мере ослабления ограничительных мер. Однако для городов еще сохраняется временной лаг для преобразования своего планирования и инфраструктуры таким образом, чтобы усилить качество жизни населения и его безопасность.

Ключевые слова: город, изменения климата, пандемия, умные технологии

Для цитирования: Хахалкина Е.В. Город в контексте изменения климата и пандемии КОВИД-19 (2020 – начало 2022 г.) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 257–268. doi: 10.17223/1998863X/67/22

Original article

THE CITY IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE AND THE COVID-19 PANDEMIC (2020 – EARLY 2022)

Elena V. Khakhalkina

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, ekhakhalkina@mail.ru

Abstract. The article aims to identify the impact of climate change on cities in a pandemic. It is shown that the improvement of the ecological state in the world as a whole at the initial stage of the pandemic began to change to the previous levels of environmental pollution as restrictive measures were weakened. Predictably, the impact of COVID-19 has been most devastating in poor and densely populated urban areas, especially for the one billion people living in self-contained settlements and slums around the world. Overcrowding in such places has made it difficult to comply with measures recommended by the World Health Organization such as social distancing and self-isolation. The article raises questions about the reversibility of the transformations that occurred during the pandemic in the daily life of urban residents and the role that cities will play in the future. Particular attention is paid to the initiatives of the European Union to include cities in the implementation of the Green Deal, taking into account its actualization under the influence of the pandemic. Conclusions are drawn that the role of cities in the implementation of environmental objectives and reformatting urban space and infrastructure in the interests of nature and man is increasing. The pandemic has accelerated the process of transition to new environmental standards in the context of increasing the sustainability of cities and the flexibility of their adaptation mechanisms in case of crisis situations. The experience of the European Union in this case can serve as a good example for other regions, countries and cities. The impact of climate issues on the existing and projected infrastructure of cities in the context of the tasks of increasing their sustainability and further application of “smart” technologies to ensure the

safety and comfort of human life in the city has increased. The author concludes that for cities that have taken the brunt of the COVID-19 virus, there is still a time lag for transforming their planning and infrastructure in such a way as to enhance the quality of life of the population, its security and saturation of the “desired image of the city” with new elements based on digitalization tools. It is precisely this behavior of cities that is being pushed by the demand of the population – according to surveys of various regional and global agencies, during the pandemic, the proportion of respondents who consider climate change as one of the acute problems of our time has increased.

Keywords: city, climate change; pandemic; smart technologies

For citation: Khakhalkina, E.V. (2022) The city in the context of climate change and the COVID-19 pandemic (2020 – early 2022). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 257–268. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/22

Города в условиях пандемии стали главными акторами социального, экономического и политического регулирования жизни проживающих в них людей. Именно в городах¹ стали отмечаться новые явления жизни, в том числе связанные с климатическими изменениями. Например, в крупных городах Европы и Китая после приостановки работы фабрик и заводов воздух стал чище, эмиссии парниковых газов уменьшились на 70%. Жители Индии впервые смогли увидеть верхушку Гималаев; в Нью-Дели небо посинело, видимость улучшилась, и Ганг, самая длинная река Индии, стала пригодной для купания [1]. Качество воздуха в период карантина улучшилось за счет снижения концентрации мелких частиц. В отличие от уровня накопления углекислого газа мелкие частицы быстрее исчезают при остановке производств и транспорта, но и быстрее возвращаются после восстановления привычного ритма жизни [2].

Доклады ООН по изменению климата, несмотря на первоначальный оптимизм от климатических проявлений пандемии, показывают, что в глобальном измерении по итогам 2020 г. выбросы сократились незначительно. Согласно объединенному докладу ключевых международных организаций, общее снижение выбросов за 2020 г. составило от 4 до 7% [3]. Но по мере ослабления карантинных мер в отдельных регионах и городах количество выбросов практически сразу же восстанавливалось до прежних уровней [4].

Положительные и негативные изменения климата наиболее заметны в городской местности. Города и мегаполисы, являясь локомотивами экономического роста (на их долю приходится около 60% мирового ВВП), дают 70% глобальных выбросов углерода [5]. Быстрые темпы урбанизации приводят к росту численности обитателей трущоб, перегруженной инфраструктуре (например, системы сбора отходов, водоснабжения и канализации, дорог и транспорта), сильному загрязнению воздуха и незапланированному разрастанию городов.

Между КОВИД-19 и окружающей средой существует двусторонняя связь. С одной стороны, это влияние географических условий на пандемию,

¹ Согласно одному из определений, город – это непрерывная географическая область с населением не менее 50 тыс. жителей при средней плотности населения 1 500 человек на квадратный километр, по состоянию на 2015 г. около 48% человечества проживало в городах (примерно соответствует определению «столичный статистический район», используемому в переписи населения США). <https://nextcity.org/daily/entry/there-are-10000-cities-on-planet-earth-half-didnt-exist-40-years-ago>

ее возникновение и распространение. Исследования показали, что температура и относительная влажность воздуха являются движущими факторами передачи вируса, но их значения и значимость менялись в зависимости от сезона и географического положения территории [6]. Утрата биоразнообразия и изменение климата повышают вероятность пандемий. Например, вырубка лесов приближает диких животных к человеческим популяциям, увеличивая вероятность того, что зоонозные вирусы, такие как SARS-CoV-2, совершат межвидовой скачок. Межправительственная группа экспертов по изменению климата предупреждает, что глобальное потепление, вероятно, ускорит появление новых вирусов [7].

Воздействие КОВИД-19 оказалось наиболее губительным в бедных и густонаселенных городских районах, особенно для одного миллиарда человек, живущих в самостийных поселениях и трущобах по всему миру. Перенаселенность в этих местах затруднила соблюдение таких рекомендуемых ВОЗ мер, как социальное дистанцирование и самоизоляция. Продовольственное агентство ООН, ФАО и другие вынесли предупреждения, что голод и смертность могут значительно возрасти в городских районах без обеспечения доступа бедных и уязвимых жителей к продовольствию [5].

Международная исследовательская компания YouGov в мае 2020 г. провела опрос 7 545 взрослых людей разного возраста, дохода и пола, проживающих в самых крупных городах (21 город) шести стран Европы. Подавляющее большинство опрошенных выразили заинтересованность в том, чтобы мэры их городов и органы местного самоуправления принимали эффективные меры по борьбе с загрязнением воздуха в результате дорожного движения. Три четверти (74%) респондентов выступили за защиту от загрязнения воздуха, даже если это означает перераспределение общественных мест; 68% – за защиту от загрязнения воздуха, даже если это означает предотвращение въезда автомобилей в центр города; каждый пятый (21%) планирует больше ездить на велосипеде; каждый третий (35%) – больше гулять после изоляции; среди людей, которые пользовались общественным транспортом до локдаунов, 54% планируют использовать транспорт, если будут приняты достаточные меры гигиены, 27% вернутся независимо от риска заражения [8].

Масштабной экологической проблемой оборачиваются такие «отходы» пандемии, как использованные средства гигиенической защиты – маски, латексные перчатки, пластиковые флаконы из-под дезинфицирующих средств и др. В годы, предшествовавшие пандемии, экологи предупреждали об угрозе, которую представляет для океанов и морской жизни стремительный рост пластикового загрязнения. Согласно оценке ООН по окружающей среде, ежегодно в океаны попадает до 13 млн т пластика. Только в Средиземное море ежегодно попадает 570 тыс. т пластика. Маски, содержащие полипропилен и со сроком службы в 450 лет, являются экологической бомбой замедленного действия [9]. В 2020 г. было произведено 52 млрд масок; согласно отчету Oceans Asia, по крайней мере 3% из них будут смыты в море [10]. Помимо вредного воздействия микропластика и нанопластика, эластичные ушные петли создают «возможный риск запутывания для диких животных», – говорится в отчете [11].

В экспертной среде справедливо обращается внимание на то, что пандемия открывает окно возможностей для качественного пересмотра существующих

подходов к изменению климата. Заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Е. Манаенкова отмечает, что «у нас появился реальный шанс, чтобы это восстановление (после пандемии. – Е.Х.) учитывало меры по защите климата и уже закладывало на более долгую перспективу такие решения, которые могли бы нас привести к нужному сценарию» [1].

Взаимосвязь устойчивости городов и климатической повестки

Пандемию КОВИД-19 некоторые авторы изящно назвали «масштабным социальным экспериментом в трансформации системы здравоохранения и улучшения городского планирования» [6]. Пандемия действительно изменила привычный образ жизни миллионов людей за счет более широкого использования цифровых устройств и увеличения количества работы из дома. Это изменило городской ландшафт и оказало долгосрочное влияние на транспорт и повседневные поездки. Точно так же изменился спрос на жилье и офисное использование, что в каких-то случаях улучшило качество воздуха и снизило уровень шума из-за меньшего трафика [6].

Опрос аналитического центра государственной политики «Американский институт предпринимательства» (AEI – American Enterprise Institute), проведенный в мае-июне 2020 г., показал, что городские жители США в условиях пандемии почувствовали себя хуже жителей сельской местности и были готовы переехать в другое место. Например, в опросе содержался вопрос о психическом здоровье и чувстве одиночества. В городах 42% городских жителей чувствовали себя одинокими несколько раз в неделю или чаще, по сравнению с 32% жителей пригородов и 33% в сельской местности. На вопрос о чувстве депрессии в связи с пандемией 41% жителей городов ответили, что испытывают депрессию несколько раз в неделю или чаще против 34% жителей пригородных районов и 30% жителей сельской местности [12].

Согласно этому опросу люди стали в целом менее общительны. До КОВИД-19 в 2018 г. 56% жителей городов утверждали, что знали своих соседей достаточно или очень хорошо; в 2020 г. этот показатель упал до 47%, и, напротив, увеличился для жителей пригородов с 48 до 52%. Наконец, данные опроса показывают, что интерес к жизни в городах резко упал с момента распространения Ковид-19. В 2018 г. Институт Гэллапа в одном из опросов задал вопрос американцам, что бы они выбрали, если бы могли жить где угодно. 29% опрошенных указали города, 31% – пригороды, а еще 27% – сельские районы. Всего за два года эти цифры заметно изменились. В исследовании AEI только 13% заявили, что хотели бы жить в городе, напротив, 29% американцев ответили, что в идеале они хотят проживать в пригороде, а еще 28% заявили, что в сельской местности [13].

Такая ситуация в городах обусловила особое внимание разных уровней власти к поддержанию и развитию устойчивости городов. Заметим, что универсального понимания термина «устойчивость» не существует. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН предложила определение с упором на «умный» характера городов: «умный устойчивый город – это инновационный город, который использует информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и другие средства для повышения качества жизни, эффективности городских операций и услуг, а также конкурентоспособности, обеспечивая при

этом удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений в отношении экономических, социальных и экологических аспектов, а также культурные аспекты» [14].

Работа ЕЭК ООН над «умными» устойчивыми городами является частью инициативы «Объединенные для умных устойчивых городов» (U4SSC). U4SSC представляет собой глобальную платформу, которая пропагандирует государственную политику, поощряющую использование ИКТ для облегчения перехода к умным устойчивым городам. Инициатива координируется МСЭ, ЕЭК ООН и ООН-Хабитат и поддерживается четырнадцатью другими агентствами и программами ООН [14], актуализируя достижение Цели 11 по обеспечению открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов [14].

Ожидалось, что коронакризис усилит стремление городов к повышению устойчивости. Действительно, несмотря на проблемы, связанные с высокой плотностью населения, многие города отреагировали на пандемию в сжатые сроки. Недавнее исследование 167 городов показало, что 68% из них пересмотрели городское планирование и использование пространства, а 54% – мобильность и транспорт [15]. Например, в Боготе, Колумбия, были построены 52 мили временных велосипедных дорожек; в Милане, Италия, в ответ на прекращение оказания продовольственной помощи, вызванной КОВИД-19, была создана государственно-частная система продовольственной помощи; в Сингапуре правительство увеличило инвестиции в ИКТ на 30%, чтобы ускорить цифровизацию и позволить гражданам и работникам вернуться к нормальной работе, а предприятиям – безопасно возобновить свою деятельность [15].

Некоторые государства использовали фактор пандемии для ускорения своего экономического и технологического развития. Например, в «14-м Пятилетнем плане и видении до 2035 г.» Китай поставил перед собой цели, которые позволяют использовать технологические инновации в управлении городскими и сельскими районами и повышении качества жизни. Цифровые решения будут включены в городское планирование, общественные пространства и здания. В апреле 2020 г. 13 провинций обязались инвестировать 34 трлн юаней в «новую инфраструктуру», а именно в высокотехнологичные проекты, связанные с 5G, междугородним железнодорожным транспортом, платформами больших данных, искусственным интеллектом и промышленными сетями [16].

В Европе Париж поставил цель стать «15-минутным городом», сократив использование автомобилей, уменьшив заторы и создав более чистую среду для своих граждан. Развивающимся городам Азии и Африки эксперты рекомендуют переориентировать свои энергетические секторы и поставить цель массового развертывания солнечных фотоэлектрических систем. В октябре 2020 г. Международное энергетическое агентство подтвердило, что солнечная энергия является «самой дешевой электроэнергией в истории» [1]. Сосредоточение внимания и инвестиций на всех секторах рынка солнечной энергии, от жилищного до коммунального, может создать рабочие места и снизить стоимость энергии для потребителей и предприятий. Такой подход смягчит последствия изменения климата за счет переключения потребителей на безуглеродный источник энергии, а также может оказать положительное

влияние на социальную сферу и государственное строительство в развивающихся городах.

Многие развивающиеся страны уже доказали свою способность достигать рекордно низких цен на солнечную энергию, например, в Камбодже был зафиксирован «самый низкий тариф на закупку электроэнергии для солнечного проекта», а в Бразилии город Боа-Виста стал национальным лидером в распределении солнечной энергии, и теперь пользуется 100-процентной чистой энергией. Кения также является одним из лидеров в области возобновляемых источников энергии и показывает, как страна и ее города могут быстро преобразовать свой энергетический сектор [1].

Задача состоит в том, чтобы использовать технологии умного города, создать и обеспечить инклюзивное управление, которое будет уравнивать индивидуальную свободу и коллективную безопасность (например, в случае с введением контроля за передвижением людей с началом пандемии, вызвавшим дискуссии о защите персональных данных и др.). Заметим, что цифровизация городского пространства набрала обороты еще до пандемии «благодаря быстрому развитию облачных вычислений, скоростных беспроводных сетей связи, росту доступности небольших мощных вычислительных систем. Интеллектуальные городские решения, датчики и сенсоры, которые генерируют и потребляют огромные объемы данных, все чаще становятся элементами системы управления городским пространством... Повышению качества жизни граждан помогает расширение числа оказываемых услуг и уменьшение времени ожидания услуги» [17. С. 5].

Происходящие процессы переосмысления городского пространства и назначения городов можно рассматривать и как ответ на мировые дебаты о «кризисе городов» [18. С. 14]. Модернизация городов может дать ответы на такие вызовы современности, как сокращение и старение населения. В цифровых решениях есть множество технологических возможностей, которые могут помочь в решении проблем для людей старшего возраста. Например, проектирование городов с учетом потребностей пожилых людей может включать передовые услуги по удаленному мониторингу здоровья, онлайн-диагностике, роботов для ежедневного ухода и психологическим комфорта. Прогнозируется появление новых форм бизнеса, которые обеспечат стареющему населению качественное медицинское обслуживание, бесплатную медицинскую помощь, а также досуг и развлечения для пожилых людей [15].

Таким образом, пандемия задала новые параметры для поддержания устойчивости городов. Цифровые сервисы и электронные инструменты оказались незаменимыми средствами помощи всем городским субъектам в плане развития более устойчивого и экологически безопасного поведения. Цифровизация позволила городам функционировать в условиях социального дистанцирования; более того, в некоторых городах онлайн-инструменты обеспечили возможность сообщать пользователям об условиях окружающей среды, в том числе передавали данные о качестве воздуха и угрозе заражения вирусом, снижая тем самым риск распространения инфекций.

Кейс Европейского союза: «Зеленая сделка» и роль городов

Обозначенные тенденции в расширении понимания городов и их функций и задач в решении климатических вопросов в условиях пандемии учиты-

вают мировые акторы. Например, новая Стратегия ЕС по адаптации к изменению климата (Climate-ADAPT), принятая Европейской комиссией весной 2021 г., включает в себя ряд передовых практик городов по адаптации к новым условиям жизни. Более подробно новые принципы работы описаны в отчете «Устойчивость городов в Европе – что движет экологическими изменениями в городах» [19]. В отчете содержатся опросы и интервью жителей городов о том, что является источником изменения городской окружающей среды и как города оценивают ключевые движущие силы и препятствия на пути перехода к устойчивости городов.

Еще в 2015 г. страны ЕС подписали исторический документ – Парижское соглашение, согласно которому взяли на себя обязательство не допускать повышения температуры более чем на 1,5–2 °C. В декабре 2019 г. по инициативе Европейской комиссии Европейский союз принял «Зеленую сделку» (European Green Deal), основными целями которой являются чистые нулевые выбросы парниковых газов к 2050 г. и снижение выбросов парниковых газов к 2030 г. на 50 или 55% по сравнению с уровнем 1990 г.

По сути, принимаемые документы и обозначаемые в них задачи являются отражением формирования новой экологической идеологии в мире, компонентами «глобального всеобщего достояния» («global commons»), понимаемого как в узком экологическом смысле, так и в более широком социальном и «обсуждаемого как в формате ООН в контексте Целей развития тысячелетия, так и на различных международных площадках» [20. С. 55]. «Зеленая сделка» стала основой для более масштабного и конкретного Климатического закона Европейского союза, который обязывает участников ЕС стремиться к выполнению показателей «Зеленой сделки» к 2050 г [21].

Городам отводится важная роль в реализации «Зеленой сделки» Евросоюза, им дается возможность проектировать пространство, которое одновременно защищает окружающую среду и позволяет территориям развиваться. Более 75% европейцев живут в городских районах. В дополнение к «Зеленой сделке» в октябре 2020 г. было подписано «Соглашение о зеленом городе» – это движение мэров Европы, стремящихся сделать свои города чище и здоровее. Цель этого движения – улучшение качества жизни всех жителей и ускоренное выполнение соответствующих природоохранных законов ЕС. Подписывая Соглашение, города обязались принимать меры в пяти областях управления окружающей средой: воздух, вода, природа и биоразнообразие, круговая экономика и отходы, а также шум [22].

Достижение заявленных в «Зеленой сделке» целей невозможно без уже упомянутых ранее умных технологий. С учетом того, что концепция «умного города» включает в себя три взаимосвязанных сферы: «1) город, гражданин и деятельность; 2) знания, интеллект, инновации; 3) интеллектуальные системы и городские технологии» [23. С. 183], достижение экологической устойчивости вписывается во все обозначенные сферы [24].

Согласно ежегодному отчету организации Ember и Agora Energiewende, в 2020 г. Евросоюз впервые в истории получил больше электроэнергии из возобновляемых источников (38%), чем из ископаемого топлива (37%). Такое положение дел стало следствием роста энергии ветра и солнца. В отчете говорится, что оба источника почти удвоились с 2015 г., и в 2019 г. на их долю приходилась пятая часть производства электроэнергии в странах ЕС. В свою

очередь, угольная энергия снизилась на 20% в 2019 г., составив всего 13% электроэнергии, производимой в ЕС [25].

Аналогичные тенденции отмечаются и в других регионах и странах. В Соединенных Штатах, например, возобновляемые источники энергии пре-высили потребление угля в последние годы [25]. Согласно анализу сетевых данных исследовательских организаций Ember и Agora Energiewende, 2020 г. был самым экологически чистым для британской электроэнергетики [26].

В конце января 2021 г. были опубликованы результаты крупнейшего в мире опроса общественного мнения об изменении климата Peoples' Climate Vote [27]. Исследование охватило 50 стран с более чем половиной населения мира, включая более полумиллиона человек в возрасте до 18 лет, ключевую группу по вопросам изменения климата, которая, как правило, еще не может голосовать на регулярных выборах.

Опрос был организован Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с Оксфордским университетом, Великобритания. Во многих странах-участницах такой масштабный опрос общественного мнения, приуроченный к уже упомянутому саммиту ООН по климату в ноябре 2021 г., проводился впервые.

Респондентам был задан вопрос, является ли изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией и поддерживают ли они восемнадцать ключевых климатических политик в шести областях действий: экономика, энергетика, транспорт, продукты питания и фермы, природа и защита людей. Результаты показали, что люди выступают за проведение комплексной политики в области климата, выходящей за рамки текущих курсов. Например, в восьми из десяти исследуемых стран с самыми высокими выбросами в энергетическом секторе большинство опрошенных поддержало использование в большем объеме возобновляемых источников энергии. В четырех из пяти стран с самыми высокими выбросами в результате изменений в землепользовании и достаточным объемом данных о политических предпочтениях большинство поддержало сохранение лесов и земель. Девять из десяти стран с наиболее урбанизированным населением поддержали более активное использование чистых электромобилей и автобусов или велосипедов.

Большая часть респондентов выступает за сохранение лесов и земель (54%), увеличение количества солнечной, ветровой и возобновляемой энергии (53%), внедрение экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства (52%) и увеличение инвестиций в зеленые предприятия и рабочие места (50%) [27].

В ноябре 2021 г. состоялась 26-я Конференция ООН по изменению климата в Глазго, Шотландия, Соединенное Королевство. Обозначенный форум планировали провести в декабре 2020 г., но из-за пандемии его пришлось перенести. Хотя в декабре 2020 г. прошел виртуальный климатический саммит, в котором приняли участие 70 разных государств мира, а также мэры городов и руководители крупных компаний. Брюссель на этой встрече озвучил цель сократить выбросы на 55% в ближайшие пять лет, Великобритания – сократить выбросы на 60%; Китай и Индия заявили о резком увеличении доли возобновляемых источников энергии [28. С. 26].

Пандемия стала мощным триггером для городов, которые оказались в ситуации жесткой дилеммы: с одной стороны, необходимы усилия для сни-

жения глобальной концентрации парниковых газов, с другой стороны, городские власти вынуждены учитывать промышленных игроков и потенциальных инвесторов, чьи интересы обычно идут вразрез с курсом на «зеленую экономику». Хотя если оставить за скобками бизнес-приоритеты, города могут повысить устойчивость к вероятным и возможным воздействиям изменения климата, сделать упор на низкоуглеродной экономике или других мерах по снижению выбросов в атмосферу. Для этого следует сосредоточить внимание на активной политике городов по адаптации, выявлению текущих и вероятных будущих рисков, а также на создании институциональных структур для поощрения и поддержки необходимых действий со стороны всех секторов и агентств [29].

Некоторые специалисты считают, что решение проблем, связанных со здоровьем, обществом и окружающей средой, сформирует так называемый следующий город (next city) [6]. Учитывая высокую сложность возникающих трудностей, городам будет необходимо выработать целостный подход к «образу желаемого завтра», соединив воедино данные из различных областей науки, экспертного знания. Пандемия КОВИД-19 уже привела к глубоким сдвигам в функционировании городов, хотя еще рано делать выводы об обратимости или безвозвратности произошедших изменений. Можно только опираться на общую логику происходящих процессов цифровизации. На примере Евросоюза отчетливо видна ориентация на человека при внедрении основных элементов «умного города»: на онлайн-формат переводятся услуги здравоохранения, образования, транспорта и др. Пандемия ускорила и процесс перехода на новые экологические стандарты в контексте повышения устойчивости городов и гибкости их адаптационных механизмов на случай кризисных ситуаций.

Заключение

Пандемия, режим которой сохраняется до настоящего момента, стала глубоким вызовом для городов мира. Привычная городская жизнь остановилась, на свободное передвижение людей были введены ограничения, работа транспортной системы, промышленных предприятий и других объектов оказалась нарушена. Первоначально благоприятное воздействие на климат этих изменений сменилось с ослаблением жестких мер на возвращение к прежним показателям выбросов в атмосферу. Продолжается таяние ледников, вырубка лесов и глобальное потепление климата.

Города оказались в ситуации необходимости адаптации к новым условиям жизни при сохранении, а в некоторых случаях и при повышении качества жизни населения. Такие установки требуют более активного использования человеческого и искусственного интеллекта для новых открытий и регулирования процессов жизнеобеспечения, совершенствования практик умного города с учетом специфики изменения климата, новых социальных норм и уже внедренных цифровых технологий.

Список источников

1. Gheldere S. de, Harman O. How the pandemic can be a catalyst for city climate action. URL: <https://www.theigc.org/blog/how-the-pandemic-can-be-a-catalyst-for-city-climate-action/>
2. Дыба Е. Природа очистилась: влияет ли пандемия на климат на самом деле. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/green/5ee206dc9a794738a93f8b3e>

3. *United in science* 2020. URL: https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
4. Манаенкова Е. Всегда есть возможность изменить будущее, если мы правильно понимаем, каким оно должно быть. URL: <https://news.un.org/ru/interview/2020/09/1385482>
5. *Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable*. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/>
6. Kakderi C., Komninos N., Panori A., Oikonomaki E. Next City: Learning from Cities during COVID-19 to Tackle Climate Change. *Sustainability* 2021, 13, 3158. <https://doi.org/10.3390/su13063158>
7. Dixon-Decleve S., Schellnhuber H.J., Raworth K. Could COVID-19 give rise to a greener global future? URL: <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/a-green-reboot-after-the-pandemic>
8. No going back: European public opinion on air pollution in the Covid-19 era. URL: <https://www.transportenvironment.org/discover/no-going-back-european-public-opinion-air-pollution-covid-19-era/>
9. Kassam A. More masks than jellyfish': coronavirus waste ends up in ocean. URL: <https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/08/more-masks-than-jellyfish-coronavirus-waste-ends-up-in-ocean>
10. *Masks on the beach. The impact of Covid-19 on Marine Plastic Pollution*. URL: <https://oceansasia.org/wp-content/uploads/2020/12/Marine-Plastic-Pollution-FINAL-1.pdf>
11. *Golding B.* More than 1.5 billion face masks will pollute oceans this year, report says. URL: <https://nypost.com/2020/12/28/more-than-1-5b-masks-will-pollute-oceans-this-year-report/>
12. *AEI COVID-19 and American Life Survey Topline Questionnaire*. URL: <https://www.aei.org/wp-content/uploads/2020/06/AEI-COVID-19-and-American-Life-Survey-Topline.pdf?x91208>
13. *Abrams S.J.* Cities are suffering. URL: <https://www.aei.org/politics-and-public-opinion/cities-are-suffering/>
14. *Sustainable Smart Cities*. URL: <https://unece.org/housing/sustainable-smart-cities>
15. *Antunes M.E.* Urban Transformation Post-Pandemic: Not Business as Usual. URL: <https://www.forbes.com/sites/deloitte/2021/08/30/urban-transformation-post-pandemic-not-business-as-usual/?sh=2472f0ea34f1>
16. *Post-Pandemic Cities – Is Being a Smart City the Solution?* URL: <https://econsultsolutions.com/post-pandemic-cities-is-being-a-smart-city-the-solution/>
17. Попов Е.В., Семячков К.А., Семенюк Ю.В. Социально-экономические эффекты коммуникационных технологий умных городов // Менеджмент в России и за рубежом». 2020. № 1. С. 5–10.
18. *Расходчиков А.Н.* От хаоса трансформаций к управляемым изменениям // Университетский город: архитектура смыслов : сб. ст. / под ред. А.И. Щербинина, А.Н. Расходчикова. Москва ; Томск, 2021.
19. *Urban Sustainability in Europe. What is driving cities' environmental change?* EEA Report. No 16/2020. URL: <https://www.eea.europa.eu/publications/urban-sustainability-in-europe-wha>
20. *Барабанов О., Маслова Е.* Концепция глобального всеобщего достояния («Global Commons»): новые ценности в мировой политике // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63, № 8. С. 55–63.
21. *Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law)*. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN>
22. *Green City Accord*. URL: https://ec.europa.eu/environment/green-city-accord_en
23. *Щербинин А.И.* «Умные города» – тренд XXI века: вызовы времени и российские практики // ПРАЭНМА. 2018. Вып. 3 (17). С. 179–191.
24. *Urban Hub. Cities*. URL: <https://www.urban-hub.com/cities/>
25. *The European Power Sector. Up-to-Date Analysis on the Electricity Transition*. URL: https://static.agora-energiawende.de/fileadmin/Projekte/2021/2020_01_EU-Annual-Review_2020/A-EW_202_Report_European-Power-Sector-2020.pdf
26. *Mathis W.* Renewables Beat Fossil Fuels in EU for First Time Last Year. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-24/renewable-power-beat-fossil-fuels-in-eu-for-first-time-last-year>
27. *The Peoples' Climate Vote*. URL: <https://www.undp.org/publications/peoples-climate-vote>
28. *UN Climate Change Conference (COP26)*. URL: <https://www.un.org/ru/food-systems-summit/un-climate-change-conference-cop-26>
29. *Martins I.P.* How are the Europe's cities adopting to climate change and moving to a sustainable future? URL: <https://www.eea.europa.eu/articles/how-are-europes-cities-adapting>

References

1. Gheldere, S. de & Harman, O. (2021) *How the pandemic can be a catalyst for city climate action*. [Online] Available from: <https://www.theigc.org/blog/how-the-pandemic-can-be-a-catalyst-for-city-climate-action/>
2. Dyba, E. (2020) *Priroda ochistilas': vliyaet li pandemiya na klimat na samom dele* [Nature has been cleansed: does the pandemic really affect the climate]. [Online] Available from: <https://trends.rbc.ru/trends/green/5ee206dc9a794738a93f8b3e>
3. WMO. (2020) *United in science 2020*. [Online] Available from: https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
4. Manaenkova, E. (2020) *Vsegda est' vozmozhnost' izmenit' budushchee, esli my pravil'no ponimaem, kakim ono dolzhno byt'* [There is always an opportunity to change the future, if we correctly understand how it should be]. [Online] Available from: <https://news.un.org/ru/interview/2020/09/1385482>
5. UNO. (n.d.) *Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable*. [Online] Available from: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/>
6. Kakderi, C., Komminos, N., Panori, A. & Oikonomaki, E. (2021) Next City: Learning from Cities during COVID-19 to Tackle Climate Change. *Sustainability*. 13(6). 3158. DOI: 10.3390/su13063158
7. Dixon-Decleve, S., Schellnhuber, H.J. & Raworth, K. (2020) *Could COVID-19 give rise to a greener global future?* [Online] Available from: <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/a-green-reboot-after-the-pandemic>
8. Mueller, J. (2020) *No going back: European public opinion on air pollution in the Covid-19 era*. [Online] Available from: <https://www.transportenvironment.org/discover/no-going-back-european-public-opinion-air-pollution-covid-19-era/>
9. Kassam, A. (2020) *More masks than jellyfish': coronavirus waste ends up in ocean*. [Online] Available from: <https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/08/more-masks-than-jellyfish-coronavirus-waste-ends-up-in-ocean>
10. Bondaroff, T.P. & Cooke, S. (2020) *Masks on the beach. The impact of Covid-19 on Marine Plastic Pollution*. [Online] Available from: <https://oceansasia.org/wp-content/uploads/2020/12/Marine-Plastic-Pollution-FINAL-1.pdf>
11. Golding, B. (2020) *More than 1.5 billion face masks will pollute oceans this year, report says*. [Online] Available from: <https://nypost.com/2020/12/28/more-than-1-5b-masks-will-pollute-oceans-this-year-report/>
12. AEI. (2020) *COVID-19 and American Life Survey Topline Questionnaire*. [Online] Available from: <https://www.aei.org/wp-content/uploads/2020/06/AEI-COVID-19-and-American-Life-Survey-Topline.pdf?x91208>
13. Abrams, S.J. (n.d.) *Cities are suffering*. [Online] Available from: <https://www.aei.org/politics-and-public-opinion/cities-are-suffering/>
14. UNICE. (n.d.) *Sustainable Smart Cities*. [Online] Available from: <https://unece.org/housing/sustainable-smart-cities>
15. Antunes, M.E. (2021) *Urban Transformation Post-Pandemic: Not Business as Usual*. [Online] Available from: <https://www.forbes.com/sites/deloitte/2021/08/30/urban-transformation-post-pandemic-not-business-as-usual/?sh=2472f0ea34f1>
16. ESI. (n.d.) *Post-Pandemic Cities – Is Being a Smart City the Solution?* [Online] Available from: <https://econsultsolutions.com/post-pandemic-cities-is-being-a-smart-city-the-solution/>
17. Popov, E.V., Semyachkov, K.A. & Semenyuk, Yu.V. (2020) *Sotsial'no-ekonomicheskie efekty kommunikatsionnykh tekhnologiy umnykh gorodov* [Socio-economic effects of communication technologies of smart cities]. *Menedzhment v Rossii i za rubezhom – Management in Russia and Abroad*. 1. pp. 5–10.
18. Raskhodchikov, A.N. (2021) *Ot khaosa transformatsiy k upravlyaemym izmeneniyam* [From the chaos of transformations to managed changes]. In: Shcherbinin, A.I. & Raskhodchikov, A.N. (eds) *Universitetskiy gorod: arkhitektura smyslov* [University City: The Architecture of Meanings]. Moscow; Tomsk: VTsIOM.
19. EEA. (2020) *Urban Sustainability in Europe. What is driving cities' environmental change? EEA Report*. 16/2020. [Online] Available from: <https://www.eea.europa.eu/publications/urban-sustainability-in-europe-wha>
20. Barabanov, O. & Maslova, E. (2019) The Concept of “Global Commons” as a Factor of Global Instability. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya – World Economy and International Relations*. 63(8). pp. 55–63. (In Russian). DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-8-55-63

21. EU. (2020) *Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law)*. [Online] Available from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0080&from=EN>
22. EU. (n.d.) *Green City Accord*. [Online] Available from: https://ec.europa.eu/environment/green-city-accord_en
23. Shcherbinin, A. I. (2018) Smart cities as a trend of the 21st century: the current challenges and Russia's practices. *ИПАЭХМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ИПАЭХМА. Journal of Visual Semiotics*. 3(17). pp. 179–191. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2018-3-179-191
24. Urban Hub. (n.d.) *Cities*. [Online] Available from: <https://www.urban-hub.com/cities/>
25. The European Power Sector. (2020) *Up-to-Date Analysis on the Electricity Transition*. [Online] Available from: https://static.agora-energiawende.de/fileadmin/Projekte/2021/2020_01_EU-Annual-Review_2020/A-EW_202_Report_European-Power-Sector-2020.pdf
26. Mathis, W. (2021) *Renewables Beat Fossil Fuels in EU for First Time Last Year*. [Online] Available from: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-24/renewable-power-beat-fossil-fuels-in-eu-for-first-time-last-year>
27. *The Peoples' Climate Vote*. URL: <https://www.undp.org/publications/peoples-climate-vote>
28. *UN Climate Change Conference (COP26)*. [Online] Available from: <https://www.un.org/ru/food-systems-summit/un-climate-change-conference-cop-26>
29. Martins, I.P. (2021) *How are the Europe's cities adopting to climate change and moving to a sustainable future?* [Online] Available from: <https://www.eea.europa.eu/articles/how-are-europes-cities-adapting>

Сведения об авторе:

Хахалкина Е.В. – доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры новой, новейшей истории и международных отношений. Факультет исторических и политических наук, Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск, Россия). E-mail: ekhakhalkina@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Khakhalkina E.V. – Dr. Sci. (History), associate professor, professor of the Department of Modern, Contemporary History and International Relations, Faculty of Historical and Political Sciences, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ekhakhalkina@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 17.05.2022;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 17.05.2022;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022*

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Научная статья

УДК 165.0

doi: 10.17223/1998863X/67/23

ПРОБЛЕМА РЕФЕРЕНЦИИ ИНДЕКСИКАЛОВ: ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ

Ольга Александровна Козырева

*Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия, olgakozyreva@mail.ru*

Аннотация. Исследуется проблема определения референции индексикальных выражений. Представлена стандартная семантика Д. Каплана для подобных выражений, обозначены ее основные сложности, связанные с постулируемым тождеством между контекстом высказывания и семантически релевантным контекстом, а также рассмотрены существующие варианты ее модификации. Сделан вывод о том, что данные варианты включают факторы, традиционно считающиеся прагматическими, в число семантических факторов для определения референции индексикалов, что основывается на ином представлении о соотношении семантики и прагматики.

Ключевые слова: индексикал, значение, референция, контекст, семантика, прагматика

Для цитирования: Козырева О.А. Проблема референции индексикалов: возможные подходы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 269–281. doi: 10.17223/1998863X/67/23

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Original article

SOME POSSIBLE APPROACHES TO THE PROBLEM OF INDEXICAL REFERENCE

Olga A. Kozyreva

*Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg,
Russian Federation, olgakozyreva@mail.ru*

Abstract. The article deals with the problem of indexical reference in general and the reference of the first-person pronoun “I” in particular. First, I briefly present David Kaplan’s semantics for indexical expressions based on the character/content distinction and point out some of its difficulties related to the alleged identity between the context of utterance and the semantically relevant context, i.e., the context relevant for indexical reference determination. Because of this identity, the Kaplanian semantics cannot account for many successful communicative situations where speakers use indexical utterances. The most famous example of such a situation is Alan Sidelle’s answering machine paradox, which requires the utterances of “I am not here now” to be true, but according to the Kaplanian semantics, these utterances should be necessarily false. Second, I overview the different solutions to the paradox as well as to other similar cases presented by a variety of Kaplan’s critics. Most of them (except Sidelle himself) insist on modifying the Kaplanian semantics. I consider three such approaches to modification (the intentional, the conventional, and the communicative

ones) and conclude that their common idea of distinguishing between the context of utterance and the semantically relevant context presupposes another account of the relationships between semantics and pragmatics. Finally, I argue that the discussed modification does concern only semantics of indexical expressions and should not be confused with their pragmatics. The reason for that is the very nature of semantics: any successful semantic theory should explain what the reference of linguistic expressions is and how it is fixed. The context-dependence of indexical reference does not change the goal of semantics, it only makes it more difficult to achieve.

Keywords: indexical, meaning, reference, context, semantic, pragmatics

For citation: Kozyreva, O.A. (2022) Some possible approaches to the problem of indexical reference. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 269–281. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/23

Проблема значения языковых выражений (*далее – выражений*) традиционно относится к категории семантических проблем, т.е. таких проблем, которые связаны с определением условий истинности высказываний¹, в которых встречаются эти выражения. Определение же истинностных условий, в свою очередь, зависит от того, на что указывают (refer) сами выражения. Таким образом, считается, что значение и референция у большинства выражений обычно совпадают.

Однако существует ряд выражений, у которых значение и референция не находятся в такой тесной связи: референция таких выражений определяется контекстом, в котором они употребляются, но их значение при этом остается фиксированным. Данные выражения носят название контекстно-зависимых, самыми очевидными их примерами выступают индексикалы «я», «здесь», «сейчас» и демонстративы «этот», «тот»². Так, «я» указывает на различных индивидов в зависимости от того, кто именно произносит или пишет «я», однако значение «я» остается тем же самым, независимо от того, на кого конкретно оно в данный момент указывает. По этой причине для определения референта «я» – что, по сути, представляет собой решение семантической проблемы – необходимо знать что-то еще, кроме значения данного выражения.

Основную семантику для индексикальных выражений предложил Д. Каплан. В ней он разграничивает два уровня значения выражений – характер (character) и содержание (content) [1]. Характер выражения – это правило употребления выражения, не изменяющееся при изменении контекста, в котором употребляется это выражение; содержание выражения – это то, что высказывается в каждом конкретном случае при совершении высказывания, изменяющееся при изменении контекста, в котором употребляется это выражение. Так, характером «я» является правило, гласящее, что «я» всегда указывает на того, кто совершает высказывание и употребляет данное выраже-

¹ Более корректно говорить об условиях истинности предложений (sentences), а не высказываний (utterances), так как высказывание – это акт, в котором индивид «высказывает» какое-либо предложение. Однако в целях простоты изложения я не буду разграничивать «высказывание» и «предложение», а также не буду ставить вопрос о природе пропозиций, которые выражаются в предложениях.

² Основное различие между индексикальными и демонстративными выражениями состоит в том, что для определения референта первых достаточно знать правило употребления этих выражений, в то время как для последних помимо правил употребления требуется совершение дополнительных внелингвистических актов указания на объект, о котором идет речь в высказывании (например, жеста указания пальцем).

ние, содержанием же «я» будет выступать тот конкретный индивид, который в определенном контексте совершает высказывание и указывает на себя при помощи «я». Именно такое разделение на характер и содержание позволяет Д. Каплану объяснить, как возможно, чтобы высказывание с контекстно-зависимым выражением имело различные истинностные значения в зависимости от того, в каком контексте оно совершается.

Несмотря на то что каплановская семантика для индексикалов признается в целом успешной, часть философов приводит ряд примеров нестандартного употребления высказываний с индексикалами, с которыми, по их мнению, данная семантика справиться не может, что, в свою очередь, должно рассматриваться как демонстрация ее ограниченности.

Мой основной тезис в данной статье заключается в следующем:

1) семантика Д. Каплана действительно не может объяснить, как возможна успешная коммуникация, участники которой интуитивно правильно определяют референцию индексикальных выражений в некоторых высказываниях;

2) чтобы объяснить, как все-таки возможна успешная коммуникация, семантику Д. Каплана следует модифицировать, что и пытаются осуществить ряд философов;

3) суть данной модификации состоит во включении в число семантических факторов тех, которые традиционно относятся к прагматическим (интенции делающего высказывание, социальные и/или языковые конвенции). Это обусловлено тем, что в основании такой модификации лежит иное представление о взаимоотношении семантики и прагматики.

Далее в статье я кратко представлю семантику контекстно-зависимых выражений Д. Каплана, обозначу возникающую в этой семантике проблему объяснения успешной коммуникации (этой причиной является постулируемое Д. Капланом положение о тождестве между контекстом высказывания и семантически релевантным контекстом) и продемонстрирую основные варианты решения этой проблемы, основывающиеся на идее необходимости модификации семантики Д. Каплана. В заключение будет сформулировано возможное возражение моему тезису, связанное преимущественно с вопросом о том, как понимать разграничение между семантикой и прагматикой.

Семантический подход Д. Каплана

Прежде всего следует отметить, что Д. Каплан придерживался теории прямой референции, согласно которой референциальное выражение указывает на объект «напрямую», т.е. оно «загружает» в предложение свой референт, а не смысл, связанный с этим референтом, как то было у Г. Фреге. Речь идет о том, что референциальное выражение является свободной переменной, чьим значением (value) выступает индивид. Предложение же, в котором встречается референциальное выражение, выражает сингулярную пропозицию, которая как раз представляет собой упорядоченную пару {индивид, свойство}.

К референциальным выражениям Д. Каплан как раз и относит индексикалы и демонстративы. Для того чтобы представить удовлетворительную семантику для этих контекстно-зависимых выражений, он сначала вводит различие между контекстом высказывания и условиями оценки высказывания.

Контекст высказывания – это возможная ситуация употребления высказывания, которая содержит четыре параметра $\langle a, p, t, w \rangle$, где a – агент, совершающий высказывание, p – место совершения высказывания, t – время совершения высказывания, w – возможный мир, в котором совершается высказывание. Условия оценки – это фактические и контрафактические миры, в которых определяют экстенсионалы выражений совершенных высказываний. В определенном смысле условия оценки можно понимать как некоторую ситуацию внутри возможного мира w .

Далее Д. Каплан вводит два уровня значения. Первый уровень – характер выражения – это правило употребления этого выражения, функция, аргументом которой является контекст высказывания, а значением – содержание выражения. Содержание как раз является вторым уровнем значения, на которое указывает Д. Каплан; это функция, аргументом которой являются условия оценки, а значением – экстенсионал. По сути, содержание – это объект, который «загружается» в предложение в зависимости от того, в каком контексте употребляется выражение, указывающее на этот объект. При изменении контекста высказывания содержание контекстно-зависимого выражения изменяется вслед за ним, и, следовательно, в предложении высказывается другая пропозиция. Соответственно, индексикалы (и демонстративы) выражают различное содержание в различных контекстах и указывают на различных индивидов. Таким образом, раз контекст высказывания определяет референцию выражений, то только он является семантически релевантным контекстом.

Таким образом, характер индексикала «я» можно определить с точки зрения каплановской семантики – как функцию формы «тот, кто совершает данное высказывание», аргументом которой является контекст высказывания, а значением – референт. Другими словами, характер «я» таков, что референтом «я» всегда будет выступать тот, кто совершает высказывание в определенном контексте. Характер «здесь» таков, что референтом «здесь» всегда будет выступать то место, в котором совершается высказывание в определенном контексте; характер «сейчас» таков, что референтом «сейчас» всегда будет выступать момент времени, в котором совершается высказывание.

Парадокс автоответчика А. Сиддела

А. Сиддел одним из первых обратил внимание на то, что каплановская семантика сталкивается с трудностями в объяснении интуитивно очевидной оценки некоторых видов высказываний с индексикальными выражениями как истинных [2]. В частности, высказываний типа «я сейчас не здесь», оставляемых людьми на автоответчиках их стационарных телефонов. Трудность в объяснении заключается в том, что, согласно каплановской семантике, высказывания «я сейчас здесь» должны всегда быть истинными в момент совершения этих высказываний, так как говорящий всегда находится в месте совершения своего высказывания и в моменте времени, когда он это высказывание совершает. Такое высказывание является в определенной мере аналитически истинным, т.е. истинным в силу значений входящих в него выражений. Высказывание «я сейчас не здесь» в таком случае должно оцениваться как всегда ложное высказывание и быть аналитически ложным. Однако, когда владелец стационарного телефона действительно отсутствует там, где располагается его телефон, и звонящий на этот телефон прослушива-

ет записанное ранее владельцем сообщение «я сейчас не здесь», звонящий, очевидно, оценивает это высказывание как истинное. Эту затруднительную для каплановской семантики ситуацию А. Сиддел предлагает условно именовать «парадоксом автоответчика».

Рассуждение А. Сиддела выглядит следующим образом:

(1) Употребление «я» в высказывании указывает на того, кто произносит эти высказывание.

(2) Употребление «здесь» в высказывании указывает на место, где произносится это высказывание.

(3) Употребление «сейчас» в высказывании указывает на время, когда произносится это высказывание.

(4) Следовательно, высказывание «я сейчас здесь» истинно тогда и только тогда, когда тот, кто произносит данное высказывание, находится в месте, где произносится это высказывание, и во время, когда произносится это высказывание.

(5) Во время произнесения высказывания тот, кто произносит это высказывание, всегда находится в месте, где произносится это высказывание.

(6) Следовательно, любые высказывания «я сейчас здесь» всегда истинны, когда их произносят.

(7) Следовательно, любые высказывания «я сейчас не здесь» всегда ложны, когда их произносят.

(8) Однако некоторые высказывания «я сейчас не здесь» истинны, когда их произносят (например, высказывания, которые записаны на автоответчик стационарного телефона).

Получив противоречие между (7) и (8), А. Сиддел пробует решить получившийся «парадокс». Посылки (1)–(3) выражают тезисы каплановской семантики и говорят о характерах индексикалов «я», «здесь», «сейчас». Посылка (5) представляет собой очевидную позицию здравого смысла, и именно ее истинность А. Сиддел ставит под вопрос¹, утверждая, что у индивидов имеется возможность совершать высказывания – он называет их «отложенными высказываниями» (*deferred utterances*) – не находясь там, где они совершаются. Именно к такому типу высказываний и относится высказывание «я сейчас не здесь», записанное на автоответчик. Записывая подобное сообщение на свой автоответчик, индивид не совершает высказывание в этот момент, он только планирует это высказывание, «откладывает» его произнесение на будущее, когда сообщение будет прослушано звонящим ему человеком. «Сейчас» в таком случае указывает не на время записи сообщения, а на время прослушивания, ведь именно в этот момент времени совершается высказывание, а «здесь» – на место, в котором совершается высказывание (т.е. там, где находится автоответчик), хотя индивида в данном месте при совершении этого высказывания в момент его прослушивания действительно нет. Как пишет А. Сиддел, «способность делать отложенные высказывания позволяет нам находиться в местах, отличных от мест, в которых совершаются наши высказывания даже тогда, когда мы их совершаем» [2. Р. 535].

Таким образом, решение парадокса, предлагаемое А. Сидделом, остается полностью в рамках каплановской семантики: ни одна из трех первых посы-

¹ Он также рассматривает два других возможных варианта – отказ от (2) либо от (8), однако находит их неудовлетворительными.

лок им не отвергается. Однако для решения парадокса ему приходится вводить понятие «отложенного высказывания», благодаря которому семантически релевантным контекстом становится контекст, в котором происходит своего рода «расшифровка» «отложенного» ранее высказывания (актуальное прослушивание звонящим записанного ранее сообщения на автоответчик).

Интенциональный подход

Несмотря на, казалось бы, успешное решение парадокса автоответчика, подход А. Сиддела, связанный с выделением особого класса «отложенных высказываний», не справляется с объяснением истинностных условий высказывания «я сейчас не здесь», сделанного в несколько иной ситуации. Такую ситуацию впервые обозначил С. Пределли [3].

Он предлагает представить Джона, который в четыре часа дня пишет и оставляет дома на столе записку своей жене «я сейчас не здесь», предполагая, что когда она вернется домой – а это обычно происходит в шесть вечера, – то прочтет эту записку и поймет, что его – Джона – сейчас – в шесть часов вечера – нет дома. Пока в этом примере нет ничего, с чем не мог бы справиться подход А. Сиддела к определению референции индексикалов: Джон планирует, «откладывает», высказывание в четыре часа дня, а само высказывание совершается в шесть часов вечера, когда записку прочитывает жена Джона. Но С. Пределли усложняет историю: жена Джона вернулась домой не в шесть часов вечера, как думал Джон, когда писал записку, а в десять часов вечера, и именно в это время она прочитала записку. Каков в таком случае референт «сейчас»? Если придерживаться подхода А. Сиддела, то придется признать, что «сейчас» должно указывать на десять часов вечера, ведь именно в это время фактически совершилось «отложенное высказывание». Но Джон не планировал, когда писал записку, что «сейчас» будет указывать на десять часов вечера, он, очевидно, имел в виду шесть часов вечера. В таком случае жена Джона, не зная о том, когда и с какой целью писал ей эту записку Джон, не может правильно определить референт «сейчас», а сам Джон оказывается не в состоянии однозначно указать с помощью «сейчас» на нужный ему момент времени. Поэтому С. Пределли утверждает, что семантически релевантным контекстом не может быть контекст расшифровки «отложенного высказывания», как это полагал А. Сиддел [3. Р. 112].

Семантически релевантным контекстом должен выступать интенциональный контекст (иначе, контекст интерпретации) – контекст, в котором «принимаются во внимание координаты, которые предполагались говорящим в качестве релевантных для семантической оценки его сообщения» [3. Р. 112]. С точки зрения С. Пределли, ни контекст высказывания (как у Д. Каплана), ни контекст «расшифровки» высказывания (как у А. Сиддела) не является «семантически интересным» для определения референции «сейчас» в записке Джона; таковым будет являться только интенциональный контекст, т.е. контекст, параметрами которого выступают сам Джон, его дом и шесть часов вечера. Таким образом, С. Пределли включает интенции того, кто совершает высказывание, в число семантических факторов, влияющих на определение корректного контекста, в котором далее будет происходить семантическая оценка высказывания или, иными словами, обнаружение соответствующих референтов выражений.

Парадокс автоответчика, следовательно, получает новое решение: семантически релевантным контекстом для оценки высказывания «я сейчас не здесь», записанного на автоответчик, должен выступать интенциональный контекст, в котором у совершающего данное высказывание имелась интенция относительно того, какой должна быть референция «сейчас» в его высказывании, а именно – ровно тот момент времени, когда на его телефон поступает звонок и звонящий прослушивает записанное сообщение. Если согласно интенциональному подходу «сейчас» может не указывать на время совершения высказывания [3. Р. 115], то для решения парадокса автоответчика в его первоначальной формулировке следует отказаться от посылки (3).

Если применить интенциональный подход к индексикалам «я» и «здесь», то семантические тезисы, выраженные в посылках (1) и (2) парадокса автоответчика, тоже должны быть пересмотрены. Остановившись только на первом из этих двух выражений, можно утверждать, что семантически релевантным контекстом для определения референции «я» в записке «я сейчас не здесь», написанной Беном по просьбе Джо и прикрепленной на дверь его кабинета в университете¹, должен выступать контекст, который планировался самим Беном в качестве контекста, относительно которого необходимо определять референт «я» в этой записке. Если семантически релевантным контекстом будет выступать контекст, в котором совершается высказывание – как это должно быть, согласно Д. Каплану, то мы должны прийти к выводу, что референтом «я» в данной записке будет выступать Бен, что, разумеется, не так.

Поэтому мотивация подхода С. Пределли, которая видится мне вполне корректной, выглядит следующим образом: для того чтобы объяснить интуитивное схватывание носителями языка референтов индексикальных выражений, которое обеспечивает успешную коммуникацию – в данном примере это эквивалентно тому, что студенты, подходя к кабинету Джо и читая записку, прикрепленную на дверь, понимают, что именно Джо нет сегодня в университете, и не стучатся безуспешно к нему в кабинет, недостаточно опираться на контекст высказывания, требуется учитывать дополнительные семантические факторы, влияющие на значение таких выражений и тем самым «создающие» иной релевантный контекст для определения референции.

В противном случае придется пересматривать тезис о единственном характере «я». Такое решение принимали, в частности, К. Смит [4], Дж. Колтерджен и Д. Макинтош [5], утверждая, что у индексикалов нет фиксированных характеров, и они изменяются в зависимости от ситуации их употребления, вследствие чего их референция также изменяется. Тогда использование Беном «я» в его коммуникативной практике будет регулироваться как минимум двумя различными правилами: в соответствии с одним правилом он будет указывать при помощи «я» на самого себя, а в соответствии с другим – на любого другого индивида, например на Джо, когда тот попросит написать записку о его отсутствии. Главный недостаток этого решения заключается в его *ad hoc* характере: прибегать к тезису о лексической неоднозначности индексикалов для объяснения интуитивного определения их ре-

¹ Оригинальный пример с Джоном и Беном, который предложили Э. Коратца, У. Фиш и Дж. Горветт в качестве возражения интенциональному подходу С. Пределли, будет рассмотрен в следующей секции. Однако похожий пример с записью одним человеком сообщения на автоответчик другого человека предлагала также К. Ромден-Ромлук.

ференции в определенного рода ситуациях можно только в самый последний момент, когда остальные попытки объяснения провалились [3. Р. 109]. В противном случае нет никаких убедительных аргументов в пользу отказа от каплановской идеи о единственном характере индексикалов.

Конвенциональный подход

Интенциональный подход С. Пределли при всей его самоочевидности встретил множество возражений. Эти возражения основывались на нежелательных следствиях этого подхода – возможности ничем неограниченного указания на объекты окружающего мира при помощи индексикальных выражений и постулировании приватности содержания высказываний, в которых употребляются такие выражения.

На первую проблему указали Э. Корацца, У. Фиш и Дж. Горветт, предложив ситуацию, в которой Бен пишет и прикрепляет на дверь кабинета Джо записку «я сейчас не здесь» не на основании просьбы самого Джо, а на основании своего личного желания уведомить студентов о том, что Джо сегодня нет в университете [6]. Для объяснения того, каким образом студенты корректно определяют референт «я» в такой записке, не подойдет подход Д. Каплана, поскольку, как уже было продемонстрировано, тот, кто совершает высказывание, и референт «я» этого высказывания не совпадают, а каплановская семантика требует этого совпадения. Не подойдет так же и подход А. Сиддела: если в предыдущей ситуации еще можно было предположить, что Джо попросил другого человека «отложить» высказывание за него, то в данной ситуации Джо вообще не в курсе того, что кто-то сделал высказывание от его имени. Знание Джо о том, что Бен совершил высказывание о нем самом, является необходимым требованием для утверждения того, что в этой ситуации был произведен акт «откладывания» высказывания, в котором «я» указывает на Джо, а не на Бена. Интенциональный подход справляется с этой ситуацией успешнее, но «если мы согласимся с тем, что Бен может указывать на Джо чисто в силу наличия у него интенции это сделать, то почему он не может использовать „я“ для указания на кого угодно?» [6. Р. 9]. По всей видимости, сторонник интенционального подхода обречен на то, чтобы принимать идею произвольности использования индексикальных выражений индивидами для указания на любые объекты, на которые им только захочется указать. Однако реальная языковая практика диктует, что использование выражений регулируется не интенциями индивидов, а неиндивидуальными, общими для всех семантическими правилами, которые, по сути, ограничивают индивидов в возможных объектах для указания.

Вторая проблема интенционального подхода, связанная с приватностью содержания высказываний с индексикалами, возникает из-за того, что только тот, кто совершает высказывание, знает, какой контекст является семантически релевантным для определения референции индексикальных выражений, каковы референты этих выражений и, соответственно, содержание самих высказываний. Это связано с тем, что непосредственным доступом к интенциям того, кто совершает высказывание, обладает только он сам, а из этого следует, что значения индексикальных выражений и содержание высказываний с ними будут приватными, что ведет к отказу от тезиса о публичности языкового значения [7. Р. 265].

С обозначенными выше проблемами пытается справиться конвенциональный подход, предложенный уже упомянутыми Э. Корацци, У. Фишем и Дж. Горветтом. Они так же, как и С. Пределли полагают, что каплановская семантика нуждается в модификации, суть которой заключается в отказе от тождества между контекстом высказывания и семантически релевантным контекстом. Однако в качестве последнего должен выступать не интенциональный контекст, а конвенциональный – такой контекст, который определяется социально разделяемыми убеждениями индивидов (иначе, конвенциями). Для именования совокупности таких убеждений они вводят понятие «окружения» (setting), которое фактически становится эквивалентным понятию контекста. В «окружение» включается конкретный язык, на котором коммуницируют друг с другом индивиды, физическая окружающая среда, принадлежность индивидов конкретному сообществу и другие факторы, которые в принципе могут влиять на актуальную референцию индексикальных выражений.

Насколько можно предположить, пресуппозиция идеи Э. Корацци, У. Фиша и Дж. Горветта о необходимости выделения конвенционального контекста – и я полностью разделяю такую пресуппозицию – состоит в том, что языковое высказывание никогда не совершается только в языковой среде, последняя всегда встроена в социальную среду, и отбрасывать ее при определении референции индексикалов нельзя. Если опираться только на интенции совершающего высказывание – как это делает С. Пределли, – то определение семантически релевантного контекста будет носить субъективный характер, опора же на конвенции, принятые в каком-либо сообществе, позволяет от этой субъективности избавиться.

С точки зрения конвенционального подхода для определения референции индексикалов в записанном на автоответчик сообщении в «окружение» включается ситуация проигрывания сообщения на автоответчике, т.е. определенным образом закрепленная социальная практика, все участники которой знают характеры выражений, встречающихся в этом сообщении, и то, как определять содержание этих выражений, а именно: «сейчас» должно указывать на момент времени, в который звонящий слушает записанное сообщение, потому что именно в этом и состоит смысл использования автоответчика – уведомить звонящего о том, что в момент совершения им звонка владельцу автоответчика того нет на месте. В обеих рассмотренных историях с Джо и Беном именно социальная практика регулирует то, как определять референцию «я» в записке, прикрепленной к двери чьего-то кабинета: референтом «я» является тот, в чей кабинет ведет эта дверь. И именно эта социальная практика помогает студентам выбрать семантически релевантный контекст, определить референта «я» как Джо и не пытаться стучаться к нему в кабинет.

Таким образом, конвенциональный подход при определении референции «я» вслед за интенциональным подходом обращает внимание на коммуникативные ситуации, в которых отсутствует тождество между тем, кто совершает высказывание, и контекстуальным агентом – чего не наблюдается в каплановской семантике, но при этом сохраняет тождество между агентом и референтом – что наследуется как раз из каплановской семантики. Отличие конвенционального подхода от интенционального заключается лишь в том,

что обосновывает выбор семантически релевантного контекста – интенции совершающего высказывание или социальные конвенции.

К недостаткам такого конвенционального подхода относят имплицитно принимаемый тезис о тождестве успешной коммуникации и «схватывания» референции. Этот тезис предполагает, что коммуникация между двумя индивидами является успешной только при условии, что слушающий верно определил референцию всех выражений в высказывании говорящего [8]. Однако в реальной коммуникативной практике возможны ситуации коммуникативной удачи (названные так по аналогии с ситуациями эпистемической удачи), в которых «схватывания» референции не происходит, но информация, сообщаемая в высказывании, все равно приводит к совершению индивидами правильных действий. Обоснования тому, почему все-таки следует сохранять такое тождество, сторонники конвенционального подхода не приводят.

Еще одним недостатком конвенционального подхода является его своеобразная ригидность [7]. Отводя центральную роль при определении семантически релевантного контекста конвенциям, Э. Корацца, У. Фиш и Дж. Горветт фактически вынуждены признавать, что их подход сталкивается с трудностями при объяснении того, как возможны новые способы указания на объекты. Их подход успешно справляется с объяснением только устоявшихся способов указания, так как они обусловлены уже сложившейся социальной практикой. Но любая социальная практика носит изменчивый характер и порождает новые, ранее не существовавшие ситуации, в которых все равно требуется каким-то образом указывать на объекты (как, например, и произошло в свое время с появлением автоответчиков).

Избавиться от последнего недостатка пытается К. Ромден-Ромлук. Она также считает, что контекст высказывания и семантически релевантный контекст должны быть разведены, однако определять последний должны не социальные конвенции, а только коммуникативные конвенции, разделяемые участниками коммуникации. То есть семантически релевантным контекстом является контекст, который определяет тот, кто является «компетентным и внимательным», воспринимающим высказывание на основании «подсказок», которые оставляет ему тот, кто совершает высказывание.

Понятие «подсказок» К. Ромден-Ромлук заимствует у Х. Веттштайна [9] и понимает под ним множество способов, какими тот, кто совершает высказывание, может помочь тому, кто воспринимает высказывание, выявить семантически релевантный контекст. Сюда могут включаться убеждения воспринимающего, о которых известно тому, кто совершает высказывание, предшествующая история их взаимоотношений, возможные договоренности между ними и т.д.

Активность того, кто воспринимает высказывание, обладает не меньшей значимостью, чем активность того, кто совершает высказывание. Для успешной коммуникации не только последний должен оставить «подсказки», но и первый должен уметь их обнаружить и расшифровать. Именно поэтому К. Ромден-Ромлук утверждает, что тот, кто воспринимает высказывание, должен быть внимательным и обладать соответствующей компетенцией к расшифровке «подсказок».

Таким образом, коммуникация понимается К. Ромден-Ромлук как двусторонняя ситуация, в которой за «схватывание» референции выражений в

одинаковой степени отвечают как одна, так и другая сторона. И объяснить интуитивно правильное определение референции индексикалов без учета этой совместности невозможно. Сама К. Ромден-Ромлук не именует свой подход коммуникативным, однако, на мой взгляд, его вполне оправданно называть именно так, поскольку определение семантически релевантного контекста в нем регулируется коммуникативной практикой.

Проблема разграничения семантики и прагматики

В предыдущих секциях я продемонстрировала, что одно из основных положений каплановской семантики для индексикальных выражений – тождество между контекстом высказывания и семантически релевантным контекстом – выглядит сомнительным, поскольку, принимая это положение, не удастся объяснить некоторые случаи употребления индексикалов и, как следствие, возможность успешной коммуникации между тем, кто совершает высказывания с индексикалами, и тем, кто их воспринимает. Наиболее популярным решением этого затруднения мне видится модификация каплановской семантики, которую как раз и пытаются осуществить рассмотренные мной философы. Эта попытка реализуется за счет разграничения контекста высказывания и семантически релевантного контекста, в качестве которого могут выступать в зависимости от подхода интенциональный, конвенциональный или коммуникативный контексты.

Фактически на роль семантически релевантного контекста в каждом из этих подходов претендует совокупность факторов, которые многие склонны отнести к прагматическим: язык, на котором совершается высказывание, предыдущая история взаимоотношений между участниками коммуникации и т.д. В связи с этим одним из основных возражений пункту (2) из защищаемого мной тезиса может стать возражение о том, что на самом деле никто из сторонников различных подходов к определению референции индексикалов не стремился внести модификацию именно в семантику Д. Каплана. Напротив, сама семантика остается без изменений, делается лишь акцент на том, что в реальной практике коммуникации для правильного определения референции индексикалов необходимо учитывать прагматические факторы.

Я полагаю, что подобное возражение проистекает, прежде всего, из определенного традиционного представления о соотношении семантики и прагматики, которое отличается от представления, которое разделяю я и, возможно, сторонники рассмотренных мной подходов. Согласно традиционному представлению, то, как выражения указывают на объекты и положения дел внешнего мира, – предмет изучения семантики – не зависит от того, как эти выражения используются индивидами, – предмет изучения прагматики. Если это представление кажется радикальным, то его более умеренная версия предполагает, что семантика изучает то, что явно высказывается в высказывании, прагматика – то, что неявно присутствует в высказывании, иначе, подразумевается, но не высказывается. И анализ высказывания предполагает раздельное изучение его семантических и прагматических аспектов. В число последних и попадают язык, на котором совершается высказывание, аудитория, к которой обращено это высказывание, социальный статус совершающего высказывание и т.д. Но все это никак не влияет на «чистое» значение и референцию выражений, а потому не относится к семантике.

Неслучайно, схожее возражение было выдвинуто анонимным рецензентом статьи К. Ромден-Ромлук. Его суть заключалась в том, что на самом деле К. Ромден-Ромлук предлагает не семантический анализ референции индексикалов, а прагматический, так как в ходе этого анализа объясняется, каким образом индивиды понимают, что сообщается в высказывании, которое они воспринимают [7. Р. 279–280]. На это возражение К. Ромден-Ромлук отвечает, что определение значений языковых выражений и их референции – а именно этим и занимается семантика – всегда предполагает анализ коммуникации, в которой один индивид совершает высказывание, а другой его воспринимает и понимает. Эта связь семантики и коммуникации обосновывается тем, что успешную коммуникацию К. Ромден-Ромлук склонна понимать как коммуникацию, в которой воспринимающий «схватывает» ту же самую пропозицию, что высказал говорящий, и этот процесс «схватывания» невозможно объяснить без обращения к семантическим профилям выражений, встречающихся в высказываниях. Далее она отмечает, что ее подход опирается на понятие идеального воспринимающего высказывание, который как раз и «схватывает» пропозицию, сообщаемую ему тем, кто совершает высказывание и оставляет «подсказки» для его расшифровки. То, что поймет реальный воспринимающий высказывание в реальной коммуникативной ситуации, не всегда совпадает с тем, что должен понять идеальный¹ воспринимающий высказывание в идеальной коммуникативной ситуации. Но только последнее определяет значение выражений, и потому должно считаться семантическим анализом; первое же предполагает анализ прагматический.

Я допускаю, что сходную защитительную позицию могли бы занять и сторонники интенционального и конвенционального подходов. Так как выделение отдельного вида контекста помимо контекста высказывания нацелено на то, чтобы объяснить, как возможно интуитивно правильное приписывание истинностных значений высказываниям, – а это предполагает определение референции индексикалов в этих высказываниях, то речь идет о семантическом анализе. Согласно представлению, которое разделяю я, семантика – это то, что связано с определением референции выражений и последующим определением истинностных условий высказываний, и, если интенции совершающего высказывание и/или социальные конвенции помогают эту референцию определить, значит, перед нами семантический анализ [10. Р. 301]. Прагматическим он станет только тогда, когда мы обратимся к реальной практике определения референции (успешной и неуспешной) реальными индивидами. Тот факт, что в область семантических изысканий включаются факторы, традиционно относимые к области изысканий прагматики, свидетельствует как раз о том, что в основании таких подходов лежит совсем иное представление о соотношении семантики и прагматики, чем то, которое принято в традиции, и такое соотношение, на мой взгляд, является более корректным.

Список источников

1. Kaplan D. Demonstratives // Themes from Kaplan / ed. by J. Almog, J. Perry, H. Wettstein. Oxford : Oxford University Press, 1989. P. 481–563.

¹ Тот, который внимательно воспринимает высказывание и обладает соответствующей компетенцией для расшифровки «подсказок», оставляемых ему.

2. Sidelle A. The Answering Machine Paradox // *Canadian Journal of Philosophy*. 1991. Vol. 21. P. 525–539.
3. Predelli S. I Am Not Here Now // *Analysis*. 1998. Vol. 58. P. 107–112.
4. Smith Q. The Multiple Uses of Indexicals // *Synthese*. 1989. Vol. 78. P. 167–191.
5. Colterjohn J., MacIntosh D. Gerald Vision and Indexicals // *Analysis*. 1987. Vol. 47. P. 58–60.
6. Corazza E., Fish W., Gorvett J. Who is I? // *Philosophical Studies*. 2002. Vol. 107. P. 1–21.
7. Romdenh-Romluc K. «I» // *Philosophical Studies*. 2006. Vol. 128. P. 257–283.
8. Åkerman J. Communication and Indexical Reference // *Philosophical Studies*. 2010. Vol. 149. P. 355–366.
9. Wettstein H. How to Bridge the Gap between Meaning and Reference // *Synthese*. 1984. Vol. 58. P. 63–84.
10. Predelli S. I Am Still Not Here Now // *Erkenntnis*. 2010. Vol. 74. P. 289–303.

References

1. Kaplan, D. (1989) Demonstratives. In: Almog, J., Perry, J. & Wettstein, H. (eds) *Themes from Kaplan*. Oxford: Oxford University Press. pp. 481–563.
2. Sidelle, A. (1991) The Answering Machine Paradox. *Canadian Journal of Philosophy*. 21. pp. 525–539.
3. Predelli, S. (1998) I am not Here Now. *Analysis*. 58. pp. 107–112.
4. Smith, Q. (1989) The Multiple Uses of Indexicals. *Synthese*. 78. pp. 167–191.
5. Colterjohn, J. & MacIntosh, D. (1987) Gerald Vision and Indexicals. *Analysis*. 47. pp. 58–60.
6. Corazza, E., Fish, W. & Gorvett, J. (2002) Who is I? *Philosophical Studies*. 107. pp. 1–21.
7. Romdenh-Romluc, K. (2006) “I”. *Philosophical Studies*. 128. pp. 257–283.
8. Åkerman, J. (2010) Communication and Indexical Reference. *Philosophical Studies*. 149. pp. 355–366.
9. Wettstein, H. (1984) How to Bridge the Gap between Meaning and Reference. *Synthese*. 58. pp. 63–84.
10. Predelli, S. (2010) I Am Still Not Here Now. *Erkenntnis*. 74. pp. 289–303.

Сведения об авторе:

Козырева О.А. – кандидат философских наук, ассистент кафедры онтологии и теории познания Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). E-mail: olgakozyreva@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kozyreva O.A. – Cand. Sci. (Philosophy), assistant of the Department of Ontology and Theory of Knowledge, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: olgakozyreva@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 04.04.2022;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022

The article was submitted 04.04.2022;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научная статья

УДК 165.0

doi: 10.17223/1998863X/67/24

КОНТЕКСТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И «ОТЛОЖЕННАЯ» ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Петр Сергеевич Куслий

Институт философии РАН, Москва, Россия, kusliy@iph.ras.ru

Аннотация. В данном комментарии на статью О.А. Козыревой указывается на ряд аспектов, которые, по его мнению, требуют более детальной экспликации и обоснования. В частности, речь идет о той теории, которую предлагает Козырева для детерминации семантики индексных выражений в свете исследуемых ею сложных случаев, а также о том, почему именно следствиями такой теории становятся фундаментально иные отношения между семантикой и прагматикой. Также показывается, что сложные случаи, подобные тем, что Козырева обсуждает применительно к семантике индексных выражений, возможны и без участия таковых, и поэтому сама проблема не ограничивается вопросом об анализе этих выражений. Предлагается обсуждение проблематики в терминах различия между высказываниями типами (с постоянным лексическим содержанием) и высказываниями-токенами, содержание которых детерминируется контекстом ситуативно. Предлагается точка зрения, при которой описанные Козыревой сложные случаи могут быть успешно описаны в рамках традиционной семантики в духе Каплана.

Ключевые слова: семантика, контекст, отложенная интерпретация, типы и токены, прагматика

Для цитирования: Куслий П.С. Контекстная зависимость и «отложенная» интерпретация // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 282–286. doi: 10.17223/1998863X/67/24

Original article

CONTEXT DEPENDENCE AND DEFERRED INTERPRETATION

Petr S. Kusliy

*Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation,
kusliy@iph.ras.ru*

Abstract. In this commentary on Olga Kozyreva's paper, the author points at aspects that require a more detailed discussion and justification. The author argues that Kozyreva does not lay out her proposed theory explicitly enough for one to assess how justified her broader conclusions are. If the denotation of an indexical is indeed constructed by both the speaker and the hearer, as Kozyreva suggests, then it is not clear how communication is possible assuming that communication is about transmitting content from one individual to another. The speaker must be able to construct a statement and convey its meaning to the hearer. The author also shows that the problematic cases discussed by Kozyreva in relation to the semantics of indexicals arise in cases without indexicals. The author thus argues that the explored phenomenon is broader than the semantics of indexicals. One example is the present tense in Russian, which is known for not being indexical. However, Russian puzzles that are identical to the ones described by Kozyreva are indexical. The author proposes to discuss the matter in terms of types and tokens of linguistic expressions. He outlines an approach according to which the problematic cases can be dealt with in terms of the familiar

Kaplan-style semantics and Gricean pragmatics. The main point in this proposal is that maybe in the problematic cases the person who wrote the note was cooperative and assumed the context of the hearer. That person thus did not make any assertion in their own context of writing the note, but rather constructed a token for the context in which the hearer would be reading it. When the hearer (the recipient of the note) reads it, they assume that the speaker (the author of the note) was cooperative and thus could not construct a token that would be read as a contradiction in their own context. Thus, the hearer reasons, the (temporal) context that was originally assumed for the token is their current context. In more complicated cases, the speaker can reason even further: if the token they are dealing with still does not make sense in their current context, then they assume that the person who constructed the token intended some other more suitable context. The bottom line here is that it remains unclear why the problematic cases cannot be dealt with in terms of extralinguistic pragmatic factors such as manipulation of the contextual parameter that the communicators engage in.

Keywords: semantics; context; deferred interpretation; types and tokens; pragmatics

For citation: Kusliy, P.S. (2022) Context dependence and deferred interpretation. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 282–286. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/24

Автор предлагает описание дискуссий вокруг каплановской семантики для индексных терминов, в которых вопрос о природе контекстной зависимости денотата оказывается нетривиальным. В них рассматриваются случаи, когда утверждения «Я сейчас не здесь» («Меня сейчас здесь нет») употребляются корректно и воспринимаются как истинные утверждения. В предложенной экспозиции дискуссий вопрос о семантике индексных выражений в предложениях указанного типа представлен как становящийся все более сложным при переходе от одних ситуаций употребления к другим. Обсуждаются концепции, в которых денотат термина «сейчас» оказывается зависимым от контекста считывания (восприятия этого утверждения слушающим/читающим), от интенции того, кто использует этот термин (говорящего/пишущего), наконец, как некий результат вклада со стороны говорящего и со стороны слушающего (когда, по словам автора, «за „схватывание“ референции выражений в одинаковой степени отвечает как одна, так и другая сторона»).

Насколько можно понять, сама автор склоняется именно к этой последней точке зрения на проблему: денотат индексного выражения должен, во-первых, быть общим содержанием для сообщающего и воспринимающего и, во-вторых, конструироваться с участием каждого из них или как-то иначе согласовываться с их действиями (действием сообщающего по кодированию содержания и действием воспринимающего по его декодированию). Таким образом, денотат индексного выражения (как, собственно, и содержание того утверждения, в которое он входит) оказывается производным от некоторой коммуникативной ситуации. При этом речь не идет о прагматических процессах, так как исследуется именно процедура придания языковому выражению его денотата. И поскольку эта процедура оказывается зависимой от таких факторов, как взаимодействие сообщающего и воспринимающего, она, по мнению автора, свидетельствует о необходимости пересмотреть традиционное разграничение между семантикой и прагматикой в сторону допущения прагматических механизмов в сфере семантики.

Для меня осталось непонятным, в чем, собственно, суть данного подхода: какие именно коммуникативные процессы и как позволяют воспринима-

ющему в описанных в статье ситуациях схватывать ту же самую пропозицию, которая вкладывалась сообщаемым? Нет ли здесь изначально противоречия или круга: если семантическое содержание выражения зависит от коммуникативного вклада обоих, то как же возможна коммуникация, т.е. передача конкретного содержания от одного индивида другому и задание нужного содержания сообщаемым еще до того, как воспринимающий вступил в дело?

Также автор не поясняет, как именно, с ее точки зрения, должны в рамках импонирующего ей подхода разрешаться те проблемные ситуации, о которых она пишет. Поэтому открытым остался вопрос о том, какое конкретное объяснение предлагается в итоге для примера с запиской, которую пишет Джон своей жене, которая при этом прочитывает ее не в шесть часов (как рассчитывал Джон), а в десять. О каком схватывании конкретной пропозиции можно здесь говорить и за счет чего? То же самое, по-моему, касается и ситуации с Беном, вешающим записку на дверь Джо. Ведь тут мы имеем дело уже не с уточнением денотата термина «сейчас», а с идентификацией денотата термина «я». И как конкретно автор предлагает объяснять эти случаи? Как их отличать от случаев коммуникативной удачи, о которых она упоминает?

Без более четкого понимания позиции автора по этим вводимым ею же пунктам обсуждения ее позиция остается не вполне понятной, в лучшем случае предлагается обзор ряда сложных случаев из литературы с указанием (в довольно абстрактных терминах) на то, в какой области могут быть найдены решения для этих сложных случаев, и намеком (тоже в довольно общих терминах) на то, что такие решения могут значить для проблемы разграничения сфер семантики и прагматики.

При этом хотелось бы заметить, что наблюдения, обсуждаемые в статье применительно к индексным выражениям, возможно провести и применительно к выражениям, не являющимся индексными. Это видно уже на примерах, подобных тем, что обсуждает автор. Ведь русское выражение «сейчас», в отличие от английского «now», насколько я могу судить, не является индексным: предложение «Ваня сказал, что Маша сейчас дома» может быть истинным в ситуации, где подразумевается, что Маша дома в момент, когда Ваня делал свое утверждение, а не в момент произнесения всего сообщения о пропозициональной установке. Поэтому русскоязычные аналоги рассмотренных примеров с «сейчас», по-видимому, не следует вообще рассматривать как случаи употребления индексного выражения (в той мере, в которой обсуждение касается слова «сейчас»). Более того, кажется, что те же самые вопросы могут возникнуть, если слово «сейчас» вообще убрать из записки, описываемой в примере. Записка «Я у соседа», которую, допустим, обнаруживает жена, похоже, ставит все те же проблемы без каких-либо индексных выражений. Указанное русскоязычное предложение сформулировано в настоящем времени, которое (в отличие от большинства случаев употребления английского Present tense) также не является индексным, как продемонстрировано все тем же вышеприведенным сообщением (вложенное предложение содержит настоящее время «Маша дома», но требования ее пребывания дома в момент произнесения нет).

Лексическое значение русского настоящего времени, таким образом, не включает в себя пересечение со временем контекста произнесения. По своему лексическому значению (т.е. по тому вкладу, которое оно делает в условия

истинности предложений, в которые входит) русское настоящее время, скорее, привносит элемент одновременности с некоей локальной «точкой отсчета» (известной в литературе как *local evaluation time*). В придаточном сложноподчиненного предложения оно означает одновременность с временем события, описываемого глаголом главного предложения (ибо именно глагол задает локальную временную точку отсчета для денотата придаточного предложения), а в простом предложении («Я у соседа») оно говорит об одновременности с временем контекста, которое здесь служит локальной точкой счисления. Таким образом, как мне кажется, для продуктивного обсуждения обозначенных проблемных случаев нам не обязательно говорить о так называемых индексных выражениях.

Разумеется, влияние контекста для данных головоломок остается значимым. По-видимому, важным различием, которое здесь релевантно, является различие между типом и токеном, которое само по себе содержит много нерешенных проблем (см., например: [1]). Контекст можно рассматривать как фактор, придающий конкретное семантическое содержание высказыванию-токену, обладающему тем или иным лексическим значением, апеллирующему к контексту. Так, предложение «Я у соседа» будет в разных контекстах иметь токены, выражающие разные пропозиции. Тогда о контексте можно попробовать поговорить как о том, что детерминирует денотат конкретного токена.

Данное различие можно использовать для описания того, что происходит в ситуациях «отложенного» использования или «отложенной» интерпретации. Зная лексическое содержание термина, сообщаящий исходит из того контекста, в котором выражение будет воспринято, а не того, в котором оно им записывается. Можно допустить, что сообщаящий вообще не делает в таких ситуациях никакого утверждения, содержание которого транслировалось бы воспринимающему, а скорее готовит некоторую формулировку для последующей интерпретации воспринимающим.

Такого рода языковое поведение представляется мне вполне естественным для описанных ситуаций, особенно с учетом осознания сообщаемым отличия того контекста, в котором будет находиться воспринимающий, от текущего контекста сообщателя. Поэтому я пока не вижу причин, почему эти ситуации должны вызывать серьезные проблемы для семантики или требовать пересмотра способов ее взаимодействия с прагматикой.

Иными словами, на материале представленного исследования мне сложно увидеть, почему примеры с «отложенным» использованием обязательно имеют отношение к семантике и не связаны с экстралингвистическими (прагматическими) факторами. Так, например, пытаюсь быть максимально кооперативным, сообщаящий исходит из контекста воспринимающего, который он заранее моделирует. Воспринимающий сталкивается с ситуацией, в которой он видит однозначно ложное (и неинформативное) утверждение, если исходить из допущения, что сообщаящий учитывал свой собственный контекст, когда формулировал это сообщение. Это значило бы, что сообщаящий некооперативен. Допущение об изначальной кооперативности сообщателя дает основание для воспринимающего провести некую процедуру аккомодации и понять, что релевантный контекст – это не контекст формулировки, а контекст считывания. В ситуации с запиской, которую Джон пишет своей жене, а та читает ее не в то время, когда Джон изначально планировал,

такая аккомодация, как мне представляется, тоже возможна через еще один дополнительный шаг: жена понимает, что ее собственный контекст (десять часов вечера) оказывается также неподходящим, и, сохраняя допущение о кооперативности мужа, выбирает контекст, который будет более подходящим с учетом их общего знания о расписании друг друга и т.д.

В заключение могу сказать, что обсуждаемый материал, действительно, весьма интересен и, насколько я понимаю, не учитывался в рамках стандартной формулировки семантики для индексных выражений. Однако вопрос о том, действительно ли он представляет серьезную проблему для этой стандартной семантики, требуя пересмотра ряда ее фундаментальных параметров, или же может несложным образом быть объясненным в рамках ее базовых допущений, лично для меня пока остается открытым.

Список источников

1. Черняк А.З. О семантической референции и референции говорящего // Эпистемология и философия науки. 2022. Т. 59, № 2. (В печати.)

References

1. Chernyak, A.Z. (2022) On semantic reference and speaker's reference. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 59(2). (In Russian). [In print].

Сведения об авторе:

Куслий П.С. – кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Институт философии РАН (Москва, Россия). E-mail: kusliy@iph.ras.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kusliy P.S. – Cand. Sci. (Philosophy), senior research fellow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation). E-mail: kusliy@iph.ras.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 04.04.2022;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 04.04.2022;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022*

Научная статья

УДК 165.0

doi: 10.17223/1998863X/67/25

ПОНИМАНИЕ КАК ВЫЧИСЛЕНИЕ

Олег Анатольевич Доманов

Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия, domanov@philosophy.nsc.ru

Аннотация. Предложение О.А. Козыревой переосмыслить отношения семантики и прагматики на основе обращения к анализу коммуникации интересно и плодотворно, но опирается на неясные основания. В данной статье предлагается другое обоснование, опирающееся на вычислительную метафору в семантике, рассматривающую понимание как вычисление.

Ключевые слова: семантика естественного языка, теория типов, понимание как вычисление

Для цитирования: Доманов О.А. Понимание как вычисление // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 287–291. doi: 10.17223/1998863X/67/25

Original article

UNDERSTANDING AS COMPUTATION

Oleg A. Domanov

Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation, domanov@philosophy.nsc.ru

Abstract. Olga Kozyreva reviews approaches to the conceptualization of indexical and demonstrative expressions and suggests that we re-think the relationship between semantics and pragmatics to better comprehend referential effects peculiar to these expressions. The new division that she proposes relies on the difference between the notions of the ideal recipient and real recipients of the message. This difference seems highly problematic although her resort to the analysis of communication and language usage is on the contrary well based and suggestive. This article deals with an alternative justification of the suggested rethinking based on the computational metaphor in semantics. This metaphor depicts understanding as a computational process resulting in meaning and reference. In terms of type theory meanings are types and references are terms of these types. Language expressions are programs to be compiled and run by the recipient in order to obtain the meaning packed in them by the sender. Understanding is therefore a part of communication activity and is closely intertwined with pragmatics. This explains Kozyreva's introducing pragmatic notions into semantics. At the same time, this leaves room for pragmatics proper if we understand it as the study of language usage other than meaning communication.

Keywords: natural language semantics, type theory, understanding as computation

For citation: Domanov, O.A. (2022) Understanding as computation. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 287–291. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/25

Проблема референции индексикалов является частью более широкой проблемы зависимости референции и смысла языковых выражений от усло-

вий и обстоятельств их употребления. Ольга Козырева в своей статье, проводя обзор основных подходов к решению проблемы, ориентируется именно на этот более широкий контекст. Это позволяет ей выйти на общую проблему определения и различения семантики и прагматики. Для решения проблемы референции она предлагает «включить в число семантических факторов» некоторые условия, традиционно считающиеся прагматическими (интенции, конвенции и пр.). Это предполагает переосмысление отношений между семантикой и прагматикой. К сожалению, в чем состоит это переосмысление, не вполне ясно. С одной стороны, автор в завершение статьи утверждает, что анализ становится прагматическим, «когда мы обратимся к реальной практике определения референции (успешной и неуспешной) реальными индивидами». С другой же стороны, в семантическом анализе мы принимаем во внимание «интенции совершающего высказывание и/или социальные конвенции». Различие здесь опирается на заимствованное у К. Ромден-Ромлук понятие идеального воспринимающего высказывание, который, по предположению, понимает высказывание «правильно», и тогда анализ его понимания относится к семантике. Реальный же воспринимающий может понять высказывание иначе – т.е. «неправильно», и тогда анализ его понимания относится к прагматике. Это различие идеального и реального понимания не кажется мне ясным. Структурно, в том и другом случае понимание происходит одинаково, и различие, в конечном итоге, опирается на различие контекстов – «правильного» и «неправильных». Первый из них это предполагаемый контекст интерпретации идеального воспринимающего, тогда как вторые – контексты возможных реальных воспринимающих. Однако если мы забудем об этом отличии идеального и реального контекстов, то весь остальной анализ смысла и референции выражений окажется совершенно одинаковым. Таким образом, семантический анализ отличается от прагматического лишь тем, что мы проводим его, выбирая определенный (идеальный или «правильный») контекст. Такой подход возможен, однако он не кажется мне полезным. Тем не менее само обращение автора к понятию коммуникации и попытка переосмысления отношений прагматики и семантики, напротив, представляются очень интересными. Попробуем в этой статье продлить ее анализ немного в другом направлении.

Мы сталкиваемся здесь с реальной трудностью. Она состоит в том, что понимание само является действием. Если прагматика занимается использованием языка, то понимание и передача смысла также относятся к прагматике – просто потому, что являются разновидностью использования языка, а именно использования его в коммуникации. «Понимание смысла» – это лишь один из возможных актов, а понимание языкового выражения – один из способов использования этого выражения. Таким образом, семантическое исследование оказывается тесно переплетенным с прагматическим исследованием. Чтобы разобраться в их отношениях, воспользуемся тем, что можно назвать вычислительной метафорой в семантике.

Согласно этому взгляду, понимание рассматривается как вычисление. При этом речь идет не о «формализации понимания», а о том, что само понимание является формальной вычислительной процедурой (ср.: [1. Р. 222]). Язык вообще используется для передачи смысла (смысл языкового выражения – очень широкое и плохо определенное понятие; здесь мы ограничимся

смыслом декларативных предложений, которые интуитивно описывают положения дел или ситуации). Поскольку прямой доступ к сознанию другого человека невозможен, и мы не можем просто вложить в другого то, что мы хотим сказать, эта передача происходит посредством вспомогательного инструмента, которым является язык. Для этого передаваемый смысл кодируется в виде текста, подчиняющегося определенным синтаксическим правилам. Этот текст затем передается другому и декодируется им, чтобы получить в результате передаваемый смысл (заметим, что Козырева также говорит о «своего рода „расшифровке“ „отложенного“ ранее высказывания»). Вычислительная метафора описывает этот процесс как создание программы, которая передается получателю и затем компилируется и выполняется им. Таким образом, понимание состоит из трех этапов: 1) предварительный этап парсинга или синтаксического разбора, 2) компиляции, 3) исполнения. На этапе компиляции формируется программа, которая затем может быть исполнена. При этом программа выполняется в определенном *окружении* (environment), и ее результат зависит от этого окружения (это не вполне точное утверждение, но мы сейчас опустим соответствующие детали). Таким образом, компиляция не просто переводит с естественного языка на язык, «понятный компьютеру», но и разделяет программу как процедуру вычисления и окружение, в котором это вычисление происходит.

Язык, описывающий вычисление и результирующее положение дел, должен быть дан заранее (он, в этом смысле, «интуитивно понятен»). Зачастую в качестве него выбирают язык теории множеств, однако по некоторым причинам (см. об этом, например, [2]) для семантики более удобен язык теории типов [3]. Теория типов может служить языком как логики, так и программирования [4. Р. 13 sqq.]. Тип задается объектами, которые могут быть к нему отнесены, в частности, правилами построения таких объектов. Простые типы интуитивно понятны, а сложные строятся из них по заранее определенным правилам. С точки зрения семантики смысл соответствует типу, и разбор сложного типа является редукцией к интуитивно понятному (к простым типам). Объекты (или термы) типов соответствуют значениям, вообще говоря, зависящим от окружения. Все это может быть также описано в терминах ситуаций и положений дел. Тогда тип ситуации описывает типы ее объектов и отношения между ними (т.е. смысл декларативного предложения), а конкретная ситуация является термом или значением и состоит из объектов, определяемых контекстом или окружением. В рамках парадигмы «пропозиция-как-тип, доказательство-как-программа» [5, 4] программа представляет собой процедуру построения объекта, тип которого задает спецификацию (цель) программы. Таким образом, в функциональных языках программирования, основанных на теории типов, программа представляет собой процедуру построения ситуации (т.е. смысла), а результат выполнения этой программы – саму эту ситуацию (т.е. значение или референцию). При этом многие понятия, известные из компьютерных наук, переносятся в область семантики, образуя основу вычислительной метафоры в семантике. Последняя конкретизирует связь семантики и коммуникации, на которую указывает Козырева, и позволяет, как я надеюсь, уточнить предлагаемый в статье подход. Действительно, скомпилированную программу, как мы видим, можно рассматривать как смысл текста, а окружение – как контекст, от которого зависят конкрет-

ные референции. Компиляция соответствует вычислению смысла или типов, заданных выражениями языка, исполнение же является вычислением значений, или объектов (термов), существование которых утверждается или выводится в тексте. Эти этапы не обязаны быть последовательными, мы можем двигаться от смысла к значениям (и к синтаксису) и обратно, уточняя и то, и другое. Но это не герменевтическое движение. Мы в самом начале имеем варианты синтаксиса и затем лишь проверяем каждый из них на возможность интерпретации, отбраковывая те, что не могут получить значения в данном окружении.

Существенно, что при написании программы (создании текста) составитель может иметь в виду окружение, в котором она будет исполняться; и это окружение либо совпадает с окружением самого составителя, либо может существенно отличаться от него. «Семантически релевантным контекстом» служит тогда предполагаемый контекст (окружение) компиляции и исполнения программы. Разумеется, при этом возможны разночтения, когда предполагаемый при составлении контекст не совпадает с актуальным контекстом расшифровки. В случае письменного языка особенно ясно, что контекст формирования высказывания не обязан совпадать с контекстом его интерпретации. Уже Платона это заставляло с подозрением относиться к письму, в котором автор текста часто отсутствует и поэтому не несет ответственности за него. Однако с точки зрения семантического исследования вряд ли имеется принципиальное различие между предполагаемым контекстом и любым другим. Текст обладает определенной самостоятельностью, и вполне законно рассматривать его семантику в любом контексте. Например, составитель сообщения явным образом оперирует с контекстом и предполагает, каким образом оно будет дешифровано получателем. Соответственно, он может принимать это во внимание и добиваться нужного результата дешифровки. Так, например, возможен обман или передача одним и тем же текстом разных сообщений разным получателям. Что в таком случае служит «семантически релевантным контекстом»?

Таким образом, семантика предполагает коммуникацию как передачу смысла и требует рассмотрения использования языковых выражений в различных контекстах. При этом вполне остается место и для прагматики. Ее можно понимать как исследование других способов использования, помимо понимания и передачи смысла, таких как воздействие на собеседника, запрос информации, решения своих психологических проблем и др. Тогда зависимость от контекста, несмотря на то, что она связана с использованием языка, будет относиться не к прагматике, а к семантике. В этом случае предложение Козыревой о включении в семантику некоторых понятий, традиционно понимаемых как прагматические, получает свое обоснование.

Список источников

1. *Montague R.* Universal Grammar // *Formal Philosophy : Selected Papers of Richard Montague*. New Haven ; London : Yale University Press, 1974. P. 222–246.
2. *Ranta A.* Type-theoretical grammar. Clarendon Press, 1994. 226 p.
3. *Martin-Löf P.* An Intuitionistic Type Theory : Notes by Giovanni Sambin of a series of lectures given in Padua, June 1980. Napoli : Bibliopolis, 1984. 91 p.
4. *Eades H.* Type Theory and Applications. 2012. URL: <https://metatheorem.org/includes/pubs/comp.pdf> (accessed: 20.03.2022).

5. Howard W.A. The formulae-as-types notion of construction // To H.B. Curry: Essays on Combinatory Logic, Lambda Calculus and Formalism. Boston : Academic Press, 1980. P. 479–490.

References

1. Montague, R. (1974) *Formal Philosophy: Selected Papers of Richard Montague*. New Haven, London: Yale University Press. pp. 222–246.
2. Ranta, A. (1994) *Type-theoretical grammar*. Oxford: Clarendon Press.
3. Martin-Löf, P. (1984) *An Intuitionistic Type Theory: Notes by Giovanni Sambin of a series of lectures given in Padua, June 1980*. Napoli: Bibliopolis.
4. Eades, H. (2012) *Type Theory and Applications*. [Online] Available from: <https://metatheorem.org/includes/pubs/comp.pdf> (Accessed: 20th March 2022).
5. Howard, W.A. (1980) The formulae-as-types notion of construction. In: Seldin, J.P. & Hindley, J.R. (eds) *To H. B. Curry: Essays on Combinatory Logic, Lambda Calculus and Formalism*. Boston: Academic Press.

Сведения об авторе:

Доманов О.А. – кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Институт философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия). E-mail: domanov@philosophy.nsc.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Domanov O.A. – Cand. Sci. (Philosophy), Senior Research Fellow, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: domanov@philosophy.nsc.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 04.04.2022;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 04.04.2022;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научная статья

УДК 160.1

doi: 10.17223/1998863X/67/26

ИНДЕКСИКАЛЫ, СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА

Евгений Васильевич Борисов

Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия, borisov.evgeny@gmail.com

Аннотация. Представлен комментарий на три тезиса, сформулированных О.А. Козыревой: 1) семантика Каплана определяет коммуникативно релевантные (для различных коммуникативных ситуаций) контексты, 2) семантика Каплана требует модификации, потому что неверно определяет коммуникативно релевантные контексты, 3) употребление индексикалов в естественной речи показывает, что традиционное разграничение семантики и прагматики требует пересмотра. Приводятся доводы, что вопрос о коммуникативно релевантных контекстах выходит за рамки семантики Каплана, и это опровергает первый тезис Козыревой. Кроме того, основывается, что, хотя ее второй тезис верен, это обусловлено не теми причинами, на которые указывает Козырева. Наконец, утверждается, что третий тезис не получает в статье Козыревой достаточного основания.

Ключевые слова: индексикал, характер, контекст, референт, семантика, прагматика, Каплан

Для цитирования: Борисов Е.В. Индексикалы, семантика и прагматика // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 292–298. doi: 10.17223/1998863X/67/26

Original article

INDEXICALS, SEMANTICS, AND PRAGMATICS

Evgeny V. Borisov

Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation, borisov.evgeny@gmail.com

Abstract. The paper presents commentaries on three claims put forward in Kozyreva's paper under discussion. (1) Kozyreva claims that Kaplan's semantics defines communicatively relevant contexts for situations. I challenge this claim by showing that concepts like *communicative situation* and *communicatively relevant context* are semantically irrelevant. Thus the question "What is the communicatively relevant context in a given situation?" lies beyond the scope of Kaplan's semantics. (2) According to Kozyreva, Kaplan's semantics should be modified because it provides an incorrect answer to the question above. I agree with her in that a modification of Kaplan's semantics is needed, but I suggest this need is caused by another reason, namely by the fact that Kaplan's concept of context is too narrow to reflect all contexts involved in everyday communication. In Kaplan, the set $\{a, t, l, w\}$ (a is an agent, t is a time, l is a location, and w is a possible world) is a context only if a is in l at t in w . Predelli suggests dropping this restriction so that any set containing an agent, a time, a location, and a possible world should be considered a context. In my view, this solution allows us to accommodate contexts involved in answering machine scenario and other situations examined by Kozyreva. (3) Finally, in the light of the received distinction between semantics and pragmatics, the concept of a communicatively relevant context belongs to pragmatics. Kozyreva disagrees: she claims that the received distinction should be revised. In my view, this claim (as well as Romdenh-Romluc's claim cited by Kozyreva) is erroneous

because it is based on a confusion of two questions: “How do we understand sentences?” and “How do we understand utterances of sentences?”.

Keywords: indexical, character, context, reference, semantics, pragmatics, Kaplan

For citation: Borisov, E.V. (2022) Indexicals, semantics, and pragmatics. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 292–298. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/26

Обсуждаемая статья Ольги Козыревой [1] посвящена чрезвычайно интересной проблеме – проблеме референции индексикальных выражений в естественной речи. Как показывает Козырева и авторы, на которых она ссылается, многие случаи употребления индексикалов в коммуникации ставят под вопрос некоторые стереотипные представления относительно референции индексикалов, такие как представление, что слово «я» всегда указывает на того, кто его произносит/пишет. Статья Козыревой содержит систематический обзор существующих позиций по данной проблеме и ряд интересных идей, заслуживающих детального обсуждения. Некоторые из ее идей мне представляются спорными, и моя реплика имеет полемический характер. Я прокомментирую следующие три тезиса Козыревой:

(1) Семантика Каплана определяет коммуникативно релевантный контекст для любой коммуникативной ситуации.

(2) Семантика Каплана требует модификации, потому что определяет коммуникативно релевантные (для тех или иных ситуаций) контексты неверно.

(3) Необходимая модификация семантики Каплана приводит к пересмотру разграничения семантики и прагматики.

По моему мнению, тезис (1) неверен; тезис (2) верен, но не по тем причинам, которые приводит Козырева; тезис (3) не получил достаточного обоснования.

Предварительные замечания

Я буду использовать понятие *коммуникативно релевантного контекста*. Рассмотрим следующую ситуацию: мой собеседник, с которым я гуляю по городу, говорит: «Я бы выпил чашку кофе». Поскольку его реплика содержит индексикал «я», для ее интерпретации необходим контекст¹. Я могу выбрать любой контекст, но очевидно, что выбор одного определенного контекста приведет к успеху коммуникации в данной ситуации, тогда как выбор других приведет к ее неудаче². Чтобы коммуникация была успешной, я должен выбрать контекст {мой визави, время беседы, место, где мы находимся, действительный мир}. Назовем этот контекст коммуникативно релевантным в

¹ В данной дискуссии речь идет о контекстах в смысле Каплана. У Каплана [2. Р. 88–89; 3. Р. 543–544] контекст (в некоторой модельной структуре) – это множество $\{a, t, l, w\}$, где a – агент, t – время, l – место, w – возможный мир, причем a находится в l в t в w (в данной модельной структуре). Требование, что a находится в l в t в w является спорным; этот момент обсуждается ниже. Говоря о семантике Каплана, я буду опираться прежде всего на ее формальную версию, изложенную в статье «On the Logic of Demonstratives» [2. Р. 88–97] и монографии «Demonstratives...» [3. Р. 543–553]. Этот выбор мотивирован тем, что формальная версия семантики в краткой и систематичной форме резюмирует семантические исследования Каплана.

² Критерии успеха коммуникации – это отдельная тема. Здесь будет достаточно интуитивно очевидного тезиса, что в описанной ситуации для успеха коммуникации необходимо, чтобы я понял, что мой приятель хочет выпить чашку кофе.

данной ситуации. Если же я выберу, например, контекст {Пушкин, 1830 г., Санкт-Петербург, действительный мир}, я пойму реплику моего визави в том смысле, что Пушкин в 1830 г. хотел выпить кофе, т.е. я пойму реплику моего приятеля неверно, что сделает коммуникацию неудачной. Теперь мы можем определить понятие коммуникативно релевантного в той или иной ситуации контекста: это контекст для интерпретации реплики говорящего слушателем, обеспечивающий успех коммуникации в данной ситуации. Козырева называет коммуникативно релевантные контексты *семантически релевантными*. Ниже я покажу, что это наименование неудачно.

В рамках данной дискуссии можно использовать упрощенную версию каплановской семантики индексикалов. Представлю эту версию, отталкиваясь от следующего пассажа из статьи Козыревой: «Содержание... это функция, аргументом которой являются условия оценки, а значением – экстенсионал. По сути, содержание – это объект...» [1. С. 269–281] Это неудачная формулировка: конечно, содержание – это функция, но функция не может быть объектом, даже «по сути». Предполагаю, что Козырева имела в виду следующее: по Каплану, содержание индексикала (в некотором контексте) – это *константная функция*, которая все условия оценки (т.е. все пары вида <время, возможный мир>) отображает на один и тот же объект [2. Р. 84]. Как замечает Пределли [5. С. 290], в рамках обсуждаемой темы можно упростить семантику Каплана применительно к индексикалам: мы можем определить характер индексикала как функцию от контекстов к референтам (а не к константным функциям). Например, пусть f – характер «я», c – контекст, c_A агент c . Тогда в семантике Каплана $f(c)$ – это константная функция, отображающая все условия оценки на c_A ; в ее упрощенной версии $f(c)$ – это c_A . Ниже я использую эту – упрощенную по Пределли – версию семантики Каплана (судя по приведенной цитате, ее использует и Козырева).

Комментарий к (1)

Козырева приписывает семантике Каплана «положение о тождестве между контекстом высказывания и семантически релевантным контекстом» [1. С. 269–281]. Здесь «высказывание» – это эквивалент английского «utterance»¹, т.е. акт произнесения или написания некоторого предложения; контекст высказывания – это контекст, в котором производится высказывание; семантически релевантный контекст – это контекст, который я выше назвал коммуникативно релевантным. Итак, по мнению Козыревой:

(а) Семантическая теория Каплана дает ответ на вопрос «Какой контекст является коммуникативно релевантным в той или иной ситуации?».

(б) Этот ответ таков: коммуникативно релевантный в некоторой ситуации контекст – это контекст высказывания.

Оба эти положения неверны. Я покажу ошибочность (а); последняя влечет и ошибочность (б). Ошибочность (а) обусловлена тем, что вопрос о коммуникативно релевантном контексте в той или иной ситуации не является семантическим. Поэтому семантика Каплана не только не отвечает на этот вопрос, но и не должна на него отвечать. Это важный пункт, поэтому разверну его детально.

¹ Перевод «utterance» как «высказывание» не вполне точен, но точного эквивалента в русском языке не существует. Я буду, вслед за Козыревой, использовать этот перевод.

Вспомним пример из начала статьи. Мое понимание реплики «Я бы выпил чашку кофе» проходит два этапа: 1) я понимаю характер данного предложения; 2) я выбираю коммуникативно релевантный для данной ситуации контекст и применяю характер предложения к этому контексту (тем самым определяя референты индексикалов и сообщаемую моим собеседником пропозицию). На первом этапе мне достаточно моего знания русского языка. Как носитель русского языка, я знаю значения всех слов, которые произнес мой приятель, и знаю композиционные правила: благодаря этому я понимаю характер произнесенного им предложения. Характер – это функция от контекстов к содержаниям; понять характер – значит увидеть эту функцию. В данном примере мое понимание характера рассматриваемого предложения состоит в том, что я понимаю следующие вещи:

– в контексте {мой приятель, t , l , w } (t – время, l – место, w – возможный мир) данное предложение выражает пропозицию, что мой приятель в w хочет выпить чашку кофе в t ;

– в контексте {Пушкин, t' , p' , w' } данное предложение выражает пропозицию, что Пушкин в w' хочет выпить чашку кофе в t' , – и т.д.

Таким образом, поняв характер предложения, я увидел зависимость выражаемой пропозиции от контекста, и теперь я могу применить этот характер к *любому* контексту.

На втором этапе я задаюсь вопросом: к какому контексту мне следует применить характер данного предложения в данной ситуации, чтобы коммуникация была успешной? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знание о ситуации, в которой осуществляется коммуникация, знание целей коммуникации и средств, которые ведут к достижению этих целей. Это значит, что на втором этапе нам необходимо знание о мире, выходящее за рамки знания языка. В таких случаях, как рассматриваемый пример, это знание самоочевидно, но в некоторых случаях для получения такого знания требуются специальные усилия: например, для установлении авторства письменного памятника могут потребоваться масштабные исторические исследования. Выбрав контекст, я применяю характеры слов к этому контексту и устанавливаю референты индексикалов *в данном контексте*. Здесь важно отметить, что характер индексикала не зависит от контекста, например, «я» имеет один и тот же характер во всех контекстах. Но референт индексикала, конечно, от контекста зависит: в разных контекстах «я» отсылает к разным индивидам.

Суммируем особенности двух этапов:

На первом этапе мы используем только наше знание языка; на втором этапе – также знание мира (выходящее за рамки знания языка).

На первом этапе мы понимаем предложение; на втором – высказывание, в котором это предложение произнесено.

На первом этапе мы не принимаем в расчет контексты, поскольку имеем дело с характерами, которые от контекста не зависят; на втором этапе мы выбираем контекст, потому что имеем дело с (чувствительными к контекстам) пропозициями и референтами.

Эти различия отражают традиционное разграничение семантики и прагматики: семантика имеет дело с предложениями, прагматика – с высказываниями; семантика имеет дело с контекстуально независимыми значениями; прагматика – с контекстуально зависимыми пропозициями и референтами.

ми [4. Р. 6–7]. Словом, семантика имеет дело *только* с языком; прагматика – с взаимодействием языка и мира.

Семантика Каплана вполне укладывается в традиционные границы семантики. В упомянутых выше источниках [2. Р. 88–97; 3. Р. 543–553] определяются *характеры* для всех релевантных видов выражений, т.е. *функции* от контекстов к содержаниям. Определяя характеры, Каплан тем самым определяет, в частности, референт «я» для *любого* контекста. Но в этих фрагментах ничего не говорится об условиях успеха коммуникации в той или иной коммуникативной ситуации. Поэтому для *семантики* Каплана этого вопроса не существует, как не существует и самого понятия коммуникативно-релевантного контекста¹, поэтому тезис (1) – результат недоразумения.

Я детально разобрал главный для этой статьи пункт; следующие комментарии будут короче.

Комментарий к (2)

Я согласен с тем, что семантика Каплана требует модификации, но причина этого состоит не в том, что она якобы неверно трактует коммуникативно релевантный (в той или иной ситуации) контекст, а в том, что в ней используется слишком узкое понятие контекста. Как было сказано выше, контекст (для некоторой модели) у Каплана – это не любое множество вида $\{a, t, l, w\}$, а только множество, выполняющее условие, что (в этой модели) a расположен в l в t в w [2. Р. 89; 3. Р. 544]². Каплан ввел это ограничение для того, чтобы сделать предложение «Я сейчас здесь» логически истинным и, соответственно, сделать логически ложным предложение «Я сейчас не здесь». Однако ситуация с автоответчиком (на нее впервые обратил внимание сам Каплан [3. Р. 491]) и ряд подобных ситуаций показывают, что в некоторых случаях мы в качестве коммуникативно релевантных используем контексты, не выполняющие указанное условие: в некоторых таких контекстах предложение «Я сейчас не здесь» выражает, вопреки Каплану, истинную пропозицию. Таким образом, существуют контексты, которые мы используем, но которые не учитывает семантика Каплана: в этом смысле последняя расходится с эмпирическими данными. Поэтому Пределли предложил отказаться от указанного ограничения на построение контекстов, т.е. включить в множество контекстов *все* множества вида $\{\text{агент, время, место, возможный мир}\}$ [5. Р. 291]. Такое расширение понятия контекста лишает предложение «Я сейчас здесь» логической истинности, но, как показывает, опять же, случай с автоответчиком, это идет семантике Каплана только на пользу. Я нахожу предложение Пределли убедительным; этим обусловлено мое частичное согласие с (2).

Комментарий к (3)

Предложение Козыревой о пересмотре границ между семантикой и прагматикой основано на тезисе Ромден-Ромлук [6. Р. 279–280], согласно которому вопрос о коммуникативно релевантном (в той или иной ситуации)

¹ Теперь понятно, что термин «семантически релевантный контекст» является неудачным наименованием коммуникативно релевантного контекста: дело в том, что это прагматическое понятие.

² В [2] это раздел «Semantics for LD», пункт 10; [3] – раздел «LD Structures», пункт 10.

контексте относится к сфере семантики. Обоснование этого тезиса у Ромден-Ромлук я считаю неубедительным. Вот ее главный аргумент: «если высказывание (utterance) является высказанным (uttered) предложением публичного языка, оно должно иметь значение, которое может быть понято не только говорящим (utterer). Поэтому то, как индексикальное высказывание понимается, существенно при определении его значения» [6. Р. 280]. В этом пассаже содержится три ошибки:

1. Здесь высказывание отождествляется с высказанным предложением. Но высказывание – это акт произнесения (написания и т.д.) предложения, поэтому высказывание не может быть предложением.

2. У высказывания не может быть значения: значение может быть только у выражений. Например, если я произношу предложение «снег бел», это предложение, конечно, имеет значение, но высказывание (мой акт произнесения этого предложения) значения не имеет¹.

3. Бесспорно, в коммуникации мы понимаем не только предложения, но и высказывания. В семантике Каплана, которую Ромден-Ромлук принимает [6. Р. 257], понять высказывание – значит а) выбрать контекст; б) применить значение (характер) высказанного предложения к выбранному контексту. Но чтобы применить значение предложения к контексту, его (значение предложения) надо уже понимать: мы *сначала* понимаем значение предложения, и только *потом* – высказывание. Например, я вижу записку «Я приду позже», но не знаю, кто ее написал. Это значит, что я еще не понял *высказывание*, но (будучи носителем русского языка) уже вполне понял высказанное *предложение*. Таким образом, понимание *значений* предшествует выбору *контекстов* и не зависит от последнего. Поэтому то, как мы понимаем высказывания, т.е. то, какие контексты мы выбираем в той или иной ситуации, не влияет на определение значений.

Поскольку семантика – это наука о значениях, и поскольку значения не зависят от контекста, вопрос «Какой контекст является коммуникативно релевантным в данной ситуации?» не является семантическим. Есть ли другие основания для отнесения этого вопроса к семантике? Ни Ромден-Ромлук, ни Козырева таких оснований не приводят, поэтому тезис (3) остается, во всяком случае в обсуждаемой статье Козыревой, необоснованным.

Список литературы

1. Козырева О.А. Проблема референции индексикалов: возможные подходы // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 269–281. doi: 10.17223/1998863X/67/23
2. Kaplan D. On the Logic of Demonstratives // Journal of Philosophical Logic. 1979. Vol. 8, № 1. P. 81–98.
3. Kaplan D. Demonstratives: An Essay on the Semantics, Logic, Metaphysics, and Epistemology of Demonstratives and Other Indexicals // Themes from Kaplan / eds. J. Almog, J. Perry, H. Wettstein. Oxford ; New York : Oxford University Press, 1989. P. 481–563.
4. Griffiths P. An Introduction to English Semantics and Pragmatics. Edinburg : Edinburg University Press, 2006.
5. Predelli S. I Am Still Not Here Now // Erkenntnis. 2010. Vol. 74. P. 289–303.
6. Romdenh-Romluc K. «I» // Philosophical Studies. 2006. Vol. 128. P. 257–283.

¹ Конечно, я, как и Ромден-Ромлук, говорю о лингвистическом значении. Акт произнесения предложения может иметь значение в других смыслах (например, он может иметь всемирно-историческое значение), но это не имеет отношения к теме дискуссии.

References

1. Kozyreva, O.A. (2022) Some possible approaches to the problem of indexical reference. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 269–281. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/23
2. Kaplan, D. (1979) On the Logic of Demonstratives. *Journal of Philosophical Logic*. 8(1). pp. 81–98.
3. Kaplan, D. (1989) Demonstratives: An Essay on the Semantics, Logic, Metaphysics, and Epistemology of Demonstratives and Other Indexicals. In: Almog, J., Perry, J. & Wettstein, H. (eds) *Themes from Kaplan*. Oxford: Oxford University Press.
4. Griffiths, P. (2006) *An Introduction to English Semantics and Pragmatics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
5. Predelli, S. (2010) I Am Still Not Here Now. *Erkenntnis*. 74. pp. 289–303.
6. Romdenh-Romluc, K. (2006) “I”. *Philosophical Studies*. 128. pp. 257–283.

Сведения об авторе:

Борисов Е.В. – доктор философских наук, доцент, главный научный сотрудник, Институт философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия). Email: borisov.evgeny@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Borisov E.V. – Dr. Sci. (Philosophy), associate professor, chief researcher, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: borisov.evgeny@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 04.04.2022;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 04.04.2022;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научная статья

УДК 165.0

doi: 10.17223/1998863X/67/27

ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ

Ольга Александровна Козырева

*Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия, olgakozyreva@mail.ru*

Аннотация. Представлены ответы автора на некоторые комментарии и возражения, приведенные оппонентами в связи с проблемой разграничения семантики и прагматики.

Ключевые слова: индексикал, значение, референция, контекст, семантика, прагматика

Для цитирования: Козырева О.А. Ответ оппонентам // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 299–301. doi: 10.17223/1998863X/67/27

Original article

A REPLY TO CRITICS

Olga A. Kozyreva

*Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg,
Russian Federation, olgakozyreva@mail.ru*

Abstract. In this article, I address some criticisms and commentaries on the problem of semantics–pragmatics distinction.

Keywords: indexical; meaning; reference; context; semantic; pragmatics

For citation: Kozyreva, O.A. (2022) A reply to critics. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 299–301. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/27

Прежде всего хочу поблагодарить всех участников дискуссии за проявленный интерес к обсуждаемой в моем тексте проблематике, критические замечания и комментарии. В силу ограничений объема я сосредоточусь на обсуждении тех моментов, которые непосредственно касаются вопроса разграничения семантики и прагматики.

По этой причине я оставлю без ответа часть справедливых замечаний П.С. Куслия, за исключением того, что «сейчас» не является индексикалом [1. С. 282–286]. Я допускаю, что языковые интуиции носителей языка могут отличаться друг от друга, однако зависимость референции выражения от «локальной „точки отсчета“» и есть показатель того, что данное выражение является индексикалом (даже в русском языке). Также я не вижу, как разграничение между типом и токеном может помочь в решении парадокса автоответчика и схожих с ним ситуаций. Именно токен «я сейчас не здесь» оказывается в них истинен, в то время как в каплановской семантике любой токен типа «я сейчас не здесь» должен иметь значение «ложь».

Из того, как П.С. Куслий предлагает решать парадокс с оставленной запиской С. Пределли, я делаю вывод, что он придерживается классического грайсовского подхода к разграничению семантики и прагматики и соответствующего ему разграничения между семантическим значением и значением говорящего. Я полагаю, что уязвимость такого подхода заключается, прежде всего, в недооценке ограниченной рациональности агента, использующего язык, и упущении из виду феноменов семантической неопределенности.

Что же касается предложения О.А. Доманова о том, что дискуссию о соотношении семантики и прагматики следует перенести в плоскость обсуждения вычислительной метафоры в семантике и использовать для последней язык теории типов, то оно представляется мне крайне интересным, так как позволяет формальным образом задать контекст в широком смысле [2]. А именно с этим как раз и связаны основные трудности рассмотренных мной авторов.

Тем не менее у меня имеются сомнения относительно предлагаемого О.А. Домановым (хотя, стоит признать, очень удобного) критерия разграничения семантического и прагматического видов анализа – различных функций, приписываемых языковым выражениям: в случае семантики такой функцией выступает передача смысла в различных контекстах, и суть анализа заключается в изучении того, как этот смысл передается и воспринимается; в случае прагматики функцией выступает «воздействие на собеседника, запрос информации, решение своих психологических проблем» [3. С. 287–291], и анализ сводится к исследованию того, как реализовываются эти внеязыковые действия с помощью языковых выражений. Идея такого критерия напомнила мне подход К. Корты и Дж. Перри [4], согласно которому семантика связана с тем, как с помощью языковых конвенций выражать свои интенции, а прагматика – с теми интенциями, которые выражаются с помощью языка, и способами их обнаружения. Подобное разграничение (что у О.А. Доманова, что у К. Корты и Дж. Перри) чревато, на мой взгляд, очень сильным сближением прагматики и теории действия. И такому шагу требуется обоснование серьезнее, чем просто утверждение в стиле теории речевых актов, что использование языка (речевой акт) или понимание языка – это тоже действие.

Е.В. Борисов, напротив, настаивает на сохранении относительно традиционного критерия разграничения семантики и прагматики: «семантика имеет дело с предложениями, прагматика – с высказываниями; семантика имеет дело с контекстуально независимыми значениями; прагматика – с контекстуально зависимыми пропозициями и референтами <...> семантика имеет дело только с языком; прагматика – с взаимодействием языка и мира» [5. С. 292–298]. Этот тезис видится мне сомнительным: изучение взаимодействия языка и мира входит в область исследований семантики, и ни одна семантическая теория не может считаться успешной, если не объясняет, как осуществляется это взаимодействие [6. Р. 11–12]. Если же установление референции языковых выражений невозможно без обращения к контексту (неважно, в широком смысле или в узком), то семантическая теория должна объяснять, как это обращение осуществляется.

Если я правильно понимаю позицию Е.В. Борисова, то мое несогласие с ней проистекает из того, что мы, скорее всего, придерживаемся разных подходов к определению семантического содержания предложения: семантические буквалисты (или минималисты) настаивают на том, что условие

истинностное содержание предложения не зависит от акта высказывания, в то время как семантические контекстуалисты – на том, что для определения этого содержания необходимо, чтобы предложение было высказано, и высказано в определенном контексте. Наличие в естественном языке индексикалов как раз демонстрирует ограниченность буквализма, которую контекстуалисты стремятся преодолеть. По этой причине решение вопроса о соотношении семантики и прагматики мне видится более продуктивным в контексте спора между семантическим буквализмом и контекстуализмом.

Список источников

1. Куслий П.С. Контекстная зависимость и «отложенная» интерпретация // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 282–286. doi: 10.17223/1998863X/67/24
2. Bach K. Context ex Machina // Semantics versus Pragmatics / ed. by Z.G. Szabó. New York : Oxford University Press, 2005. P. 15–44.
3. Доманов О.А. Понимание как вычисление // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 287–291. doi: 10.17223/1998863X/67/25
4. Korta K., Perry J. Critical Pragmatics. An Inquiry into Reference and Communication. New York : Cambridge University Press, 2011.
5. Борисов Е.В. Индексикалы, семантика и прагматика // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 292–298. doi: 10.17223/1998863X/67/26
6. Kempson R.M. Semantic Theory. London : Cambridge University Press, 1977.

References

1. Kusliy, P.S. (2022) Context dependence and deferred interpretation. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 282–286. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/24
2. Bach, K. (2005) Context ex Machina. In: Szabó, Z.G. (ed.) *Semantics versus Pragmatics*. New York: Oxford University Press. pp. 15–44.
3. Domanov, O.A. (2022) Understanding as computation. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 287–291. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/25
4. Korta, K. & Perry, J. (2011) *Critical Pragmatics. An Inquiry into Reference and Communication*. New York: Cambridge University Press.
5. Borisov, E.V. (2022) Indexicals, semantics, and pragmatics. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 292–298. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/67/26
6. Kempson, R.M. (1977) *Semantic Theory*. London: Cambridge University Press.

Сведения об авторе:

Козырева О.А. – кандидат философских наук, ассистент кафедры онтологии и теории познания Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия). E-mail: olgakozyreva@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kozyreva O.A. – Cand. Sci. (Philosophy), Assistant of the Department of Ontology and Theory of Knowledge, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: olgakozyreva@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 04.04.2022;
одобрена после рецензирования 07.06.2022; принята к публикации 11.07.2022
The article was submitted 04.04.2022;
approved after reviewing 07.06.2022; accepted for publication 11.07.2022

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2022. № 67

Редакторы *А.А. Цыганова, Ю.П. Готфрид*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Яковсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 15.08.2022 г. Дата выхода в свет 26.08.2022 г.

Формат 70х100^{1/16}. Печ. л. 18,9; усл. печ. л. 24,6; уч.-изд. л. 25,9.

Тираж 50 экз. Заказ № 5122. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательства
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru